Н.Ф. ПАВЛОВ

Избранные сочинения





Н.Ф. ПАВЛОВ Избранные сочинения

Н.Ф. ПАВЛОВ

Избранные сочинения

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989

84 Р 1
П 12

Составление,
вступительная статья
и примечания
Л. М. КРУПЧАНОВА

П $\frac{4702010100-1853}{080(02)-89}$ 1853—89

Н. Ф. ПАВЛОВ И ЕГО ТВОРЧЕСТВО

В старой России выделялся особый слой общества — крепостная интеллигенция, в состав которой входили актеры, певцы, музыканты, художники,— чья жизнь целиком зависела от барской прихоти и часто кончалась трагически. Их нелегкая судьба находилась в поле зрения большой литературы: этой проблеме посвящены такие произведения, как «Сорока-воровка» А. И. Герцена, «Тупейный художник» Н. С. Лескова. Лишь немногим из талантливых подневольных удавалось освободиться от крепостной зависимости и обрести самостоятельное место в искусстве и жизни (таковы профессор Московского университета Н. И. Надеждин, великий украинский поэт Т. Г. Шевченко).

Почти аналогичные лишения приходилось испытывать незаконнорожденным детям помещиков: как правило, они попадали в приюты или крестьянские семьи, лишались фамилии отца. Судьба их изобиловала сложными перипетиями, зависела от случайных жизненных обстоятельств, капризов покровителей.

В семье родителей внебрачные дети воспитывались редко (можно назвать А. И. Герцена, сына помещика И. А. Яковлева), однако определенными привилегиями они пользовались, что, впрочем, чаще отягощало их дальнейшую жизнь.

Николай Филиппович Павлов, ставший впоследствии известным русским литератором, был незаконнорожденным сыном помещика В. М. Грушецкого и вывезенной графом В. А. Зубовым из персидского похода 1797 года грузинки. Родился Павлов в Москве 7 сентября 1803 года и был передан в семью дворового крестьянина Грушецких Филиппа Павлова, от которого и получил свою фамилию.

Однако домашнее образование, полученное Павловым в детстве (он изучил не только закон божий и геометрию, но также немецкий, французский и латинский языки), соответствовало статусу дворянина, а отнюдь не крестьянина.

Подробности из биографии Павлова этого периода неизвестны.

«Отпускная» от 3 июня 1811 года свидетельствует о том, что Николай Павлов в восьмилетнем возрасте получил свободу от сводного брата — Владимира Васильевича уже после смерти отца и, видимо, по завещанию последнего.

Не без содействия «родственников» Павлов тогда же был определен воспитанником Московского Театрального училища.

В положении «своекоштного» (на собственном обеспечении) воспитанника Павлов находился пять лет. В июле 1816 года его перевели на «казенный кошт» (государственное обеспечение).

С 1817 года выпускники Театрального училища, в основном выходцы из разночинной среды, были исключены из списков своих сословий и зачислены государственными служащими по ведомству Императорских театров.

Современники отмечали жестокость нравов, царивших в училище (особенно в первые годы пребывания там Павлова), недо-

статочно высокий уровень обучения (в программе ведущим предметом был балет). Только некоторые педагоги отличались высокими познаниями (например, преподаватель русского языка П. Ф. Калайдович). Тем не менее Павлов благодаря своему уму и энергии вскоре стал одним из первых учеников, которого воспитанники называли «профессором» и обращались за советами в спорах. В качестве вольнослушателя он посещал лекции профессоров Московского университета.

Важную роль в судьбе будущего писателя сыграл новый директор училища Ф. Ф. Кокошкин, человек просвещенный и либеральный. Заняв этот пост в конце 1810-х годов, он сразу же заметил Павлова и приблизил его к себе. В доме и подмосковном имении нового директора Павлов в числе талантливой молодежи начал выступать как актер в импровизированных сценах и как сочинитель спектаклей. Можно считать, что именно благодаря Кокошкину впервые проявились его природные творческие дарования.

Но тем не менее на вечерах у Кокошкина, по воспоминаниям очевидцев, Павлов прислуживал гостям в качестве лакея с салфеткой в руке. Можно лишь догадываться, какими чувствами в это время был обуреваем умный, образованный и самолюбивый юноша.

Неопределенное положение в обществе отразилось на характере и жизненной позиции Павлова. С одной стороны, будучи связан с самым бесправным сословием российского общества — крепостным крестьянством, он не мог не испытывать неприязни к образу жизни аристократии, поэтому писателю присущи черты демократизма. С другой стороны, талантливый юноша пребывал в постоянной зависимости от светского общества, тяготился своей бедностью, испытывая презрение, смешанное с завистью, к бездарным и часто не по заслугам отмечаемым аристократам.

Жизненные принципы Николая Филипповича Павлова находились в постоянном противоборстве с внешними обстоятельствами, к которым он вынужден был определенным образом приспосабливаться: иначе его ждала нищета и безвестность. В этой непрерывной борьбе помыслов и обстоятельств заключалась драма Павлова — писателя и человека.

Современники указывали на «исключительно эластичную натуру» Николая Филипповича и, в зависимости от своего личного отношения к нему, видели в этом либо проявления «плебейства» (Е. П. Ростопчина, С. А. Соболевский), либо способ борьбы с обстоятельствами (Б. Чичерин, И. Арсеньев). Ясно, однако, что «эластичность» характера помогла писателю в тех тяжких обстоятельствах, которые его преследовали всю жизнь.

Эти две тенденции в миросозерцании Павлова, как бы слитые воедино, проявляются и в творчестве. Герои его произведений одновременно ненавидят аристократов и завидуют им, презирают светское общество и стремятся преуспеть в нем.

Как точно заметил В. Ф. Одоевский: «...сфера высшего света» является для Павлова «какой-то всепоглощающей и вместе с тем обаятельно-влекущей бездной». Сатира на светское общество и любование им, причудливо переплетаясь, поочередно доминировали в творчестве писателя, определяя сильные и слабые стороны его произведений.

Крепостной музыкант из повести «Именины» говорит:

«Я был существо, исключенное из книжной переписи людей,

нелюбопытное, незанимательное, которое не может внушить мысли, о котором нечего сказать и которого нельзя вспомнить...»

Чувство испытанного унижения порождает мечту об отмщении свету его же способами.

«Понимаете ли вы удовольствие отвечать грубо на вежливое слово; едва кивнуть головой, когда учтиво снимают перед Вами шляпу, и развалиться в креслах перед чопорным баричем, перед богачом?» — спрашивает выслужившийся до офицера крепостной музыкант.

Павлов хорошо понимал, что не только свобода и почести, но и признание таланта зависят от положения в обществе и богатства.

Он старался достичь материального благополучия упорным трудом.

Еще находясь в стенах театрального училища, Павлов перевел с французского ряд пьес, которые хотя и не были опубликованы, но ставились в Москве и Петербурге.

Н. Ф. Павлов известен также как первый переводчик Бальзака в России; ему же русские читатели обязаны знакомством с произведениями Эжена Сю. Позднее, изучив английский язык, Николай Филиппович переводил Шекспира и Байрона.

В салоне Кокошкина Павлов мог встречать известных в то время писателей, поэтов, композиторов — А. Н. Верстовского, М. Н. Загоскина, А. А. Шаховского, С. Т. Аксакова и других.

Таким образом, ко времени окончания театрального училища в июле 1821 года Николай Павлов приобрел уже не только разнообразный жизненный опыт, но и первоначальные навыки литературной работы.

Однако профессиональная актерская служба не увлекла Павлова: он числился в театре менее года. Дебютировал в балете, играл второстепенные роли.

Воспользовавшись медицинской справкой и не без помощи Ф. Ф. Кокошкина, будущий писатель в феврале 1822 года оставил Театральное ведомство и поступил на юридический (этико-политический) факультет Московского университета «своекоштным» студентом.

Уход Павлова из театра трудно объяснить одной «страстью к литературе» (о чем говорится в ряде воспоминаний): ведь он перешел на юридический факультет. К этому следует добавить, что известно всего шесть произведений, написанных в период учебы в университете.

По-видимому, интерес к литературе был вызван желанием улучшить свое материальное положение, как-то безбедно устроить жизнь. Павлов также возлагал надежды на профессию юриста и широкое общее образование.

Помимо официальной учебной программы университета, студент Павлов самостоятельно совершенствует знания английского, французского, немецкого языков и с их помощью знакомится с достижениями европейской общественной мысли.

Первые литературные опыты Николая Филипповича Павлова, относящиеся к началу 20-х годов, совпадают, таким образом, с активным процессом образования и самообразования. Пребывание в театральном училище, в театре, а затем в Московском университете послужило той почвой, на которой смогли проявиться незаурядные способности будущего писателя. Он выступил во всех трех литературных родах — эпическом, лирическом, драма-

тическом. Драма Шиллера «Мария Стюарт» в его переводе с французского, поставленная в 1825 году в Москве, принесла Павлову известность. В эти же годы Николай Филиппович приобретает популярность поэта. Он расширяет свое знакомство с литературной Москвой — сходится с В. Ф. Одоевским, С. П. Шевыревым, П. Вяземским.

Взгляды Павлова не получили четкого оформления: он не был близок с декабристами, хотя, конечно, находился в общей атмосфере тех лет. Описывая поездку М. Н. Волконской к мужу в Сибирь, Н. Некрасов в одном из вариантов поэмы «Княгиня М. Н. Волконская» пишет о том, что по приезде в Москву сестра М. Волконской Зинаида организовала вечер в ее честь, где присутствовал цвет московского общества, в том числе Павлов. Волконская в поэме Некрасова рассказывает, вспоминая это событие:

«Тут были Одоевский, Вяземский, Даль
(проститься со мной все желало).
Тут был и профессор — поэт Мерзляков,
И Павлов тогда знаменитый...»

Зинаиде Волконской и ее сыну Павлов посвящает ряд стихотворений.

Успех Николая Павлова в московских литературных кругах отнюдь не случаен. «Умный, тонкий и просвещенный человек, он нигде не был лишним»,— вспоминает Н. В. Берг.

Но все же нужно отметить, что выбор Павловым юридического поприща целенаправлен. Прежде всего литература не могла служить в то время постоянным и надежным источником существования. К тому же Павлов, очевидно, полагал, что как юрист будет полезен людям бедным и угнетенным. Через два года после окончания университета, в 1827 году, он стал заседателем департамента Московского народного суда, где в одном из первых своих дел взял под защиту крестьян, притесняемых помещиком. В «Былом и думах» Герцен описывает подобное же «дело» Павлова. Прославившийся своим авантюризмом и дикостью Толстой-Американец во время пьяной оргии вырвал зуб у связанного им мещанина. Последний подал в суд. «В это время один известный русский литератор,— пишет Герцен,— Н. Ф. Павлов, служил в тюремном Комитете. Мещанин рассказал ему дело, неопытный чиновник поднял его. Толстой струхнул не на шутку, дело клонилось явным образом к его осуждению; но русский бог велик! Граф Орлов написал князю Щербатову секретное донесение, в котором советовал ему дело затушить, чтоб не дать такого *прямого торжества низшему сословию над высшим*. Н. Ф. Павлова граф Орлов советовал удалить от такого места...» «Я был тогда в Москве и хорошо знал неосторожного чиновника»,— добавляет Герцен.

Молодой заседатель обнаружил и доказал наличие финансовых махинаций и взяточничества в среде московского купечества и даже в канцелярии самого губернского предводителя дворянства. Честная, бескомпромиссная позиция Павлова вызвала раздражение сильных мира сего, и вскоре его отстранили от должности.

Павлов не принимал непосредственного участия в борьбе литературных направлений, печатался в изданиях романтического лагеря («Московский телеграф», «Московский наблюдатель»,

«Московский вестник») и в органах «классиков» («Атеней», «Дамский журнал», «Галатея»). Но в 20—40-е годы оставался неизменным противником литераторов официального направления (Н. Греча, Ф. Булгарина, О. Сенковского) и их изданий («Сын Отечества», «Библиотека для чтения»).

Ранние стихи Павлова нельзя рассматривать только как подготовительную ступень к повестям: его поэзия имеет и самостоятельное значение. Она отличается определенным единством проблематики, достаточно ярко выраженным стилем.

Павлов-поэт выступал в различных жанрах: он писал элегии, романсы, эпиграммы, альбомные стихи, посвящения, баллады, куплеты к водевилям, басни. В первом своем стихотворном произведении — басне «Блестки» (1822) автор высмеивает стремление скрывать собственные недостатки, обманывая ближнего. Темы морали остро стоят в стихотворении «Червонец» (1829). Павлов подчеркивает здесь всеобъемлющую, демоническую власть денег: червонец выступает как символ подлости и продажности. В современном мире ему доступно «все земное» — слава, почести, друзья, само правосудие. Нельзя купить лишь «любви небесного огня и вдохновения святого».

Романтическая грусть о неразделенной любви пронизывает многочисленные элегии и послания. Юноша-поэт, подражая романтикам, говорит об утраченных грезах, погибшей любви, изменах, ожидающих его страданиях одинокой старости. Жизнь для него — сплошное заблуждение, ради которого поэт не хотел бы, как многие, «родиться вновь» («Песнь магометанина», «К...», «Элегия» и другие стихотворения 20-х годов).

Н. Ф. Павлов — автор целого ряда романсов: «Не говори ни да, ни нет», «Она безгрешных сновидений», «Не говори, что сердцу больно». Эти романсы были положены на музыку М. И. Глинкой, А. Н. Верстовским, А. С. Даргомыжским, Ю. А. Копьевым, В. Н. Всеволожским, пользовались популярностью у исполнителей и слушателей.

В некоторых стихотворениях достаточно ярко выражены реалистические и даже сатирические мотивы. Послание «К друзьям» проникнуто усталостью и разочарованием в земных наслаждениях, «покупных» лобзаньях, шумных пирах с друзьями. Но поэта в то же время не покидает мысль о своей избранности, о славе, о бессмертье. Есть у Павлова и патриотические стихи, много альбомных. И хотя сам автор шутя говорит, что «даже и ошибкой в альбомы правды не писал», но в них читатель найдет, кроме реалистических, и едкие сатирические строки.

Поэзия Николая Филипповича Павлова в основном датируется 20—30-ми годами, и лишь около десяти произведений написано в 40—50-е годы. В них та же тональность, переданная в тех же жанрах: элегии, послания, куплеты к водевилям, эпиграммы. В эпиграммах Павлов чаще всего высмеивает своих постоянных литературных противников: Ф. Булгарина, Н. Полевого в последний период его деятельности. В передовых кругах России были хорошо известны строки из эпиграммы «Не молод ты, не глуп» («К графу Закревскому»), хотя они были изъяты цензурой.

«Мы люди смирные, не строим баррикад
И верноподданно гнием в своем болоте!»

Поэзия Павлова привлекала внимание критики. В статье «Русская литература в 1845 году» Белинский цитирует послание «Что ты несешь на мертвых небылицу...», написанное Павловым

в защиту памяти Пушкина и Крылова. Появилось это произведение в ответ на попытку Булгарина представить свои отношения с ними как дружеские. «Послания так хороши (Белинский пишет о посланиях Павлова и Вяземского.— *Л. К.*), что, желая содействовать их известности, мы считаем за нужное выписать... их». Сатирическое стихотворение «Ecce Homo!» под названием «Благотворитель» полностью приводит Чернышевский в своей статье «Понятия Гопкинса о народном хозяйстве». Одна из эпиграмм (на московского губернатора Закревского) послужила поводом для ареста и высылки Павлова в Пермь.

Недолюбливавшая писателя поэтесса Ростопчина злорадствовала:

«Безымянными стихами
наводнив не раз Москву,
ты поссорился с властями
не во сне уж — наяву».

К концу 20-х годов завершается период формирования Павлова-литератора. В 1829-м он избирается действительным членом Общества любителей российской словесности.

Но наиболее плодотворными явились для Павлова 1830-е годы, прославившие его как прозаика.

В 1832 году исполнилось десятилетие творческой деятельности писателя. Круг литературных знакомств Павлова еще более расширился. В. Я. Брюсов утверждал: «Н. Ф. Павлову за десять лет своих журнальных скитаний случалось встречаться чуть ли не со всеми русскими писателями». Он дружит с В. Одоевским, С. Шевыревым, П. Вяземским, А. Краевским.

В том же 1832-м университетский товарищ Павлова Н. В. Чичерин вводит его в круг оппозиционно настроенной дворянской интеллигенции, связанной с братьями Боратынскими, с которыми, в свою очередь, были близки А. Пушкин и П. Вяземский.

Павлов гостил в имении Чичерина Умет Тамбовской губернии, недалеко от имений Е. Боратынского — Мара и Н. И. Кривцова — Любичи. Сюда приезжали братья Боратынские, князья Гагарины и Вяземские. Обсуждались новинки европейской и русской литературы, затрагивалась и общественная жизнь.

Участники кружка тепло и дружелюбно относились к молодому писателю из «вольноотпущенных» Н. Ф. Павлову. В тамбовских имениях Боратынских и Чичериных, в обстановке умеренного свободомыслия, высокой культуры, тонкого интеллекта с наибольшей силой проявились и исконный демократизм Павлова, и критическая настроенность в оценке окружающей действительности.

Тогда же начинается деятельность Павлова-прозаика. После двух переводов из Бальзака (1831), помещенных в «Телескопе», писатель выступил в том же журнале с небольшим отрывком из романа под названием «Московский бал», в котором намечаются черты, характерные для последующей прозы Павлова: критическое изображение социальных контрастов в жизни русского общества перекликается здесь с обстоятельно выписанными картинами светской жизни.

Замысел романа, однако, не был осуществлен Павловым как по субъективным, так и по объективным причинам. Белинский, отмечавший в творчестве каждого художника «идеи времени» и

«формы времени», подчеркивал, что в середине 30-х годов XIX века «сам Ювенал писал бы не сатиры, а повести».

Павлов в эти годы активно работает над очерками, рассказами, прозаическими отрывками, в которых переплетаются элементы романтизма и реализма.

К 1834—1835 годам относятся два незавершенных рассказа: «Родительская печаль» и «Черный человек», лирический рассказ о зимних увеселениях светского общества, «Воспоминания о московских балах», а также очерк «Чубук и пальцы». Вскоре появился цикл повестей.

В имении Чичериных Умет Павловым написаны две из них: «Именины» и «Аукцион», доброжелательно встреченные первыми слушателями — Чичериным и его друзьями и составившие затем вместе с «Ятаганом» первый сборник прозы «Три повести», вышедший в 1835 году.

«Три повести» были встречены читателями с восторгом, принесли автору громкую и вполне заслуженную славу: действительно, они составляют лучшую часть литературного наследия Павлова.

Писатель выступил со своими повестями в то время, когда характер развития русской литературы в прозе определялся «идеальным» (Белинский) направлением повестей А. Марлинского, В. Одоевского, Н. Полевого, Н. Погодина. И в повестях Павлова также много от «идеальной поэзии» в описании внешнего облика героев, их чувств и взаимоотношений. И тем не менее в четкости авторской позиции, в «верности действительности», в правдоподобии обстоятельств обнаруживается стремление к реалистическому изображению жизни. В определенной степени Павлов выступал здесь как сподвижник Гоголя. И как переводчик он также тяготел к «реальной» школе.

«При наружном несходстве» все три повести Павлова объединены именно этим «одним общим характером» (Белинский) — реалистической направленностью. По словам критика, эту направленность можно назвать «письмом с натуры», проявляющимся «не в целом, но в частностях и подробностях».

В первой повести — «Именины» — дается правдивое изображение рабски унизительного положения крепостного музыканта, которого, по его словам, «отняли от отца с матерью» и, заключив в результате осмотра зубов и губ, что он сможет быть флейтистом в крепостном оркестре, «отдали... учиться на флейте». Автор не показывает, каким образом герой из забитого и запуганного крепостного музыканта превратился в смелого, независимого штаб-ротмистра, хотя в подобных обстоятельствах в те времена такие случаи, как редкое исключение, и могли встретиться. Тем не менее в повести есть и истинный психологизм, и резко очерченный характер (это касается прежде всего главного героя), много реалистических описаний быта и ситуаций, дающих представление о положении талантливых людей, выходцев из крепостного сословия.

Другое произведение — «Аукцион» — повесть-миниатюра из жизни света, живописный очерк, «щегольской и немного манерный при всей его наружной простоте», как писал Белинский.

История «мести» молодого светского человека неверной возлюбленной рассказана «изящно и с блеском»; авторская ирония дает читателю возможность почувствовать призрачность, непостоянство, «аукционность» светских отношений.

«Аукцион» есть очень милая шутка,— отмечал Пушкин,— легкая картинка, в которой оригинально вмещены три или четыре лица.— А я на аукцион — а я с аукциона — черта истинно комическая».

Павлов показывает, что в свете не страдают глубоко от измены, так же как и не способны любить по-настоящему.

Одной из наиболее сильных в художественном отношении и социально значимых повестей этого цикла является «Ятаган». История молодого человека, произведенного в корнеты в то время, когда «военные... торжествовали на всех сценах», рассказана писателем с истинным драматизмом. Восторженный корнет волею случая (пустяковая ссора на балу и дуэль), надевший солдатскую шинель, оказывается в унизительном положении и испытывает на себе всю силу неограниченной власти офицерства в николаевской армии, к тому же полковой командир, соперник разжалованного Бронина, под благовидным предлогом приказывает высечь его. Из легкомысленного офицера под воздействием тяжких испытаний Бронин превращается в человека размышляющего, способного чувствовать глубоко и серьезно. Удачей писателя явился не только образ главного героя повести, но и достоверное изображение армейских порядков, произвола и «дикого» нрава командиров. Автор подробно описывает различные издевательства, через которые приходится пройти Бронину по приказу полковника, в том числе сама экзекуция (интересно заметить, что солдаты-исполнители относятся к ней как к делу повседневному, привычному). И Павлов завершает детальное описание экзекуции нарочито бесстрастной фразой: «Позади рядов прохаживался лекарь, и вблизи дожидалась тележка». Тем самым подчеркивается будничность происходящего: наказанного осмотрит лекарь, а затем его повезут либо в лазарет, либо в мертвецкую. Сюжет повести строится на романтической основе: Бронин убивает полковника именно тем ятаганом, который был подарен ему горячо любящей матерью в день рождения. Но этот внешне личный конфликт осложнен социальными мотивами и разрешается в трагическом, а не в мелодраматическом, полушутливом (как в «Аукционе») ключе.

«Три повести» Павлова получили широкий резонанс в общественно-литературной жизни.

Представители самых разных направлений считали их важным и новым явлением в русской литературе.

Белинский, Надеждин, Чаадаев, Шевырев находили в них созвучие своим умонастроениям. «В «Трех повестях» Павлов показал самым блистательным образом свое знание света и человеческого сердца»,— писал Белинский.

Пушкин отметил, что «Павлов первый у нас написал истинно занимательные рассказы».

Упоминания о «Трех повестях» часто встречаются в переписке литераторов. Ф. И. Тютчев, например, в одном из писем 1836 года к И. С. Гагарину отмечал:

«Еще недавно я с истинным наслаждением прочитал три повести Павлова, особенно последнюю». Поэт указывает на художественную и идейную зрелость автора: «Кроме художественного таланта, достигающего тут редкой зрелости, я был особенно поражен возмужалостью, совершеннолетием русской мысли, она сразу направилась к самой сердцевине общества: мысль свободная схватилась прямо с роковыми общественными вопросами...»

Н. В. Гоголь в письме к С. П. Шевыреву в 1846 году отмечает, что «Н. Павлов, писатель, который первыми тремя повестями своими получил с первого раза право на почетное место между нашими прозаическими писателями».

«Три повести» Павлова были переведены на европейские языки, отрывки из них использовались в учебниках и хрестоматиях как образцы художественного чтения.

Но реакционная журналистика — «Северная пчела» Булгарина, «Библиотека для чтения» Сенковского выступили с отрицательными оценками этих произведений. Резко отозвался царь (особенно о «Ятагане»: «и смысл и цель прескверные») и потребовал наказать цензора, пропустившего их в печать.

Впоследствии Павлов неоднократно просил разрешения на переиздание повестей, но всякий раз получал категорический отказ.

В 1839 году вышел в свет еще один цикл из трех повестей Павлова под названием «Новые повести». Они включали «Маскарад», «Демон» и «Миллион» («Маскарад» был напечатан ранее, в 1835 году). «Новые повести» в отличие от «Трех повестей» были встречены читателями и критикой более прохладно, хотя и в них писатель оставался верен своим прежним художественным принципам и взглядам на современное ему общество как на больное, в котором господствуют эгоизм, стяжательство, корыстолюбие, презрение к человеку не знатному, не сановному, не титулованному.

Главный герой «Маскарада» (как и «Аукциона») разочарован в жизни, погружен в мир личных переживаний. Маскарадность нравов, ложь, лицемерие характеризуют атмосферу жизни, стоящей в центре изображения автора. Однако изредка, отрывочно прорывается образ иного мира — «лохмотьев», «уличной грязи», «бестолковых неурожаев». Эти отступления немногочисленны, но они обнаруживают черты демократизма во взглядах писателя, непосредственно познавшего самые темные стороны российской жизни.

Исследователи творчества Павлова справедливо отмечали в повестях черты социальной сатиры. Так, его превосходительство в повести «Демон» напоминает «значительное лицо» из гоголевской «Шинели». Важный чиновник, он, совсем как у Гоголя, распекает мелкого петербургского служащего, посмевшего обратиться к нему с жалобой. Подобно Акакию Акакиевичу, Андрей Иванович в конце тоже «бунтует» против «власть имущих».

Ап. Григорьев считал «Миллион» одним из лучших созданий в жанре «светской» повести. Как и в других прозаических произведениях, писателю удается психологически достоверно передать историю взаимоотношений двух светских молодых людей, взаимоотношений, искаженных денежными расчетами. Писатель рассказывает о загубленных ложью чувствах, о проникновении буржуазных нравов в высший свет, вскользь, но совершенно определенно отзывается об этих нравах: «У торгашей нет ничего святого»,— говорит он.

Павлов не без оснований, таким образом, утверждал, что «не сочиняет» своих героев, а пишет их с натуры.

Оценивая прозу Николая Филипповича Павлова, Белинский указывает, что писатель «принадлежит к числу наших отличных прозаиков», что у него «блестящее беллетристическое дарование». Отмечая в анализируемых произведениях Павлова элементы «реальной» поэзии, критик причисляет их к разряду «истинной пове-

сти», которая, по Белинскому, являлась «эпизодом из беспредельной поэмы судеб человеческих».

«Новыми повестями» заканчивается творчество Павлова-прозаика, не выступавшего более в беллетристических жанрах.

В 30-е годы начинается деятельность Павлова-критика. В 1835—1837 годах он являлся фактическим издателем журнала «Московский наблюдатель», в котором сотрудничали А. Хомяков, И. Киреевский, А. Кошелев, Е. Боратынский, С. Шевырев, М. Погодин, Н. Языков. Однако, несмотря на журнальные и личные связи со многими из будущих славянофилов (Хомяков, Киреевский, Языков), Николай Филиппович не разделял их убеждений. Об этом свидетельствуют программные для «Московского наблюдателя» тех лет две статьи Павлова, обнаружившие в нем незаурядные дарования литературного критика: об опере Верстовского «Аскольдова могила» и о комедии Загоскина «Недовольные». Собственно, обе статьи посвящены Загоскину, так как в первой из них критика интересует прежде всего принадлежащее Загоскину либретто к опере Верстовского.

Белинский отмечает эти статьи как «особенно примечательные», написанные «с ловкостью», «искусством» и «увлеченностью». Павлов в основном рассматривает произведения Загоскина не с художественной, а с проблемной точки зрения, выступая против ультрапатриотических идей писателя в защиту необходимости и целесообразности русско-европейских культурных связей и государственных реформ. Белинский, рецензируя в «Телескопе» критику «Московского наблюдателя», выделил именно эти мотивы статей.

Современники указывали все же на недостаточное прилежание Павлова к писательскому труду: многие из его литературных замыслов, которыми он делился с друзьями, остались нереализованными. Однако следует иметь в виду сильнейший цензурный гнет, отбивавший охоту к работе.

«...Я у него теперь в такой опале,— писал Павлов Краевскому о цензоре Булыгине,— в какой находятся только люди, приговоренные к смертной казни...» «Придется по милости г. Булыгина бросить проклятое ремесло писателя и потянуться за другими, то есть пахать землю, фабришничать и читать, только б вырваться из этого омута».

Личная жизнь Павлова сложилась неудачно, хотя дважды он пытался устроить свое семейное положение. По одним сведениям, первой женой Николая Филипповича была княжна Касаткина, по другим — воспитанница аристократки Квашниной-Самариной.

Н. Берг пишет в своих воспоминаниях:

«Николай Филиппович Павлов был человек замечательный, талантливый, но живший как-то так, что у него все постоянно расстраивалось, а не устраивалось... Происхождение его покрыто туманом... По любви женился на деньги типографщика Степанова. Свадьба была у Бориса и Глеба на Арбате. Степанов, давший приятелю половину скопившихся у него нечаянно грошей (около 75 р.), с удивлением глядел из окошка на всю эту историю... Финансовые средства Павлова были ему хорошо известны, средства невесты — тоже. Эта первая семейная жизнь принесла не много приятных минут Николаю Филипповичу. Жена его не любила. Он описывает кое-что из эпохи этих дней в одной своей повести. По счастию, страдалица скоро умерла. Детей не осталось».

В повести «Маскарад» героиня умирает от чахотки, скрывая от нелюбимого мужа письма другого мужчины.

В 1837 году Павлов женится вторично. На этот раз на поэтессе Каролине Яниш. Н. Берг характеризует ее как «экзальтированную, чопорную, надутую немку, писавшую стихами и прозой по-русски, по-французски и по-немецки почти одинаково, немку уже в известном возрасте, с неглупым, но не очень красивым, смуглым и сухощавым лицом». Сам Павлов в письмах к друзьям не скрывал, что женился по расчету: его будущая жена, получив богатое наследство, стала хозяйкой трехэтажного дома в Москве, обладательницей капитала и тысячи душ крепостных в подмосковной деревне, с годовым доходом в сорок тысяч рублей. Николай Филиппович повел жизнь широкую, с приемами, банкетами, обедами, которые, по словам того же Берга, «устраивались... по всем правилам искусства и один никогда не был похож на другой».

«Четверги» Павлова, особенно в первой половине 40-х годов, приняли характер литературного салона, который посещали литераторы самых различных направлений. Здесь бывали Аксаковы, Киреевские, Хомяков, Шевырев, Герцен, Чаадаев, Вяземский, Боратынский, Гоголь, Лермонтов и др.

Тем не менее в 1841—1844 годах Павлов с «примерным рвением» служил чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе Д. В. Голицыне. При помощи Н. Ф. Павлова удалось освободить свыше двухсот несправедливо обвиненных бедняков. Однако такое рвение не получило одобрения начальства: было отклонено ходатайство о награждении его орденом. Павлов вышел в отставку и с тех пор никогда больше не возвращался к государственной службе.

В 40-х годах наибольший интерес среди критических работ писателя представляют его письма к Гоголю по поводу книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Помещенные в «Московских ведомостях» за 1847 год и впоследствии, по настоянию Белинского, перепечатанные в журнале «Современник», статьи эти примечательны тем, что по своим идеям во многом перекликаются со знаменитым Зальцбрунским письмом Белинского к Гоголю.

Павлов прежде всего решительно возражает против утверждения Гоголя, что новая книга последнего важнее всего предшествовавшего творчества писателя. Указав на нереальность, несбыточность, утопизм поучений Гоголя, проповеди им евангельских догм, Николай Филиппович справедливо заметил, что проповедующий священное писание помещик, называющий при этом крестьянина «невымытым рылом», нисколько не отличается от высмеянных Гоголем-художником «родных братьев и сестер» такого помещика— «Маниловых, Коробочек».

Павлов считает наивным и нереальным стремление Гоголя спасти грешные души светских людей своими проповедями. «Им хочется не спасения: им хочется жить в свете, как они живут»,— замечает критик. Резко выступает Павлов и против мысли Гоголя об особой миссии светской женщины в исправлении нравов общества. Истинную причину пороков светского общества Павлов видит во «всей общественной стихии», «в которой живет светский человек».

Не отрицая в принципе публицистического воздействия литературы на читателя, Николай Филиппович полагает, что Гоголь

обращается к читателям не по принципиальным вопросам общественной жизни, что он вступил «в беседу с Россией по случаю своих домашних распоряжений».

Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» писал, что лучшая из работ по разбору книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» принадлежит Н. Ф. Павлову. «В своих письмах Гоголю,— писал критик,— он стал на его точку зрения, чтоб показать его неверность собственным своим началам».

Высокую оценку письмам Павлова к Гоголю дал Н. Г. Чернышевский. «Каждый помнит еще превосходные письма Н. Ф. Павлова по случаю издания «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя»,— замечает критик.

После женитьбы Павлов занялся хозяйственной, предпринимательской деятельностью, и это, конечно, не могло не отразиться на его образе мыслей.

Постепенно происходит как бы раздвоение его личности: с одной стороны, как писатель и критик он продолжает развивать прежние просветительские, либерально-дворянские идеи, а с другой — выступает как помещик и фабрикант.

Так, в 1849 году он пишет едкую эпиграмму на московского генерал-губернатора, известного своей жестокостью, и в том же году осуществляет сомнительную операцию по приобретению огаревского имения Акшено.

В 1857 году с помощью военной силы Павлов подавляет бунт крестьян в рязанском имении жены, где была суконная фабрика. По этому поводу Герцен выступил в «Колоколе» с язвительной статьей «Ятаган» убит «Аукционом».

Противоречия в мировоззрении Павлова усугубились распадом семьи: Каролина увлеклась другим, Николай Филиппович сошелся с племянницей жены Евгенией Танненберг, «курносенькой приятной блондинкой», занимавшейся «литературой и живописью» и ставшей впоследствии третьей женой писателя. Сын Павловых Ипполит оказался предоставленным самому себе и жил у родителей Каролины, стариков Яниш.

В 1853 году в обстановке расстроенных семейных отношений Каролина Павлова подала губернатору Закревскому жалобу на мужа, обвинив последнего в разорении ее имения картежной игрой (что при проверке не подтвердилось).

В доме был произведен обыск, при котором обнаружили запрещенные книги и письмо Белинского к Гоголю. Ожидавший лишь случая, Закревский постарался придать делу политическое направление. «По высочайшему повелению» Павлова высылают в Пермь.

События 1853 года нельзя рассматривать как эпизод: это закономерный результат общественно-литературной деятельности Николая Филипповича Павлова и в определенной степени ее кульминация. По политическому обвинению писатель в течение целого года находился в тюрьме и ссылке, так как упоминание имени Белинского было под запретом [1]. Павлову и его друзьям стоило немало трудов перевести дело из политического в гражданское. Лишь по ходатайству влиятельных придворных через императрицу Николай I «помиловал» писателя.

---

[1] Имя Белинского впервые открыто названо в печати лишь после смерти Николая I в 5-й статье «Очерков гоголевского периода» Чернышевского в 1856 году.

Во второй половине 50-х годов Павлов был связан с либерально-дворянским кружком А. В. Станкевича, куда входили Н. Х. Кетчер, Б. Н. Чичерин, Ф. М. Дмитриев. Бывал здесь и Л. Н. Толстой.

Критические работы Николая Филипповича 1856—1859 годов по-прежнему отличаются глубиной анализа, острой постановкой актуальных общественных проблем. В основном они были опубликованы в журнале «Русский вестник». Помещенная здесь большая статья — рецензия Павлова на комедию В. Соллогуба «Чиновник» (1856) — имела шумный успех и вызвала сочувствие как либеральной части общества, так и революционных демократов — Добролюбова и Чернышевского. Высмеивая позицию главного героя комедии Надимова, критик убедительно доказывает, что тот лишь на словах обличает общественные пороки, весь соткан из слов и, «кроме слов, слов и слов», в этом образе ничего нет. Оттого и борьба со взятками, по мысли автора, есть дело пустое, ибо они «не причина, а следствие, не болезнь, а один из ее признаков».

«Его разбор,— пишет об этой статье Чернышевский,— получает новое достоинство: в нем приобретает русская литература прекрасный пример истинной художественной критики, понятия о которой так затемнились после смерти Белинского».

В большой статье «Биограф — ориенталист», вышедшей в «Русском вестнике» в 1857 году, Павлов дает высочайшую оценку деятельности прогрессивного русского ученого-историка Т. Н. Грановского, пишет о высокой просветительской миссии русской литературы, которая «беспрестанно указывает на наши раны».

Одобрительно была встречена передовой критикой и статья Павлова «Вотяки и г. Дюма» (1858), в которой Николай Филиппович отдает дань таланту популярного в России французского писателя, высказывая при этом свои заветные мысли о целях и задачах литературы; он упрекает Дюма в том, что «легкость чтения» его романов воспитывает «умственную лень» и «праздность сердца», тогда как задача искусства — «будить мысль», заставлять работать сознание и душу читателя.

В том же году в статье «Статский — армейцу» Павлов смело защищает позиции «Военного вестника», редактируемого Чернышевским, и осуждает царящие в армии порядки. Цензура не пропустила статью, и она была издана Герценом в Германии (это обстоятельство, видимо, послужило основанием для Закревского, чтобы охарактеризовать писателя III-му отделению как «готового на все», «корреспондента Герцена»). В работах, написанных Павловым в конце 50-х годов, заметны оппозиционные, либерально-дворянские мотивы.

Переход писателя в лагерь открытых противников революционной демократии обычно связывается с выпуском в 1860 году газеты «Наше время», редактором которой стал Павлов. Однако и эта дата не совсем точна. Активным приверженцем официальной идеологии он становится лишь два года спустя (с 1862 года), когда его газета оказывается под контролем министра внутренних дел П. А. Валуева. С последним Павлова связывали определенные обязательства. Принимая их на себя, писатель добивается тем самым привилегированного положения для своей газеты как правительственного органа.

«Наше время» вступило в конкуренцию с другой газетой официального направления — «Московскими ведомостями»

М. Н. Каткова, что послужило предметом бесчисленных насмешек со стороны демократических изданий. Та ожесточенность, с которой прогрессивная литература обрушилась на газету Павлова, объясняется открытым, сознательным и, как многим казалось, неожиданным переходом издателя в стан бывших противников. Однако консервативные тенденции и раньше уживались в мировоззрении Павлова с либеральными. Непримиримый противник Николая Филипповича — писательница Ростопчина еще в 1857 году адресовалась к Павлову в сатире «Дом сумасшедших» по поводу усмирения бунта крестьян в имении Мурмино:

«Ты жандармскую природу
злою местью удивил.
Братство, равенство, свободу
на спине рабов явил».

Теперь же эпиграммы на Павлова, его газету «Наше время», ее сотрудников начали печататься на страницах «Колокола» Герцена, «Свистка», «Искры», «Современника». Их авторы — известные поэты-сатирики, демократы: Н. Курочкин, Б. Адамантов (Б. Алмазов), Д. Минаев и другие.

И все же позиции последних лет деятельности Николая Филипповича Павлова нельзя рассматривать как однозначно официальные. С одной стороны, его статья «О возмутительных воззваниях» была замечена и одобрена самим царем, в работе «Чернышевский и его время» Павлов пытается доказать, что идеи Чернышевского, как и вся его практическая деятельность, бесполезны и неприменимы в России. С другой стороны — «неожиданный» вывод в той же статье: «Да, заслуга Чернышевского и велика и несомненна. Он точно принес себя в жертву общественного сознания...»

«Жертвой» трагических противоречий российской действительности являлся и сам Павлов, которого из демократически настроенного крепостного интеллигента в молодости судьба превратила в охранителя официальных идей к концу жизни.

Газета «Наше время» не пользовалась популярностью и уже в 1863 году прекратила существование. В это же время, и всего за год до своей смерти, Павлов начинает издавать газету «Русские ведомости» [1].

В 1864 году Н. Ф. Павлов скончался от болезни сердца.

Николай Филиппович Павлов, как это видно,— писатель разносторонний и сложный: оценка его жизни и деятельности не может быть однозначной. Однако время показало, что его творчество, вписавшееся в гоголевский период русской литературы, навсегда запечатлелось в ней своими неповторимыми образами, своей мерой реализма.

И хотя в небольшой статье трудно воссоздать в полном объеме облик русского литератора такой сложной судьбы, можно надеяться, что сами труды писателя, проникнутые сочувствием к простым людям, приоткрывающие взору читателя острые социальные конфликты современности, дышащие живым, естественным чувством справедливости и добра к человеку, верой в его лучшие качества, найдут отклик в сердцах людей.

Л. М. Крупчанов

---

[1] Эта газета благодаря своему либеральному направлению и дешевизне просуществовала до 1917 года.



DOMESTICA FACTA

(ДОМАШНИЕ ДЕЛА)



Н. В. Чичерину

Тебе понятна лжи печать;
Тебе понятна правды краска;
Я не умел ни разу отгадать,
Чтó в жизни быль, чтó в жизни сказка.

ИМЕНИНЫ

Jul.
What's in a name? that which we call a rose.
By any other name would smell as sweet.
Rom.
My name dear saint, is hateful to myself.

Shakespeare «Rom and Juliet».[1]

Когда-то я познакомился с одним семейством, которое, по воле судьбы, рано сошло со сцены. Смерть застала его по разным углам России, и воспоминание о нем сохранилось, может быть, только у меня в сердце. Муж умер от холеры в Бессарабии, жена исчахла в саратовской деревне, а малолетний сын скоро последовал за родителями, на руках у какой-то оренбургской помещицы. Я не назову своих отживших знакомцев, потому что с их именами не соединяется память об услуге человечеству, о мысли, завещанной ему в наследство. Они прошли мимо как люди обыкновенные; они были, их нет: вот книга их бытия.

Но провидение, испестрившее природу красноречи-

---

[1] Джульетта. Что в имени? То, что мы называем розою, пахло бы также приятно и под другим именем.

Ромео. Мое имя, милый ангел, ненавистно мне самому.

Шекспир. «Ромео и Джульетта» *(англ.)*.

вым разнообразием, отметило каждое существо особенными чертами: потому-то человек везде равно достоин внимания, потому-то в жизни каждого, кто бы он ни был, как бы ни провел свой век, мы встретим или чувство, или слово, или происшествие, от которых поникнет голова, привыкшая к размышлению. Приглядись к мирному жильцу земли, к последнему из людей: в нем найдешь пищу для испытующего духа точно так же, как в человеке, который при глазах целого мира пронесется на волнах жизни из края в край, кого закинут они на высоту бессмертного счастия или сбросят в пропасть бессмертных бедствий. Сильный характер обнаруживается часто в тесном кругу, под домашнею кровлей; причудливый случай выбирает иногда жертву незаметную, и его поучительные удары падают без свидетелей, посреди тихого семейного быта, как падает молния на путника, застигнутого бурею в безлюдной степи.

N. был человек лет тридцати, когда я встретился с ним в первый раз. Он только что женился. Трудно и почти невозможно передать словами тот угар счастия, который туманил тогда его голову. Он видел в жене и друга, и любовницу, и цель жизни, и, наконец, все, что привязывает нас, что веселит глаза и увлекает душу. Молодая, резвая, милая, она, казалось мне, остановила также свои желания на одном муже и искренно отдалась ему. Его просвещенный ум, образованная жизнь понравились мне, и я старался сблизиться с ним. Человек в минуту упоения всякому рад, всякого принимает в свои теплые объятия. N. проводил охотно со мною время, и мы, говоря по-светски, подружились. Часто я бывал у него и всегда с некоторою завистью любовался картиною семейного блаженства. Муж и жена, как нарочно созданные друг для друга, жили один другим. Каждому достались на часть и ум, и любезность, и независимость состояния. Смотря на них, я думал: «Вот нелицемерная дружба, вот неприторные ласки, вот неподдельная веселость!» Мне помнится, что в то время я желал только одного: такой же себе жены, как жена моего приятеля; мне помнится, что в то время я не променял бы такой жены ни на уверенность в бессмертии моего имени, ни на генеральский чин. N. рассказывал мне подробности своей женитьбы: как он встретил в Саратовской губернии девушку, воспитанную просвещенными родителями,

влюбился и понравился; как он был предметом первой любви, первых восторгов ее младенческого сердца, неповинного в столичной суете. N. говорил мне беспрестанно о своем намерении оставить службу и поселиться в деревне с книгами и женою. Этот образ жизни почитал он самым покойным и приятным: это была его любимая мечта. Наконец для исполнения своего предприятия он отправился на короткое время в Петербург хлопотать по разным делам, а жена поехала с своей теткой в деревню, куда, по окончании дел, и он должен был переселиться. Мы расстались; я не видал его года полтора и полагал, что никогда не увижу.

Однажды я сидел в театре и, с нетерпением ожидая конца, зевал без цели по сторонам, как вдруг входит в одну ложу человек, которого лицо поразило меня: черты знакомые... всматриваюсь... это N. Он пустился в длинный разговор с одною дамой, и я долго понапрасну старался привлечь его внимание. Однако ж он увидел меня, сошел в кресла. С каким любопытством, с каким удовольствием бросился я к нему. Он приметно обрадовался мне; но это была радость степенная, радость человека возмужалого. Разумеется, я предложил ему кучу вопросов, на которые он отвечал отрывисто, что три дня как переехал совсем в Москву, что в деревне жить невозможно: одни соседи замучат. Я расспрашивал о жене, но он не очень распространялся о ней. Можно судить о моем удивлении. Мы условились, чтоб я у него обедал на другой день, и разошлись. Он поспешил в ту же ложу любезничать с известною красавицей. В его походке я заметил перемену: он хромал немного.

Опять явился я в этом доме, который некогда заставил меня размечтаться о семейной жизни, о милой жене, о согласии двух сердец; опять вошел в этот храм, который некогда освещался яркими лучами радости, где каждый звук, долетавший до моего слуха, был отголоском очаровательной любви. Я нашел все по-прежнему: те же ковры, те же цветы, ту же бронзу; попрежнему хозяйка встретила меня; но лучшая роза потеряла уже весеннюю свежесть: уныло смотрела она; ее шаги были медленны; алые щеки побледнели. Поднялся занавес, и два супруга разыграли передо мной второе действие судьбы своей. Тут я не видал более равенства между ними; они разучились уже угадывать друг у друга мысли, предупреждать желания;

тут в каждом слове, в каждом взгляде муж напоминал, что он глава жены. Неисцелимое равнодушие к ней проглядывало во всех его поступках, во всех мелочах, и я убедился, что нет в природе мускуса, который продолжил бы жизнь умирающей любви; нет зажигательных стекол, которые снова запалили бы охолодевшее сердце мужа. В обхождении с женою N. свято хранил наружные условия светского воспитания, но в каком нравственном унижении держал ее! Что б ни сказала она, он возражал на все. Его возражения были учтивы, но под этой учтивостью скрывалась почти всегда язвительная насмешка. Хотела ли жена сделать новое платье, поехать на вечер — муж не противился, но с удивительным красноречием нападал на женскую суетность, на женское неблагоразумие. Вмешивалась ли жена в разговор, он пускался в рассуждения о приличиях, об уме и вежливо, но немилосердно доказывал, что женщинам неприлично говорить, что они не умеют порядочно говорить ни о чем. Как часто она отшучивалась от его нападений, желая, по-видимому, уверить меня, что все это не от сердца, что он тот же и любит ее по-прежнему!.. «Признак слабого,— думал я,— когда он борется с сильным».

Словом, внимание, нежность и все добродетели, приличные ее полу, не могли уже воротить прошедшего. Такая разительная перемена, хотя я видел в ней естественный ход страстной любви, возбудила все мое любопытство. Чем более я сближался с N., тем откровеннее он становился со мною; однако ж в наших беседах никогда не касался жены, как будто она не существовала. Он хромал, и когда я спросил, отчего, то получил в ответ: «пуля...» — и только.

Много времени прошло с его приезда в Москву, как однажды мы заговорились с ним наедине до глубокой ночи. Речь зашла о прекрасном поле. Он воспламенился, что бывало редко; слова полились рекою с его языка, и на лице изобразилось негодование. Я еще вижу его горькую улыбку, когда он сказал мне: «Только малодушный и неопытный может ожидать истинного счастия от женщины; женщина должна быть минутною забавой; кто же смотрит на нее другими глазами, кто полагает найти в ней какое-то существо чистое, возвышенное... тот жалко ошибается. Она так слабо сотворена, что у ней недостанет силы прожить целый

век с одним чувством, с одною целью. Она всегда под чужим влиянием, а как положиться на того, в ком нет самостоятельности! Женщина любит страстно и, пожалуй, выйдет замуж за другого, потому что ее могут уговорить и бабушка, и маменька, и тетушки. Женщина умна, но никогда не бывает умна простодушно: ей все хочется блеснуть, озадачить. Женщина ласкова, добра, но до того, что надоест. Ей семнадцать лет: она резва, прекрасна; думаешь, что все помышления ее невинны, как голова младенца, что это чистый ангел, едва слетевший на землю, которая не успела еще запылить его белых крылий; а семнадцатилетний ребенок уже влюблен, умеет уже утаить свою любовь, умеет, не краснея, поклясться в вечной верности не тому, кого любит. О, я на этот счет разочарован... женщина, трюфли и шампанское — все равно!..»

С этими словами он отпер ящик в письменном столе, вынул небольшую тетрадь, подал мне и, засмеявшись, прибавил: «Возьми, прочти, тебе пригодится: тут описано одним моим приятелем довольно странное приключение».

Я сохранил рукопись, полученную мною от N.

Вот она:

«Кто проезжал Рязань, тот, верно, знает Степана Никитича; тот, верно, останавливался у него и слыхал, как он хвастает своею мадерой. Живо я помню эту грязную осень, этот мрачный вечер, когда ни одна звезда не теплилась на небе и когда почтовые лошади едва дотащили меня до ворот рязанской гостиницы. Я был мученик нетерпения! Мне хотелось переменить время года, переправить дороги, сделаться чародеем, чтоб долететь скорее в объятия обожаемой жены! Как я суетился, чтоб немедля пуститься в путь, как крепко стоял против всех обольщений Степана Никитича, заверявшего, что у него есть и бифстекс, и котлеты, и мадера из Петербурга. Но на станции не было лошадей. Я послал отыскивать вольных, хотя извозчики и слуги твердили, что за Рязанью нет проезда, что надо переночевать. Эти убеждения мало действовали на меня, однако поневоле должно было дожидаться. Я расположился ужинать, мечтая о конце моего путешествия.

Не прошло десяти минут, как из соседственной комнаты послышались звуки гитары и мужского голоса. Ах, какого голоса!.. Страстный к музыке, я боял-

ся пошевелиться на диване, чтоб не проронить ни одной ноты. Кто-то пропел сперва несколько куплетов из баллады:

Зачем, зачем вы разорвали
Союз сердец?

Потом:

Погасло дневное светило...

Ночь, мечты любви, заунывное расположение духа — все поселило во мне мысль, что светлые, пламенные звуки выливались из сердца, теснимого глубокою печалью. Я тихо подкрался к двери, чтоб посмотреть в замо́к на незнакомца, и мне удалось. Он сидел, развалившись на софе; большие голубые глаза устремлены были в потолок; длинные русые волосы падали в беспорядке на широкий лоб, на котором лежал большой рубец, по-видимому признак сабельного удара; правая рука была подвязана; в левой он держал гитару. На нем был военный сюртук; в петлице висел георгий.

Всякий догадается, что мне захотелось познакомиться с занимательным офицером. На вопрос мой: кто это? — мне сказали: проезжий штабс-ротмистр С. Фамилия происходила от собственного имени. Я велел попросить у него позволения войти к нему, но он предупредил меня и явился сам. Это был мужчина средних лет, высокого роста, стройный станом. Цвет лица его носил на себе грубые следы непогоды и жаров, но черты были выразительны. Передо мной стоял недюжинный человек. Я осыпал его приветствиями искренно, от полноты чувства, внушенного пением; он жал мою руку и улыбался с приметным удовольствием. Но с первого раза мне показалось, что он неразговорчив и язык его не имеет светской гибкости. Так как объяснения дорожных людей заключаются сначала в ответах на вопросы: куда?.. откуда?..— то я узнал, что он едет из действующей армии и что ему нужно побывать в Тамбове, в Саратове да в некоторых других городах. Нам хотя недалеко, но предстоял один путь; мы условились отправиться вместе, и он охотно согласился заехать по дороге ко мне в деревню, куда я торопился к именинам жены... «О, как она обрадуется,— думал я,— такому гостю, она — певица в душе!..» Мы сели ужинать; бутылки две доброго вина принесены были из моей коляски, а Степан Никитич подкрепил их своим шампанским. Воображение наше разыгра-

лось, язык стал вольнее. Чудный незнакомец осветил мою душу и пленительным голосом, и мужественною наружностью, и военными похождениями, которых краткую историю читал я на его белом кресте, на рассеченном лбу и на подвязанной руке. Он заговорил о музыке и о войне, глаза его сверкали вдохновением, а стакан опустошал бутылки. Я заметил, что мой ласковый, дружеский прием сильно подействовал на него; он стал веселее, и тогда я приписал это доброте сердца; теперь бы объяснил себе такую веселость простее, удовлетворенным самолюбием. Тогда я был молод, счастлив!

Хвастливость не проглядывала в речах офицера, но смелые выражения обнаруживали необузданность чувств. Он глядел каким-то бестрепетным соседом смерти, и его пламенный взгляд мог бы потрясти недоступную красавицу. В нем все было перемешано: и смерть и жизнь, и музыка и штыки. Когда я по русскому обычаю вздумал спросить: не родня ли вам такой-то ваш однофамилец? — то он с злобною улыбкой сказал мне: «Вы не знаете моей родни, да и черт ли вам в ней?» Разумеется, что после этого ответа я оставил его родню в покое. Но вино развязало и мой язык. Чародейная сила шампанского вечно переносит нас к предметам нашей нежности. Я под шум музыки и войны явился на поприще разговора с сердечным счастием, с семейной жизнию, с милою женой; но едва успел произнести несколько слов об очарованиях супружеской любви, как на лицо моего собеседника набежало мрачное облако задумчивости. Он хлопнул стаканом о стол и начал беспокойно ходить по комнате.

— Что с вами сделалось? — спросил я.

— Ах, не напоминайте мне о любви и о жене... я также любил,— отвечал он,— да...

Тяжкий вздох вырвался из его широкой груди, и он замолчал. Любопытство подстрекало меня. Я не стану распространяться о всех моих уловках, чтоб заставить его говорить, и до сих пор не знаю, что было причиною откровенности. Я ли внушил доверенность, вино ли высказало тайну, или он потому не скрыл ее, что никого не боялся?

Он закричал: «Шампанского!» — схватил недопитый стакан, бросился на диван и, крутя левою рукою красивый ус, начал рассказывать почти следующим образом:

«Когда я родился, то ни одна словоохотная цыганка не смела бы предсказать, что этот сюртук будет на моих плечах и этот крест на моей груди. Няньки не ухаживали за моим младенчеством, не убаюкивали моей колыбели, и мать моя не приходила в ужас, когда я бегал по грязи босыми ногами. Не это вино назначено было (и стакан дрожал в его руке) развеселять мою голову, и если б я послушался своей судьбы, то не с вами бы садиться мне за ужин.

На медные деньги учили меня грамоте; но я учился прилежно, потому что страстная охота петь припала ко мне с самого ребячества и чин дьячка сделался границею моего честолюбия. Я не пропускал ни одной службы в приходской церкви, важно выступал со свечою перед выносом, визжал громче всех в простонародном хоре и бормотал вслух молитвы при окончании обедни. Недолго дали мне расти в кругу этих скромных наслаждений: меня отняли от приходской церкви, от отца и матери. Этому давно; но даже и теперь навертываются иногда слезы на моих глазах, если случится мне хорошо припомнить, как я тогда плакал.

В один день — он был звезда моей жизни, второе рождение мое, театральный свисток, по которому меняется декорация,— в один день мне осмотрели зубы и губы; по осмотру заключили, что я флейта, отчего и отдали меня учиться на флейте. Я плакал, но ни одно сердце не откликнулось на беззащитный плач мой, никто не прижал ребенка к теплой груди и не постарался ласками отереть его слезы.

Меня готовили в куклы для прихотливой скуки, для роскошной праздности, но музыка спасла своего питомца. Ей я всем обязан: она разорвала связь у минуты рождения с годами жизни и приворожила ко мне сердце женщины, которая была бы недоступна для меня, как скала Кавказа для казацкой лошади.

Правда, что музыка чуть не превратила моей головы в расстроенный инструмент, моих мыслей — в фальшивые ноты; но на краю погибели, на краю человеческого отчаяния она же подавала мне утешения, не подвластные никакому горю и ничьему произволу. Я пел, стоя у людей в задней шеренге; я скитался без приюта и пел, глодал черствый хлеб и пел... Ах, покуда струна, покуда голос будут потрясать воздух, до тех пор половина меня может страдать, но другая все будет наслаждаться! Поневоле я стал учиться на флей-

те, но скоро пристрастился к ней; музыкальные способности развернулись во мне.

Много лет прошло, как мало-помалу я начал знакомиться с известными артистами в Москве, бросил флейту, оказал большие успехи на скрипке и на фортепьяно... Наконец пение сделалось моим исключительным занятием.

Любители музыки дорожили моим дарованием, звали на квартеты, заставляли петь; но в их глазах я был только музыкант... певец... или, лучше сказать, машина, которая играет и поет, к которой во время игры и пения стоят лицом, а после поворачиваются спиною. Меня хвалили, и эта похвала пахла милостью; мне удивлялись и, в знак высокого одобрения, трепали по плечу; меня называли гением, но так равнодушно, так спокойно, что, видно, никому не хотелось на мое место, видно, всякий думал: «Ты гений, да дело не в этом!» Меня превозносили до небес, но так искренно, так обидно, как превозносит человек все, чему не завидует, как он рад прийти в восторг от того, кого считает ниже себя.

Я начал давать уроки и этим средством добывал деньги. Случай завел меня к одному молодому человеку; он не походил на других. Фанатик музыки, пламенный поклонник искусства, он преимущество дарования ставил чуть ли не выше всех преимуществ; он меня, выброшенного из числа людей, которых можно назвать, меня, музыканта, сажал за обед рядом с каким-нибудь коллежским асессором. Признаюсь, что его обращение показалось мне сначала дико: я еще не привык к этому. Ему не было дела до того, что́ я, откуда я; он обходился со мною, как с другими, и от этого часто приводил меня в краску. Мне было ново, неловко, когда он при гостях заводил со мною разговор или просил садиться... Верьте, что не сметь сесть, не знать, куда и как сесть,— это самое мучительное чувство!.. Зато я теперь вымещаю тогдашние страдания на первом, кто попадется. Понимаете ли вы удовольствие отвечать грубо на вежливое слово; едва кивнуть головой, когда учтиво снимают перед вами шляпу, и развалиться на креслах перед чопорным баричем, перед богачом? Молодой человек, мой благодетель, полюбил меня как равного, как друга. Я все время, которым мог располагать, проводил у него. Он дал мне средства совершенствовать мой талант, заставлял ме-

ня читать книги, приучил говорить по-человечески, не краснея, не думая, что я не стою чести, чтоб со мной разговаривали. Словом, он пересоздавал меня, счищал ржавчину с моего ума и с моей души.

Жадно я хватался за книги; но удовлетворяя моему любопытству, они оскорбляли меня: они все говорили мне о других и никогда обо мне самом. Я видел в них картину всех нравов, всех страстей, всех лиц, всего, что движется и дышит, но нигде не встретил себя! Я был существо, исключенное из книжной переписи людей, нелюбопытное, незанимательное, которое не может внушить мысли, о котором нечего сказать и которого нельзя вспомнить... Я был хуже, чем убитый солдат, заколоченная пушка, переломленный штык или порванная струна...

У всякого есть год, есть день, в который судьба прочитывает решительный приговор его остальной жизни, осмеивает теплую веру в легкомысленные надежды или дает им живой образ: то наряжает их в женщину, то подносит в мешках золото. У всякого в жизни, как в горячке, есть перелом, двенадцатый день, свое домашнее Ватерлоо... И у меня был такой год, такой день.

Человек, от которого я зависел, отправился на житье в одну губернию, с намерением исправить там хозяйство в своей деревне и увеличить доходы; в той же губернии, в том же уезде находилась и деревня моего благодетеля. По соседству, мне позволено было жить у него: я уже пользовался некоторою свободой.

Мы помчались туда, на крутой берег Волги, и музыкальные предприятия роились в наших головах; но, не знаю отчего, мысли мои сделались мрачнее, и звуки родных песен стали ближе, понятнее моему сердцу, чем сам бессмертный Моцарт.

Мой брат по музыке имел в деревне много соседей, познакомил меня с иными, расхвалил мои дарования, а потому я тотчас вошел в большую честь у тех, которые не знали, что делать с пальцами и голосом дочерей, и у кого фортепьяно было совершенно мертвым капиталом. В качестве приезжего музыканта из Москвы я сделался деревенским учителем, и, признаюсь, в деревнях мне оказывали более почета, чем в столице: конечно, только оттого, что мой покровитель никому не рассказывал моей истории и не было нужды в этих объяснениях. К тому же его обращение со

мною придавало мне невероятный вес. Все шло хорошо, однообразно.

Однажды пригласили меня в ближнюю деревню к одной почтенной старушке, чтоб аккомпанировать какой-то приехавшей барышне. Я занемог немного, и мне не хотелось; но уговорили, уверили, что я отказом испорчу праздник. Это был день именин старушки, и внучка ее должна была непременно петь при пестром собрании гостей.

Важность обстоятельства убедила меня. Я, перемогая нездоровье, оделся понаряднее и отправился...

Заметьте, что я уже умел довольно смело предстать пред многочисленное заседание гостиной. Когда я говорю «довольно смело» — это значит, что я уже ходил не на цыпочках, что я уже ступаю всею ногою и ноги мои не путались, хотя еще не было в них этой красивой свободы, с которою я теперь кладу их одна на другую, подгибаю, шаркаю и стучу... Я мог уже при многих перейти с одного конца комнаты на другой, отвечать вслух; но все мне было покойнее держаться около какого-нибудь угла; но все, желая пощеголять знанием светской вежливости, я к каждому слову прибавлял еще: *с*.

Как весело взошло солнце в этот день!.. О!.. Я только теперь чувствую, как хорошо его запомнил!.. Он тут, он весь тут (и здоровою рукою офицер бил себя по лбу), со всеми подробностями, со всеми мелочами!.. Мне кажется, я еще помню каждую струю Волги, каждый цветок, все лица, все звуки, все, на что я тогда взглянул или что услышал. Я могу пересказать вам этот день с такою же утомительною точностию, с таким же убийственным исчислением и слов и обстоятельств, с каким женщины пересказывают свои вчерашние разговоры или наряды, а старухи свои сны.

Светлый, прекрасный день, каких мало под нашим небом!..

Я ехал по нагорной стороне Волги. Она, подернутая лучами солнца, присмирела тогда в неровных берегах... тихо катилась, как будто бессильный ручей! Кой-где крестьянские ребятишки играли по ней в своих *челноках*... ни одной волны, ни одной быстрой струи... О, как я любовался нашей Волгой! Прохладный ветер обвевал меня! Что-то душистое было в воздухе, что-то очаровательное на этой громаде воды, на этом море зелени по луговой стороне! Верно, природа,

как помещица, к которой я спешил, праздновала свои именины. В эту минуту я был более человек, более музыкант, чем когда-нибудь. Мне хотелось петь, я чуял вдохновение... но этот порыв внутреннего жара недолго подстрекал мои способности. Я доехал, наконец, туда, где по общему правилу должен был встретить столько грубых ушей, столько безответных душ, должен был превращать allegro в andante и adagio в allegro, то оттягивать, то гнаться в погоню за пискливым голосом какой-нибудь деревенской барышни. Мученическая должность учителя приучила меня к равнодушному, к ангельскому терпению, и с поникшей головой я был уже готов на жестокое испытание.

Передо мной промчалась к крыльцу коляска в шесть лошадей. Мне также хотелось подъехать за нею, но на террасе перед домом стояли гости, и у меня недостало душевной силы на такой отважный поступок. При подобных случаях какой-то досадный голос напоминал мне: «Коляска и ты — разница». Я оробел, оставил свой экипаж у околицы и прокрался в дом, не будучи замечен. В передней ожидала меня беда: должно было докладывать обо мне, и мне пришлось входить одному. Вы можете судить, что происходило в моем сердце, но волею-неволею надобно было решиться. Долго я поправлял волосы, отряхал пыль, наконец вошел, разумеется, немножко боком и держался к стенке. По счастию, картина, поразившая меня, придала мне бодрости.

Много набралось туда деревенских соседей и соседок, но какой-то оригинальный беспорядок царствовал в этой толпе. Беспорядок был во всем: и в платьях, и в положениях, и в лицах. Свободная, беспечная жизнь полей с своею дикостью, с своей небрежностью, с своим своевольством отражалась в зеркале этого общества. Кой-где мелькало женское жеманство, кой-где проглядывало лицо, как будто упавшее с неба. Тут завитые усы, там нечесаная голова, тут жилет, опутанный золотою цепью, там неглаженое платье, но тут же и чепчик из Москвы с Кузнецкого моста, тут же ловко стянутый стан и великолепно взбитые волосы. Я подумал: «Нечего робеть» — и подошел к хозяйке.

Достаточно дряхлая старушка сидела в креслах, положив ноги на скамейку; перед ней лежала вышитая по канве подушка, которую она показывала усевшимся около нее барыням, и приметное чувство гордости,

смешанной с удовольствием, одушевляло на время ее улыбку, ее безжизненные глаза.

— Это мне подарила Александрина,— повторяла она, важно поворачиваясь то на ту, то на другую сторону.

Я успел уже ей три раза поклониться и, вероятно, по милости подушки долго бы продолжал кланяться, если б какая-то молодая девушка, которую я в замешательстве не разглядел порядочно, не толкнула ее и не шепнула ей чего-то на ухо, вероятно обо мне, потому что она тотчас обернулась, а вместе с нею и все почтенное заседание, приподнялась на креслах и сказала:

— Ах, это вы, батюшка; покорно благодарю, что пожаловали; я об вас много наслышалась от Владимира Семеновича; говорят, вы большой музыкант, а ко мне приехала погостить музыкантша, внучка моя... Сашенька, поди сюда!

И та, которую, конечно, звали Сашенькой, подошла. Признаюсь, мне было не до Сашеньки: все глаза уставились на меня, и я горел, как на огне; однако ж я робко возвел мои очи на внучку, и сердце мое шепнуло мне: «Она должна хорошо петь».

— Рекомендую вам внучку мою,— продолжала старушка,— уж такая охотница до музыки!.. Прошу ко мне почаще жаловать: вы будете с нею петь; ей надобно же не забывать, чему училась. А где Владимир Семенович? Что же он не с вами?

— Он поехал по делам в город,— отвечал я,— может быть, сегодня вечером воротится.

— Ах он, злодей,— сказала она,— совсем бросил старуху; я с ним за это побранюсь; он вами не нахвалится. Не хотите ли, батюшка, взглянуть на подарок, какой сделала мне сегодня Александрина? — И с этим словом она протянула обе руки с несносною подушкой...

«Скоро ли ты отпустишь меня?» — думал я и между тем пристально смотрел и неловко кланялся и шевелил губами, как будто расхваливал ненаглядный подарок. Наконец старуха унялась, проговорила: «Милости просим садиться»; ее гости перестали мерить меня с головы до ног, потому что кто-то еще приехал; я сошел с выставки и перевел дух.

Когда я отдохнул от замирания стыдливости, то вспомнил тотчас свой первый взгляд на Александрину и ее первое впечатление на меня.

«Она должна хорошо петь»,— вот все, что мелькнуло мне в ней. По естественному порядку своих музыкальных мыслей, я из угла комнаты начал разглядывать это существо, которое должно хорошо петь.

Я не скажу вам, что она понравилась мне, не могу этого сказать: с словом *нравиться* соединяется какая-то мысль о равенстве, а Александрина так далеко стояла от меня в гражданском быту, что я не догадался бы вдруг, если б в самом деле она понравилась мне. Нет, это чувство при первой встрече с нею не могло заглянуть в мою душу, в которой от унижения так много было робости. Я смотрел на нее, как на картину, которая не продается, которую нечем купить; как на ноты, по которым предсказывал себе волшебное согласие их звуков; смотрел не как человек, а как музыкант.

Однако ж я разглядел эти голубые глаза, полные какой-то мечтательной жизни, эти щеки, где играл тонкий румянец весны, и живописную нестройность белокурых волос, и легкий стан, и быструю ножку. На ней было белое платье, за голубым поясом пук цветов; она то и знай подбегала к бабушке, потому что та беспрестанно ее кликала.

Будь я тогда тем, что теперь, я прочел бы на лице Александрины, в ее походке, в ее словах это простодушие неопытного сердца, чистого, как снег на головах Эльборуса; эту смелость невинности, которая не боится завтрашнего дня, потому что не знает еще, чего бояться; эту теплоту души, которая не устала ни от любви, ни от горя, ни от радости... Вот что представилось бы моему воображению, если б я был тем, что теперь; но нет, тогда все эти мысли я выразил для себя иначе. Я подумал только: «Как она должна быть добра!»

Между тем как я рассматривал юную музыкантшу, рука моя невольно поправляла галстук, или, сказать по-русски, я невольно охорашивался. Отгадайте причину человеческих движений! Старуха опять что-то заговорила со мной, но ее красноречие было прервано водкой и громким возгласом: «Кушать поставили».

Я сидел бы за обедом, как в пустыне, потому что никого не знал, если б не попался мне в соседи какой-то любитель музыки: он замучил меня своей музыкальной историей, рассказывал, как выучился на скрипке и на чекане, как составил оркестр из дворо-

вых людей, чего ему это стоило, как ему нравится h-мольный концерт, который он учит, и, наконец, звал меня к себе. Скучно было его слушать, но по крайней мере он был мне за столом поддержкою. Все молчать в кругу незнакомых было для меня то же, что громко говорить при всех.

Мирно обедал я вдали от хозяйки, на унизительном краю стола; и по какой-то особенной сметливости слуг каждое блюдо подавали мне последнему, отчего и случилось, что из множества раков мне достался один, а спаржу, салат и клубничный пирог я видел только в почтительном расстоянии. Но эти маловажные обстоятельства не в силах были раздражить моей щекотливости. Для нее готовилось другое истязание, получше, подействительнее. Недалеко от меня сидел какой-то господин с молчанием на устах, с унынием на лице, худощавый и по виду пречувствительный. Под конец уже обеда развязался его язык, и он начал с кем-то разговаривать через стол. Я не обращал туда никакого внимания, завоеванный моим соседом, как вдруг мое сердце забилось, лицо вспыхнуло, и глаза остановились, прикованные к этому худощавому чувствительному человеку. Чуткий слух мой поймал его слова:

— А я сегодня обработал славное дело: продал двух музыкантов по тысяче рублей штуку.

Сосед мой заметил мне на ухо:

— Тотчас видно не музыканты! Я ни за одного из своих и по две не возьму.

Вы понимаете, что́ я чувствовал, чего мне хотелось; но не то было время. Теперь я не посоветовал бы так распространяться при мне про́ домашние дела своего оркестра, а тогда я мог только покраснеть, задрожать и с тоскою глубокого оскорбления взглянуть на другой конец стола, туда, на милую Александрину, как будто затем, чтобы в ее добрых, человеколюбивых чертах найти защиту от обиды, чтоб утешиться, чтоб помириться с людьми, увидев на ее благородном лице: она не скажет этого, она не продаст музыканта! Да, это было так.

(Слезы навернулись на глазах офицера; он встал, прошелся по комнате и, наливая в стаканы шампанского из третьей бутылки, продолжал.)

Обед кончился, как кончаются все обеды: наелись, нашумелись и встали. Долго не мог я собраться с ду-

хом после жестоких слов; невольно задумывался, не находил нигде места, а худощавый человек все вертелся около меня и даже, узнавши, что я музыкант, подлетел беседовать со мною.

В этом мрачном расположении застал меня час музыки. Все разбрелись кто куда попало; я стоял один на террасе, перед которою большой круг был усажен полным собранием цветов. Вдали раздавались пьяные напевы мужиков, пировавших также на именинах у своей барыни. Солнце садилось. Я весь погружен был в мою судьбу, как вдруг явилась передо мной Александрина.

— Не знаю отчего,— сказала она,— бабушке хочется непременно, чтоб я пела; не угодно ли вам посмотреть: что́ бы выбрать? Я никогда не пою при всех и так робею...

Ее слова, ее голос освежили мое воображение; я подошел к фортепьяно; но не успели мы ни порядочно согласиться, что́ ей петь, ни сделать репетиции, как притащилась бабушка, за нею барыни, а там собрались почти все. Мой сосед по обеду, как знаток, расположился за моим стулом, а худощавый человек, будто божие наказание, прямо перед моими глазами. Но тут уже он не в состоянии был оскорбить меня: у нас не было уже ничего общего. Пальцы мои коснулись клавишей, и душа моя перелетела в другой мир, где мы не могли с ним встретиться.

Александрина стояла возле меня и приметно робела; беспокойно поднималась ее грудь, белая, как голубь на солнце. Ах, когда после нескольких аккордов вылетели из этой груди первые звуки, еще дрожащие, еще боязливые,— право, чуть пальцы мои не онемели... ноты исчезли, я обернулся к ней... Знаете ли вы, что такое контральто, это соединение твердости и мягкости, силы и нежности, сладострастия и мужества, которого недостаток так ощутителен в сопрано? Знаете ли вы, что такое голубые глаза и шестнадцать лет... этот блистательный миг в женской жизни, этот лучший аккорд творца, обворожительный, полный, в котором слышно и небо и землю, которому нет подобного ни у Гайдна, ни у Моцарта?.. У Александрины был чистый контральто, не довольно еще выработанный; но ей было шестнадцать лет, но у нее были голубые глаза. Каждую минуту голос ее становился смелее, и сердце мое замирало от упоения!..

Она кончила; зашумели кругом нелепые, заученные восклицания; все хвалили; я один не умел сказать ни слова. Бабушка целовала внучку и вдруг ко мне с вопросом:

— Как вы находите, батюшка, хорошо моя-то поет?

— Прекрасно-с,— отвечал я и злился на себя за холод ответа.

— Теперь ваша очередь,— продолжала старушка и, разумеется, напомнила опять, что она наслышалась обо мне от Владимира Семеновича. Александрина вертелась, не обращая на меня никакого внимания. Я никогда не был так самолюбив, как в эту минуту!.. Сидеть незамеченным, молча, когда все кругом лепетало без связи, без смысла, когда она и не воображала, что я один почувствовал ее!.. Заставить, чтоб она также загляделась на меня, чтоб она также заслушалась,— эта честолюбивая мысль привела в движение все струны моего сердца. Моя стыдливость пропала; для меня уже не существовал никто, ни бабушка, ни сосед, ни худощавый человек, ни вся эта бестолковая толпа: передо мной стояли фортепьяно и Александрина. Не знаю, каково я пел, но она все подходила ближе ко мне, перестала смотреть по сторонам; глаза ее остановились на певце... Ах, чтоб околдовать душу, не надобно говорить, не надобно уметь говорить, надобно петь. Слова — ум, душа — звуки, слова ограничены, как ум; одни звуки так же неопределенны, как душа. Я не стану пересказывать вам толков, которыми осаждали меня мертвые уста моих слушателей: я глядел не на них, я их не слыхал. Александрина задумалась; я наслаждался уже впечатлением, которое было предметом всех способностей моей души; но торжество мое продолжалось недолго. Мне мечталось, что мы равны с нею, что мы жили в царстве музыки... я позабыл, кто я!.. Как вдруг она несмело подошла ко мне, и несколько слов, тихо сказанных ею, так меня образумили, что я покраснел, встал со стула, увидел опять и бабушку, и соседа, и худощавого человека. Александрина сказала мне что-то по-французски: она не думала, что можно хорошо петь и не знать этого языка; она полагала, что я воспитан в ее понятиях, что равенство дарования равняет нас во всем... но ошиблась, но растерзала меня. Не помню, как я отделался от проклятой фразы. Приехал Влади-

мир Семенович; пение возобновилось, я оправился. Александрина говорила уже со мной по-русски, говорила много, говорила сладко. Когда мы с моим благодетелем стали собираться в дорогу, то бабушка отвела меня в сторону, повторила, чтоб я ездил давать уроки ее внучке, и совала мне в руку сколько-то денег. Я не взял. Александрина также звала меня, но, слава богу, не давала денег. Мы поехали. Контральто, голубые глаза и французский язык не выходили у меня из головы: месяц светил на Волгу, но мальчишки не играли уже по ней, и ветер страшно колыхал ее.

Смешно сказать! — я на другой же день присел за французскую азбуку: Владимир Семенович сделался моим учителем. Какие мучения вытерпливал я! Язык мой затвердел от лет; напрасно я переламывал его упрямство: он сохранил характер первого воспитания. Зато ручаюсь вам, что никто не проклинал французов столько, как я!..

Как досказывать вам мою чудную историю? Как передать ее речи, ее взгляды, ее любовь, которая облагородила мое сердце, но заразила его мстительным негодованием, неисцелимым ропотом? Любовь показала мне ясно, лучше, чем все рассуждения, что подо мною не было никого, и сколько надо мною!.. Вы догадываетесь, как часто я видал Александрину. Их дом походил на совершенное уединение: бабушка и она. Часто мы оставались с нею одни; мы пели, и тут спевались сердца наши.

Этот рубец не обезображивал еще моего лба, и лицо мое не было опалено южным солнцем. Я был моложе. Вы не поверите, с какою детской радостью выбегала она ко мне навстречу, когда я приезжал, и каким огнем горели ее глаза, когда я пел!

Ах, истинной привязанности к искусствам надобно искать в поле, в глуши деревень, где роскошь и суета не притупляют чувств, где под необразованной одеждой бьется свежее сердце! Ах, чтоб узнать, хорошо ли вы поете, тлится ли в вас святая искра дарования, надобно, чтоб вы пели не в столице, надобно, чтоб вас слушала шестнадцатилетняя девушка с белокурыми волосами!

Наедине с Александриной я уже не робел, говорил смело; какое-то нелепое чувство равенства с нею заглушало во мне память о моем состоянии. Это был мир музыки, мир страсти. Но, оставляя Александрину,

я переселялся в мир существенный и мерил мысленно необъятное пространство, разделяющее нас.

Тут не было места надежде, тут мне не помогало легковерие человеческое. Никакая мечтательная голова не могла бы построить воздушного замка, где б мы очутились вместе, в объятиях один другого. Тяжкая мысль! Однако же я принимал меры, чтоб вырваться из-под ига судьбы. Я знал, что Александрина не может быть моею; но не мог жить без нее; но был бы несчастнейший из людей, если б она меня не любила; но, кажется, зарезал бы того, кто разлучил бы нас. Дни проходили: каждый был для меня и горе и радость. Нельзя выразить, что я в это время передумал и перечувствовал. Я торопился жить: у меня не было будущего. Мы давно догадались, что любим друг друга, и все не высказывали этого: как будто предчувствие останавливало нас обоих; как будто мы предвидели, что слово *люблю* страшно, что с ним выступят предрассудки, преступления, смерть. Оно было целию, до которой я не желал достигнуть: после не оставалось ничего. Я не мог осуществить мечты любви, так мне хотелось все мечтать, продолжить донельзя это нерешенное положение двух сердец, не сочинять развязки к этой обворожительной драме. Но как удержаться в границах рассудка и сказать себе: ты не пойдешь далее?

Часто, как водится, мы намекали друг другу о нашей тайне. Так, например, я стоял однажды за стулом Александрины, которая читала бабушке «Руслана и Людмилу». Стих: «Пастух! Я не люблю тебя» — она произнесла выразительно, а между тем зажала пальцем частицу *не* и украдкой взглянула на меня. Много бывало таких намеков с обеих сторон, но дошло, наконец, до объяснения.

Однажды я приехал вечером; мы расположились в зале заниматься музыкой; старушка сидела в дальней комнате за пасьянсом. Глаза Александрины были заплаканы, и прежде чем я успел спросить: отчего?..— она сказала печально:

— Вообразите, я должна ехать от бабушки: нам должно расстаться.

Я не помню, что я ей тут отвечал; помню только, что щеки мои пылали; что я держал обеими руками ее дрожащую руку, на которую падали мои крупные слезы, которую жгли мои поцелуи. Она вырывала ру-

ку, и между тем уста ее произносили клятву, что она никого не будет любить, кроме меня; что, кроме меня, не будет ни за кем.

— Что вы сказали? Кому вы поклялись? — говорил я, и кровь останавливалась в моих жилах, и туман застилал глаза.— Ах, вы созданы не для меня: для вас другая дорога, для вас и любовь, и счастье, и цветы, и весна, и весь божий свет; вам ли думать обо мне? Что я? Откуда я?

Александрина заливалась слезами и боязливо, с потупленным взором шептала уверения, которые дышали чистой, бескорыстной страстью, в которых каждый звук был чувство, глубокое, искреннее чувство... Ах! Как она была хороша! Как я был горд в эту минуту!.. Я увидел новую жизнь, новый свет!.. В первый раз отчаянье притаилось в моем бунтующем сердце; в первый раз рассудок перестал мучить меня. Без страха, со всем легковерием любви, со всею бессмыслицей надежды я произнес, наконец, свой приговор:

— Знаете ли, на кого вы смотрите? Знаете ли, кто стоит перед вами? Знаете ли, кому вы поклялись?.. Я — крепостной человек.

Я выговорил смело и оробел. Я вдруг почувствовал, что нет более равенства между нами, и выпустил ее руку.

Не так быстро свалился я с лошади, когда персидская сабля разнесла мне череп, как побледнела моя Александрина и упала ко мне на руку. На этой руке, заклейменной турецкою пулей, лежала она!.. Нежное творение!.. От одного слова не устояла на ногах! Мне нужно было только назвать себя, чтоб испугать самую горячую любовь... Поверите ли? Я без жалости взглянул сперва на ее закатившиеся глаза, на ее помертвелое лицо... Какое-то глубокое презрение к женской слабости охолодило мое сердце. Я сказал слово, но я был тот же... Куда ж девались красноречивые взгляды, алые щеки, эта жизнь первой весны, этот яркий цвет красоты и юности?.. Обморок обидел и меня и любовь.

Но едва мелькнула эта мысль, как я вспомнил, что у меня на руке лежала милая, добрая, чувствительная Александрина, ангел, осветивший мою душу непорочным огнем, источник всех возвышенных волнений моего сердца, моя единственная мечта, мое благородство, моя честь, моя слава!..

Я сжал ее в судорожных объятиях и поцеловал... Она не очнулась даже и от этого поцелуя. На мой крик прибежали люди и бабушка.

(Офицер поставил опорожненный стакан, оперся локтем левой руки на колено, положил лицо на ладонь и задумался. Все спало кругом нас. Он просидел молча несколько минут. Потом, не переменяя положения, принялся опять рассказывать.)

— Что с тобою? ты расстроен? ты, верно, знаешь? — сказал мне Владимир Семенович, когда я вошел к нему в комнату.

— Что такое? Ничего не знаю,— отвечал я.

— Я сейчас от твоего барина,— продолжал Владимир Семенович,— я предлагал ему, наконец, за тебя десять тысяч рублей. Он говорит, что теперь с радостию бы взял, но не может, а не может потому, что, как я узнал, деревня, к которой ты приписан, и ты сам — проиграны. Только не отчаивайся: я думаю, мы найдем средства сладить с твоим новым господином, хоть, сказывают, он человек тяжелый. Куда же ты?

— Пойду в свою комнату спать...

Я вышел, я шел, не знаю куда; вся кровь вступила мне в голову; вечность страданий уместилась в одну ночь; по-настоящему я откупился тогда от них на целую жизнь и в здешнем и в будущем мире!.. Какие-то страшные образы летали перед моими глазами: кто-то нашептывал мне на ухо про смерть, про мщение... То казалось, что я вижу свадебный ужин, за которым сидит Александрина с женихом, а я стою у них за стулом, с тарелкой, и жених приказывает мне: «Петрушка, подай воды!» То казалось (тут офицер засмеялся, но его губы затряслись, точно от судороги гнева), что я вижу моего бывшего барина... за столом, на котором лежат кучи золота и карты... бледного... растрепанного... он держится за пятерку и кричит: «Бейте, идет остальное, и Петрушка ваш... Я его ни за какие деньги не хотел отпускать на волю, но так и быть, бейте...» — и пятерка падает направо.

Эти отвратительные привидения носились передо мной по широкой Волге, она бунтовала под моими ногами... Я помню, что я стоял на ее крутом берегу, я смотрел в бездну, я мерил расстояние между жизнию и смертию... Я помню, что я очутился в спальне моего барина... Лампада теплилась перед образами, и пер-

вые лучи утренней зари прокрадывались сквозь закрытые ставни. У меня в руке была бритва. Я смело подошел к кровати, с отвагой убийцы отдернул занавес, но... я говорю правду... рука моя опустилась прежде, чем я увидел, что в постели никого не было. Да, у меня недостало бы силы на такое дело. Все, однако ж, я должен благодарить провидение, что он не ночевал дома: он проигрывал последнее и — проиграл. Жаль, что мы теперь не можем встретиться с ним! Верно, он предчувствовал, что на земле негде ему спрятаться от меня, и спрятался на три аршина в землю. Бог ему судья!.. он сделал лучше, что поставил меня на карту.

Я стоял у постели, все члены мои дрожали, холодный пот катился с лица, и язык повторял невнятно: «Злодей, убийца!..» Изнемогая и телом и душою, я повалился перед образами, но не мог молиться: у меня не было ни одной ясной мысли, ни одного понятного чувства. Все перепуталось: и безумие любви, и ненависть, и унижение, и гордость, и рай, и ад. Я лежал и вглядывался в распятие, стараясь вспомнить, что оно значит. Сердце мое так стучало, что я испугался наконец: мне послышалось, что кто-то идет. С ужасом вскочил я, спрятал бритву и выбежал из спальни, как Гамлет, преследуемый тенью отца. В передней догорала свеча, и человек, мой собрат, дожидавшийся барина, спал крепким сном. Тут я пришел в себя и отправился домой, но не мог уже успокоиться. Перемена судьбы сделалась для меня необходимостью, воздухом, без которого нельзя дышать. Сибирь, голод, мороз, Нерчинские рудники — я все это перечел себе по пальцам в одну ночь и вывел заключение, что там мне будет лучше. На другой же день я бежал, пригладил волосы, вздел армяк и запустил бороду. Мне хотелось, по обычаю русских беглецов, пробраться в Одессу, а если поймают, назваться не помнящим родства. Цель моего побега была попасть в солдаты и умереть от своей руки. Когда мне представлялось, что я солдат, то какой-то луч надежды сверкал передо мною, и Александрина являлась тут с своею улыбкой. Дома я оставил письмо, что бросился в Волгу. Все дело в решимости: я решился — и мне стало легче.

Не зная порядочно дорог, не имея ни малейшего сведения о притонах, где гостеприимные хозяева дают ночлеги удальцам Руси, я бродил, как Каин. Голая,

осенняя земля бывала часто мне постелью, а засохлый хлеб — пищею. Но на последней ступени унижения и нищеты, глаз на глаз с жизнию, которую судьба разоблачила от всех соблазнов и показала мне без прикрас в безобразной наготе... у меня были торжественные минуты!

Представьте себе человека без родных, без друзей, без знакомых, словом одного на земле, только с темным воспоминанием о каком-то голосе, о какой-то женщине!.. Представьте, что этот человек идет по необозримой степи, смотрит на небо, усеянное миллионами звезд, и поет: я пел, что певала она.

Теперь вообразите себе земскую полицию, уездный суд, душную тюрьму уездного города... Вообразите заклейменные лица и лица, приготовленные, сотворенные для клейма: это были мои судьи, мое жилище и мои товарищи.

Меня взяли как беспаспортного и привели к исправнику. Он прежде допроса схватил меня за ворот и замахнулся: но бог спас нас обоих. Блюститель благочиния и порядка, верно, хотел только начать с чего следует и постращать меня, но не ударить; а я видел уже минуту, как неумытный судья полетит вверх ногами к подножию зерцала.

«Не помню родных, не знаю, как меня зовут, не знаю имен, ни городов, ни сел, где проходил и останавливался, не знаю никого и ничего»,— вот что отвечал я исправнику и в уездном суде, стараясь смягчить свой голос и принимая вид покорности. Меня судили как не помнящего родства, и долго судили. Наконец наступил час моего искупления. Все на свете кончается, кончилось и мое дело. Я был приговорен в солдаты и поступил в арестантские роты. С чем сравнить мой тогдашний восторг?.. Птица, выпущенная в благовещенье из клетки, преступник, прощенный под топором палача, могли бы вам дать понятие о чувстве, с которым я надел серую шинель!.. Никому жизнь солдата не представлялась в таких очаровательных красках! Я дышал свободно, я смотрел смело, меня уже не пугала барская прихоть; я сделался слугою не людей, но смерти; я знал, что она не выдаст своей жертвы. Тогда открывалась персидская война. Разумеется, меня заметили между моими товарищами: мой голос, музыка внушали участие; я поверил свою тайну одному доброму начальнику и попал в

действующую армию. И у меня, наконец, явилось будущее: поле, штыки!.. Не раз я целовал солдатский мундир, обливая его слезами... О, благодарность к нему простынет разве тогда, как глаза мои засыплются землею!.. Томительные переходы, знойное солнце, все военные тягости не подавили моих душевных сил, не отняли у меня ни бодрости, ни надежд. Ни одной минуты я не роптал на мой новый жребий, я был ему рад до исступления, он делал меня человеком... Как ребенок, повторял я себе: «Ты солдат!» — и сердце мое билось весело, и смело улыбался я при мысли о своем барине. С каким поэтическим трепетом увидел я в первый раз это поприще, где падают люди не по выбору, а кто попадется, где презрение к жизни может задушить человеческое лицеприятие и поставить первым того, кто стоял последний!.. С какой отчаянной решимостью бросился я, когда в первый раз услышал дикий крик смерти и победы: «Ружья на руку, скорым шагом, марш!» Мне нужно было выместить на ком-нибудь все прошедшее. Мне казалось, что каждый персианин был моим барином, был ступенью к руке Александрины.

После того сражения, где мы под градом неприятельских картеч шли через мост на приступ, распевая песню: «По мосту, мосту», я получил первую награду, солдатский георгий. Он был мне дан по приговору моих товарищей».

Офицер перестал рассказывать, но, опускаясь на диван и смыкая глаза, проговорил почти шепотом: «Сдержала ли она свою клятву?» Сальные свечи давно уже были переменены, четвертая бутылка шампанского допита, и лошади готовы. Признаюсь, я досадовал, что поторопился пригласить его к себе... Он казался мне страшен, я чувствовал невольное отвращение к нему, не умея объяснить причины... Но делать было нечего. Я старался дорогой выведать, кто такой его бывший барин, кто такой Владимир Семенович и кто Александрина? уверял, что, может быть, дам ему об них сведения; но он не хотел называть никого. Он отвечал мне, что Александрина легко могла забыть его, так зачем же пятнать молодую девушку, которая сама не знала, что делала, которая, вероятно, сохранила доброе имя, если и нарушила клятву?

Как он был разговорчив за вином, так после сделался молчалив и во всю дорогу спал. Мы приехали поздно вечером накануне именин жены. Мне сказали, что она больна и легла уже в постелю. Я умирал от нетерпения видеться с нею после продолжительной разлуки, но не решился разбудить ее: не было счастия, которого б я не отдал за ее здоровье, за один миг ее покоя.

Как она обрадовалась мне на другой день! Заиграл румянец на бледном лице, запрыгали слабые глаза. Я объявил ей, что привез гостя; но принять его она не могла и даже не могла обедать с нами, а обещала выйти к концу стола, если силы позволят.

Много собралось к нам соседей, которые с большим почтением смотрели на моего офицера. Как он был хорош в мундире! Какой мужественный вид! Какая стройность! Какое выражение в чертах! Прекрасные волосы, раны, широкая грудь, увешанная крестами,— все привлекало внимание, все говорило воображению. Только видно было, что он устал от рязанской гостиницы, потому что сначала был чрезвычайно задумчив. Мы обедали довольно шумно, хотя мои соседи не смели очень развернуться при великолепном офицере. К концу стола расшутился и он; праздник стал веселее, и я послал сказать жене, что мы пьем ее здоровье.

В самый развал обеденного пира двери из ее комнат растворились, и показалась она, еще томная, слабая. Все встали. Я подошел к ней, чтоб представить офицера; но когда, протягивая руку, обернулся к нему с словами: «Вот моя жена», он стоял окаменелый, он не двигался с места, глаза его замерли на ней... Все кругом кричали: «Честь имеем поздравить вас, Александра Дмитриевна, со днем вашего ангела!..»

Она сделала несколько шагов к офицеру, но едва успела проговорить: «Я очень рада случаю...», как страшно побледнела, подошла к нему ближе, но не договорила, зашаталась и, облокачиваясь ко мне на руку, шептала: «Друг мой, мне дурно». Офицер не шевелился, не раскрывал рта и во все глаза глядел на мою жену. Я отвел ее; она упала на кровать и умирающим голосом повторяла: «Напрасно я вышла, я так еще слаба!» Думаю, что я посмотрел на нее довольно выразительно.

Когда я воротился в столовую, все оглушили меня вопросами: «Какова Александра Дмитриевна? Что с нею? Напрасно, кажется, она изволила выйти». Мне было не до ответов!.. Он еще стоял тут, все тот же, ужасный, как тень в «Макбете»!.. Он еще не отвел оцепенелого взгляда от двери, в которую вышла жена! Наконец ноги его подогнулись точно сами собою; он сел, выпустил из руки рюмку и стал кусать губы.

Мертвая тишина продолжалась до конца обеда...

После мой спутник поклонился мне молча и пропал. Та, которая поклялась ему, та, которую он поцеловал...

(На этом месте в рукописи нельзя разобрать многих слов: они забрызганы чернилами, по-видимому оттого, что перо было брошено на бумагу.)

Я подсмотрел однажды, как... плакала украдкой... мне... тесно с ним под одним солнцем... мы встретились... оба вместе упали. Он не встал, я хромаю».



АУКЦИОН

«Je me trouve dans la position de sette jeune fille à qui sa compagne demande ja nomenclature exacte de ses amants. «Je me souviens très bien d'Auguste, de Charles aux yeux bleus, d'Edmond, d'Alfred, du petit peintre et du grand medicin; mais après cela je m'embrouille...» — répond-elle.

Castil-Blaze[1].

В Большом театре играли одну из тех бесчисленных пиес, которых никто не слушает; но представление было усилено балетом, а балеты привлекают зрителей, потому что многие жители Москвы сохранили еще в целости привычки осьмнадцатого столетия. Многие говорят с участием о Новерре, Вестрисе, Дюпоре как о мужах славных, забытых понапрасну несправедливыми потомками; восхищаются изящными группами Дидло как произведениями, достойными луча бессмертия!..

Каким образом появились балеты на Руси, где стыдливость была доведена до такой точки совершенства, что красавицы рождались, цвели и отцветали уединенно в высоких теремах; где еще не все бороды обриты; где о зефире месяцев девять нет помину?.. И что такое балеты? Что в них для нас, для века исторического, политического, экономического? Они, может быть, способны подогреть студеную семидеся-

---

[1] Я нахожусь в положении той молодой девушки, у которой приятельница спрашивает точный список ее возлюбленных. «Я хорошо помню Огюста, голубоглазого Шарля, Эдмонда, Альфреда, маленького художника и высокого врача; но после этого я запутываюсь...» — отвечает она.

Кастиль-Блаз *(фр.)*.

тилетнюю кровь — и только! Что в них для мысли и для души 1834 года?..

Но об этом после... Моя речь клонится к тому, что я не люблю балетов и что в театре было много, то есть: раек, верхние ряды лож и стулья пусты, а бельэтаж, бенуары и почти все ряды кресел полны. Собралась публика, у которой за обедом подается белый хлеб, единственная мерка нашей образованности. Мороз не закутал еще никого в свою тяжкую одежду, и на полунагие лилеи порхающей Флоры никто не поглядывал из-под медвежьей шубы. Небрежно раскинувшись на креслах, поводили невнимательными лорнетами московские денди, Чайльд-Гарольды, Онегины. На конце второго ряда сидел молодой человек и посматривал на ближнюю ложу; но только женский глаз мог догадаться, что его двурогая трубка, блуждая в пространстве залы, останавливалась не случайно на одном и том же предмете. Молодой человек, которого имя начинается буквою Т., употреблял всевозможные уловки, чтоб не дать никому заметить, куда он взглядывает; но трубка изменяла. В потемках огромного театра, где трудно разглядеть кого-нибудь простыми глазами, она помогает сказать: «я смотрю на вас»; но с нею никак нельзя притвориться и уверить женщину, что «я не на вас смотрю». Т. перевертывался беспрестанно на креслах, волновался и телом и душою, вспоминая в отрывках историю любви, несбывшиеся надежды. Прошлые затеи распаленного воображения, смешная роль влюбленного, который не сам оставил, а которого оставили,— все эти мысли производили страшную суматоху в его голове и сжимали ему сердце. «Она смотрит на меня пристально,— думал Т.,— она узнала меня, она вспомнила!.. мы разочтемся, увидим, кто будет смешон...» Краска выступила у него на лице, а между тем во время антрактов толпилась сладострастная молодежь с лорнетами, наведенными на ту же ложу. Некоторые барыни, высовываясь из бенуаров, спрашивали: «Скажите, где сидит польская графиня?» Каждому щеголю по очереди показалось, что она взглянула на него, а потому каждый попеременно облокачивался о перегородку оркестра, закидывал голову назад и, лелея бакенбарды легким прикосновением указательного пальца, принимал изнеженный вид беззаботного счастливца. Но польской графини не было в театре, а была

русская княгиня ***. Ее не все знали. Она года полтора назад исчезла из Москвы еще невестой, вышла замуж и воротилась в столицу не более двух дней. А так как мы имеем выгодное мнение о польских красавицах, и как вообще человеку не хочется никогда объяснить нового явления естественным образом, надобны во всем чудеса; то в театре разнеслась молва, что приехала польская графиня, у которой муж, по политическим обстоятельствам, бежал за границу, при побеге был ранен польским уланом, принявшим его за русского, и от этой раны умер через неделю.

Пунцовый плащ княгини, презрительно сброшенный, висел за ее спиною в живописном беспорядке; левая рука, играя обворожительно лорнетом, то лениво опускала его, то прикладывала к прекрасным глазам так небрежно, так равнодушно, как будто бог не сотворил ничего, что бы стоило ее пристального взгляда; кисть правой руки, обтянутая французскою перчаткой, роскошно покоилась на полинявшем бархате ложи; черная шаль, красиво спущенная с пышных плеч, лежала на сгибах локтей и стана волнистыми складками, выказывая цветистый узор каймы, богатую ткань Востока; темные волосы оттеняли распустившиеся розы щек и чернелись в прорезах белого крепового тока, на котором пушистые перья марабу колебались тихо, повинуясь томным движениям своенравной головы; готические браслеты, беспрестанная улыбка, полуоживленный взор, скользящий по сцене и по зрителям,— все заставляло мечтать, все закрадывалось в сердце. Княгиня была хороша, очень хороша!.. я отвернулся от нее: я подвержен бессонницам.

Она узнала молодого человека, поняла, что он смотрит на нее, и первая встреча с ним после долгой разлуки, после многих клятв в вечной верности сначала смутила ее; но мало-помалу смущение прошло, светское равнодушие взяло верх, и глаза ее встречались часто с глазами Т., старыми знакомыми. Между тем как он считал себя единственным предметом ее внимания, княгиня уделяла свои взгляды и другим, особенно одному стройному адъютанту, который без всякого зазрения совести совершенно обратился на ее ложу.

Спектакль кончился, и Т. столкнулся в сенях, разумеется нечаянно, с княгиней; неловко было не поклониться; он поклонился молча, потому что онемел

от негодования и не приготовился еще к разговору. Княгиню сопровождал широкоплечий мужчина среднего роста, и вместо того чтоб — по долгу учтивости и покровительства, которым сильный обязан слабому,— очищать дорогу, он спокойно шагал по следам жены, предоставлял ей право продираться первой сквозь невежливую толпу.

Воротясь домой, Т. спросил чаю, впустил пальцы одной руки в волнистые волосы, а другою схватил развернутый том только что показавшегося тогда романа: «Церковь богоматери в Париже». Первые слова, что попались ему на странице, были: «C'était indéfinissable et sharmant...». Он долго смотрел в книгу, не перевертывая листа; наконец она полетела на диван, а он вскочил и начал ходить большими шагами. Матовое стекло лампы, стоявшей на столе, разливало тусклый свет. Человек принес чай, Т. не видал; человек предложил халат, он не слыхал; то шевелил губами, как будто разговаривая с кем-то; то кусал их, как будто досадуя на что-то. На его лице вырезалось то состояние души, когда непостоянные, беспредельные мысли ее привязываются все к одному предмету; когда, неотвязные, умещаются они в тесных границах одного чувства, одной страсти... или, лучше сказать, когда мучительная лихорадка оскорбленного самолюбия бьет духовный состав человека.

— Подай трубку, затопи камин, вынеси лампу,— проговорил Т.

Эти отрывистые приказания последовали одно за другим после длинных промежутков молчания и служили доказательством, что привычка не оставляет нас и в бреду.

Засверкал огонь, затрещал камин, в котором есть всегда что-то мечтательное, таинственное, похожее на очаг какого-нибудь колдуна. Т., сбросив сюртук, ворочал головни, и с его трубки бежала на них густая волна дыма.

Магические лучи, рассекая мрак комнаты, прокрадывались к картинам и эстампам, развешанным по стенам. Призраки воображения, воплощенные кистью, напоминающие то об аде, то о небе, внезапно показывались и внезапно пропадали. Там в сумраке виднелся разбитый корабль Вернета; тут мгновенным блеском загорались черты Байрона: буря природы и буря души!..

Погруженный в прошедшее, Т. повторил себе мысленно все малейшие обстоятельства обманутой любви, вспомнил, как женщина явилась ему с каштановым локоном, с черными, полуденными очами, соблазнительная юностью, ласковая взором, пылкая речью. Как страстно она любила, как много обещала!

«Резвое дитя,— рассуждал Т., смотря в камин,— она выбрала меня игрушкой, поиграла и бросила; теперь мне хочется поиграть, я не умру с отчаяния! Разве я приставал к ней: любите меня!.. Разве я вздыхал, разве я тешил ее приторной сладостью похвал и удивления? О, как я любил ее!»

Т. начинал опять беспокойно ходить по комнате, изобретая средства, как удовлетворить оскорбленную любовь, чем успокоить бунтующее самолюбие... но трудно мстить женщине! Она защищена или слабостью, или ветреностью: то не почувствует, то внушит участие.

Китайские тени мыслей сменялись проворно в разгоряченном воображении, и ни одна не была по душе юному страдальцу.

«Пустить в свет ее письма,— думал он,— низко!..— Тут, вынув из бюро пук бумаг, Т. бросил их в огонь.— Заставить ее при всех краснеть, преследовать повсюду колкими насмешками, не давать ей покою — мало, мелочно: всем покажется, что я неравнодушно перенес измену, что я страдаю, словом, что не я первый бросил ее! О, для чего она не мужчина?.. мне легко бы было стряхнуть ярмо обиды! Если б я мог найти в ее сердце свежую рану и вложить туда свои пальцы, чтоб она застонала от боли, обезумела от оскорбления!.. Да, да!..— Глаза его заблистали ярче камина.— Есть обида, понятная, чувствительная только одному полу, а не обоим, сотворенная для женщины».

Тут Т. позвонил, спросил: который час? — и, сказав: «Одеваться! я поеду в башмаках и в карете», расположился перед туалетом. Помада новейшего изобретения поставила стоймя зыбкий локон хохла, и великолепный узел черного атласного галстука прилег к высокой груди. В двенадцать часов Т. не было уже дома.

— Как мил! как разговорчив! Он стал любезнее обыкновенного! Бывало, все молчит да ходит, не упросишь танцевать!

Так везде, куда Т. ни появлялся, шептали между собой наблюдательные особы прекрасного пола.

В самом деле, он прилежно старался нравиться: вертелся, рассыпался, силился показать, что угорел в чаду света, что без ума весел и без памяти счастлив!

Княгиня замелькала в вихре зал, и наступила минута затмения для сияющих звезд паркета. Все взгляды, все восклицания, все было для нее, и все была она! Ее улыбка напоминала мир ребенка, ее очи переносили в мир страстей. Ласково смотрела она и на того и на другого, но иные подозревали, что ей особенно нравится адъютант, о котором я упомянул. Когда на одном бале Т. подошел к ней в первый раз, приглашая вальсировать, боязливо подала она руку и потупила взоры. Что ни делай, каков ни будь, а совестно встретиться с человеком, против которого был неправ. Другие чувства умирают; чувство справедливости все живет.

— Вы надолго, княгиня, в Москве? — спросил Т.

— Не знаю,— отвечала она,— как вздумается мужу.— Последнее слово задрожало у нее на языке.

— Вы разлюбили вашу родину: она прежде так вам нравилась! — продолжал Т.

— Ах, нет! я все люблю ее, но есть обязанности...

Княгиня не успела докончить, потому что подлетел адъютант и помчал ее по зале.

Т. возобновил знакомство, не доказывал княгине, что она виновата, а резвился с нею, шутил, забавлял. Язвительная насмешка была у него готова для всякого, кто имел несчастие привлечь ее внимание. Более других доставалось адъютанту.

Она слушала, смеялась; однако же не пренебрегала никем из осмеянных, потому что очень охотно говорила со всеми и танцевала. Иногда Т., вальсируя с княгиней, жал ей руку: он извинялся поэтическим забвением; она не сердилась.

В одно утро его карета перестала скрипеть по снегу возле дома уродливой архитектуры, но зато недавно выкрашенного, на котором-то из радиусов, пролегающих от города в Кудрино, под Новинское и на Девичье поле. В это время княгиня сидела за канвой, часто клала иголку и, опрокидываясь на бархатные подушки кушетки, посматривала с нетерпением на двери. Зимнее солнце, прокрадываясь мимо малино-

вых стор, то проводило светлую полоску на шелковом узоре упоительной ножки, то рисовало летучий кружок на алой щеке. Кружевная оборка чепчика, накинутого на приглаженные волосы, служила рамкой миниатюрному портрету, в котором живописец бессовестно польстил женщине. Распущенные ленты то падали на мягкие округлости плеч, то струились по атласу безмятежной груди. Княгиня была в белом платье и в голубом переднике из шали. Когда ей доложили о приезде гостя, «Проси! уехал ли князь?» — отвечала она, и как ни была хороша, а все подбежала к зеркалу.

— А я на аукцион,— сказал ее муж, встретившись в передней с Т.

Наряженный как кукла, выставляемая портными в образец моды, Т. был невесел. Его одежда носила все приметы светской ничтожности; на лице его тяготели суровые думы, знакомые только уединению. «Этой ли любви хотел я?» — проговорил он сам себе; и вдруг грустные черты просияли: он стоял перед княгиней. Она не сделала никакого движения, приветствовала гостя не этим поклоном, который так твердо выучен, так обыкновенен и так правильно холоден, но другим, но поклоном взгляда, поклоном улыбки; не пошатнулась вперед, не привстала, а вся поклонилась, как умеет кланяться только хорошенькая женщина и как никто, кроме ее, не должен кланяться.

Удивиться красоте не унизительно, не противно уставам утонченных гостиных; и Т. отдал ей справедливую дань удивления. Набожно остановился он в дверях, не смея переступить порога, не смея подойти близко к утренней княгине: она утром была лучше, чем вечером.

— Подойдите, что вы стали? — И эти резвые, мягкие звуки напомнили юноше иное время, иные минуты счастия.

«Этот же голос слыхал я когда-то!..» — подумал он, и сделал несколько шагов, и вспыхнул, и его речь закипела... но ни слова о прошедшем: он пощадил княгиню от намеков, он не жил прежде, не чувствовал, не видывал ничего, похожего на нее, и только восклицание: «Ах, зачем вы замужем!» — вырвалось, как признак схороненного чувства, как искренний крик растерзанной души.

Княгиня не дала ответа, но сложила ладони, как складывают их, прося прощения, и, наклонив голову немного на одно плечо, взглянула так умильно, что отец простил бы ей ослушание, муж неверность, а женщина красоту. Т. сидел возле княгини; румянец играл ярче на ее свежих щеках; слезой томительного желания потускнели ее полузакрытые глаза; она не имела силы поднять руку, упавшую нечаянно на шею молодого человека; уже он почувствовал на губах жгучее дыхание полуоткрытых уст; уже обворожительный стан, как молодая пальма, нагибаемая тихим ветром, изнемогал в страстном томлении; уже канва полетела на пол; уже ленты чепчика прикоснулись к бархату подушки... как вдруг Т. сбросил проворно руку княгини и отступил назад: насмешливая улыбка явилась как молния, он схватил шляпу, поправил волосы и самым учтивым тоном, с убийственным хладнокровием сказал:

— Княгиня, ради бога, извините меня! Я от вас ничего не хочу, у вас есть святые обязанности, а мне вы, другая... все равно... Ради бога, извините меня!

Голова княгини, перекинувшись через подушку, не носила на себе никакого признака жизни. Т. посмотрел, засмеялся и вышел.

— А я с аукциона,— сказал ему князь, встретившись опять в передней.

Пытка самолюбия кончилась. В этот день был бал, на который съехалась почти вся Москва. Туда явился и Т., но уже без цели, так, по привычке, уже не затем, чтоб танцевать и любезничать. Он входил в залу; насмешливая улыбка еще оставалась на его лице, и он воображал, что все заметят его торжество, и жалел только о том, что княгиня не скоро опомнится, что не скоро удастся ему увидеть, как она побледнеет, покраснеет, окаменеет при встрече с ним.

— Она очаровательна, она непостижима! — шумела толпа около французской кадрили, и все лорнеты были обращены в одну сторону.

Беспечно, лениво подошел Т. и встретил тут князя, который протянул ему руку, и встретил тут княгиню, которая взглянула на него мельком, перелетая с адъютантом на другой конец кадрили. Сладкая речь лилась с ее беглого языка, веселый взор ласкал кавалера; она была милее обыкновенного, она была вечером лучше, чем утром. Я отвернулся от нее: я подвержен бессонницам...



ЯТАГАН

— Il avâit â la main une, èspèce de vilain coutelas...
— Un ataghan?..— dit Chateâufort qui aimoit la couleur locale.
— Un ataghan,— reprit Darcy avec un sourire d'approbation.

La double méprise[1]

I

О, как шел к нему кавалерийский мундир!.. как весело, как живо, как ребячески вертелся он перед зеркалом!.. как ловко перехватывал по нескольку раз свою шляпу, над которой раскидывались, свертывались, дрожали чистые, уклончивые ветви белого пера!.. То резво бросал он ее под левую руку, то важно опускал к правому колену, принимая степенное положение, прищуривая глаза и стараясь сгорбить немного прямизну своего стана. С какою негой ложились его благородные пальцы на черный миниатюрный ус, где юные волосы, недавно пробившись на свет, были ярки цветом, как вороненая сталь! Этот ус не походил на густой, суровый, беспорядочный, висячий ус закоренелого солдата, этот ус не закоптел еще в дыму сражений, не вымок в лагерной чаше. От него не задрожал бы неприятель, не обомлел бы жид, не заплакала бы беззащитная сирота, не забегал бы опрометью полоумный трактирщик и не притих бы ревнивый муж.

[1] — В руках у него был какой-то скверный тесак...
— Ятаган?..— перебил его Шатофор, любивший местный колорит.
— Ятаган,— продолжал Дарси, одобрительно улыбнувшись.
Двойная ошибка *(фр.)*.

Это был ус не для бивак, не для батарей, а для гостиной, для женщины, для того только, чтоб оттенить румянец губ и белизну зубов, чтоб придать лицу рыцарскую прелесть, напомнить какой-нибудь романс, поединок, странствующую любовь, а не северного богатыря. Как приятно рисовались шелковистые ресницы юноши, когда он опускал довольный взгляд на свои новые эполеты! Хотя тогда не было еще эполетов кованых, металлических, прекрасных, но зато не было и звездочек, губительных для честолюбия корнета, которого душа рвется в ротмистры. Потому-то, может быть, он посматривал на свои плечи с особенным удовольствием. Часовая цепочка моталась на его красивой груди, горели пуговицы, блестел темляк, все было, говоря попросту, с иголочки,— и его гибкие, стройные члены, его движения дышали искренней радостью. Он мог уже обедать у Андриё, промчаться в коляске, явиться с лорнетом в театр и блеснуть на Невском проспекте. Он не станет уже высматривать издалека, не идет ли полковник, не едет ли генерал, и если возле него мелькнут живые глаза, локон, ниспадающий шарф,— он не будет уже погружен в думу о беспокойном слове: пальцы по швам. Часто пристукивал он нога об ногу, и его шпоры звенели, и необыкновенно одушевлялся его острый взор, как будто заранее он тешился мыслию, что эти звуки отдадутся в сердце избранной красоты, когда она, облетая с ним роскошную залу, прильнет к его замирающей руке; как будто он предчувствовал, что по этим звукам станут отгадывать его нетерпеливые шаги, как будто думал... но чего не думает человек, прочитав в приказах, что он уже не юнкер, а корнет?.. У кого с этим чином не связаны воспоминания детских восторгов, в которых было так много надежды, любви, свободы и, что всего лучше, много молодости!.. Единственный чин, младший, четырнадцатый член огромного семейства, но милее всех своих братьев!.. Придут другие чины!.. Время и терпение отсчитают их всякому, как следующее жалованье за жизнь, придет все: и генеральство и звезды, да не придет молодость корнета!.. Витые эполеты повиснут на плечах, да не будет уже девственного взора, чтоб полюбоваться ими... тогда уже другое! тогда уже мысль о власти!.. что-то мрачное, таинственное, коварное!.. Корнет, первая крепкая ступень, с которой не видно, куда приведет и как шатка

лестница, называемая жизнию: первое чувство равенства с другими, первое позволение наслаждаться, как другие!.. Корнет не то что коллежский регистратор, исчадие чернил, рабочий грязных судов, безответный труженик опрятных канцелярий, который растет помаленьку над бессмыслицей прозы в духоте четырех стен!.. Корнет не то что студент, получивший аттестат: студент, еще не доучась, танцует на балах, повязывает галстук по последней моде, сидит знатоком в театре, играет роль; студент может скрыть, что он еще учится... а потому чувства юнкера, надевающего офицерский мундир, нельзя объяснить достаточным сравнением. В этом чувстве столько неопределенного!.. Важность смешана с ребячеством, суетливость честолюбия и спокойствие успеха; может быть, удовлетворенная зависть, может быть, сродное человеку желание иметь менее начальников... словом, я не знаю что́... только всякий, кому бы случилось наблюдать, как мой корнет примеривал мундир, всякий загляделся бы на него или с участием, или с насмешкой!.. Это была минута, когда он смелее бы прыгнул на коня, понесся бы по полю бог знает куда и влюбился бы без памяти в первую, которая б приласкала его... минута румянца, быстроты, щедрости, прекрасных замыслов, от которых резвые мысли то кружатся над землей, как чистые голуби, то взвиваются к небу, как жужжащая ракета.

Восторг молодого человека покажется естественнее и понятнее, если я означу эпоху его производства в корнеты.

Это случилось в те недавние годы, как женские лифы были короче и как военные, кроме армейских пехотных офицеров, торжествовали на всех сценах: от паркета вельможи до избы станционного смотрителя. Мундир брал в полон балы и не дожидался лошадей. Для мундира родители сажали сына за математику и хлопотали с дочерью; для мундира лелеяла девица богом данную ей красоту; для мундира юноша собирался жить. Вечная ли надежда найти под блистательным платьем блистательную душу, временное ли пристрастие к военной славе, как ко всякой другой, или врожденная в нас наклонность к пестроте, наклонность, от которой иные жители земного шара раскрашивают свое тело,— неизвестно, что внушало предпочтение, только весь первый план живых картин об-

щества был уставлен стройными фигурами, на которых играли яркие краски всех цветов, а одноцветный фрак стоял далеко, теряясь в потемках затененной перспективы. Он прокрадывался по гостиным робкими шагами незваного гостя, и ничей взор не следил его, и никто не справлялся о нем: билось ли под ним жаркое сердце поэта, текла ли медленная кровь дипломата. Все благоговело перед мундиром или бредило мундиром. Никто не предвидел будущей судьбы фрака, что он выступит вперед, хвастая глубокомыслием, просвещением, образованностию, что всем захочется чему-то и для чего-то учиться, быть пружинами, заводить фабрики. Только иногда некоторые аристократки, полуразрушенные памятники пудры, сохранившие долголетнюю привязанность к веку более изнеженному, более раздушенному, оскорблялись резкостью движений, отрывистою речью и позволяли себе возвышать голос против общего мнения, упрекая военных в том, что от них пахнет казармами.

В эту эпоху юнкер был пожалован в корнеты. Он принадлежал к великому числу тех корнетов, которым отцы оставили в наследство какие-то рассказы о Кинбурнской косе, о взятии Измаила, о Потемкине, о золотых временах; какое-то имя, уцелевшее на бумаге через несколько веков, но имя без дел, без преданий, без малейшего подвига, достойного чьей-нибудь памяти; оставили какую-то неиссякаемую родню, разбросанную по лицу России, по захолустьям деревень и по ярмаркам московских гостиных; какие-то души, заносимые снегами, закопченные дымом и заложенные, вместе же с этим — банкрутство. Покойный отец корнета пировал, как все отцы прошлого столетия, и развалины состояния, накопленного трудами предков под сенью воеводства, винной продажи или торга рекрутами, не могли бы доставить ему средств для удовлетворения возрастающим потребностям образованной жизни, если б его мать не посвятила остатка дней своих на ежеминутные заботы о спокойствии, о благосостоянии, о щегольстве сына. Он был ей единственной связью с действующим светом, от которого давно отказалась она, осудив себя на вечную ссылку в деревню, где годы и часы заставали ее с той же думой, с той же привязанностью. После пышной расточительности в молодости она погрузилась в преклонных летах во все мелочные хлопоты хозяйства, только б сын

ее не задумался над расходами необходимой роскоши, только б конь ее сына так же красиво рыл землю, как конь первого богача. Образ ее жизни, ее разговоры, ее письма представляли утешительные доказательства материнской любви, чистой, попечительной, не перепутанной с другими корыстными чувствами,— любви, которая не упрекает в равнодушии, не мстит за неблагодарность, не обманывает и не пристает: «Будь со мной, живи и умри возле меня». Если часто такая любовь, как все прекрасное, достается недостойному, по крайней мере это пошлое правило нельзя, мне кажется, применить к корнету, потому что он редко пропускал почту и без лени брал перо, когда надобно было писать к матери. К тому же, тотчас после производства, загорелось в нем желание проситься в отпуск. Конечно, он хотел обрадовать ее, разделить с нею свое восхищение; а может быть, досадуя, что никто в Петербурге не засуетился вместе с ним и не заметил, что на белом свете стало одним офицером больше, он хотел поскорее туда, где, вероятно, заглядятся на него, примут на сердце все прелести гвардейского мундира; где есть и радостные слезы матери, и деревенские соседки, и невиданные глаза, и губернский город. При всяком возвышении хочется удивить кого бы то ни было, как при всякой мысли, которая нам нравится, хочется высказать ее тому, на кого она сильнее подействует...

Прошло сколько-то времени, и веселый корнет скакал по тульской дороге, прикрикивая на станционных смотрителей и буяня немного с извозчиками...

Поздно вечером подъехал он к старинной обители своих предков. Месяц бросал несколько лучей на огромные и ветхие хоромы. Никто не шевелился, только ночной сторож колотил в доску.

В первый раз увидел корнет этот дом, где жили его отцы, где живет его мать, откуда столько любви долетало к нему до Петербурга... Взволнованный, он торопливо выпрыгнул из коляски. «Матушка, верно, почивает»,— проговорил камердинеру, и в этих звуках сказалась прекрасная минута сердца!.. Помаленьку поднялась суматоха... забегали огни... «Молодой барин, молодой барин»,— зашумели по дому... вдруг появилась дрожащая старушка в спальном платье, всплеснула руками и с криком: «Сашенька, друг мой!» — упала расплаканная в объятия сына.

Бьется сердце во многих объятиях, при многих встречах: есть друзья, жены, невесты... есть горячие поцелуи и радостные слезы, но нет слезы чище, нет поцелуя откровенней, как слеза и поцелуй матери!.. Весь этот корыстный мир приязни, склонностей, страстей, лобзаний, и клятв, и восторгов не может проникнуть в сокровеннейшие изгибы нашего сердца и наполнить его таким твердым убежденьем, такой светлой уверенностью, с какою сын кидается на грудь матери!.. Не только труды, заботы и все вещественные удовольствия она приносит ему на жертву, лучшее чувство души, невыразимую радость свидания, свое высочайшее наслаждение — спешит отдать за его спокойствие. Она исчезает, точно нет ее.

— Сашенька устал с дороги, Сашеньке надо отдохнуть, приготовьте поскорей комнату, что возле кабинета. Ты, друг мой, спишь на тюфяке или на перине? Да ты весь в пыли, да что ж Сашеньке ужинать?

Напрасно он говорит: «Я не устал, я не хочу спать, позвольте мне побыть с вами...» — она не верит, она все хлопочет, как бы уложить Сашеньку, а столько лет не видалась с ним, а так пристально смотрит на него!..

— Ты, право, похудел с дороги... мне и в голову не приходило ждать тебя: ни слова не писал... Завтра твое рождение, друг мой; ты знал?.. у меня обедает князь с дочерью; я думаю, ты помнишь его, ты уж был не маленький. Здравствуй, Павел, здравствуй!..— Камердинер корнета целовал руку у барыни, и она плакала от радости, что видит Павла.

Между тем в дверях гостиной, где происходила эта сцена, трудная для описания, потому что оттенки материнской любви так же нежны и неуловимы, как цвет ясного неба,— между тем в дверях начали мелькать полурастрепанные прически, сонные лица и с робким любопытством выглядывали из слабо освещенных комнат. Наконец собралась беспорядочная толпа, удивительно разнообразная в нарядах. Впереди старая няня корнета и кормилица, за ними большая часть природных дворовых и несколько происшедших. Все сперва в церемониальном порядке, а там наперерыв бросились по-русски прикладываться к ручке молодого барина, которую он по-немецки не давал. С таким усердием и с такою настойчивостью они

ловили его руку, что если б не замешались тут няня и еще кое-кто старее корнета по крайней мере втрое, то человек несведущий сказал бы: «Это отец, это дети!»

После трогательных и поучительных картин, после различных излияний души, происходивших от разных побуждений, у кого от любви, у кого от привычки, после замечаний о красоте, о росте, о мундире корнета, замечаний, сделанных матерью, няней и кормилицей вслух, публично, а прочими за углом, не в барском присутствии,— словом, после ужина приезжего уложили. Он давно спал, а мать не спала.

Завтра рождение сына! Чем подарить его? Надо, чтобы, проснувшись, он увидел подарок перед собой! Который послан в Петербург — не поспел. Пошли большие хлопоты!..

Няня с кормилицей позваны к барыне на совет: каждая подавала мнение; но, как на многих советах, каждое мнение было нехорошо. Растворили шкафы, перерывали сундуки! То дурно, то нейдет, то не понравится, и горничная, которая отправляла должность секретаря, то есть все делала, и вынимала, и клала, и приносила,— начала уже заботиться о здоровье барыни:

— Вы, право, сударыня, занеможете: ведь посмотрите, уж почти совсем рассвело.

В это время нерешимости и неудач, когда у всех, даже у няни с кормилицей, кроме одной матери, обнаружилось большое поползновение ко сну, в это время она вспомнила об одной вещи!.. Вещь прекрасная, приличная военному... но есть примета, примета народная, примета давнишняя!.. Вещь принесли.

Все похваливали, прибавляя: «Да этим, сударыня, не дарят», и старушка впала в раздумье...

Не дарят!.. А подарок понравится сыну!

Этот подарок дошел, как наследственная святыня, до третьего или четвертого поколения; напоминал о подвиге воина, знаменитого в родословной корнета... этот подарок, сработанный под знойным небом для сильной руки и раскаленной крови, посвященный мщению, палач христианских голов, модная игрушка воинственных щеголей Востока, лучшая жемчужина азиатского пояса, этот подарок был — ятаган.

II

Много рек рассекает необъятную Россию. Питательные жилы огромного тела то бьются неприметно, как волосяные сосуды, то кипят жизнию, как начальственная артерия. Живопись природы, отрывки из истории разбросаны на их берегах, а ни у одной нет столько поэзии в названии, как у реки, которая протекает по Тульской губернии от северо-запада к юго-востоку.

Пробив землю неугомонным ключом, она явилась на свет в Богородицком уезде, прорезала себе путь чрез Ефремовский, и видно, с каким усилием рвалась между гор, металась от скалы к скале, чтоб, наконец, добраться до Дона. «Красивая Мечь» — прозвал ее народ, не согласуя прилагательного с существительным. В том месте, где она выбивается наподобие рога и где стоит село Изрог, сохранилось до сих пор темное предание о приключении, от которого будто бы произошло это поэтическое имя.

Рассказывают, что там какой-то Ярослав переезжал когда-то через мост в коляске; что лошади провалились; что он, для спасения любимого коня, вынул меч и хотел обрубить постромки, но уронил его в воду.

Есть еще предания, есть еще поэзия старины в окрестностях Красивой Мечи. Близ нее лежит так называемый «Конь-Камень», окруженный своими обломками и другими камнями, вросшими в землю. У иных это проезжий витязь, это безбожный народ, который осмелился творить в честь его игрища и пляски на день св. вознесения. У иных это чужестранный богатырь, который ехал по заповедным лугам и не поклонился на привет красных дев да молодых парней, сказав, что на земле не кланяется никому. Гром наказал его. Там накануне Иоанна Крестителя, Ивана Купалы, сверкает таинственный огонь по верхам гор, спускаются с неба свечки и венцы. «Свечка горит»,— скажут вам, указывая на фосфорное сияние. Бог весть кто затеплил эту лампаду, только она теплится над схороненным кладом или над русским, убитым за независимость.

Студеная прозрачная река течет так же быстро, извивается так же неправильно, как летает над нею ласточка, беспокоясь о приближении тучи. Высокий тростник шумит по ее заливам. Круты, отвесны бере-

га ее. По ним тянутся леса, кое-где возвышаются курганы, надгробные памятники безыменных людей, и кое-где мелькают разноцветные скалы: то бледные, то голубые, то желтые. Тут дико глядит природа, и когда осень, обрывая деревья, подергивает зелень краскою смерти, тут приятно смотреть на орла, как он, опустясь на прибрежную вершину, сидит спокойный с чувством своей царственной силы. Река красивая, река живописная, очаровательная Мечь!.. В иную минуту ее небо примешь за небо Швейцарии!.. Далече от берегов за лесами, за курганами открывается обширный горизонт: деревни, поля, рощи. Картина более игривая, более суетная... На ней жизнь, труды, пот человека, и чтоб эта жизнь, эти труды не показались горькими, на нее должно любоваться не осенью, а при блистательном солнце лета, в летний полдень, в летнее утро!..

Велико наслаждение писателя, если придется ему рассказывать происшествие, которое случилось в неизвестном углу, да хоть сколько-нибудь заманчивом для воображения; происшествие на просторе поля, не в сонном городе, где нет приключений на улицах и страстей в гостиных; где жизнь изнашивается без жизни и где не вымолишь у нее ни одного предмета для повести.

Много лет тому назад на берегу Красивой Мечи в прекрасный вечер июня, в эти сладкие часы, когда у юноши навертывается безотчетная слеза мечтательности, небольшое общество расположилось около чайного стола в душистом саду, под тихим небом деревни. Тесный кружок состоял из людей одного племени, одной классификации; но, судя по первому взгляду, некоторые отделялись от других резкою межою понятий, привычек, образованности. Случай не новый!.. От чайного столика до пышного обеда, от семьи до бала все то же: говорят одним языком и не понимают друг друга. Кроме этого разногласия в образе воспитания и в обороте мыслей, тут таилась еще причина для щекотливого спора. Все страсти, желания, склонности человека умещаются легко на самом узком пространстве, и этот малый мир, сколок с большого, заключал в себе начало многих разнообразных волнений сердца. Для одних тут было чему радоваться, на что надеяться; для других — чему завидовать, чего искать и на кого взглянуть.

— Прикажете ли, папенька, еще чаю?

— Да помилуй, Верочка, я и этого допить не могу. У меня слишком сладко, а Андрею Степановичу ты, кажется, налила совсем без сахару. Он своей чашки и не отведал.— После этих слов отец Верочки опустился в кресло и продолжал беспечно пускать на воздух легкие струи дыма.

Верочка спешила поправить свое рассеяние. Ее лицо, веселое, одушевленное, приняло вдруг выражение некоторого спокойствия и важности, как бывает часто, если нечаянный намек, взгляд, звук, какая-нибудь безделица напомнит женщине, что она увлеклась немного. Но этот переход от движения к покою, от свободы к оковам не нравится... Приметное нетерпение мелькало в черных глазах, когда они остановились на Андрее Степановиче и когда нежная рука с благовоспитанной небрежностью приподнимала для него другую чашку...

Он вскочил, кланялся, просил, чтоб ее сиятельство не беспокоились, и уверял, что у него очень сладко. Наконец опять уселся, опять на кончике стула, боком, совершенно повернувшись к своему соседу, с тою переменою, что начал прилежно пить чай, который давно простыл от его вежливого обращения. Андрей Степанович говорил много и не менее того повторял: «ваше сиятельство, вашего сиятельства, вашему сиятельству». Князь, важный старик приятной наружности, слушал его один: то холодно, то с участием, по этому участию можно было догадаться, что если Андрей Степанович считается первым охотником в уезде, то занимает также немаловажное место и в иерархии богатства. У них образовалась беседа своя. Никто не мешал им, и никому они не мешали. Только иногда князь, услышав нечаянное какое-нибудь слово, сказанное в другом отделении общества, бросал туда одну из этих несвязных и часто обидных фраз, на которые вельможи не ждут ответа и на которые нечего отвечать; да иногда Андрей Степанович делался предметом общего внимания. На несколько секунд умолкали все. Корнет, залетевший из Петербурга на стул подле княжны, перерывал разговор с нею и щурился, всматриваясь в Андрея Степановича; старушка, сидевшая против нее, не сводила с корнета глаза; княжна не позволяла себе ни малейшего движения, но видно было, что скрадывает улыбку, готовую просиять

на ее устах; полковник, стоявший на середине круга с ятаганом в руке, вытягивался во всю длину воинственного роста, а лет тридцати мужчина в адъютантском мундире, развалясь немного неучтиво на креслах, поднимал голову вверх и смотрел на небо, точно ничего не слушает. Адъютанты часто, как и чиновники особых поручений, заносчивы, потому что, спутники большой планеты, они имеют право вертеться около нее.

Это явление происходило в те минуты, когда голос Андрея Степановича раздавался громче, глаза полнели, лицо краснело, когда вспышки охотничьего красноречия, выражения, созданные вдохновением страсти: «стая закипела, и матерой волк загорелся в чистых полях» — вырывались из его широкой груди. Но проблеск внимания исчезал быстро, и совершенное равнодушие к особе Андрея Степановича заступало место электрического действия. Корнет по-прежнему обращался к княжне, по-прежнему старушка смотрела только на него, и любовалась им нежнее, и становилась наблюдательнее, как будто хотела воротить потерянное мгновение, искру участия, украденную другим у предмета ее невыразимой привязанности.

— Позвольте заметить, кинжалами не дарят,— сказал полковник, относясь к ней, поглядывая значительно на княжну и повертывая ятаган, привезенный по просьбе князя напоказ военным гостям.

Ножны кинжала, покрытые облинялым бархатом, были перехвачены в двух местах золотыми бляхами. У слоновой рукоятки, раздвоенной сверху, обложенной дорогими камнями неискусной грани, осыпанной жемчугом, недоставало нескольких украшений: камни повыпадали, жемчуг затерся, но на прихотливом оружии все еще уцелело клеймо роскоши и азиатской красоты, свидетельствуя ясно, что прямой узорчатый клинок, закаленный на заводах Дамаска, служил не уличному убийце, не для куска хлеба.

— О, я с него взяла за это грош,— отвечала полковнику мать корнета.

— Мало, Наталья Степановна; да и гвардейскому офицеру нейдет платиться медными деньгами,— возразил князь, придавливая большим пальцем табачный пепел в трубке.

— Вы шутите, папенька; а подарить кинжалом в день рождения — это страшно.

Тут княжна откинула рассеянно черный волнистый локон, который закрыл было яркие лучи одного из ее прекрасных глаз, бросила беглый взгляд на полковника с адъютантом и обернулась к корнету. По-видимому, она старалась поддерживать общий разговор, сколько этого требует учтивость от полной хозяйки дома, и нередко должностная фраза, тяжелая дань общежитию, слетала с ее соблазнительных губ. Но почти всякий раз после такой фразы она обращалась к своему соседу, и забывала других, и слушала его так живо, что противоречие или согласие, да или нет, рисовались заранее в ее выразительных чертах. Заранее она давала ответ ему то благородной усмешкой, то живописным наклонением головы, то неизъяснимым красноречием взора.

— О, я не боюсь примет,— сказал молодой гвардеец, посвящая свои слова также целому обществу.— И зачем вы пугаете меня, княжна? Его, кажется, отнял мой прапрадед, матушка, у сераскир-паши или у трехбунчужного? Эти наследственные предания воспламеняют потомков... мне уже хочется отнять у какого-нибудь паши саблю... Я велю обтянуть его новым бархатом... Позвольте мне, княжна, думать, что мой ятаган не страшен.

— Кинжал примечательный... можно б сказать, прекрасный, если б прекрасно было убивать людей,— проговорил адъютант и ушел в свой черный галстук. Он почти все молчал; переставая молчать, почти все относился к полковнику, а между тем пристально, язвительно следил все движения корнета, все взгляды княжны и беспокойно вслушивался в каждое их слово. Напрасно небрежным положением тела он силился принять на себя равнодушный вид, напрасно прибегал ко всем приемам изученного хладнокровия, которое помогает утаить бунтующее чувство и с улыбкой счастия, с порывами восхищения вытерпеть пытку самолюбия на дне души, без свидетелей. Оно, оскорбленное, прорывалось наружу и в тонких переменах желчного лица, и в изысканной замысловатости, и в насильственном предпочтении полковника всему обществу. Племянник могущественного дяди, адъютант известного генерала, он находился в отпуску у родных и, будучи знаком с князем по Москве, сделался у него в доме ежедневным гостем. Хотя часто он встречал тут и полковника, расположенного также в

соседстве с своим полком, и хотя у этого было заметно менее наклонности к приданому невесты, чем страсти к ее увлекательной красоте, но адъютант не робел. Лоск светскости, смелость паркетной опытности внушали ему высокое мнение о себе и унизительное о сопернике. Деревня удивительно питает гордость. В деревне на каждом шагу представлялись ему эти мелочные, но сладкие утехи самолюбия, до которых никак не доживешь в большом городе, потому что там много адъютантов. В деревне он видел себя единственным представителем столичного общежития и являлся перед княжною торжественный, веселый, а может быть, и уверенный в победе. Вооруженный великолепными фразами и неистощимыми воспоминаниями 1812 года, ходячая реляция, герой всех своих рассказов шумел в целом уезде, тем более что чувство чести, развитое в нем до крайней степени, налагало благоговейный страх на простодушных помещиков. Это была честь щекотливая, честь недоступная, честь во всех суставах и мускулах. Если, бывало, Андрей Степанович или какой-нибудь щеголь в розовом галстуке неосторожно задевал его локтем на деревенском пиру и потом рассыпался в извинениях, то с этой честью делалась судорога: адъютант наклонялся важно в знак прощения, но продолжительным, уничтожающим взглядом вымерял дерзкого с ног до головы. «Не верьте,— говаривал он,— если кто скажет, что в душе не трусил ядра или пули; но трусов нет, струсить в сражении нельзя», и отправляясь от этого предисловия, судил о храбрости как о деле весьма обыкновенном, припоминал свои подвиги так, мельком, более от солдатской откровенности, чем от желания выказать себя; однако же все успели подробно узнать, что приключилось ему на высотах Монмартра, в каком углу Европы был он окружен французскими латниками и на котором клочке Бородинского поля воевал с Наполеоном. Ему удивлялись, а княжна, кстати, о высотах Монмартра, расспрашивала о Париже, о Тальме.

В эти минуты храбрости, ловкости, красноречия, самозабвения, в эти минуты, которые испытал всякий, кому случалось ораторствовать в глуши деревни или за Москвой-рекой, где нет никого, чтоб вас перебить, затмить или вам противоречить, в эти минуты, мимолетные, как день, упал с неба корнет. Какая-то мрачность подернула блистательного адъютанта, и княжна

стала так рассеянна, что не могла уже слушать последовательно длинную историю военных похождений. Уже за чайным столом он не находил в себе искусства овладеть разговором, не поспевал за быстротою светских мыслей, которых никак не догонишь, если самолюбие мучит душу и исключительная дума давит воображение. Уже, наконец, он не глядел ни на княжну, ни на корнета; он напал на полковника и, придираясь к ятагану, начал громко объяснять, каким образом достался ему под Красным кривой кинжал, вывезенный из Египта французским генералом; каким образом турки вонзают ятаганы в землю, кладут ружья на рукоятки и лежа стреляют; словом, он, казалось, совершенно пренебрег вниманием княжны, только речь его все походила на золотой мундир камергера, причисленного к герольдии.

Между тем как адъютант разыгрывал роль жертвы, которая переносит свое несчастие с достоинством, резвая хозяйка забыла давно о ятагане. У нее с корнетом предметы пролетали молнией мимо светского внимания, рождались и мерли, как слава в наше время; их разговор был разговор беглый, скользящий, проникнутый братством воображения, сходством вкусов, всею легкостью молодости, всеми цветами нарядов, балов, красоты, богатства.

— Вы смеетесь, княжна,— сказал, между прочим, корнет,— а чай не деревенское удовольствие, для чая нужен город, зима. Во-первых, при дневном свете чай уже не то: для него необходимы свечи. После спектакля, часов в одиннадцать вечера, когда вы сидите за фортепьянами, а снег заносит окна, тут я понимаю чай; вот эти минуты сотворены истинно для чая!

— Чай на чистом воздухе всего приятнее,— заметил полковник, который покушался давно поместить свое слово и отдохнуть от обязанностей слушать теорию ятагана, выученную им твердо в школе сражений.

К тому же он думал, вероятно, угодить княжне. И она вступилась за чистый воздух, восстала против поздних вечеров, против всех обыкновений столицы, восстала за деревню, но так мило, так неискренно, так неубедительно!.. Звуки ее голоса защитили и утреннюю зарю, и уединенные прогулки, и весь восхитительный мир патриархальной жизни, да только пристрастие к невинным суетам проглянуло на ее лице...

спектакли были ловкий, гвардеец кружились перед нею,— она перенеслась на солнце паркета; но спорила, но нападала на них, потому что нельзя же высказывать эти тайны сердца, потому что ложь лучше истины; потому что женщина всегда хвалит то, чего не любит, и любит то, чего не хвалит.

Отрывистое изречение полковника пропало, как подвиг солдата, как мысль, зачеркнутая красными чернилами, как жаркое чувство в глазах робкого юноши, когда он следит издали великолепную красавицу, которая не узнает никогда о его скромном существовании.

Во все продолжение этой беседы полковник стоял: то в нерешимости, куда девать ятаган, то принимался снова рассматривать его, то подпирался обеими руками, сгибал левую ногу и пристукивал шпорой, то щипал бакенбарды. Кресты и медали, законная вывеска благородной души, полезных трудов и неустрашимости, были красиво развешаны на его груди в убийственном количестве... Но, грустная мысль!.. это лицо, опаленное порохом, эта грудь, по которой столько раз скользил неприятельский штык, эти знаки отличия, из которых, может быть, каждый прикрывал рану, все терялось, все как будто не было!.. Непостижим доступ к сердцу женщины!.. Не она ли отзывалась о нем с особенным уважением за то, что он никогда не наводил разговора на войну, не намекал на собственные заслуги, хотя и замечала, что ему все хочется щеголять светскостью... Не она ли отдавала полную справедливость его молчаливой неустрашимости, признавая ее первым достоинством в мужчине!.. и со всем тем послужной список, исчерченный кровью, не мог занять первого места за чайным столом...

III

В усадьбе князя водили расседланных лошадей, когда его дочь, в верховом платье, в мужской шляпе и с хлыстиком, подошла проворно к стеклянным дверям, откуда отлогий скат, уставленный по сторонам лиловыми и белыми левкоями, спускался в широкую длинную аллею из столетних столбовых дерев, аристократически мрачную и богато опрятную. В самом конце ее, где был выход из сада, стоял корнет с адъютан-

том: этот как будто имел намерение не сходить с места; тот как будто колебался в нерешимости: остаться или уйти. Княжна выдернула из-за пояса лорнет и стала смотреть украдкой с таким любопытством, что казалось, ей очень хотелось заменить чувством зрения ограниченность другого чувства и подслушать глазами далекий разговор. Он приметно оживился. Спокойствие, требуемое от образованной осанки, нарушилось у офицеров во всех частях: кто трепал аксельбанты, мял фуражку, кто пожимал плечами и махал рукою... однако еще немного, и они разошлись бы довольно смирно. Корнет отступил уже шага три, адъютант почти совсем отвернулся, но только взглянул назад, кивнул головой... и вмиг корнет остановился: сделал знак на дом и на аллею, надвинул фуражку... Адъютант к нему... и оба вместе исчезли из сада.

Лорнет закачался на золотой цепи, княжна потупилась. Обвила хлыстик около руки с большим тщанием, оторвала рассеянно несколько листков у прекрасной штамбовой розы и медленно пошла к фортепьянам; оглянулась на аллею, оглянулась еще раз, задумчиво пролетела пальцами по клавишам и с небрежностью мужчины кинулась на диван. Шляпа упала с нее, и она приняла одно из этих неправильных, искусительных положений, которые не терпят свидетелей, таятся в непорочности девичьего уединения. Это был отдых от неволи, бунт против привычек воспитания; это были обременительные размышления, итальянская лень или заманчивая мечта! О чем думала княжна?.. О чем думают княжны наедине?.. Голос отца застал ее в живописном забытьи, и она опомнилась и вдруг из прелестной романтической женщины превратилась опять в прелестную классическую княжну.

— Да что такое у вас сделалось? — спросил князь с видом неудовольствия.— Полковник не умел мне объяснить причины: говорит, что не знает; однако ж я послал его помирить их непременно... Это почти у меня в доме, ездили с тобой...

— Я и сама не знаю,— томно отвечала княжна,— лошадь у адъютанта испугалась, он упал...

— Ну да, упал, это уж я слышал! — перервал князь, складывая руки на спине и начиная сердито ходить по комнате.

— И упал довольно смешно, папенька; сын Натальи Степановны улыбнулся и, не помню, что-то сказал мне. Я смотрела на адъютанта... кажется, вскакивая на лошадь, он видел, как тот засмеялся...

— Да я и тебя не оправдываю... Это один предлог для адъютанта: разумеется, всякий выйдет из терпения, когда его выбрасывают из общества, не замечают...

Тут князь стал проповедовать дочери тяжелую науку света; а как проповеди, советы и всякого рода нравоучения бывают длинны, когда читаются людям слабым (краткость создана силой!), то он распространился об этом предмете, обвинил корнета за молодость, а дочь за опрометчивость в обращении и вообще остался верен назначению всех нравоучителей и судей, которые умеют осудить, да не умеют уберечь никого от слабости или преступления. Однако же под конец начал смягчать жестокость упреков выражениями: «друг мой, милая», потому что княжна сильно растрогалась. Приученная по смерти матери к безусловным похвалам, к безусловному исполнению своих прихотей, она прослезилась, слушая отца и ломая хлыстик. Трудно решить, досада ли извлекла эти слезы или, приготовленные в душе для другого чувства, они заблистали на густых ресницах при первом удобном случае. Женщины плачут обо всем, когда им хочется плакать о чем-нибудь.

Едва князь, движимый отцовскою нежностию, умерил скорость диагонального путешествия по гостиной и произнес несколько слов более снисходительных, как дочь, после продолжительного молчания, не возразив ничего на родительский приговор, спросила с живостью:

— Да куда ж полковник пошел? найдет ли он их?

В эту минуту загремели шпоры. Княжна бросилась в другую комнату, притворила за собой двери, но не плотно, и приложила ухо. Она не могла не вспомнить, что нельзя ей показаться полковнику: не причесана, не переодета, в волнении!.. вслед за ним явилась и Наталья Степановна с веселым лицом, а потом он подошел к князю скорым шагом и на вопрос:

— Ну, что там?

Отвечал шепотом:

— Маленькая неприятность, ваше сиятельство...

. . . .

IV

Вы, может быть, помните, как однажды волновалось московское общество, и позволите мне употребить это выражение, вопреки несправедливым, раздраженным, жестоким судьям, которые утверждают, что общество московское не волнуется, что оно равнодушно, холодно, что у этой кокетки и глаза не живы и душа мертва? Вы, может быть, подкрепите меня свидетельством перед всяким, кто любит читать одну правду. Да, страшное волнение встретило в гостиных князя с дочерью, когда они воротились на зиму в Москву. Волнение вполголоса, без признаков на лицах, неприметное для поверхностного взгляда.

Красота княжны не изменилась, но огонь не оживлял ее речей, и черты, где при малейшем впечатлении сверкал ум или теплилось чувство; где все внушало или благоговение, или страсть; где был и ангел света и ангел тьмы,— эти черты приняли в себя что-то однообразное, неподвижное, безответное; приняли такое выражение, которое часто на лице женщины приводит вас в отчаяние и не позволяет никакой заносчивой мысли закрасться к вам в голову. Лучшая струна сердца, струна симпатии, назначенная для отголосков на все звуки, молчала, как будто приучилась к одному. Никогда наружное кокетство, отданное в удел низшим рядам общества, провинциалкам гостиных, не унижало княжны пред мужчинами; никогда принужденность движений, слов, взглядов, поклонов не портила того, что было в ней истинно прекрасного; а потому, не подстрекаемая этой допотопной склонностью своего пола, она являлась в свет с естественным расположением души и не умела скрыть, что ее воображение поражено чем-то.

Свет не простит естественности, свет не терпит свободы, свет оскорбляется сосредоточенной думой; он хочет, чтоб вы принадлежали только ему, чтоб только для него проматывали свое участие, свою жизнь, чтоб делили и рвали свою душу поровну на каждого... Заройте глубоко высокую мысль, притаите нежную страсть, если они мешают вам улыбнуться, рассмеяться или разгруститься по воле первого, кто подойдет. Свет растерзает вас, и он терзал княжну.

— Как она имеет дух показываться? — говорили матери, снаряжая дочерей на вечер.

— По крайней мере не давала бы виду, что эта история была за нее,— замечали мимоходом почетные барыни во время торжественного шествия к зеленым столам.

— Оба убиты на месте. Вы знали ...на, что был адъютантом у графа ***? Какой милый человек! Я, право, услышавши, сама расплакалась о нем, а как жалок его дядя! Мне пишут из Петербурга, что он совсем потерялся, точно помешанный...— Так на одном бале шептала своей пожилой соседке важная особа, похожая на картину, вставленную в золотую раму, а написанную рукою суздальского живописца.

— У меня сердце обливается кровью, когда я ее вижу,— продолжала она, занимаясь все княжною, которая царствовала над мазуркой, и не оглядываясь назад, чтоб не видеть своей дочери, которая сидела как опущенная в воду.

— Ей век не замолить этого греха! — прибавила пожилая соседка с постепенным одушевлением в голосе, потому что женский суд всегда идет crescendo [1].— А другой, кажется, только что был пожалован в офицеры... Такой молоденький! Мудрено ли, что она вскружила ему голову! Приехал повидаться с матерью! Вот несчастный случай! Верно, она не переживет... О дяде адъютанта вам пишут?.. Да если б это была моя дочь, да я не знаю, что б со мной было! Я бы ума лишилась!

— Могу вас уверить, что убит один,— сказала молодая дама.

Между тем юность с прекрасными глазами и с теплым сердцем смотрела на княжну не так сурово: несколько зависти и много удивления кружилось около нее. Заманчиво быть причиною дуэли, приятно заставить умереть или убить — это к лицу женщине, это по душе ей.

— Она решительно влюблена,— говорил гвардейский офицер, роняя себя на диван в одной из комнат, отдаленных от залы.

— Я не замечаю,— протяжно возразил камер-юнкер, поправляясь перед зеркалом. Он танцевал мазурку с княжною.

— Я не узнаю ее...

— Зачем же вы хотите приписывать любви не-

---

[1] Возрастая (*ит.*).

большую перемену?.. просто огорчение... да, кажется, и молодой человек, которого теперь общее мнение навязывает княжне, не имеет таких достоинств и блеска, чтоб уж совсем околдовали ее! Самая дуэль...

— Что ж дуэль? — сказал гвардейский офицер, выпрямляясь на диване.— Он уклонялся от нее — правда, а адъютант и обрадовался, думал, что напал на труса.

— Да, струсил,—перервал другой военный, входя громко в комнату,— рука дрогнула, и в пятнадцати шагах пуля попала только прямо в середину лба.

— О, я очень далек от того, чтоб называть его трусом: жаль, что это может кончиться неприятностью! Дядя покойника не оставит этого так: дрались без секундантов...

— Неправда! неправда! Ох, эти дяди! — отвечал с живостию военный, повертываясь проворно к дверям навстречу прекрасному строю девиц, которых причудливая прогулка завела нечаянно туда, где мужчины отдыхали от света залы, глаз, от танцев и разговоров мазурки.

Все эти обвинения, приговоры и догадки перебегали из уст в уста, но на почтительном расстоянии от княжны; не отдалили от нее ни одного поклонника и не отняли первенства на роскошных выставках невест. Одобрения, похвалы не могут вывести иную вперед из толпы, затененной природою и случаем; не могли порицания, клевета, вся настойчивая злость людей стереть румянца княжны и лишить ее наследства. В пестром букете балов она оставалась середним цветком, и когда не было этого цветка, то букет терял прелесть радужных отливов и благоухание моды. Впрочем, несмотря на кучу приглашений, она выезжала реже прежнего, и если б не увещания отца да другие деспотические отношения света, то, казалось, заключила бы себя охотно в четырех стенах на всю зиму, длинную, неизмеримую для того, кому хочется весны и в деревню. Сколько законных отговорок находила она, чтоб оставаться дома, сколько раз болела у нее голова, сколько раз забывала заказать платье, как часто не в чем ей было ехать!.. Но ни разу не забыла, в какой день отходит почта в Тульскую губернию. Тут накануне садилась писать, погружалась в занятие с заботливостью, с робким умилением: в ней обнаруживалась борьба искренней печали с

поддельной веселостью, как будто рука ее подбирала слова, в которых сомневалось сердце, как будто язык лепетал утешения, которым она не верила. Эти письма бывали всегда адресованы к Наталье Степановне. От нее княжна получала также каждую почту большие послания, упитанные материнскими слезами, и, расстроенная, прибегала тотчас к отцу и бросалась к нему на шею и спрашивала: «Писали ли вы, папенька, в Петербург?» — «Писал, мой друг»,— отвечал он всякий раз, надевая очки, чтоб прочесть письмо Натальи Степановны.

В этой переписке, в этих необходимых угождениях свету, в этих вопросах и ожиданиях ответов из Петербурга дожила княжна до весны. Торопилась на берег Красивой Мечи, уговаривала отца, как однажды утром, незадолго до отъезда, позвали ее к нему.

— Бедная Наталья Степановна! — сказал он, бросая на стол распечатанный пакет.

Княжна вздрогнула, ее щеки загорелись, и сердце забилось всем могуществом молодости, всею бурею женской чувствительности.

V

Страшную перемену нашли они в матери корнета. Ее лета не перевалились еще за эту отвратительную границу, где нет более перемен; где душа погребается под развалинами тела, немая, неспособная подрумянить пожелклую кожу, положить на нее новое клеймо размышлений, страданий или радости; за эту границу, за которой признаком жизни остается какая-нибудь привычка — привычка к собаке, к креслам, к воспитаннице.

Не было ни корнета, ни адъютанта. Только Андрей Степанович являлся к князю по-прежнему свидетельствовать свое почтение и отдавать отчет в наступательных действиях против русаков и красных зверей; да еще полковник не подвергся влиянию времени. Неизменный, как гранит, он пребыл верен своему посту, верен княжне и не без тайного удовольствия встретился опять с нею: поле сражения оставалось за ним. Полковник не переменился, но все переменились к нему. Он сделался первым человеком, ненаглядным гостем, предметом общих ласк. Княжна, Наталья Сте-

пановна и сам князь, увлекаясь их примером, угождали ему, как должник заимодавцу, как бедный друг другу богатому, как писатель цензору. Угождали, но вместе и просили.

— Я уверен,— говаривал князь,— что вы, полковник, не отягчите его участи: он будет переведен к вам; его мать истерзала мое сердце; я писал, просил, чтоб по крайней мере ему быть возле нее: она умерла бы... Пожалуйста, полковник, я надеюсь на вас.

— Помилуйте, ваше сиятельство, можете ли вы сомневаться? Верно, я сделаю все, что будет зависеть от меня.

Тут князь жал ему руку, а он с гордостию поглядывал на княжну: сладко обещать покровительство при глазах прекрасной женщины. Но иногда бывали и тяжелые минуты для полковника — минуты, с которыми не умел он справиться: прослезиться неприлично, не прослезиться совестно; словом, он не знал, что делать; боролся между чувствительностью человека и мраморностью солдата, между своим положением и своим саном. В это затруднение приводила полковника Наталья Степановна, когда хватала его за руку и когда ее слезы лились ручьем на форменный обшлаг. Хотя рыдания мешали ей произносить слова явственно, но он понимал, что это мать просит за сына. Княжна отвертывала поскорей голову и выбегала из комнаты. Князь повторял: «Да полноте, Наталья Степановна, успокойтесь»; а полковник сыпал утешения и клялся обещаньями: «Как вам не стыдно, сударыня, мы постараемся все поправить; верно, я для здешнего дома не окажу ему никаких притеснений» — и проч.

Только у княжны не вырвалось ни одной просьбы, ни одного намека, по которому полковник мог бы догадаться, какое участие брала она в судьбе того, за кого ходатайствовали, как хотелось ей перешагнуть черту приличия и плакать самой за молодого человека. Женская сметливость учила ее, естественная хитрость шептала ей: не проси, не напомни чайного столика, не напомни, что когда-то корнет затирал полковника. Он все сделает для тебя: он назначит парад, угостит музыкантами, пройдет церемониальным маршем, с одним полком бросится воевать вселенную; но если вмешается самолюбие, защекотит ревность... и княжна с неподражаемым искусством разыгрывала роль, добродетельную по цели и грешную по средствам. Так

грех и добродетель путаются на земле, так женщин клянут за притворство и пятнают за откровенность.

Полковник выдавал себя за смертного охотника до просвещения, до книг, а пуще до запрещенных стихов, и княжна снабжала его книгами, слушала стихи, которыми любил он роптать, шуметь, разгорячаться в ее присутствии, просила вписывать в ее альбом. Полковник уверял, что страстен к музыке, и она просиживала вечера за фортепьянами, доставляя ему случай восхищаться, вертеться и божиться всем, что ни есть святого, что он ничего не слыхивал лучше. Полковник любил обедать у князя, и она спрашивала всякий раз: «Вы будете к нам завтра?» Он иногда, подделываясь к женскому вкусу, погружался по-своему в разложение нежных чувств, тонких оттенков, в анатомию сердечных болезней — и княжна опускала глаза: черные ресницы прятали стыдливый или насмешливый взгляд, и легкая двусмысленная улыбка налетала на уста. Он часто к исходу дня, к сумеркам, к этому часу, когда язык приговаривается, голова тупеет и заносится в какую-то пустоту, где нет ничего, что б можно ощупать или на что опереться, он часто молчал, посматривая на свою собеседницу, на потолок, на стены, на небо в открытое окно, не попадется ль мысль, не навернется ль слово... и княжна начинала поскорей хвалить погоду... Но как передать эту вкрадчивую внимательность, эту благородную лесть, этот мир тонких, мелочных, бесчисленных соблазнов, которые наслала она на простую душу воина, чтоб он не закипел жаждою брани и приласкал того, кому береглись все искренние ласки ее сердца? как передать это обольстительное уменье стянуть кстати перчатку с руки, выдвинуть ножку, дать заметить, что видят вас издали, бросить вам мельком при всех меткое слово, таинственный намек на вашу любимую мысль, на вашу любимую слабость, на вчерашний разговор с вами?.. что есть уклончивого в женском нраве, что есть блестящего в женском уме, что есть неисповедимого в женской прелести — вся эта отрава, которая всасывается в сердце мужчины, когда вздумается красавице употребить его средством для сует самолюбия, для мщения, для добродетели... все это счастие, о котором мы бредим, эта цель, которую шарим по углам света, все слилось в какой-то очаровательный призрак... новый, не виданный полковником

на самых великолепных парадах, в самых славных делах.

Никогда не вздевал он эполет и не развешивал крестов с таким удовольствием, как теперь; никогда не становился перед полком с такой непринужденной гордостью, и при криках «вольно» или «смирно» никогда не бывало в его голосе такого одушевления. Полк и кресты явились ему в другом виде, но более соблазнительном. Темное, инстинктное чувство, заглушаемое обыкновенно мечтами о качествах, которых нет у нас, вероятно, докладывало ему, что носить георгий, кричать на две тысячи человек — это было его единственное право на руку княжны. Он перелистывал мысленно историю своей храбрости, конечно, уже не оттого, что она всякий раз, бывало, доводила его до непременного генеральства,— нет, теперь эта история оканчивалась другою надеждой — мысль: «мне не откажут» — привязалась одна ко всем воспоминаниям, похороненным в столбцах послужного списка, и сделалась лучшим итогом службы. Но не только его честолюбие приняло новое направление, княжна произвела перемену даже в его светском обращении. Надобно было видеть полковника, надобно было следить, как он мало-помалу становился красноречивее, развязнее. Отрывистые слова начинали вязаться между собой и разрастались в круглый разговор. Уже при каждом слове он не поглядывал по сторонам, ловя на лицах одобрение и стараясь передать другим свой смех, свою улыбку, которыми новобранец гостиной прикрывает обыкновенно щекотливую робость, беспрестанные сомнения и раздражительную недоверчивость к самому себе. В его движениях не так уже было заметно желание рисоваться, щеголять всяким шагом, всяким поворотом головы или стана. Полковника окружили свободой, дали ему простор, занимались им, и он стал откровеннее, смелее, приятнее. Он не входил уже в гостиную с прежним мнением, что там следует быть не таким, каков он есть; гостиная не представлялась уже ему страшным судилищем, где смутитесь вы перед равнодушием правосудия, где иногда скользнет по вас чей-нибудь взгляд, но заставит поправиться, где иногда станут слушать вас, но с осторожным или рассеянным вниманием, и где обдадут холодом все, что вы заготовили в глубокомысленном уединении и чем надеялись отличиться. Коро-

че, полковник получил эту счастливую уверенность, которая внушает смелость пускать слова по произволу мысли, не воздерживаясь, не охорашиваясь, и нередко внутренний жар оживлял безыскусственность его выражений, и нередко княжна, боясь формального объяснения, торопилась найти предлог, чтоб перервать разговор.

Впрочем, любезность его не дошла еще до невыносимой обольстительности, потому что когда княжна уходила от него и бросалась в своей комнате на диван, то у нее вырывался из груди тяжелый вздох отдыха, между тем как на лице обнаруживалось беспокойство, раздумье о том, что не слишком ли уже баловали полковника. Прежде ей не приходило и в голову, что он может мечтать о руке ее; теперь это казалось в порядке вещей, и она вздрагивала при мысли о решительном предложении...

Но это предложение, это объяснение в любви — это были фурии-мучительницы полковника, это были призраки, которые встречали его у постели и утром и вечером, становились в рядах солдат, маршировали на ученьях и, как полковые знамена, не покидали его. Как предлагают руку и сердце? как говорят: люблю вас? как это сказать? как осмелиться сказать, и кому же? Княжне!.. Она так нарядна, так знатна, так страшно окружена всем великолепием приличий. «Упасть к ее ногам,— думал полковник,— но это, кажется, не водится, это нейдет к моему росту и летам; сказать просто, не падая на колена, как-то холодно, затруднительно; написать письмо, но к княжнам писем по-русски не пишут; открыться князю, но она осердится, что я не спросился у нее»; словом, что ни задумывал полковник, все было неловко. Подчас, гуляя с княжной по саду, он разгорался жаждой приступа, чувствовал, что волна храбрости мчит его к цели, и облекал уже умственно свою речь в законные формы вступления и готов был произнести торжественно: «Ваше сиятельство!..» Но вдруг замирал, вдруг один взгляд, одно слово княжны то пугало его неприличием, то перебрасывало из настоящего в прошедшее, от любви к походам, на край света, под Лейпциг, в оркестр полковых музыкантов или к огромному дубу, замечательному по своей дряхлости, или к Наталье Степановне, которая прохаживалась, задумавшись, по уединенной аллее... и полковник тотчас дога-

дывался, что теперь не время, некстати, лучше в другой раз.

Эти мучения прекратились наконец; он отменил личное объяснение не столько потому, что княжна почти не оставалась с ним одна, сколько потому, что ему блеснула счастливая мысль. Беспрестанно повертывая один и тот же предмет, можно открыть в нем полезную для нас сторону. Полковник был вне себя от открытия, отдохнул, успокоился. Наталья Степановна объяснится за него с княжною, а Наталью Степановну попросит ее сын.

Таким образом и сам полковник ожидал его с удивительным нетерпением.

VI

Полковничья квартира в богатом селе была по возможности возведена на степень удобного жилья и приноровлена к потребностям постоянного пребывания; однако ж разные полугородские украшения не отнимали у нее походного, поэтического вида. Стены были завешаны коврами, пол устлан также ковром, ширмы отделяли спальню, то есть постель, от кабинета, или приемной; а у небольших окон новые рамы с цельными стеклами, задернутые зелеными занавесками наподобие стор, показывали, что нет ничего невозможного на свете. Французские и турецкие пистолеты, черкесская шашка, два-три кинжала и образцы киверов, ранцев, сум занимали место картин. В одном углу стояли знамена полка, в другом солдатское ружье; под знаменами — шпага арестованного офицера. Наконец беспорядочная группа трубок, бисерный кисет, «Воинский устав», «Рекрутская школа», «Краткое наставление о солдатском ружье» и табачная атмосфера — все это одело большую горницу зажиточного крестьянина по военной форме. Только с некоторых пор между признаками временного привала, строгой службы и неизнеженных бивачных привычек вкрались кой-какие предметы роскоши, приличные столичному слабодушному щеголю. Так, например, на столе, где лежали полковые ведомости, «Военный журнал» и другие дельные бумаги, тут же почти без смены стояло зеркало, а возле него какой-то переводный роман, взятый у княжны, несколько ножниц и ноженок, ду-

хи в хрустале, французская помада в фарфоре и прочие изящные мелочи туалета, необходимые для истинной любви девятнадцатого столетия. Что делать?.. Полковник не стригся уже под гребенку, не оставлял бакенбард на произвол ветра и пыли, а старался соединить женоподобные прелести статского наряда с суровым блеском военного; позволял себе, отправляясь к князю, выставлять из-за черного галстука воротнички, чистые, как серебро; расстегивал мундир, и белый жилет его всегда бывал бел, и золотая цепь от часов пригонялась таким образом, что вместе с орденами не вредила впечатлению целого. Что же касается до прежней благоразумной экономии в носке эполет, то эту статью полковник вычеркнул вовсе из устава о своем гардеробе.

Он пил чай и курил трубку, сидя перед зеркалом, как однажды утром вошел к нему полковой адъютант и, подавая распечатанный пакет, сказал:

— Прислан из гвардии разжалованный по суду в солдаты за убиение на дуэли.

— А, прислан! — перервал полковник, вскочил со стула и схватил весело бумагу.

Его радость ручалась за ласковый прием несчастному; он не даст ему почувствовать неизмеримости расстояния, на которое так быстро раздвинули их, и протянет добродетельную, хоть всегда тяжелую руку помощи...

— Это тот, что, прошлого года говорили, женится на княжне, вот вашей знакомой...

Косо посмотрел начальник на подчиненного и продолжал читать...

— Да теперь уже не женится, — прибавил опрометчивый адъютант и лукаво улыбнулся, чем довольно удачно выразил презрение к одному и лесть другому.

— Да где же он? Покажите мне его.

Адъютант отворил дверь.

Без галстука, в сюртуке без эполет, в полном беспорядке власти, полковник взял чашку, с торжественной беспечностью взглянул на дверь, поднес к губам трубку, затянулся — и сел. Ему напомнили, что корнета считали женихом княжны, напомнили корнета рядом с княжною, и просьбы князя, материнские слезы, собственные выгоды уступили вспышке самолюбия. Это была минута, когда сильный хочет показать-

ся слабому в величественном спокойствии древней статуи или в оскорбительной, небрежной неге; когда приготовляется делать вопросы и смотреть в сторону; минута, когда полковник говорил: ты.

Солдат вошел.

Может быть, ощущение его, как он переступал порог, не должно сравнивать ни с чем, а оставлять особо, на той уединенной высоте, куда оно занесено врожденной гордостью человека: это не отчаянье, не нищета, не ревность; это что-то неприятнее нищеты и язвительнее ревности; это какая-то пронзительная нота, которая не гармонирует ни с одним страданьем.

Солдат вытянулся, промаршировал и проговорил: «Честь имею явиться к вашему высокоблагородию...»

Но движения его были красивы и свободны, а голос тверд. На лице не было ни просьбы о пощаде, ни страха, ни унижения. Это был тот же корнет. Та же краска молодости, что в иные лета продолжает цвести над всяким несчастием. Только солдатский мундир придал ему мечтательную прелесть. Мысль о бесприютности, о необходимой и безмолвной жертве общества, о том, кто идет за смертию, куда глаза глядят, не спрашивая, где его отец, жена, дети,— эта мысль облагородилась образованным взглядом.

Полковник не смутился, не заметил опасного, заманчивого соединения этого взгляда с этим мундиром... он увидел мерный шаг, вытяжку, и пугающее воспоминание исчезло! Судьба закинула корнета далеко от княжны, солдат не может быть соперником,— и рассудок взял верх над мелочным чувством, и состраданием к ближнему, которого мы не боимся или в котором имеем нужду, смягчило жестокость величия.

Полковник встал и с важностью начальнической ласки, с явным желанием осчастливить человека опустил руку на плечо солдату: этот покраснел.

— Здравствуйте! Мы с вашей матушкой ждали вас давно. Мне очень жалко, что с вами так случилось, да мы не заставим вас служить по-нашему.— Тут полковник обернулся к адъютанту: — Держать его в штабе.

— Благодарю вас за ваше снисхождение,— сказал солдат.

— Все поправится, молодой человек; вы можете видаться с матушкой, когда хотите, только...

Полковник взглянул на адъютанта, как будто ему неприятно было, что есть свидетель следующих слов:

— Только я вам не советую показываться у князя; оно бы и ничего, да у него много бывает, чтоб, знаете, не дошло... для вас же лучше.

Он произнес это со всем простодушием дипломата.

Несколько времени продолжался затруднительный для обоих разговор. Полковник завел речь об обстоятельствах дуэли, пожимал плечами, обвинял убитого адъютанта, потом шутливо заметил, что сукно на мундире у солдата слишком тонко, потом спросил с громким смехом, умеет ли он делать налево круго́м; а когда этот выставил правую ногу, полковник сказал скороговоркой:

— Без формы, без формы... отправляйтесь, куда вам надобно.

Солдат (я стану называть его, как у солдат водится, по прозванию: Бронин; обыкновение, которым они опередили гостиные, где уже потому необходимо говорить иногда по-французски, что нет возможности упомнить имя и отчество или времени выговорить их,— отчего выходит, что всего лучше разговаривать по-русски с князем, графом и бароном)... Бронин оделся во фрак и поскакал к матери.

VII

Это было самое ясное утро; легкий ветер колебал Красивую Мечь, и миллионы золотых пятен, рассыпанные солнцем по ее поверхности, блестели, дрожали, ослепительно перескакивали с струи на струю.

Он не нашел Натальи Степановны дома: она была в деревне у князя. Тут Бронин почувствовал на себе тяжелую ношу совета, который должно считать приказом, подозревал, почему не велено ему показываться у князя; но нетерпение утешить нежную мать превозмогло подчиненность. Он, верно, никого не найдет там... легко скрыть от полковника... к тому же можно ли ему испугаться страшилищ благоразумия и в это утро, в этот час, в это мгновение не броситься к той, кто первая приветствовала улыбкой новый мундир молодого офицера и раскрыла перед ним все легкие, увлекательные подробности гостиной, все счастие образованной суеты. «Как она встретит меня, я во

фраке, я солдат?» — только эта мысль мучила Бронина.

Князь принял его радушно, с бо́льшей внимательностью, чем прежде, и осыпал надеждами на прощение. Мать схватила обеими руками за голову и стала целовать.

— Матушка, вы, право, стыдите меня, целуете, как ребенка,— сказал он, и глаза его наполнились слезами.

Но княжны не было в комнате. Известие долетело мигом до ее уборной.

Приколите же, княжна, к поясу самую свежую розу, киньте же поскорей в зеркало самый любопытный взгляд, бросьте поскорей на несчастного палящие лучи восторга, прохлажденные состраданием и скромностью... Проворно подошла она к дверям и остановилась так, что нельзя было отгадать, чего ей хочется, идти или остаться. Приметная небрежность в тонкостях туалета показывала, как она торопилась, но рука ее несколько раз прикасалась к дверям все не за тем, чтоб отворить. Только теперь она вспомнила, что они расстались, как расстаются в свете, после нескольких упоительных бесед, не сказав друг другу ничего решительного. Кого увидит она? думал ли он беспрестанно о ней?.. Ей не нужно более этих стройных, вкрадчивых слов, приносимых к ногам прекрасной женщины на крыльях остроты, ума и удивленья, не нужно пленительной светскости офицера, для кого год тому назад пробудилось ее чувство, это невольное чувство, подобное капле дождя, которая летит с неба и сама не знает, на какой цветок упадет!.. Теперь дайте ей всю важность, всю святость, всю глубину любви, заплатите за слезы, за память, за полковника, за эту беспредельную нежность женской фантазии, которая рисует несчастие в чудных формах, то с гордым взглядом, то с чистой, младенческой душой, и переносит солдата в несбыточный мир равенства; заплатите за эту способность привязываться к несчастию, которая не помнит ни ваших заблуждений, ни ваших злодейств: видит только конец их и оторвет женщину от великолепной жизни, от друзей, от родных и поведет за вами в Сибирь, на край света, повсюду, где только можно умереть за вас... способность, которая лучше женских стихов, женской прозы,

лучше пера герцогини Абрантес, Дельфины Ге и причудливой мисс Тролопп!

Князь, не желая, вероятно, быть помехой свиданью матери с сыном, оставил их наедине, а она тотчас же отправилась делать распоряжения и хлопотать, как бы его квартиру в штабе нарядить приличным образом, то есть наполнить всем, что нейдет солдату. А потому, когда княжна в прекрасной нерешимости роняла легкую кисть своей руки на бронзу дверей и задумывалась и возвращалась взять платок или перчатку,— Бронин был уже один.

Он стоял у окна и смотрел сквозь длинный ряд комнат туда, откуда следовало показаться княжне, а иногда взглядывал на дорогу, по которой приезжал полковник. Все, что окружало его, сохранило прежний вид веселой роскоши и могло бы потешить воспоминанием о резвом офицерстве. Огромная этажерка была по-прежнему уставлена теми же китайскими куклами: китайцы сидя, стоя, согнувшись, с зонтиками и без зонтиков! Один с сломанным посохом, одна с отбитой ножкой — особенные любимцы корнета, безответные жертвы, заклейменные забавой сильного,— отделялись от всех своей обвинительной наружностью и доказывали несомненными уликами, как он, бывало, любил рассматривать их, как смеивался над ними, как, в жару приятного непостоянства, опрометчиво повертывался к княжне и ставил несчастных не глядя, куда попало, без всякого уважения к китайской старости и красоте. Теперь он не удостоил их ни одним взглядом и едва прислонился к этажерке спиною.

Корнет двадцать раз обошел бы эту богатую гостиную, двадцать раз остановился бы перед картиной, вазой или бюстом, перебрал бы все изящные безделки и каждой подарил бы секунду этого скользкого, судорожного внимания, с которым человек бросается на всякую мелочь, когда один, посреди неодушевленного великолепия, ждет чего-нибудь, и хочет рассеять нетерпеливую тоску, и ищет доски спасения на неизмеримом море ожидания... Но солдат стоял спокойно. Несчастие сковывает тело и его быстроту, гибкость, волнения переносит на душу. Солдат не подступился ни к чему, потому что не было на нем этих эполет, разорваны были эти нити, которые связывали его с фарфором, бронзой и мрамором. Отнимите у человека

блеск, суету, возможность суеты, и ему или опротивеют до ненависти прихотливые выдумки роскоши, или покажется слишком мелкой эта наружная отделка жизни. Он станет допрашивать ее, что в ней есть независимого, тайного, загроможденного миллионами условий и очаровательными тонкостями общежития? Где у нее эти приметы, полученные ею при рождении от творца, которые не должны были полинять под румянами образованности? Где эта мысль, это чувство, эти лучи сердца, способные осветить ее голую и холодную пустыню? Наконец, где эта любовь, которая кажется ложью корнету, когда он блестит на паркете, и истиной, когда наденут на него лямку солдата?

Он ждал княжны, но княжны, похожей на его судьбу; он отнял бы у нее титло, сорвал бы дорогой браслет, нарядил бы в смиренное платье деревенской затворницы, чтоб только как-нибудь приблизить ее к себе, перенести из сложного, ослепительного света в простой и дикий мир солдата, чтоб газовая лента или слишком живописный локон не помешали слиянию сердец, не напомнили огней, вальса...

Вот почему Бронин стоял спиною к китайским куклам и почему княжна застала его в таком несовременном состоянии души, что он восставал даже на поэзию женского наряда, настраивал людей, предметы, прекрасную женщину под лад своему мундиру и, может быть, верил обветшалому предрассудку, что для счастия надо хижину и сердце!

Княжна встретила его как женщина, которая боится обидеть мужчину состраданием и не любит, чтоб он нуждался в нем. Если отец очень внимательным приемом, излишеством учтивости не достиг вполне своей доброй цели и дал Бронину почувствовать несколько разницу двух мундиров, то дочь поступила тоньше. Она проникла в тайну, не разгаданную умом. Ее веселый взгляд, ее ровное обращение слили в одно корнета и солдата, счастие и беду. Только все он не мог сначала освободиться от застенчивости, едва приметной, но всегда привязанной ко всякой неудаче, ко всякому невыгодному последствию хоть даже самого благородного дела. А потому разговор между ними пошел сперва по своим обыкновенным ступеням, и поэзия сердца уступила первенство деспотическим приемам общежития.

— Я стою здесь на часах и караулю полковника,— сказал Бронин с улыбкой после нескольких фраз и нескольких промежутков молчания.

— Я прикажу смотреть его; скажут, как он поедет.— Княжна позвонила в колокольчик.

— Верно, ему так приятно у вас, что он не хочет разделить этого удовольствия ни с кем?

— Папенька и ваша матушка избаловали его.

Бронин подошел к княжне, сел возле нее и загляделся на ее руку, которая играла колокольчиком.

— Он мне запрещает бывать у вас, матушка советует, чтоб я слушался его; неужли и вы станете мне то же советовать?

— Папенька всегда бранит меня за неблагоразумие,— отвечала княжна. Черные ресницы закрыли выражение ее глаз, солдат вспыхнул, и потом разговор оживился.

— О, если вы так помнили нашу деревню,— сказала она Бронину, перерывая его одушевленный рассказ о прошлом времени, о первой их встрече,— не должно ли мне принять ваши слова за упрек, от которого я перед вами не буду уметь защититься?

— За упрек, княжна?

— Папенька говорил тогда, что я была причиной...— Она наклонила немного голову и, растягивая кончик носового платка, стала прилежно рассматривать его.— Может быть, вы беспрестанно думали, что без несчастного знакомства с нами, с бедным адъютантом ваша матушка не пролила бы столько слез?.. Ах, ради бога, облегчите мою совесть... вы обвиняли нас?

— Будьте, пожалуйста, покойны. Неужели вам кажется, что нет в жизни этих сладких минут, которые перевешивают всякое несчастие? Неужели вы думаете, что нет этих приятных воспоминаний, которые отнимают силу у настоящей беды? Я помнил нашу деревню, но затем, чтоб забывать все другое; я страдал, но только оттого, что не смел надеяться быть опять здесь, в этой комнате, возле вас...

Бронин заглянул нескромно в лицо княжне: она, не поднимая головы, не сделав ни малейшего движения, обернула на него полный, внимательный взор с вопросом, который требовал еще уверений, еще бо-

лее ясности, необходимой для прихотливых, бесчисленных, вероломных сомнений женского сердца...

В это мгновение двери растворились, и человек доложил проворно:

— Полковник едет.

Оба вскочили с мест; но вдруг Бронин, вероятно пристыженный боязливой торопливостью, сел опять в кресла так смело и так решительно, как будто не хотел никогда вставать с них.

— Ради бога, уйдите! — проговорила беспокойно княжна, подходя к нему и взглядывая в одно время на него, на дверь и на окна. Она измерила разом всю бездну опасности; она призналась себе тут, что в обращении с полковником переступила невольно за границу добродетельного расчета и поддалась извинительному желанию: потешиться жертвой своей красоты.

— Ради бога, уйдите! — повторяла она с умилительной тревогой.

— Вот, княжна, самая ужасная минута,— сказал Бронин угрюмо, начиная колебаться между гордостью и зависимостью.— Как неприятно прятаться!..

VIII

— Его простят,— говорил князь, погружая после обеда тяжелое тело свое в вольтеровские кресла.

— Помилуйте, его простят!.. не было примеров,— резал полковник, встряхивая сияющие эполеты.

— Его простят,— шептала про себя Наталья Степановна, застегивая поздно вечером крючки молитвенника и посматривая на иконы, слабо освещенные лампадой.

«Его простят»,— думала княжна утром перед зеркалом, в сумерки за фортепьянами и в полусонном забытьи на постели. Но, недовольная одною этой мыслью, она прибавляла к ней другую, чтоб прожить заранее несколько мгновений этого полного счастия, которое в женской голове всегда слаживается так стройно и так хорошо!

«Папенька согласится»,— прибавляла она. А потому этого прощения ей хотелось так сильно, так нетерпеливо, так молодо, что едва ли чувство самой матери,

более благоговейное, более тихое, не уступало ее деспотическому чувству. Но по странной несообразности она украсила суровое звание Бронина всеми розами воображения, так что казалось, офицерский мундир только отнимет у него какую-нибудь прелесть, а ни одной не прибавит. Если мужчина любит унизить женщину до себя, то женщина всегда возвышает его над собой и над целым миром.

В нем видела она не грубого солдата под серой шинелью: для нее это был солдат романсов, солдат сцены, солдат, который при свете месяца стоит на часах и поет, посылая песню на свою родину, к своей милой; это был дезертир, юный, пугливый и свободный; увлекательно прелестный простотой своего распахнутого театрального мундира, с легко накинутой фуражкой, с едва наброшенным на шею платком; для нее это был человек, разжалованный не по обыкновенному ходу дел, но жертва зависти, гонений, человек, против которого вселенная сделала заговор, и княжна вступилась за него и взглядывала так гордо, так нежно, как будто столько любви у нее, что она может вознаградить за ненависть целого света.

Словом, в нем был только один недостаток. Этого не умели уже исправить ни ее сердце, ни ее воображение, и для этого-то нужен был прежний мундир. Спокойствие, блестящую будущность, добрую славу, самую жизнь она отдала бы ему, да как отдать руку?.. Солдату нельзя ездить в карете!.. Припишите это порочному устройству общества, прокляните обычаи людей, но согласитесь, что есть ядовитые безделки, на которые не наступит ничья нога и о которых можно без греха помнить в самые небесные минуты на земле.

Впрочем, солдатский мундир так ей нравился, что однажды она спросила у Бронина: зачем ходит он во фраке? Была ли это женская прихоть, нежность, или княжна хотела от него полного признания как в словах, так и в одежде, во всем, что обыкновенно считается унизительным и что́ одна смелая откровенность может облагородить? Во всякое другое время и от всякой другой женщины солдат принял бы такой вопрос за упрек в малодушии, но между ними не было уже разделяющих чувств. Он услышал это наедине с княжною, в саду, когда она позволяла уже ему вы-

сказывать всю необъятность счастия быть с нею наедине.

Эти прогулки оставались непроницаемой тайной для полковника. Хотя князь, узнав сперва о приказании, полученном солдатом от начальника, закричал: «Вздор, вздор, я ему скажу», но дочь остановила отца и убедила, что не надо противоречить полковнику, когда он довольно добр и когда нет никакой особенной причины настаивать на бесполезном позволении. Скрывая свои свидания с Брониным от одного, она не всегда доводила их до сведения и других, так что эти невинные прогулки прятались иногда от самого князя и от всех в тишине мрачных аллей, охраняемые прелестями таинственности, освещенные мирно прекрасными глазами, робким румянцем и волнуемые только невоздержными порывами влюбленного мужчины. Это были минуты искренности, к которой рвется возвышенное сердце и за которую княжна платила дорого, потому что полковник не прекращал почти ежедневных посещений и, считая себя благодетелем Бронина, сделался еще более заносчивым. Он не знал, что делалось с княжною, когда ей докладывали о его приезде, и каким образом она всякий раз произносила «что?», переспрашивая у человека неизбежную и слишком внятную весть; было от чего полковнику проклясть жизнь свою, если б он услышал это «что» и увидел его на лице княжны.

Наступило утро, в которое опасный соперник солдата проснулся необыкновенно рано, начал ходить по горнице, ходил чрезвычайно долго и шагал очень широко, так что в каждый конец для его третьего шага недоставало пространства. К нему позвали Бронина.

Когда этот явился, полковник подошел к нему быстро, схватил его за руку, разрушил ее форменное положение и с полусмехом скомандовал: «Вольно, снимите кивер!» Такой прием мог бы околдовать душу всякого подчиненного, даже и того, кто не был бы отделен от своего начальника ничем не наполненной бездной, но в солдате не замечалось ни исступления восторга, ни торопливости усердия. Спокойно он бросил кивер на стул.

— Мне нужно с вами поговорить по-приятельски,— сказал полковник, сжимая руку Бронина и налегая

с особенным выражением на слово: *по-приятельски.*— Вы видели княжну?

— Встретил у матушки,— отвечал Бронин медленно.

— У нас скоро будет смотр,— продолжал полковник, начиная набивать трубку.— Я представлю вас дивизионному генералу.

Бронин наклонил голову. Тут последовало молчание.

Полковник раскурил трубку, потом пошел от солдата в другой угол и на ходу, обернувшись к нему спиною, сказал:

— Послушайте, поговорите обо мне вашей матушке...

— Что вам угодно? — спросил солдат с удвоенным вниманием.

— Я уверен, что вы оцените мою доверенность. Я, с своей стороны, постараюсь быть вам полезным; надеюсь, что ваша матушка не прочь от того, чтоб оказать мне небольшую услугу. Вы знаете, я часто бываю у князя, и, сколько мог заметить, мои посещения не противны княжне...

Солдат потянул свой галстук: крючки застегнутого воротника начинали его душить.

— Признаюсь, я никогда не был о себе слишком высоких мыслей; но ее ласковое обращение, ее особенная внимательность ко мне... притом же, согласитесь, я полковник, служил... Молодой человек! вы не знаете, что такое служба, вы не в состоянии еще понять, как страстно можно любить службу... ну, теперь она мне в голову нейдет... я прошу вашу матушку поговорить обо мне с княжною и с князем.

Краска начала выступать на лице полковника, и он опять отвернулся от солдата.

Этот стоял, опустив глаза и ломая пальцы. Только волнение, в каком находился полковник, мешало ему заметить, как тяжело слушать и молчать, когда другой смеет намекать нам, что нравится женщине, которую мы обожаем.

— Княжна может быть уверена,— продолжал полковник, опуская трубку на пол, опираясь с жаром обеими руками на чубук и становясь более картинным,— что ей не найти такого мужа. Захочет она, чтоб я продолжал служить,— стану служить; захочет, чтоб

вышел в отставку,— выйду; вздумает жить в столице, в деревне — где ей угодно; мне с нею везде будет так же весело и приятно, как в то время, когда я получил первый крест или когда мне дали полк и я, выехав к нему на учение, окинул его глазом. Но вы расскажете красноречивей, что̀ я чувствую. Я мало вертелся в свете, мой язык привык к команде, вы моложе, вы ближе к женскому вкусу...

Тут полковник взглянул пристально и любопытно на солдата, как будто хотел отыскать на его лице опровержение своих слов.

— Или я ошибаюсь, или мне не должно бояться отказа. Во всяком случае надеюсь, что ваша матушка согласится быть посредницей: мое счастие зависит теперь от нее.

Он подошел к солдату, опять взял его за руку с большим чувством и через секунду прибавил:

— Не худо будет упомянуть между прочим, что мне скоро достается в генералы. Для княжны это, конечно, ничего... но князь... вы знаете, чины еще действуют.

— Очень хорошо, я скажу матушке,— отвечал Бронин сухо.

Не прошло часа после этого разговора — он был уже в саду у князя.

IX

Княжна гуляла и шла к нему навстречу; но, завидя его издали, пошла тише, хотя глаза ее приметно развеселились.

— Что с вами? Вы смотрите так насмешливо? — спросила она шутя.

— Мой полковник предлагает вам руку и сердце и поручил мне просить матушку, чтоб открылась вам за него в любви. Он без памяти от того, что очаровал вас.

— Ах, боже мой! он теперь догадается и станет мстить вам! — сказала княжна, изменяясь в лице.

— О, да как он влюблен! и я выслушал его изъяснение по форме, молча, с начала до конца. Тысячу раз думал я, что перерву его, не позволю продолжать, скажу, что мне не следует этого слушать, что он вы-

брал такого поверенного, который не может благородно выполнить его поручения,— но что делать? душа моя присмирела в тисках этого мундира...— И он дернул с досадой красный воротник.— Ах, княжна! Как мне в эту минуту жаль стало моих эполет.

Трудно выразить ее заботливость, когда начала она перебирать разные средства, чтоб согласить безопасность солдата с отказом полковнику. То хотела сама обратиться к нему, ввериться благородству его военного характера и произнести твердым голосом: «Простите меня, я не люблю вас, я для другого рассыпала перед вами драгоценные камни моей красоты и воспитания». Тут задумчивые глаза ее раскрывались мгновенно в полном блеске, вспыхивая надеждой на величие души, на самоотвержение. То вдруг эта светлая надежда потухала в ней, как одна из тех ветреных мыслей, которых истину доказывает сердце, но которые слишком дерзки для женских привычек и слишком мечтательны для рассудка. Княжна переходила от чудес жизни к обыкновенным явлениям и полагала, что отец ее...— она обовьется около его шеи, расплачется перед ним — его связи удержат полковника в почтительной боязливости и не дадут разыграться его негодованию или ревности.

Напрасно Бронин силился вырвать ее из этого мира забот, участия... восхитительного, как доказательство любви, и несколько неприятного, как желание женщины защитить мужчину. Он бросал беспечно свою судьбу на жертву непроницаемой будущности, он твердил ей о настоящей минуте... они сидели рядом... Солнечные лучи, пробираясь сквозь густые ветви дерев, образовали перед ними стену зелени, унизанную точками света... Княжна и солдат, два странных наряда вместе... два существа с одной планеты, но раскинутые какой-то мыслью по концам ее и соединенные чувством, которое не знает пространства, не боится расстояния.

Долго она не слушала его, долго прибегала ко всем усилиям воображения, чтоб утешить себя какой-нибудь счастливой уверенностью, потом задумалась, потом взглянула на Бронина, как будто утомленная испугом, и ласково сказала:

— Боже мой! зачем вас перевели к нему в полк?

Он схватил ее руку в первый раз, прижал крепко к губам... она покраснела, но оставила руку на произ-

вол любви, и ветер накинул широкую ленту ее пояса на колени к солдату...

. . . .

Между тем растревоженный полковник вышел из своей квартиры.

Его замыслам стало душно, его чувству нужно было и прохладу воздуха и простор неба. С дороги сбивался он на тропинку, с тропинки на пашню. Он шел скоро, как будто догонял свои мысли, которые все опережали его. Он шел бог знает куда, а очутился, усталый, перед домом князя.

Войти или нет?.. Полковник не будет уметь сохранить должного спокойствия!.. Не лучше ли дождаться ответа?.. Да, нет ничего приятней, как перед решительной минутой подмечать самому этот ответ, делать догадки о наступающем блаженстве по разным пустякам гостиной!.. И потом, чем наполнить пустоту времени? Куда бежать от сомнений?.. Он вошел.

Князь был на охоте. В передней никого. Почтительно прокрался полковник до одной комнаты, из которой окна выходили в сад. Никто не попадался ему навстречу... Считая неприличным атаковать дальнейшую часть дома, он опустился на диван, покойно упругий, обложенный мягкими подушками, обтянутый полосатым штофом,— и расцвел!..

Буря войны, ее голод и холод, кочевая жизнь... как все это показалось вдруг слишком молодо, тяжело, невозможно более для полковника, убаюканного негой роскошного дивана! Великолепие строя, чудная выправка и склейка людей, как все это показалось ему хуже, чем мраморный камин, матовые шары ламп, малахит и бронза подсвечников. Полусонно смотрел он на поясные и миниатюрные портреты княжеских предков, вероятно с таким же чувством, с каким Наполеон думал о родословной австрийского императора, когда сватался за его дочь. Полковник послужил... пора отдохнуть... что в славе, которая спит на сырой земле!.. Какая в том честь, что солдат сделает на караул! Ему захотелось отведать барской спеси, причуд богатства, понежиться в объятьях знатности и красоты!.. И почему не лелеять этой сладкой мечты? почему не надеяться на это заслуженное счастие?.. Он дрался храбро, княжна так восхитительно приветлива к нему, помещики с таким подобострастием становятся около него в кружок, сажают на первое место, ждут

к обеду, а Андрей Степанович, решительно уверенный, что для полковника нет невозможного, набожно говорит ему всякий раз: «В ваши лета, в вашем чине...»

Эти великие и малые воспоминания, это высокомерие, внушенное ему не собственным самолюбием, а ложью общества, злая ошибка других, потому что они смотрели на него в увеличительное стекло; наконец безгрешное, понятное в нем желание палат и сердца — все это отлило его надежды в прекрасную, крепкую форму... и он поднялся лениво с дивана и медленно подошел к окну, чтоб окинуть глазом еще частицу своих будущих владений... Но тут более любви, чем надменности, проявилось у него. Любовь душистая, светлая, беспечная повеяла ему из сада!.. любовь, какой не видывал он в деревенском сарафане, в корчме жида и у мелочных немок. Как нежно поглядел он на эти укатанные дорожки... где будет прохаживаться с своей обворожительной женой, на эти кусты роз, на эти тюльпаны... а там, вдали, глубокая, темная беседка... там, может быть, много схоронится супружеских тайн...

Вдруг полковник дрогнул, лицо его оцепенело, и он приметно вооружался всею зоркостью глаза, как будто поверял дистанцию при построении колонн к атаке... что-то мелькнуло сквозь ветви... что-то похожее на мундир и на женское платье... Он отсторонился от окна, оперся на эфес шпаги, и, я думаю, пальцы его выпечатались на бронзе... это княжна, это Бронин...

Нет, полковник, это демон, который принимает на себя все виды, чтоб вырвать нас из области счастия и показать нам жизнь, какова она без украшений, накинутых на нее головою и сердцем человека, жизнь с усмешкой безверия, с отчаянным взором!.. Но белое платье мелькнуло опять, но знакомый зонтик заслонял от солнца знакомые черные волосы, но красный воротник, но темно-зеленое сукно... В них нельзя ошибиться полковнику... это он, это она...

Да, полковник, это он, это солдат, который по твоему слову не шелохнется при тресках грома, не смигнет под грохотом ядер... это солдат, для которого ты отец и мать, жизнь и смерть, и небо и ад... ты обходился с ним как с равным, так щадил его, ты выска-

зал ему всю душу, а он обманул тебя, а княжна рассыпалась перед тобой для него, а там они смеются над твоей неловкой любовью... Куда ж девалась твоя служба?.. какой же теперь смысл в твоих крестах?.. Все раны Смоленска, Бородина и Лейпцига раскрылись у несчастного полковника!..

Смотри, полковник... он целует ее руку, эту руку, так хорошо освещенную солнцем, что ты отсюда можешь видеть ее белизну и нежность!.. смотри... их только двое... никого нет еще... они давно здесь... оторви его... чтоб княжна не отыскала и следов солдата!.. Но не поздно ли?..

Полковник не понимал, что есть невинные ласки, непорочное уединение... Подозрительно впивались его глаза в белое платье, и не бледность, которая грозит смертью, но грубая краска гнева зарделась на его полных щеках... Он воротился назад, к привычкам целой жизни, к своей невероломной страсти, в мир войны, дисциплины и зажигательных звуков барабана! Заблуждение вырвало его из строя и предательски покинуло одного, далеко от княжны!.. Ему показалось, что они идут к дому... он кинулся из комнаты, но вдруг приостановился, страшный, огромный... повернул голову, бросил еще один взгляд... только не на княжну, не на сгибы белого платья...

Он взглянул на солдата.

X

Если б вы вбежали за полковником в его квартиру, вам бы представилось одно из этих загадочных явлений, которыми душа расстроивает отчетливый порядок наших мыслей, когда от ежедневных, правильных впечатлений переносится внезапно к какому-нибудь впечатлению страстному и, обнаруживая все могущество своих поэтических волнений, дает мертвым предметам что-то живое, сливает их с собою в одну стройную картину. Изба, дворец равно отражают это напряженное состояние души. Этот взрыв ее поднимает все на одну высоту с нею, и вы видите кругом или блеск, или обломки.

Полковник курил, но это была туча дыма!.. Дым, выносясь густыми клубами, вился в кольца, расширялся, тянулся к потолку и растягивался под ним в

тонкую прозрачную пелену. Потом прокрадывался и расстилался по стенам, потом бежал, потом струился по полу, потом стало ему тесно. В этом аду дыма один угол, освещенный двумя-тремя лучами солнца, оставался чем-то утешительным, чистым, как будто человеколюбие притаилось тут от грозы ожесточенного сердца. Ковры, пистолеты, знамена — все исчезло, только мерцали частицы кинжалов, да виднелись две неподвижных фигуры, два синих, дымчатых лица, да против них сверкали глаза полковника и гремел его начальнический голос.

Горячо сердился он на офицеров (это были офицеры) за то, что избавляли солдата от службы. Гнев его разразился в своем полном объеме, как вообще гнев человека, который шумит на безответного, а потому бывает не робко дерзок и не трусливо храбр.

— Ни шагу никуда отсюда! — кричал он.— Ужо его на ученье, завтра ко мне в вестовые!

Но в этих звуках было что-то дикое, таинственное, как будто они относились к какому-то призраку, как будто полковник искал возле офицеров кого-то другого и на него смотрел и другое говорил ему. «Я стану между тобой и ею... сквозь меня ты не увидишь ни нежной руки, ни ясного дня, ни цветов, ни румянца, ни яркой улыбки... Я покажу тебе только, как бледно может быть лицо, как впалы щеки и как мутны глаза... мне не нужно обманывать, хитрить, кидаться к тебе на шею, жать с восторгом руку; мне не нужно таиться, подыскиваться клеветать на тебя, стеречь тебя за углом, красться к тебе ночью — ты мой при свете солнца, при тысяче глаз»...

. . . .

Ученье шло дурно. Полковник был недоволен до того, что передал свою ярость лошади: вся в пене, она бесилась под ним красиво, только беспокойно несла голову, потому что он беспрестанно затягивал поводья. Особенно же его раздраженное внимание обращалось на беспорядки того взвода, где с полунасмешливой и с полугорькой улыбкой стоял под ружьем Бронин. Там все было не так: люди не равнялись, фронт волновался, шаг был короткий, вялый, взгляд не быстрый. Замечая повсюду недостатки, без милости пришпоривая лошадь, полковник все озирался в одну сторону, и куда ни переносился — дирекция его огнедышащих глаз не переменялась.

— Не качаться,— кричал он, смотря на Бронина,— ровняй его!

Фельдфебель потянулся через заднюю шеренгу и слегка дал прикладом толчок солдату. Этот побледнел.

В самом деле несносно, когда ученье идет дурно. Оно требует непременно стройности, правильности, как признаков дружной храбрости и единодушия, необходимого для неодолимой силы, составляемой из тысячи сил.

Представьте себе быструю точность движений: эти ряды, ровные, крепкие, которые то сплотятся стройно в светлые тучи штыков, то развернутся свободно длинной гранитной стеной, протянутся блистательным лучом! Эти груди вперед, эти дерзкие лица идут на целый мир, эти ноги ступают твердо и поднимаются решительно; представьте себе этот чистый, дружный, отделанный шаг, и вы поймете, что церемониальный марш может вас бросить и в жар и в холод. Тут орудия смерти не беспорядочны, не безобразны, тут смерть нарядна, тут то же чувство изящества, то же чувство красоты, но вместе и чувство силы, невозможное для отдельного человека.

Теперь представьте, что ученье идет не так, что в нем нет этого согласия, и вы поймете, почему полковник, выведенный, наконец, из терпенья, отправился во весь карьер и прямо перед Брониным мастерски осадил лошадь.

— Что это за стойка?.. опустился!.. Господин взводный командир, поправьте его... выпустил колена... плечи ровнее, грудь вперед.

Слова начальника произвели пагубное действие: губы у солдата задрожали, но это было единственное проявление жизни на его лице, потому что весь буйный пыл ее, все лучи собрались в глаза. В них все было: и презрение, и ненависть, и отвага, и эта гордость, которую внушает безумная любовь и от которой мы представляем себе весь свет сердцем женщины, хотим везде стоять на первом месте, занестись куда-то высоко, выше всех общественных отношений, всех соперников и выше всякой славы.

Но простая команда не могла бы, конечно, привести Бронина в такое раздражительное состояние; вероятно, он подозревал, почему, когда воротился в

штаб, потребовали его на ученье. Невыносимо посмотрел он и, забывая свой долг, свою мать, свою княжну, сказал замирающим голосом:

— Полковник, не мучьте меня, вам от этого не будет лучше; я говорю, не мучьте.

Штык зашевелился у него на ружье, только движения штыка начальник не видал уже. Лошадь под ним взвилась и отскочила, потому ли, что он не был более в силах править ею, или потому, что не мог стоять под взглядом солдата и толкнул ее.

Нарушение дисциплины, на которую опирается общее благосостояние, да тайна полковника, мучительная тайна... да еще: «вам от этого не будет лучше...» — с него было довольно. Он понесся, вскрикнул дико, и грозное слово раздалось по рядам.

У солдата выхватили ружье и сдернули мундир...

. . . .

— Полно, брось его,— скомандовал полковник через несколько секунд с другого конца фронта; потом подскакал к ротному начальнику, махнул полковому адъютанту и скоро проговорил с приметным волнением:

— Не высылать его на ученье, не наряжать в вестовые; пусть он делает что хочет, ходит во фраке, бывает где ему угодно: оставить его в покое.

Что-то похожее на слезу блеснуло у него в глазах; он отвернулся проворно, вонзил шпоры в лошадь и исчез.

Возвращаясь с ученья, некоторые солдаты рассуждали между собой о преимуществах толстой рубашки перед тонкою и приправляли свои слова одним из тех мудрых изречений, в которые воплощается прошедшее: за битого двух небитых дают.

XI

Смерклось.

В одном из самых лучших крестьянских домов, в горнице, убранной, как убирает материнская попечительность, и блестящей этими волшебными безделками, этими подарками на память, которыми дорожит любовь при своем начале,— едва можно было различать предметы, и то от месяца да от тусклой, нага-

ревшей свечи, поставленной в так называемой передней.

На полу валялся солдатский мундир, на нем рубашка, разорванная пополам, сверху донизу, вероятно в припадке бешеного негодования. Павел, старый слуга, каких слуг более нет, не смел ничего прибирать, а робко выглядывал из-за дверей и раза два уже обтирал глаза рукавом.

Бронин лежал на турецком диване лицом в подушку, шитую по канве княжною. Если б он не повертывал иногда головы на окно, как будто хотел по темноте отгадать время, да если б еще не пожимал плечами, как будто чувствовал боль в спине,— должно б было подумать, что он спит. Камердинер его и дядька давно покушался войти; наконец переступил тихо порог, подкрался к дивану и, помолчав, сказал унылым голосом:

— Вот, сударь, к вам записка; как вы были на...— Он остановился и переменил оборот речи.— Давеча прислала княжна.

Бронин протянул руку, не поднимая головы, взял записку, стиснул — и не прочел. Грустно Павел отправился назад, но через четверть часа вбежал в больших торопях.

— Барыня, сударь, приехала, барыня!

Бронин вскочил, крикнул: «Не говори ей...» — и замер на месте.

Казалось, он испугался: иных слез, иных рыданий мы боимся и умирая. Верно, дошло до нее... она никогда не приезжала так поздно...

Павел вздел на него проворно мундир, который попался под руку, забросил рубашку, потом внес свечу, и — подарок матери, подарок в день рожденья, драгоценный ятаган засверкал на стене. Его ножны были уже обтянуты новым зеленым бархатом, золотые бляхи ярко отчищены, жемчуг отмыт, и наместо выпавших камней сияли другие. Павел поднял проворно зонтик у подсвечника и поставил его в углу, подалее, чтоб ни один луч не осветил для матери лица ее сына.

— Сашенька, друг мой! — кричала Наталья Степановна еще за дверьми, с сильным движением в голосе.

Бронин затрясся, и, прежде чем пошел навстречу к ней, его судорожный вздох отвечал на эти звуки,

как будто душа, выстрадавшая свою часть на земле, оробела при виде лишнего страдания. Павел провожал барыню, не смея поднять глаз.

— Сашенька, ты прощен.

При этом слове она кинулась к нему на шею с быстротой и веселостью молодости.

— Князь сейчас получил письмо из Петербурга, на днях будет в приказах!..

Слезы так и катились у нее от радости, поцелуи так и сыпались на щеки Бронина.

Может быть, он не устоял бы против рыданий о его позоре, может быть, он пал бы под материнской печалью, но радость, но насмешка судьбы нашла его немым. Есть же это чувство, которое не принимает в себя никаких посторонних волнений, которого не умеешь назвать, раздробить на оттенки, и — пусть небо прояснится, подует попутный ветер, разыграется парус — тяжелый груз этого чувства все топит корабль человека.

— Поедем, друг мой, поскорей; тебя ждут ужинать; добрый князь зовет пить шампанское!.. Как он рад, а как рада княжна!..— Тут Наталья Степановна улыбнулась с двусмысленным восхищением.— Да что у тебя так темно?..

— Светло, матушка,— отвечал Бронин, опуская голову на ее руку.

— Поедем же поскорей...

— Нельзя... мне надо видеть полковника.

— И, друг мой!..

— Мне надо видеть полковника, матушка,— сказал сын, усиливая голос и взглядывая на ятаган.

— Да он, верно, не осердится. Полковник, право, мил!.. Как добр до тебя!.. Завтра мы здесь отслужим молебен, и я буду молиться за него. Да что с тобой, друг мой, ты будто не рад?

— Рад, матушка, очень рад...

— Ай! — вскрикнула она,— как ты сжал мне руку, Сашенька! — и крепко поцеловала сына...

. . . .

Долго отговаривался он. Наконец Наталья Степановна заметила его бледность и с заботливостью, в которой не было ничего горького, потому что радость покрывала все другие чувства, спросила:

— Ты болен, друг мой? Что с тобой?

— Много ходил сегодня, устал; да вы не беспокойтесь, матушка: к завтраму это пройдет.

Тут поразительна была странность человеческого сердца: сын испугался, что мать обеспокоится о его нездоровье, а между тем безобразный умысел понемногу выступал из души к нему на лицо. Слабое освещение, старость глаз и потом слепой восторг и самая чудовищность, невероятность сыновней беды помешали Наталье Степановне проникнуть тайну или сделать какую-нибудь печальную догадку. Она убедилась, что ему нельзя ехать, что он устал, должен отдохнуть и что к завтрему это пройдет...

. . . .

— Да что ж ты не велишь ничего сказать княжне?..

— Поклонитесь ей, поблагодарите ее.

И он опять схватил руку у матери, прижал к губам, и она опять расцеловала его.

— Так завтра, мой друг, мы все приедем к обедне!

— Завтра, матушка!

. . . .

Коляска промчалась — и все затихло; только кое-где перекликались собаки...

— Павел, ложись, я разденусь сам...

. . . .

Прошел длинный час; слышно было, что и Павел спит.

Бронин ходил по горнице; то смотрел на окна, то на стены, то не смотрел ни на что. Вдруг подошел к ятагану, дико стал перед ним и впился в него глазами!..

В эту минуту решительно нельзя было узнать в солдате юного корнета... ни одной похожей черты!.. только волосы, не обстриженные еще по форме и разбросанные в неподражаемом беспорядке, сохранили свой прежний лоск, прежнюю увлекательность... и, несмотря на пугающее выражение его лица, прекрасная женщина могла бы еще взглянуть на их волнистые, роскошные отливы, и томно впустить свои ласковые пальцы в эти густые локоны, и нежно приподнять их, и сладострастно разметать, и вспыхнуть, и обомлеть, любуясь ими. Это были еще волосы корнета.

Он снял ятаган со стены...

. . . .

Месяц разделил широкую улицу села на две резкие половины: светлую и мрачную... На рубеже света

и мрака, на этой черте, где конец жизни сливался с началом смерти,— несколько раз появлялась и исчезала тень солдата!..

Но часовой ходил у квартиры полковника... но страх или презрение к самому себе... но что-то останавливает человека, когда он крадется ночью...

. . . .

XII

Ударяли к обедне. Был какой-то праздник в селе. Мало-помалу высыпáли на улицу солдаты, крестьяне и крестьянки. У иного на шляпе был воткнут за тесьму пучок желтых цветов, у иной в косу была вплетена лента. Многие, идя в церковь, переваливались лениво и не без чувства поглядывали на запертый кабак. Погода была чудная. Это было одно из тех невыразимых мгновений, когда жить значит не вспоминать, действовать или надеяться, а просто дышать, смотреть на небо, на зелень, на цветы... наслаждение, не купленное ни трудом, ни деньгами!.. Тихо и светло текла Красивая Мечь!.. Мелкий дождь сквозь солнечные лучи вспрыснул землю, и радуга, как газовый шарф, опоясала половину прекрасного неба.

Вдали мчалась к церкви коляска в шесть лошадей; из нее высовывалась нарядная шляпка, вылетал белый вуаль, и некоторые говорили: «Это его сиятельство с дочкой!»

Показался и полковник. Выходя из квартиры, он обернулся назад и пасмурно сказал кому-то: «Помирите меня с ним».

Потом отправился в церковь, но едва сделал несколько шагов, как с ним поравнялся солдат... без кивера, мундир нараспашку, лицо искажено... левая рука его упала с гигантской силой на плечо полковника...

Лезвие ятагана блеснуло на солнце и исчезло...

Ударяли к обедне, но никто не шел в церковь. Огромная толпа стояла тесно и мертво, с оцепенелыми глазами, с бессмысленным любопытством. Движение боязливое, неслышное было заметно только в тех, которые пришлись позади других, а потому тянулись, чтоб полюбоваться невиданной картиной... Несколько офицеров поддерживало голову бедного полковника,

и лекарь, обрызганный кровью, зашивал страшную рану. Несколько солдат рвало и вязало убийцу. Бледное лицо его ожило, оно вздрогнуло жизнию, как вздрагивает труп от гальванической искры: румянец заиграл на щеках, слезы полились градом... на паперти оттирали двух женщин... он смотрел туда, и прискорбные, раздирающие звуки: «Матушка, матушка!» — неслись на воздух.

Еще слова два прибавлял он, да ничего более нельзя было разобрать, потому что он глотал их вместе с слезами...

. . . .

Через сколько-то дней глухой, прерывистый бой барабана, обтянутого черным сукном, возвестил похороны полковника. Ружья на погребенье, флер на шпагах — этот смиренный вид оружия, данного в руки не для изъявления тихой скорби; наконец это немое, торжественное благоговение к святыне покойника, выражаемое вполне только послушными солдатами и их печальным маршем,— все заставляло тосковать по умершем. Красноречивые военные почести проводили его тело в могилу, почести, на которые мы, живые, смотрим часто с горькой, глубокой, темной завистью. Это смерть с каким-то отголоском из жизни, с каким-то следом на земле...

. . . .

Через сколько-то времени тот же батальон, который шел за гробом полковника, построился на поле для другого дела. Перед фронтом стало пятеро солдат. Между ними был один без ружья, в одежде, не подчиненной уже форме. Отдали честь. Батальонный адъютант прочел бумагу. Раздалась команда:

— Стройся в две шеренги, ружья к ноге...

Проворно разнесли по рядам свежие прутья. Иные солдаты ловко схватили их и красиво взмахнули ими по воздуху и, подтрунивая над своим товарищем, пробормотали:

— А пришлось прогуляться по зеленой улице.

Забили в барабаны и — ввели его в эту улицу... Многие офицеры отвернулись...

Позади рядов прохаживался лекарь, и вблизи дожидалась тележка...

. . . .

Я не знаю, что сталось с княжною. Она исчезла от меня, как исчезает от нас будущность в потемках

неба и завтрашнего дня. Исчезла, может быть, в одиночестве печали, а может быть, в ослепительных, неясных переливах блистательного света. Знаю только, что некогда на берегу Красивой Мечи лежал гранитный камень, обнесенный железною решеткой, куда, бывало, каждый день приходила она плакать и откуда однажды убежала с ужасом, потому что к этому же камню привели два лакея дряхлую, ветхую женщину с печатью страшного разрушения на лице и с цветами на чепчике.

Эта полуистлевшая женщина проснулась рано, если болезненное оцепенение членов можно назвать сном, вскочила на постели и вскрикнула:

— Сегодня рождение Сашеньки! подавайте новое платье, нарядный чепчик, цветов; подайте ятаган... я подарю его Сашеньке!



НЕ ИСПЫТУЙ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
(ИЗ ЗАКОНОВ МАНУ[1])

---

[1] Ману — мифический прародитель людей.



МАСКАРАД

I

В первых числах прошлого января, в одном из старинных домов Москвы, в одиннадцать часов вечера, мужчина лет шестидесяти, невысокого роста, худощавый, стоял небрежно, прислонясь к мраморному подножию огромной порфировой вазы. Заботливая судьба очертила около него небольшой магический круг, мимо которого иные проходили с благоговейной робостью и куда никто не осмеливался вступать; но такая оборона от многолюдной толпы, всегда рассеянной, всегда невнимательной, не могла защитить от разных поклонов и приветствий: они тревожили беспрестанно это беспечное положение, этот отдых старика. Он иногда в ответ гостям только что улыбался, только что протягивал руку, а иногда и совсем отделял свое тело от мрамора. Впрочем, блестящая суматоха маскарада, великолепное разнообразие костюмов, женская красота — ничто не отвлекало его внимания от одного предмета, от особенной забавы. Он не вслушивался в пискливые, искаженные голоса, не ловил этих дивных, заманчивых слов, брошенных на воздух, прошептанных на ухо, не разгаданных никем, но зароненных в чье-нибудь сердце. Он наслаждался по-своему. Я беру его теперь в любопытную минуту шумного вечера и, может быть, в самую счастливую минуту старости. Разжалованный временем из актеров в зрители, без участия в резвой деятельности бала, без сочувствия к мелочным восторгам, к мелочному отчаянию, к миллионам этих взглядов и надежд, которые сверкали перед ним в вальсе или разгорались в кадрилях, он, верно, вспоминал бы невозвратимые годы, пожа-

лел бы, что нет у него более сердца для всех впечатлений и головы для всякого замысла, если б не нашел тут пищи, необходимой для старческой жизни, утешения, единственного в некоторые лета; если б не знал, куда поместить ему усмешку разочарования и язвительное слово опыта. Невольное равнодушие, благоприобретенную бесчувственность старик должен же употребить в дело, должен же при случае похвастать своим несчастным преимуществом; а потому как он рад, если может кольнуть вас за ошибку, подшутить над опрометчивостью, предсказать и глядеть на огненные заблуждения молодости. Кто ничего уже не ждет, тот любит доказывать себе, что всякое ожидание — суета, вздор; и старик лелеял эту благосклонную мысль, когда тешился над едва притаенным нетерпением двадцатилетней вдовы, своей очаровательной племянницы. Она, драгоценный камень в роскошной оправе фантастического наряда, стояла по другую сторону вазы. Тут был центр бального мира, тут был вечерний гений, который метал в толпу цветы поэзии. Около нее теснились маски: то, как История, надоедали ей правдой, то, как Повесть, старались лгать обольстительно. Они сыпали свое беглое красноречие, силились перебить, затереть, перешуметь друг друга; но странно, никому не удавалось подстрекнуть искреннего любопытства молодой вдовы. Никто не отыскал этого верного звука, который манит за собою воображение женщины, от которого непременно встрепенется она и вдруг увидит только вас, и пойдет, мечтая, за вашим привлекательным звуком, и бросит всех, и посреди непроходимого многолюдства уединится с вами: спрячется за колонной, присядет на незаметный стул, отдаст вам свой слух, свое зрение, свою душу и спросит: кто вы?.. и потеряется весело в лабиринте вашего маскарадного вымысла.

Правда, одна маска заставила ее оглянуться пристально. Эта маска была одета в широкое черное платье, вышитое золотыми блестками. Остроконечная шапка, обвитая знаками зодиака, в руке золотой прутик, пояс, унизанный спереди бриллиантами, и сморщенные черты страшной старухи — вот остальные подробности наряда. Впрочем, взгляд ее разногласил резко с поддельной наружностью, потому что мелькал молодо в прорезях накладного лица. Долго она стояла молча, неподвижно, но часто шевелился ее золо-

той прутик, как будто он один принимал все впечатления, все, что переносили ей глаза и уши — эти доносчики души. Она видела, она перечла, может быть, сколько живописных щеголей поглядывало на юную вдову издали, в промежутках голов, с явным желанием доступить поближе; но изнеженные шаги, вежливые сердца не годились, чтоб сражаться против толпы. Она видела, как иной офицер, полный силы и забвения, врезывался в эти ряды неприятелей, падал с неба в середину тесного круга и, звонко пристукнув шпорой и нежно наклонив свой мужской стан, чтобы сравнять его с прелестным ростом женщины, уносил ее на дерзкой руке... Я не знаю, каким образом картина чужого торжества ложилась на душу этой маски и что скрывалось под нею — красота или безобразие. Только не все тайны мира были известны волшебнице, потому что в ее осанке, в ее ледяном спокойствии обнаруживалось сосредоточенное любопытство, намерение наблюдать. Она не старалась привлечь на себя чьего-либо внимания, не искала утех женскому самолюбию, но, напитанная какой-то непроницаемой думой, медленно и важно повертывалась, следуя за всеми движениями резвой вдовы. В эту минуту жизнь мнимой колдуньи поглощалась совершенно сиянием чужой жизни; в эту минуту она напоминала то несметное число людей, пущенных на свет без собственного дела, без собственной физиономии, а во славу в проклятие других людей, понятных только возле кого-нибудь и без кого-нибудь невозможных, как спутник без планеты, как зависть без славы, как мщенье без обиды. Наконец маска, вероятно, соскучилась от бездействия, выдвинулась из-за вазы и вмешалась в толпу. Если нельзя было делать догадок по изменениям ее лица об изменениях ее мыслей, то по крайней мере золотой прутик намекал несколько о внутренних волненьях незнакомки. Прежде он вертелся у нее в руках как единственное существо, которое назначала она в мученики своих причуд, шуток или досады; теперь упал вдоль ее стана и, блистая, протянулся спокойно на черном платье, как будто по приказу своей повелительницы уступал место ее другой игрушке.

Маска подошла к вдове.

— Графиня,— сказала она, согнувшись старухой, подделываясь к этому выговору, которому время учит

нас даром, и таинственно касаясь почти уха той, с кем говорила,— я читаю в вашем сердце, все изгибы его открыты моей науке: вы смеетесь, а вам скучно, вы надеетесь, а ваша надежда — дым...

Графиня повернула голову и взглянула через плечо на маску, как женщина, готовая встретить всякое нечаянное нападение искусственными приемами опытного лица.

— Есть люди,— продолжала шепотом неотвязчивая колдунья,— на которых не действуют и ваши глаза.

— Право? — При этом слове графиня улыбнулась с восхитительным простодушием.

— А вы не догадываетесь!.. да, я знаю, что вы несчастны, а помочь вам нельзя... Хотите ли, я объясню, что было и что будет?

— Я не люблю доискиваться смысла в том, чего не понимаю с первого раза.— И графиня отвернулась так проворно, как будто поняла.

Их тотчас разделили. Маска пропала. Шумно другие заступали ее место. Между тем племянница защищалась также от немых нападений дяди. Колдунья хотела испугать женщину злым всезнанием, но женщина боялась добрых насмешек. В то время, когда рвали на части ее внимание, когда язык и улыбка ее поспевали на все стороны, в то время ни хаос слов, ни мельканье лиц, ни ослепительная пестрота не могли вполне овладеть ею. Она не забывала ни на минуту, что в нескольких шагах стоял испытующий старик.

Ласково и насмешливо глядели на нее его маленькие пронырливые глаза. Они беспрестанно прокладывали себе новую воздушную тропинку: там через голову карлы, который подвертывается к великану, там между обольстительных плеч, сквозь чудных локонов, и беспрестанно пробирались к графине, только не заставали ее врасплох. Она отгадывала заранее их появление, она встречала их с таким же дальновидным, непостижимым проворством, с каким часовой предчувствует офицера, с каким подчиненный ловит на бале взгляд забывчивого и рассеянного начальника, чтобы поклониться ему в десятый раз. Что ни делалось около нее, о чем ни говорили с нею, ей виднелся дядя, и взгляды их сталкивались, и она, казалось, то-

ропливо повторяла ему на языке своего милого лица: «Я тут, тут все»... но этим суетливым желанием отразить шутку, этой охотой обороняться, этой вечной готовностью к ответу графиня изменяла себе, потому что оправдываться не значит ли признаваться? И было так. «Тут все». А как скоро она освобождалась из-под влияния магнитной насмешки, которая, при всем своем радушии, при всей невинной ничтожности, потрясла целое здание женской гордости, вызывала на нестерпимую откровенность и по милости которой женщина рада бы простоять весь бал возле вазы; как скоро заслоняли старика и он исчезал в приливах маскарада,— о! в эту секунду лорнет графини прирастал к ее глазам; ее любопытный и яркий взор вспыхивал свободой, обнимал разом всю залу, впивался бегло в черты каждого, хотел проскользнуть к дверям, ошарить углы... В эту секунду она слышала и шорох далеких шагов, и скрып кареты, она видела и чувствовала всех... Я не говорю об окружающих. С ними графиня поступала, как с сочинением приятеля, потому что улыбалась с восторгом, чуть ли не именно в тех местах, где они надеялись на слезу. Но лорнет падал с глаз, но вдохновенная секунда — недолго; опять дядя, опять кавалеры, дамы... Чтобы расплатиться с ними за украденное мгновение, надо было твердить им без умолку: «Я ваша, мой слух, мой язык, моя душа принадлежат вам»,— и графиня щедрее разбрасывала слова, пристальней взглядывала, живая, опрометчивая, обворожительная своей всенародной приветливостью, своим дешевым участием.

На ней было белое газовое платье. Крепко прильнув к ее пышной груди, к гибкому стану, оно раскидывалось вдруг на тысячу небрежных складок и широко и важно ниспадало потом до ее ног, где обвивалась около него легкая серебряная гирлянда виноградных кистей. Как перевязь рыцаря, как подарок любви или награда за подвиг, опускался нежно с ее правого плеча под левую руку розовый шарф, и на нем светилась продольная кайма, серебряные листья винограда. Темно-русые волосы своими причудливыми кудрями не мешали полному сиянью красоты, не накидывали теней на мечтательную белизну лица, но спокойно, но просто уложенные по вискам оставляли переднюю часть головы для других украшений природы и все соединялись сзади в одну густую горизон-

тальную косу, на которой носилось по сторонам два газовых вуаля, розовый и белый, усеянный двумя мирами серебряных звезд. Несколько дрожащих локонов отпадало от этой косы, украденной у древней Греции, с головы Дианы. В руке у графини был букет из разноцветных анемонов, называемых будто бы по-русски ветреницами, а на лбу сверкала утренняя звезда из бриллиантов. Однако же ничто в ней, кроме девственных красок наряда, не напоминало невинного утра, патриархальной простоты рассвета. Это была скорее звезда вечера, которая не умиляет души, а будит воображение и светит бессоннице. Ее главную красоту составляли блестящие глаза, блестящие в точном значении слова. Вечно в искрах, вечно в лучах, они не давали возможности вглядеться в их цвет. Бог знает откуда берется у нас этот необыкновенный блеск, это явление Юга. Зависит ли он от материального устройства органа, от чистоты стеклянной влаги, от прозрачности роговой оболочки, или сквозится тут какая-нибудь надменная часть души,— только никогда не приписывайте его неугасимой чувствительности сердца. У нас на севере блестящие глаза вероломнее тусклых — это не наша природа, это обман, искушение, это яркая вывеска все той же родной зимы, это тот же снег, но снег, подернутый солнцем.

И графиня не потупляла глаз... существо, которому судьба велела пронестись резво над землей и не заметить, что там делается, и не зацепиться ни за одну горесть. Ее длинные, переломленные кверху ресницы, ее дивно скругленный, чуть-чуть приподнятый, алый подбородок — все ее черты тянулись гордо к небу; и стоило вам быть у ног ее, чтоб она вас не увидала. Теперь, мне кажется, нельзя отгадать, каким образом подействовали на нее щекотливые слова маски и что́ она чувствовала, когда неугомонный дядя, медленно опуская правую руку за жилет, а в левой перебирая часовую цепочку и, как жеманная невеста, наклонив двусмысленно голову, сказал самым сострадательным тоном:

— Друг мой, уже половина двенадцатого,— и вкрадчиво приподнял глаза на племянницу. Много было смысла в замечании старика, судя по ее умной, беспечной и сколько можно веселой усмешке.

Но что отвечать на истину, которая понятна и кстати? Как не наказать за правду? Графиня ударила его

по пальцам своим букетом, бросила кому-то на плечо левую руку, скользнула раза два и исчезла, сливаясь с радужными отливами костюмов. Музыка невидимого оркестра стройными звуками разлеталась в благоуханном пространстве залы. Я ошибаюсь, это была не зала, самая бесхарактерная комната в доме!.. Что такое зала? Голые стены, ряд стульев, площадь, где семейная жизнь не оставляет ни следов, ни воспоминаний. Это была гостиная, обращаемая иногда в залу, это была зала в старинном уборе гостиной. Она сохранилась еще в том виде, какой нравился предкам; ее не исказил еще новый вкус и не ограбило разоренье. Легкий свод потолка, расписанного клетками, опирался на карниз, который с своими завитками коринфского ордена смело высовывался вперед и резко отделял округлую форму, подобие неба, от плоских линий земли. В вышине на противоположных концах было два таинственных углубления, загороженных ослепительными решетками бесчисленных свеч. Золотые стрелы амура сверкали из-под шелковых тканей над высокими и узкими окнами. Тяжелая бронза горела на малахитах и мозаиках. Но что более всего могло изумить разборчивого жителя Москвы, это предметы искусств, рассыпанные щедрою рукой, богатство, траченное не на одни чувственные наслаждения, это камни каррарского мрамора итальянской работы, это южное изящество ваз, это картины, которые от самого карниза вплоть до штофных диванов и кресел, мятых некогда бабушками, покрывали все стены. Не было промежутка, где б вы опомнились от волшебного обаяния мраморов, света и живописи. Там монах на молитве Рубенса, тут портрет Ван-Дейка, Венера Тициана... а если б вам захотелось злобно заглянуть под эти картины, вы не встретили б под ними голых признаков мелкой расчетливости: под ними тот же дорогой штоф, то же гордое богатство, которое золотит для себя, а не для вас. Наполните же эту гостиную или залу костюмами всех народов, всех веков и женской фантазии, одушевите блистательной толпою, лучшими перлами Москвы и забудьте, что есть другой мир, другая жизнь, и отдохните, без греха, от лохмотьев, от уличной грязи человечества, от бестолковых неурожаев. Бросьте сюда графиню с ее розовым и белым вуалями, которые вьются в вальсе так близко возле полуобнаженных плеч...

Когда кавалер примчался с нею на прежнее место, тут явилось новое лицо. Шутливый старик вышел на время из своей роли, добросердечная радость сменила выражение насмешки, и он, дружески сжимая руку гостя, говорил:

— А, доктор, вот, наконец, и вы; давно ли воротились? Я думал, вы совсем пропадете, забудете меня...

Потом отшатнулся назад и опять облокотился на мрамор. Доктор потупил умные глаза, вручил свою руку в полное распоряжение хозяина дома и стоял окаменелым поклоном. Первая встреча после долгой разлуки, какая бы ни была короткость между людьми, начинается всегда не тем, чем кончилось знакомство при расставании, а обыкновенно тяжелыми приемами недоверчивой вежливости, особенно со стороны человека, который ниже своего приятеля, и еще пуще со стороны доктора, который рад случаю быть с вами похолоднее, потому что должен бояться дружеских связей: дружба платит одними чувствами, монетой сердца. Его значительная наружность представляла странные противоречия: белый галстук, единственный в маскараде, и серые растрепанные бакенбарды; глубокие морщины на лбу и тонкие черные брови; остатки волос на затылке и на висках, кое-где седые, кое-где черные, в таком состоянии упадка, что видно было — нечего или некогда о них хлопотать, и красные щеки, признак вечного аппетита у докторов. Он начал мало-помалу оживать, как статуя Пигмалиона, и приходить в первобытное положение, то есть становиться на ту ногу, на какой принят был в этом доме с незапамятных времен. Доктор был из русских немцев, а потому говорил по-русски лучше, чем русские, а потому можете представить, как ответ его на приветствие хозяина сперва показался в виде боязливого отростка, потом пустил корни, потом разросся многоветвистым деревом и обнял все здоровые части общества. Больные, дело знакомое, надоели ему. Он объявил, что едва успел переодеться, что сейчас из Петербурга, и уже несколько раз два пальца его опускались в незакрываемую табакерку и несколько раз глубокомысленно останавливались на воздухе. Чем более выказывал он свое красноречие, тем приметнее слушал себя: привычка, которая тут была кстати, потому что его собеседник скоро перестал слушать. Гра-

финя, завидя, наконец, доктора, бросилась к нему, пожала по-мужски его руку и обрадовалась; но ее появление дало тотчас другой оборот разговору и настроило мысли дяди на прежний лад.

— Я крайне доволен, что вы приехали,— сказал он печально,— мне нужно серьезно поговорить с вами о здоровье племянницы...

— Пожалуйста, не слушайте дядюшки,— прервала она и, чтобы вытеснить его из разговора, подвинулась к доктору.— Не правда ли, костюм черкешенки прекрасен.

— Прекрасен,— отвечал доктор, которому не видно было черкешенки, закрыл табакерку и улыбнулся так искусно, что его улыбка не показалась бы дерзкой, если графиня в самом деле больна, и глупой, если здорова.

В это время одна маска вздохнула около нее, тихо простонала ей на ухо: «Увы, он не будет»,— и скрылась.

— Вот видите,— продолжал хозяин дома,— на ваши обыкновенные средства я не надеюсь, да и гомеопатия не годится, разве магнетизм...

Доктор улыбнулся яснее:

— Да что же нам здесь делать, сядемте в вист... Ольга, друг мой, не сердись, уж я не виноват...

Музыка проиграла ритурнель французской кадрили, и какой-то офицер стал перед графиней в немом ожидании. Она смеялась, поглядывая на все стороны. Вдруг еще маска в белом домино — это была, вероятно, союзная держава — проворно подошла к ней, заслонила кавалера, прошептала: «Вот он»,— и взглянула на двери. Графиня быстро отвернулась от дверей, глаза ее не смотрели уже никуда, ее лицо успокоилось, с него исчезли суетливость, нетерпение, но не выразилось на нем это спокойствие счастия, эта уверенность, что достигнута цель, за которой нет другой. Какая-то пленительная робость мелькнула в ее движениях и какая-то задумчивость в чертах!.. Где таинственная колдунья, где злая пророчица, предсказавшая сейчас, что он не будет?.. Они увидят его и ее. Здесь так светло, так много свидетелей для торжества и унижения. Графиня подала руку кавалеру и рассеянно повела его в ту кадриль, которая составилась недалеко от входа в залу... Он что-то повторял ей: «Наш визави, наш визави»,— только этого, кажется,

она и не слыхала. Ее дядя отправлялся в дальние комнаты, а доктор тянулся за ним.

— Кто это?

— В первый раз вижу.

Этот вопрос с ответом разменяли между собой, скользнув друг возле друга в первой фигуре кадрили, прекрасная еврейка и один сочинитель, который писал прозою и которого все называли стихотворцем. У сочинителей про кого на бале ни спроси, никого не знают.

— Как хорош! — сказала молодая турчанка, приподнимая лорнет,— в нем есть что-то à la Fra-Diavolo [1].

— Вот что вам нравится,— произнес с глубоким чувством собственного достоинства ее картинка-кавалер, шаркнув проворно вперед, чтоб начать вторую фигуру, и поглядывая с отчаянным разочарованием на зеленый листок, воткнутый в петлю его фрака.

— Да, Левин человек богатый,— отвечал кому-то круглый и угрюмый старик, стукнул двумя пальцами о табакерку и взглянул в потолок с видимой уверенностью, что на этой ярмарке слов он один сказал дело.

Четыре глаза смерили тотчас рост богатого.

Между тем иные кавалеры доказывали своим юным дамам, что он носит усы так, что он никогда не был военным, а иные утверждали настойчиво, что он служил в гвардии.

Одна графиня, хотя из танцующих она пришлась едва ли не ближе всех к дверям, одна графиня не обращала никакого внимания на посторонние предметы, но, полная светской нежности, занималась офицером, который выпал ей на часть и отличался удивительной молчаливостью, занималась так усердно, как будто хотела непременно добиться звуков его голоса и пробудить душу, вероятно, чуткую только к великим подвигам войны.

Многие маски, вытесненные кадрилями, разбрелись шуметь по соседственным комнатам, гостиная стала как-то светлей, картины как-то великолепней,— это была минута безотчетной поэзии, торжественная минута роскоши; какое-то единство изящества одушевляло прелестные образы, разноплеменные одежды и мирило Запад с Востоком, прошедшее с настоящим; какие-то виденья, околдованные музыкой, проносились мерно

---

[1] Вроде Фра-Диаволо (*фр.*).

перед памятниками умершего искусства; какая-то жизнь, изорванная на бесчисленные доли, но неугомонная, но вечно новая, вечно говорливая, резвилась тут в насмешку неподвижной, окаменелой красоте мраморов и живописи. И если б вы, чтобы дополнить эту массу жизни, вздумали сблизить обе ее стороны, посмотреть на изнанку ее праздничного платья, на эти признаки неминуемого разрушения, эти смертные пятна, которые тщательно прячет она, танцуя, под золото да под жемчуг; если б вы причудливо с одного конца залы перекинули свой взгляд на другой, через мелкое поколение нашего века,— то на этом пестром полотне, под яркими лучами света, из самой глубины картины, резко выставилась бы спокойная фигура высокого мужчины в черной венециане.

Зачем он тут? зачем это лицо полупрекрасное, полустрадальческое, намек о горькой тайне, о язвах души?.. Как быть!.. Мы не умеем уже страдать в четырех стенах и выплакивать себе там невидимых утешителей... Не подделался ли он с намерением под героев Байрона, чтоб еще раз представить нам карикатуру на них и блеснуть сердцем, заглохшим под пеплом страстей?.. Нет, эта мода прошла: надо равняться со всеми, смешно быть занимательным, потому что наши дерзкие глубокомысленные Наполеоны, наши мрачные рассеянные Байроны, ходячие Элегии — все изверились, ни у кого не было за душой ни тяжких дум, ни немого отчаяния.

Левин стоял у дверей. Все танцевало перед ним. Длинные усы и рост давали ему мужественный вид. На бледных и худых щеках показывались два алых пятна. Заметно было, что он старался за туалетом привести в надлежащий порядок свои густые волосы; но искусственная прическа не удается никогда гениальности и несчастию. В противоположность впечатлению от усов и роста кожа его лица сохраняла еще всю привлекательность слабости, всю прозрачность невинности; вообще что-то тихое, святое выражали его черты, как будто он явился на бал под влиянием изнурительной болезни, которая, прежде чем успеет положить на вас клеймо безобразного разрушения, прежде чем станет более и более соединять тело с землею,— отнимет сперва у плоти ее животную вещественность, сотрет с лица грубые краски, потушит в глазах сладострастный

огонь, и на одно мгновение побледнелая красота сделается нежнее, угасающий взор добродетельнее.

Левину было лет тридцать. Он приехал в Москву месяца за два до этого маскарада. Его знали немногие и знали только — богат он или беден, молод или стар, служит или в отставке, женат или нет, то есть эти пошлые изменения жизни, эти обыкновенные оттенки, эту выпуклую поверхность, приклеенную к выгодам корыстного общества. Сам же по себе человек, ряд мыслей и чувств, которые он прожил,— кому нужны?.. Левин ограничился тесным кругом знакомства и часто бывал у дяди графини. Видая его в свете, нельзя было решить, к чему он более равнодушен — к людям или к уединению. Редко оживлялись его большие томные глаза, но это походило на вспышку болезни. Часто он улыбался, но это была улыбка ласки, а не удовольствия. О чем бы ни стали говорить ему, он слушал все с одинаковым вниманием и охотно погружался в рассматривание каждого предмета. Казалось, что в его сердце доставало теплоты, а в его уме объема для целого мира, но между тем никогда порывов, никогда желанья намекнуть о себе, никогда любимой, исключительной мысли, чтоб было на что нанизать разбросанные жемчужины образованной беседы. Точно он от вихря впечатлений не уберег и не хотел уберечь ничего. Это был англичанин, холодно любопытный и непотрясаемый, это было вежливое море, которое радушно принимает всякую реку, да на котором потом не сыщешь ее следа.

Между лиц, так похожих одно на другое и не отмеченных особенною чертой, где очень часто случается встретить странное выражение нравственного бездействия, взгляды без мысли, движения без воли, где есть у души какой-то свой опиум, предохраняющий ее от безнравственного существования,— Левин поразил графиню.

Прекрасная женщина не любит верить искренности равнодушия; и за одним словом Левина она пророчила себе еще тысячу притаенных, сберегаемых для неясного случая... Но сколько твердости, сколько светского притворства нужно было ей, когда он так же пристально смотрел на безделку, которая попадалась ему под руку, как и на лучшее произведение творца; когда своим беспощадным участием проводил уровень по всему, что окружало его, не умея отличать скуки от ве-

селья, красоты от безобразия. И эта комната, где теперь танцевала графиня, стараясь не заметить его присутствия, эта комната несколько раз была свидетельницей ее мучений, тем более невыносимых, что они замирали уединенно в ее сердце. Если он разговаривал с ее дядей о пожаре в Лондоне, об испанских делах, то ей не доставалось уже ни одного взгляда — и бедная, чтобы напомнить о себе, должна была впутываться в испанские дела. Если он садился возле нее за столом — это делалось так нечаянно; но и тут стоило кому-нибудь отнестись к нему с рассужденьями о погоде, чтоб она увидела всю его готовность отвечать.

Однажды они остались вдвоем. Это было вечером. Перегорелые головни рухались в камине, огонь, час от часу разноцветней, воздушней, перебегал по раскаленным угольям, все менее и менее касаясь их поверхности. Разговор, начатый еще при свидетелях, прерывался, потухал,— неприличный этим призраком воображения, которые накопились посреди умирающего пламени, этим призраком сердца, которыми блестящие глаза женщины населяли великолепное уединение. Разговор пресекся. Левин сидел небрежно в совершенном забытьи, голова его закинулась назад, ноги вытянулись, и вдруг он начал вглядываться в графиню, как будто искал живых чудес, вздумал воплотить воспоминания, требовал чего-нибудь несбыточного и остановился на ней и захотел успокоиться. Она вспыхнула и торопливо нагнулась шевелить уголья, потом приподнялась, тихо упала в кресла; через их старинные ручки живописно перебросились кисти ее рук, каким-то неизъяснимым упоением осветилось ее волшебное лицо: она завладела всем его существом, всеми взорами, всеми таинствами души... Прошло несколько секунд, и графиня задрожала... Он весь побледнел, глаза его подернулись глубоким унынием, пристальней, пристальней вглядывались в нее и, казалось, подвигались к ней; волосы беспорядочней раскидывались на голове, он был и ужасен и жалок...

— Что с вами, вам дурно? — вскрикнула графиня, хватаясь за колокольчик и оглядываясь на все стороны: ей стало страшно в этой огромной комнате, наедине с высоким мужчиной.

Но когда боязливо обернулась к нему, перед нею был опять прежний Левин. Он очень спокойно грелся у камина и расхваливал его барельефы.

Графиня обомлела, вдвинула пальцы одной руки между пальцев другой, прижала их к поясу, выпрямилась, как двенадцатилетняя девочка перед гувернанткой, и взглянула бог знает куда... Это был у нее взгляд без блеска, взгляд души, странствующей в мире догадок... Чего она испугалась? взрыва ли созревшей страсти, припадка ли головокружения или собственной мечты?.. Конечно, после в памяти женщины осталось только то, что он невыносимо пристально смотрел на нее; и, любопытная в этих случаях, как русский читатель, которому объясни все: «Зачем, почему, для чего, правда ли?» — она старалась несколько раз заставить Левина растолковать ей подозреваемую причину заманчивого явления.

— Ах, не подходите так близко к камину,— сказала однажды графиня,— вам опять сделается дурно, как тогда...

— Когда же это? я не помню,— отвечал Левин, продолжая с убийственным однообразием перевертывать листы какой-то книги, и искры прекрасных глаз пропадали даром, как зерно, брошенное в бесплодную землю.

Он был непостижим, холоден, невнимателен; между тем, что же бы ему, кажется, делать у старика, если он не надеялся тут встречать графини, которая хотя жила в особенном доме, но также часто стала ездить к родному дяде? Отчего же он был так сговорчив? Стоило пригласить его во французский театр, на бульвар, на бал — он готов всюду... правда, никогда не должно было испытывать его и оставлять ему что-нибудь на догадку. «Я ужо буду *там*, я завтра поеду *туда*» — эти слова гибли, как не при нем сказанные: он не бывал там и не попадал туда. Графиня волновалась.

В чаду шумной зимы, в сиянье молодости, красоты, богатства и полной свободы она воспитала у себя мечту о своем всемогуществе, мечту, необходимую женщине и писателю, чтоб оттолкнуть от них мысль о безутешной слабости; но нежное дитя ее воображения притаилось, испуганное при встрече с человеком, крепким этой жизнью действительной, этой насмешливой силой, этой властью на деле, от которой потупляются глаза и ноет сердце. Напрасно она являлась перед ним в соблазнительных превращениях дня, в нарядах утра, обеда и вечера, придуманных с легкостью того же вкуса и с мучениями того же чувства: чудеса роскоши,

пленительные формы природы, зимний румянец, таинственное мерцанье взоров сквозь черный вуаль, ласковая мысль, одетая в образованное слово, движенья, устроенные по движеньям вашим,— все эти лучи не долетали в тот заколдованный круг, где стоял неподвижный Левин. Часто брался он за шляпу, когда графиня входила, и брался так медленно, так смело, что даже нельзя было подозревать в нем страха, внушенного благоразумием, намеренья уйти поскорей от искушения. Едва он переступал тогда за дверь, дядя начинал тотчас подсмеивать над племянницей, и она оставалась у него долее обыкновенного, но, уезжая, не садилась уже торжественно посреди кареты, а закутывалась в салоп и уютно жалась в углу. Впрочем, как философ берет из мира только те события, которые могут улечься под гнет его системы, так графиня силилась подмечать только те поступки Левина, в которых думала видеть что-то угодное ее прихотливой воле. Это была минута, когда творческая проницательность женщины достигает невероятного развития. Все, что есть бессмысленного в человеческом дне, шаги, не направленные никуда, взгляды, бросаемые без цели, по произволу привычки,— всему в Левине графиня дала смысл, всему уделила души из своей живительной фантазии.

Она толковала себе его каждое слово и в каждом слове отыскивала себя. Чтоб отнять у него эту неуклончивость, которая ей особенно нравилась, чтоб лишить его независимости, которая оскорбляет всякого,— она самовольно вычеркивала из его прежней жизни, из его ежедневного существования движения, понятия, чувства, приобретенные не от нее и не при ней.

Многие уже проникли в ее тайну, многие шептали ей по маскараду язвительные намеки — и графиня забрасывала себя своими же словами, когда Левин показался в дверях залы, где родилась эта повесть.

Он поклонился ей издали, не имея возможности подойти, и потом она потеряла его.

В толпе равнодушие заметнее, на бале женщина требовательнее. Он не приютился посторонним зрителем к ее кадрили, он не выжидал в отдалении, молчаливый, остолбенелый, ее скользкого взора... Шумные перевороты маскарада свели, наконец, графиню с Левиным.

— Вам скучно, вы не танцуете?—сказала она, поднимая на него скромные взоры, оробевшие в первый раз, и прикладывая к губам свой букет. Что-то искреннее было в ее положении и в ее голосе. Она ждала ответа со всем вниманием, какое только можно оказывать другому наедине,— она, которая обыкновенно оглядывалась по сторонам и искала около себя целого мира, когда говорила.

Левин, судя по его виду, стоял перед нею в каком-то раздражительном состоянии души: томные глаза его блестели, щеки разгорелись; но краска их, ограниченная резкими чертами, лежала пятнами, не исчезая постепенно в белизне лица. Опять странное явление, опять что-то похожее на сцену у камина.

— Я не скучаю на балах,— отвечал он и, чтоб, может быть, отклонить от себя бесполезные покушения графини, прибавил: — Мне весело с людьми, посмотрите, как много их здесь, и я ни от кого ничего не жду.

Графиня обернулась к стене, где могла не встретить ничьего лица, опустила букет на раму картины и, разглядывая ее, продолжала:

— С вами не должно говорить: мы все думаем, что своим присутствием, своим разговором приносим хоть сколько-нибудь удовольствия, если не счастия...

— Э, графиня, будьте великодушны; неужели вы не позволите, чтобы осталось на земле хоть одно существо, чье счастье не зависело б от вас? Когда все говорят вам правду, зачем хотите вы, чтоб один солгал?..

Левин опустил глаза и начал перебирать в руке кружева своего домино. Графиня отворотилась...

Прошло несколько минут, она оставалась еще на том же месте и разглядывала еще ту же картину. Привычка знать про себя, что делается на сердце и беречь в неприкосновенном однообразии гладкую поверхность, выставляемую нами вседневно напоказ обществу, покинула ее.

Она искала опоры для растревоженных мыслей; но люди, костюмы, фигуры, прикованные к холсту, ускользали из-под ее взоров, только вдали виднелась ясно мелькающая голова, освещенная всеми лучами огней, двигался призрак, который мешал ей жить. Из этого мира, где она давала законы, где она требовала жертв, графиня перенеслась в мир самоотвержения,— теперь она была готова на пожертвования, на униже-

ния, сопряженные с каждым искренним чувством, на слезы, встречаемые смехом, на все, что потом назвали бы любовью.

В это время выступила из толпы знакомая маска, мрачная колдунья, и в ушах графини раздался нестерпимый шепот:

— Не следите его глазами, гроб не помешал бы вам, да есть письмо, ужасное письмо...

Маска едва касалась паркета, держала на плече золотой прутик, и взгляды ее хохотали.

Графиня отвечала что-то неотступным кавалерам, пожала руку какой-то даме, потом сделала несколько шагов в ту сторону, где стоял Левин, потом отвернулась от этого ослепительного огня, от бездушного великолепия, подошла к окну и мельком взглянула на небо: там были свои огни, свое великолепие, там в пустыне мрака сияли звезды, бриллианты неба — та ярче, та темнее, а за ними другие, другие, которых не видно, от которых свет не дошел еще до нас с сотворения мира... и мысль ее потонула мгновенно в этой бездонной глубине, где есть всемогущая воля; да как же перенести ее на землю?

Между тем в гостиную показались многие ненужные лица, с выражениями своей печали и своей радости. Лицо доктора было чрезвычайно одушевлено, и, вероятно, графиня приписала бы это одушевление поэтическому действию проигрыша, если б не поразило ее новое обстоятельство, и приятное, и горькое. Она видела, как доктор бросился к Левину, схватил его руку и только что не обнял, только что не расцеловал знакомого. Она видела непостижимое впечатление, которое произвел и доктор на Левина,— эту нежность к седым волосам, к морщинам, какой не оказывал он никогда к ее улыбке, к ее взгляду, ко всему, что есть юного в красоте и прекрасного в юности. Завистливо улыбалась графиня, отказываясь от мазурки. Долго танцевала она, выжидая минуту, чтоб подойти к доктору и не встретиться с Левиным. Наконец суматоха перед мазуркой, перемещенье пожилых особ, тасканье стульев дали ей возможность сказать доктору несколько слов.

— Вы знаете его? — спросила она с торопливым любопытством.

— Знаю,— многозначительно отвечал доктор, как человек, который догадался сразу, о ком идет речь, и потом пустился превозносить Левина до небес; но гра-

финя пресекла тотчас этот залп красноречивых похвал:

— Мне нужно с вами поговорить, подите за мной...

Мелькнула и бросила доктора. Он начал шевелиться на месте, стал продираться, тихо ступая вперед, не задевая никого и стараясь высовываться наружу, чтоб не выпускать графини из глаз... Быстро шла она, часто оглядывалась назад и тайком мучила свой букет, когда должна была останавливаться по милости доктора, который, не заметив в ней признаков близкой смерти и напитанный с ног до головы вежливостью, покачивался вдали, как корабль, отгоняемый ветром от сверкающего маяка.

Наконец графиня отдохнула: доктор выбрался на божий свет и ускорил шаги.

Перед ними тянулся длинный светлый ряд комнат, этих безыменных, бесполезных и восхитительных комнат, куда иногда приятно уйти из залы, чтоб броситься на диван. Там уже не бродили маски, не встречались утомленные лица. Кое-где следы ветхости, портрет бабушки, обдавленные кресла — все напоминало старину, все говорило о темных событиях семейной жизни, от которой не осталось ни преданий, ни кольчуги, ни меча, ничего, кроме мечтательной уверенности, что, может быть, так же какая-нибудь графиня убегала сюда, терзаемая тем же чувством. Она отворила дверь, вошла... За этой дверью не было уже яркого освещения — только в двух прозрачных вазах белого мрамора томился огонь, на круглом столике с бронзовым ободком теплилась этрусская лампа да по ковру протянулась широкая полоса света. На стене висело овальное зеркало в золоченой раме, кушетка была покрыта барсовой шкурой и возле стояло два вольтеровских кресла. Доктор заглянул туда, и какая-то странная нерешимость затруднила его походку. Казалось, он не знал, входить ему или нет. Звуки мазурки доносились волшебно до его слуха... Перед ним уютная комната, уединение, таинственный сумрак и обворожительная женщина... Она его одного взяла из многолюдной залы... Может быть, он вспомнил свою молодость... но несколько волос, две-три морщины попались ему в зеркале на глаза. Доктор опустил голову, открыл табакерку, уставился в нее и, переминая двумя пальцами свой ароматический табак, двинулся за графиней.

Но каково было его изумление!.. Он едва успел ступить через порог, как она схватила его за обе руки, и слезы потекли по ее щекам...

II

— Что вы, графиня, что с вами? успокойтесь! — говорил остолбенелый доктор, а между тем правая рука его, точно отделенная от туловища и послушная давнишней привычке, старалась высвободиться сама собою, чтобы, по всему вероятно, освидетельствовать пульс расстроенной женщины, где непременно должна была заключаться тайна непостижимых слез. Всякий торопится объяснить по-своему, отчего люди плачут и смеются; у всякого есть своя особенная, любимая и единственная причина, которой приписывает он все разнообразные явления на человеческом лице: один — деньгам, другой — душе, третий — пульсу.

Первое движение графини было искренно; первый взрыв сердца, размученного любопытства и оскорбленного явной холодностью, разорвал эти оковы, которые так пристойно, но вместе и так насильственно связывают женские уста, сдерживают шаги. Далеко от нарядной залы, от вычурной образованности, в комнате, назначенной, кажется, для первобытных излияний души, графиня стояла во всей простоте неутешной печали; она смотрела на доктора сквозь свои крупные слезы, сжимала ему руки и беспрестанно спрашивала:

— Кто он? кто он? объясните мне его.

Врач тела силился составить из своих слов рецепт для взволнованной души и все просил графиню, чтоб она успокоилась, но на нее не действовали уже лекарства увещаний.

— Доктор, мой лучший друг, не смейтесь надо мной,— продолжала она, чуть-чуть проводя тремя белыми, тонкими, прозрачными пальцами по своему лбу. Голова ее тихо склонилась назад; тихо из полуоткрытых губ вылетало судорожное дыхание; утомленные веки опали, и черные длинные ресницы кинули от себя тень. В этом чудном забытьи, в этом обольстительном изнеможении, усыпленная тишиной, полусветом, «Я несчастна, истинно несчастна»,—сказала она и дерзким и робким шепотом, потом встрепенулась, потом отскочила от доктора, бросилась в вольтеровские кре-

сла и закрыла лицо руками. Слезы так и закапали на розовый шарф.

Положение ее друга становилось затруднительно и жалко!.. Женщина в минуту искренности, в страстную минуту обращалась к нему, как к мертвому камню, как к человеку, который не должен иметь ни своих мыслей, ни своих желаний. Она спряталась с ним ото всех только затем, чтоб он слушал ее или говорил ей о другом; она требовала от него машинального слуха или машинального языка; она зачеркивала его собственное существование, как Наполеон зачеркивал Бурьеня, когда разговаривал с ним, или, лучше, с собою, о своих баснословных замыслах!.. Несчастье быть другом!.. Горькое положение быть поверенным Наполеона и двадцатилетней вдовы!.. Доктор млел на месте, смотрел на слезы и, казалось, не понимал их: жаркие слезы всепожирающего самолюбия так похожи на теплые слезы любви:

— Оставьте его, графиня, не думайте о нем.

— Отчего? отчего? — спросила она, поднимаясь из кресел, и глаза ее высохли разом. Доктор молчал, шершил по ковру правой ногою и разглядывал носок своего сапога.

— Это не женская причуда, спасите меня... Доктор, мой милый доктор, я была замужем, но я чувствую... Боже мой, да что же это за непостижимый человек!

Тут графиня пересказала в несвязных отрывках свое знакомство с Левиным, но подробно, свежо и ясно обрисовывала все его странности — странности, которые несколько дней назад она умела еще толковать в свою пользу и которые теперь вдруг представились ей во всей наготе убийственного, отчаянного смысла. Не имея силы признаться себе, что некому ей помочь, она жаловалась, тосковала, досадовала, просила, точно доктор был одарен этим баснословным всемогуществом, какого требует от вас женщина, когда приходит к вам со своим горем. Впрочем, его пристальная задумчивость, важность осанки действительно внушали такое мнение и могли поддерживать женскую мечту. Узнав, что графиня не больна, что ее расстройство происходит не от физической причины, он перестал суетиться и затих; однако же все участие, к какому может привыкнуть лицо, посвященное с ранних лет на угождение другим, настраиваемое каждый день под лад чужой болезни, вежливая внимательность и проблеск

глубокой, печальной думы,— все это выражалось в особе доктора, все показывало, что он слушал неравнодушно, только иногда, изредка, легкий стук его ногтей о табакерку,— признак внутреннего, невольного спокойствия, признак подспудной гордости, с какой мы встречаем чужую беду,— нарушал несколько стройность его наружности и противоречил видимому слиянию его души с душою графини. Наконец она назвала колдунью. Нетерпенье так и замелькало в ее глазах, вопросы так и посыпались один за одним; но едва мучительные слова: «Гроб и ужасное письмо» сорвались у нее с языка, едва она потребовала ключа к этой загадке, как лицо доктора вспыхнуло. Женская ли искренность, похожая на ласки ребенка, растрогала его до дна, или страшное воспоминание явилось перед ним в живом образе? Он вышел из своего раздумья, он был уже не холодный врач с полезными советами, с притупленными чувствами и с вечной диетой,— нет, его умные, важные черты, клоки его серых волос, получили другое значение.

— Ах, графиня, о чем вы спрашиваете у меня? Это длинная история страданий с небывалой развязкой!.. Как мне отвечать вам? Что значит, если я скажу два, три слова? Они не удовлетворят вполне вашего любопытства, вам нельзя будет понять всего их ужасного смысла. Что значит, если я скажу: такой-то умер? похоже ли это выражение на самое дело, подействует ли оно на вас? Надо стоять у кровати умирающего и следить все приготовления к смерти.

Доктор бросился поднимать цветы, которые уронила графиня.

— Ах, ради бога, скажите все, я рада вас слушать,— говорила она тоскующим голосом, падая опять на спинку кресел и этим движением раскидывая живописно свои газовые вуали. Она искала места попокойнее, как в душную летнюю ночь ищешь на постели места похолоднее.— Пощадите меня, не заставляйте доказывать, что я приступаю к вам не из пустого любопытства. Я не могу жить, не объяснив себе его. Доктор, я не выпущу вас отсюда, расскажите мне все, что он думал, чувствовал, все, что с ним было.

— Послушайте, графиня,— отвечал доктор, смотря на нее с умилением,— вы так молоды, что я боюсь произвесть на вас впечатление, которое будет совершенной новостью для вашего сердца. Иные мысли, чув-

ства и мученья грех передавать такой женщине, как вы.

— Я не ребенок,— сказала графиня полуулыбаясь.

— Потом, я не знаю, имею ли право располагать чужой тайной...

— Я думаю,— прервала графиня и проворно выпрямилась,— вы должны верить, что я не изменю вам, если я верю, что вы не измените мне.

Доктор сел.

— Я встретила человека занимательного... меня терзают им... Я желаю знать обстоятельства, которые довели его до такого странного состояния, и прошу вас... вот все... Не заботьтесь обо мне и не думайте утомить моего внимания. Я не пойду в залу, там и жарко и несносно. Вы не танцуете, до ужина долго.

Последнее убеждение, казалось, сильно подействовало на доктора. Графиня сидела на самом краю кресел и не спускала с него глаз, а он смотрел в пол и нюхал табак. Тонкий луч, отблеск от миллиона лучей, проскользнув сквозь неплотно притворенные двери, светился одинокий там на узорах темного ковра, там на позолоте зеркала. Отголосок громкой музыки, слабый, унылый, отдавался в этой мрачной и злобной комнате, где приготовлялись анатомическим ножом слова вскрывать чужую душу, где хотели добраться до всего, что есть привлекательного в чужом несчастии, где копился какой-то заговор, против живого света, одушевленных звуков и беспечной веселости.

— Но, графиня, как же мазурка? — спросил доктор, поднимая вдруг голову.

— Ах, боже мой, я не хочу танцевать.

— Но ваш дядюшка?

— Он подумает, что я уехала.

— Вы знаете одно из обстоятельств его жизни и, вероятно, догадываетесь, что значит гроб на языке колдуньи.

Графиня облокотилась и, горизонтально наклонив лицо, прилегла щекой к ладони. Доктор поместился в креслах как можно удобнее, приложил ко лбу конец своей продолговатой табакерки, нахмурился и продолжал:

— Но ее другое слово!.. Не могу постигнуть, почему известно ей существование этого письма!.. Кто она? Что за чудесная женщина!.. Каким образом удалось ей проникнуть в самую страшную глубину семейной жиз-

ни и подглядеть эту невиданную сцену, у которой не было свидетелей, кроме тусклой лампады да образа спасителя!.. Ах, графиня, зачем оставили вы веселую залу, прекрасное общество и место вашего торжества?.. Грех вам, если вы заставляете говорить меня из угождения минутной досаде, минутному любопытству!..

— Вы не умеете ценить моей откровенности, вы не понимаете меня, доктор,— сказала графиня самым кротким голосом, не отводя глаз от своего собеседника и, в знак нежного упрека, тихо качая на руке наклоненную голову.

— О, не сетуйте на меня,— возразил доктор, обхватив табакерку обеими руками и прикладывая к подбородку.— Я хотел только еще более увериться, что мою нескромность можно извинить важностью побудительной причины и только намекнуть вам на это благоговение, каким желал бы окружить мой рассказ. Вы услышите страданья истинные, никому не нужные и никем не заслуженные; из них ничего не следует, они ничего не доказывают, но по крайней мере теперь, в первый и последний раз, годятся на что-нибудь, по крайней мере покажут вам одного из самых привлекательных людей в таком виде, что как бы ни было сильно впечатление, произведенное им, вы, верно, оставите его на произвол этого дикого чувства, против которого нет оружия, этой душевной пустоты, которую нельзя наполнить ни вашей красотой, ни вашим умом, ни вашей любезностью.

Графиня пошевелилась, опустила глаза и выдернула из-под локтя конец вуаля.

— Да, он еще ходит там, говорит, смотрит; сочувствие ко всему, что делается около, заметно на его лице, в речах, в телодвижениях; но это уже одна привычка, это отчаянье, которое даже и не ропщет, это послушание актера, который должен же доиграть и лишнее действие драмы. Не думайте, однако, что на вашем великолепном маскараде вы видели жертву сердечных порывов, помраченного рассудка, необузданных страстей и что он купил мертвую тишину души самыми сладкими бурями. Конечно, возле веселых лиц и блестящих нарядов, если всмотреться в его романтические черты, в их однообразное, мечтательное и болезненное выражение, то придут в голову пылкие заблужденья первой молодости, неизбежное разочарованье; невольно скажешь: «А, тут кроется какое-нибудь

раскаянье, какой-нибудь упрек самому себе!» Нет, ему не в чем упрекнуть себя. Никогда рассудок не уступал у него сердцу; никогда его скромное чувство не выходило из пределов этой мирной земли, на которой он родился, и бледного неба, на которое должен глядеть. Такое качество не обольщает женского воображенья; но я хочу говорить вам одну горькую правду.

Вы не жили тогда в Москве, как он, воротясь из чужих краев, появился в свет. Что́ теперь!.. он не узнаваем!.. Но в то время... трудно было придумать, чем судьба могла бы еще наделить своего любимца!.. Огромное богатство, имя, двадцать два года, тщательное воспитание, просвещенный ум, и присоедините к этому нравственную чистоту, непорочность сердца! Он не имел случая прикоснуться к жизни с той ее стороны, которая пятнает человека, не имел надобности выучиться житейской изворотливости, выгнать из головы всякое собственное мнение, чтоб вежливо уступать место мнениям других и у других испрашивать беспрестанно то покровительства, то советов, то позволения существовать. На нем не лежало ярмо светского подданства. Он не протягивал руки, чтоб задобрить, и не улыбался, чтоб угодить. Свет чувствует тотчас независимого человека и торопится льстить тому, кого не в силах унизить до льстеца. О, как свет принял его!.. Но Левин не был сотворен, чтоб увлечься вихрем минутных впечатлений и удовольствоваться пищей, предлагаемой одному тщеславию. Он смиренно отказывался от первой роли на паркете, прятался за других и не старался выставлять своих блистательных преимуществ. Вы напрасно искали б в нем этого самолюбия юноши, которое легко утешить, и воображенья, которое легко подстрекнуть. Нежный цвет лица, светлые взгляды — вот где была его молодость; но мысль, плод уже не опыта в наше время, а разума, предупредила и отгадала всю степенность старости. В то время как все кружилось перед ним, кто был счастлив своим нарядом, кто улыбкой, кто радовался, что светло и шумно,— в то время Левин задавал себе вопросы: чем же наполнить эту жизнь, какого рода деятельностью, каким занятием, какую выбрать цель?

— Его не терзали эти желанья, требованья, замыслы, несоразмерные с способностями, полученными от природы,— отличительная черта нашего века,— следы, оставленные, может быть, Наполеоном и Байроном; он

не испытывал на себе этого стремленья к какому-то безыменному и невообразимому подвигу; не страдал от этой тоски, от этого сброда мыслей, нахватанных отовсюду, растений не по нашему климату и не из нашей почвы, мыслей без корня и без плода. Наконец, не чувствовал призванья быть орудием невидимой силы, действовать в больших размерах или запереться уединенно в кабинете и пойти в мученики к какой-нибудь плодотворной идее, а пожертвовать собою темному, пошлому труду и целый век утешаться тем, что подобно муравью, тащит песчинку на здание общественного блага; вы можете представить, способен ли был на это богатый эгоист девятнадцатого столетия? Измерив силы своего ума и своей души с холодностью постороннего наблюдателя, он стал в разряд людей обыкновенных; но, несмотря на свое беспристрастие, по странности человеческой, все-таки считал себя центром в кругу других, отыскивал такого поприща, где б все лучи жизни соединялись в нем одном, и если не имел притязаний на удивление, на славу, то глубоко презирал должность полезной, добродетельной жертвы. Что же предстояло ему, ему, кто отказывался от всякого влияния на людей, не мечтал переиначить жизнь, а хотел принять ее такою, как она есть?.. свет?.. общество?.. Но там не нашел он ничего по себе, ничего, что может сократить длинный день и длинный век, что тревожит, тешит и беспрестанно двигает ум,— ни малейшей потребности жить вообще, жить вместе. Там, ему казалось, недоставало основной связи, которая в состоянии бы прикрепить его к заботам и наслаждениям гостиных; не было такой же чувствительности к переворотам мысли, как к изменениям моды; все сходились без надежды услышать что-нибудь, расходились без желанья встретиться; никто никого не ждал, никто никому ничего не передавал; мысль и человек не оставляли следа, не возбуждали любопытства; кого кем ни замени — все было равно, и на всякого налагалось только единственное условие: занять в комнате известное пространство. Механическое сцепленье, фосфор, который сияет, а не греет,— тут нечем наполнить жизни, нельзя забыться надолго; тут Левин не встретил единодушия забав, восторгов, негодованья, мнений, ни этой общественной симпатии, которая соединяет людей в тесный кружок, отгадывает их просвещенные требования и дает смысл их беседе; ни беглых, неисто-

щимых вопросов, которые затрагивают самые нежные изгибы сердца, ежеминутно и мрут, и оживают, и обновляют голову; ни верований, ни убеждений,— словом, воротясь домой, он не находил в себе ни одного отрывка от мысли, ни одного намека на чувство, в чем бы принять участие, над чем бы задуматься, с чем бы прожить несколько часов... суета внешняя без суеты внутренней, роскошь для глаз без роскоши для души... никакой связи у прошлого дня с будущим, никакого воспоминания... с разъездом кончалось все... Часто в такие минуты он кидался при мне в кресла, голова утомлена от праздности, сердце пусто, только ноги устали. Простите меня, графиня, это мнения не мои, а его. Свет показался ему таким, когда вас еще не было в свете.

— Продолжайте, продолжайте,— сказала графиня. Она наклонила уже голову на спинку кресел и начинала поглядывать то на этрусскую лампу, то на шкуру барса. Доктор продолжал:

— Тяжелое чувство одиночества овладело им, припадок странного сумасшествия терзал его душу. В многолюдных залах и гостиных ему все представлялось, что он наедине с самим собою. Ни прелестный наряд, ни милое слово не могли оживить несчастного взгляда, который повсюду искал смысла, значения, симпатии. Это была его первая мука. Он ходил по огромным комнатам, посреди шума, блеска; около него такая толпа, так все блистательны, так легко ловки, так скучно заняты; ходил и не знал, что делать; говорить — о чем и с кем? танцевать — для чего! играть в карты — не нужно выиграть. Левин бежал из света. Но куда? Где найти занятие для своего бесполезного существования, для своего надменного эгоизма? Где потонуть в бездне впечатлений, чтоб до конца не опомниться ни на минуту? В каком углу вымучить у жизни эту цель, которая б могла осветить страстный ум и рассуждающее сердце? Он спустился ниже, сошел с верхних ступеней общества. Изящные формы требуют покоя: заставьте древнюю статую двигаться — она не будет так хороша. Левин объяснил себе необходимость того, что видел, и бросился отыскивать задушевных бесед. Тут-то горячие мысли, тут-то беспрерывное движение. Он кинулся на улицу: там по крайней мере кипенье общественности, беспрестанный прилив новых предметов, новых картин, там и жизнь имеет смысл, там жить —

значит глядеть. Но в пылких беседах, в дружеских объятиях, безвкусие — это была искренность; крик — это было убеждение; все хорошо или все дурно — это была мысль. На улице каждый день все та же карета, на бульваре все то же лицо. Повсюду спокойствие мудрости, однообразие счастия. Самый порок представлялся с такой грубостью порока, что отнимал даже возможность не быть добродетельным. Вы воображаете графиня, до какого состояния этот странный взгляд на людей довел причудливую душу Левина. Он не знал, что ему делать со своими деньгами, куда приклонить голову; с ужасом смотрел, как скитались перед ним несчастные жертвы праздности, тщеславия и немощи, с ужасом думал, что и ему придется стать в этот горький, заброшенный разряд, что и мимо его всякий пойдет своей дорогой, как бы он ни улыбался от зависти и ни язвил от тоски. Да, графиня, ленивые глаза, в которых умирает вчерашняя мысль, звонкие слова, которых никто не слушает,— вот что особенно пугало моего друга; создать же себе натянутую деятельность, уверить себя, что его сердце бьется горячо при чтении иностранных газет,— этого не умел и этого ему было мало. Он перестал сближаться с людьми, не искал общества, его квартира производила впечатление пустоты, нежилого дома: письменный стол, ковры, диваны показывали присутствие человека, но эти ковры — точно по ним никто не ходит, эти диваны — точно на них никто не сидит. Ни одного угла, ни одного места, про которое б можно сказать: здесь он трудился, здесь думал, здесь отдыхал; все в мертвом однообразии, все прибрано, все чисто, все приготовлено для жизни — и ничто не согрето жизнию. Наконец он разрешил задачу своего существования и отыскал эту цель, которая не представилась ему с первого раза сама собою. Трудно описать одушевление, в каком я однажды нашел Левина; смотря на него теперь, вы не поверите, что он был когда-то способен воспламениться от математических выводов ума и от надежды на будущее. Бывало, я ездил к нему каждый день, и он встречал меня вечно в одном и том же положении, так равнодушно, так сухо, как только позволяют встречать беспрестанные свиданья и искренная дружба. В усыплении, лежа на креслах, он тихо повертывал ко мне голову, протягивал руку. «А, здравствуйте, садитесь, хотите трубку или сигару?» — это

было всегдашнее начало нашего разговора. Я уже заранее знал, что он мне скажет, и мой слух так привык тогда к этим звукам!.. В известное время дня они были уже мне как-то нужны, необходимы. Я знал, что у него не найду ничего нового, но и с собою не мог ничего принести к нему. Все, что казалось мне новым за его дверьми, что оживляло мою походку, когда я подходил к его кабинету, новая книга, новая свадьба, чудесное выздоровление больного,— все эти наши дневные мелочи замирали у меня на языке, едва я переступал порог. Нельзя было никак показаться с ними на глаза к нему. От него веяло этим холодом, в котором есть какое-то пугающее величие, этой тоской, которую не смеешь забавлять. Но однажды отворяю я дверь, чувствую, что выражение моего лица становится важнее, шаги медленнее, вхожу... Судите о моем удивлении... Он вскакивает и, не взглянув на меня, начинает быстро ходить из угла в угол. Я остолбенел. Слова у него так и полились, как будто он только дожидался чьего-нибудь появления, чтоб иметь возможность выговорить вслух, чтоб вслух убедиться в том, в чем убедился про себя. «Доктор,— сказал он мне,— чего я добивался, чего искал? Рассеянья, жару, волнений; но все это должно наскучить, и от этого рано или поздно притупляется душа!.. Потом, зачем я буду требовать у жизни, чего она не может выполнить, и не воспользуюсь тем, что она предлагает? Ее не переделаешь, надо ей покориться. В самых обыкновенных явлениях ее, в самых пошлых действиях человека таится средство просуществовать свой век. Общество, люди не отвечают мечте, какую я создал о них,— с ними нечего делать; надобно же поставить себя в такое положение, чтоб не кидаться к ним в объятия измученному тоской одиночества, чтоб не ломать себе головы, как провести вечер, убить время, чтоб не нужно было мне подходить к кому-нибудь с несносной жаждой теплого чувства и свежей мысли. Посмотрите, как этот свет покажется мил, эти люди привлекательны, если только устроить себя таким образом, что не будешь приносить к ним на разрешение ни одного важного, дельного вопроса. Удовлетворите как-нибудь без них глубоким требованиям своего сердца, являйтесь к ним только в забавные, в ничтожные минуты вашего дня, и они представятся вам в самом обольстительном виде. Да, свет — это шутка, нарядные куклы, с которыми ребе-

нок весело играет в гости, когда есть у него колена матери, где он может отогреться. Доктор, здесь надо жениться, нет другого спасения; чувство, производимое на душу любимой женщиной, должно быть успокоительно и полно. Семья — я вижу тут бесконечную деятельность для души, самое приятное занятие уму, это заботы естественные, наслаждения независимые; это вечность на земле». Женитьба сделалась его любимым разговором. Каждый день он повторял мне, как учредит свою жизнь, каким образом отделает дом, меблирует комнаты, и по этому случаю входил уже мысленно в бесчисленные издержки. Часто предавался размышлениям о тишине, о ласковом взоре жены, об их семейном утре, об уединенных вечерах... В первый раз мечтания человеческие показались мне так отчетливы, так дельны... Все, чего он ждал, что предугадывал, были вещи исполнимые... Иногда ему ничего не нужно было для полного счастия, кроме одного взгляда или пожатия руки. «У этих дверей,— говаривал он,— послышится мне тихий шорох женской поступи, эту дверь отворит она, подойдет к моим креслам, возьмет мою руку и сожмет так нежно...» Румянец выступал у него на щеках при этой мысли, а я, отуманенный огромностью издержек, сидел, бывало, и соображал молча, чего это будет стоить...

Графиня улыбнулась.

— Однажды, накануне Нового года, мы оба были в собранье. Свет, шум и какая-то особенная торжественность этого московского вечера нравилась мне чрезвычайно, только теснота непроходимая!.. Особенно же теснились все у балюстрада, который, вы знаете, при входе в залу налево. Тут каждому хотелось и танцевать и стоять. Всякий по мере сил впутывался тут с своею дамой в кадриль, и вы с трудом бы объяснили себе это общее стремление на один пункт, если б не знали за людьми их вечной страсти делиться, размежевываться. Почему-то пришло же многим в голову, что быть у балюстрада — значит иметь хороший вкус, принадлежать к хорошему обществу, что балюстрад есть аристократия залы. И в самом деле, все, что блистало именем, красотой, нарядом или какой-нибудь светской известностью, все сосредоточивалось на этом заколдованном месте. Тут стоял Левин, бог знает зачем, и я. Нужный только в полуосвещенной комнате, где ходят на цыпочках, говорят шепотом, я

был совершенно лишний, но мой сосед, но человек рядом со мною... о, невидимая сила, магнитная связь приводили его в таинственное сношение с каждым предметом, который попадался на глаза, с каждым сердцем, которое еще билось. Он был центром, куда сходились лучи со всех четырех сторон. Знакомые и незнакомые, кто ни пройдет, кто ни остановится, тот завтра ему друг, тот завтра родня. Я стоял возле, но бриллианты, цветы, газ — все сокровища роскоши и лица — показывались ему одному, как будто он один в этой бесчисленной толпе умел оценить и яркость драгоценного камня и запах букета, как будто судьба наделила его такой обширной чувствительностью, что ее стало бы на дружбу и любовь целого света. Не мелькнуло передо мной взгляда, который миновал бы его, не было руки, которая, казалось, не упала бы ласково в его руку. Уничтоженный таким соседством, я исчез в бездне чужого могущества. Да, моя душа, из участия, из жажды деятельности, из желания увериться, что и она живет, переселилась в душу другого.

Не поверите же, сколько надменности примешалось тут к понятиям вашего доктора, который иначе, без дружеского сочувствия, был бы осужден на самое убийственное бездействие в этом шуму, где все ходили, говорили, танцевали и никто не занемогал. Я с участием разглядывал всех и не пугался ничьего величия... Тихий нрав, обнаруженный в чертах, увлекательная красота, блеск воспитания, эти различные пророчества о счастии, эти обещания совершенного благополучия, рассеянные кругом нас в улыбке, во взгляде, в словах,— все было наше, на все судьба давала право выбора моему другу. Где же, думал я, в каком углу этой залы таится существо, которое поможет ему возобновить дружелюбные сношения с людьми и объяснит, зачем мы двигаемся и о чем хлопочем.

Перед ним открыто было все пространство паркета, он мог не стесняться аристократическим уголком: его сердце не пугалось неизвестности или нищеты, этих отъявленных пороков нашего века, и его состояние позволяло ему не думать, что у него будут жена и дети. Завидная возможность выбрать подругу по прихоти минуты, по влиянию самой чистой, самой бескорыстной, самой свободной мысли, выбрать на том

или на другом конце огромной залы!.. Мне приходила в голову отдаленная кадриль, кадриль без имен, и там какая-нибудь приезжая из неслыханной части России, ослепленная светом, оглушенная, робкая, бедная и подавленная внезапным великолепием... если перед ней явится он... Вдруг Левин дотронулся до меня лорнетом и спросил: «Кто это?» Я взглянул по направлению его глаз. Что сказать вам об этом мгновении, где от нечаянного поворота взгляда решались дни, годы, полная судьба человека, так прекрасно сотворенного, и все важные вопросы, от которых он бледнел и худел в бессонные ночи. Что сказать вам об этом милом, непостижимо-заманчивом творении?.. Я не могу вспомнить ее тут в собранье, в том виде, в каком она явилась мне, и не забыть тотчас всякую неприязнь, негодование, ожесточение, эти конечные выводы из долгой жизни. Так много она внушала благоговения к женщине и примирения с человечеством. Вы, графиня, обречены на бале беспрерывному движенью, вы не оставались в покое ни на минуту, но, верно, взглядывали иногда с участием на тех, кто не танцевал.

Все танцевало, она нет. Одно это обстоятельство как-то располагало к ней душу. Около нее не было никого, никого из блистательных кавалеров, которые обыкновенно служат рамкой признанной красоте или порукой за другие более существенные преимущества; однако я не заметил в ней ни тоски, ни рассеянных взглядов, где обнаруживается нетерпимое желанье, чтоб подошел кто-нибудь. Несмотря на свою молодость, она, казалось, в многолюдстве училась уединению, не роптала на свет и не просила ни места в его веселье, ни слова от его разговоров.

Она представилась мне какой-то жертвой, которую все забывали, все угнетали, но которая все прощала, потому что из угнетений образовалась ее независимость.

Черты ее так и отделялись от озабоченных и торжествующих лиц. Она стояла перед нами, возле балюстрада; пальцы одной ее руки едва прикасались к нему, немного румянца оживляло бледные щеки, белый розан был приколот на голове, и ничего слишком заметного, слишком поразительного; но чем более я всматривался в нее, тем несноснее становилась мне толпа, тем невыносимее шум и бесполезнее танцы.

В ее скромных, спокойных глазах было много чего-то другого, чего-то похожего на тихий свет лампады, у которой одно назначение — осветить приют молитвы. Нежное сложение, какая-то непрочность тела заставляли следовать за всеми ее движеньями, бояться, что она пострадает от первого впечатления, покорится всякому влиянию, а между тем тут же, на этом же лице вы видели выражение непостижимой силы. Ничто, казалось, не обольщало ни ее слуха, ни зрения и не могло расстроить ее особенного мира.

— Как я рада слушать вас; вы рассказываете мне свою собственную историю,— заметила графиня,— я понимаю: вы влюбились в нее.

— Признаюсь, не будь я в совершенном рабстве у дружбы, не привыкни к роли зрителя, то в ее присутствии немудрено бы позавидовать, чтоб лечить других. Но оставимте меня. С большим трудом нашел я кого-то, кто назвал мне ее: так мало она была известна. Вы, конечно, по моим словам, можете предполагать теперь, что я довел вас до развития страсти и хочу описать горячку любви, безрассудный шаг, сделанный в минуту головокружения. Нет, Левин не верил внезапному чувству, он был как-то не способен послушаться первого движения и ошибиться с отчаянья, от нечего делать. Долго, долго он узнавал ее; наконец начал ездить к ним в дом, привыкал к ней и приучал ее к себе. Все были приняты меры против злоупотреблений своего сердца и против чужой неискренности. Недоверчивость ли к собственным достоинствам, или недоверчивость к женщине без всякого состояния, только, божусь вам, его медленная, подробная наблюдательность выводила меня из терпения. Я давно уже знал, что он нравится ей, а она ему, и не мог простить этого неисповедимого благоразумия. Както неприятно было видеть, что богатство с такой заботливостью оберегает себя от бедности. Впрочем, ни разу не слыхал я от него никаких сомнений: тут и только тут он не был со мной откровенен. Да и что мог он сказать против этого очаровательного, нравственного существа? Если и у нее на дне сердца было место, куда не доходит ничей взгляд, ничья мысль, ничье чувство, а где слышится только звук всякого золота, то, видно, это уж было необходимое условие жизни, такое преступление, в котором и подозревать не должно. Он женился.

Часто мы говорим себе: это мечта, и вооружаемся рассудком против ее соблазнов, но, употребляя такое выражение, не думаем, что заглушаем зависть и тешим свою гордость; мы не хотим признаться, что мечты нет: всякая мечта есть существенность для кого-нибудь. Что я видел? Чему я был свидетель? Мои глаза, мои уши, мое сердце полны еще благодетельных впечатлений мирного счастия. Эта правильная жизнь, которую всеми силами творит наш век, эта жизнь была устроена так просто, что поражала своей обыкновенностью... никаких чудес, питательных для страстного воображения... все спокойно, тихо, однообразно, если хотите, вся тайна ее прелести заключалась в прозаической истине и законности чувства, а между тем она представляется мне теперь в магическом свете. Я могу припомнить последовательно ряд происшествий, но не могу объяснить ее себе естественным образом и связать настоящее с прошедшим.

Левин поместился в одном доме с своим дядей. Жена его очаровала старика. В коротких сношениях ее разнообразный ум и оттенки чувствительности становились очевиднее. Отсутствие ли всякого тщеславия, или робость, приличная молодым летам, только она не старалась никогда овладеть вниманием нового человека и не спешила щеголять собой, как бы отзыв его ни был значителен в обществе. Она берегла свою улыбку, свое красноречие и одушевление голубых глаз для беседы вдвоем, втроем. Можете представить, как эта сосредоточенность должна была нравиться мужу. Поступив логически, обдуманно, он не находил уже причин сжимать своего чувства в тисках мудрости, дал ему волю, и оно развилось до крайней степени. Привязанность глубокая, постоянная высказывалась у него на каждом шагу, однако нисколько не стесняла жены. Ее любили, но не преследовали любовью. Ей полная свобода была во всем. С самой первой минуты он неприметно, вкрадчиво внушал ей твердое убеждение, что ее достоинства, дороже, лучше, выше его богатства, и она, верно, не имела случая догадаться, кому из них принадлежит оно. Если прихоть или благотворительность, одна из самых сильных потребностей ее души, могли вовлечь ее в непредвиденные расходы, то это как-то узнавалось мужем заранее, чтоб не дать ей времени задуматься. Заботясь беспрестанно, чтобы каждая минута ее твори-

лась ее собственным произволом, он находил тут неизъяснимое наслаждение. Я понимаю это. У них вкус, желания, причуды были, по-видимому, одинаковы. Хотя они ограничились тесным кругом коротких знакомых, но иногда выезжали в свет. Левин не смотрел уже на людей с этим благородным ропотом, с этим язвительным негодованием... Целый мир сделался любезен и добр; люди стали необходимостью, долгом, рассеяньем, а мысли, которых истину так отчаянно и красноречиво доказывал он, стали мыслями дикими, бесплодными, противообщественными. Завернувшись в свою независимость, греясь у своего камина и смотря на свою жену, он любил, бывало, говорить со мной, рассуждать, спорить, но в самую минуту какого-нибудь важного вопроса из науки, из искусства или по случаю иного происшествия вдруг неожиданно брал ее за руку, посматривал ей на пальцы, и я видел, что все важные вопросы были одна забава, а только ее рука — дело. Прежде он пугал меня своим холодом, тут приводил в какое-то нравственное расслабление. Я радовался картиной и изнемогал под ее разрушительным влиянием. Деятельность, труд, познания, слава... я во всем путался и сомневался: вера в свой угол и в свою жену уничтожала все другое, чему верит ошибкой человек. Ежедневные явления этой немудреной жизни столько имели в себе глубокой прелести, что я часто сворачивал с дороги... Чужое счастие стоило мне многих визитов... Вместо больных я отправлялся к здоровым, подышать их воздухом. Все у них было ново, свежо, молодо. Ни одна безделка не успела еще запылиться, ни одно движение, ни одна ласка не превратилась еще в грубую, холодную привычку, где, наконец, нельзя бывает отгадать первоначального чувства, которое внушило ее. Они сходились в известное время, садились на тех же местах, соглашались, смеялись... не потому, что это делалось так и вчера, а потому, что они сегодня были от этого счастливы. Ничего обременительного не было у них в образованных сношениях между собою. Все легко, свободно, вместе, как будто наедине, никакого насилия над своим умом, над расположением духа, ни одного, казалось, из этих тонких принуждений, необходимых в присутствии даже самого близкого человека. Час от часу более и более развертывалась милая жена Левина, все ее качества, все тайны, накопленные воспита-

нием, размышлением, выходили мало-помалу наружу. Молчаливая, созданная скорее слушать, чем говорить, она поддавалась иногда живости разговора, но надо было много занимательности, чтоб увлечь ее. Притом же только вечером, под влиянием ночной раздражительности, ей приходила охота обнаруживать свои любимые мысли и заметки, сделанные над жизнью тихонько ото всех. Тут рука ее с иголкой останавливалась над канвой; пристально глядела она, глаза были покойны, только голос, пленительный голос передавал искренность ее сочувствия к своим речам. Как легко и благородно вспыхивала она от неожиданного замечания, от счастливого выражения!.. Ничто глубокое и великодушное не оставалось у нее без ответа. Ни один намек не ускользал от нее. Весь мир оттенков и мыслей, который можно привязать к иному слову, электрически понимала она и скромно опускалась на канву. Я смотрел, слушал и беспрестанно переходил от одного заключения к другому: какое счастие, думал, когда жена говорит!.. какое счастие, когда краснеет!.. Если и попадалась мне на глаза обольстительная безделка роскоши, если случалось нечаянно увидеть всю эту комнату или разглядеть Левина, который разнеженно покоился в креслах, то на меня находила вдруг странная, невольная тоска... Возле нас так все дышало эгоизмом счастия! Это была гостиная, приготовленная не для людей, а для себя, ее не берегли, но в ней жили. Две, три картины отличных мастеров, фортепьяны, камин, разбросанные книги и журналы, мебель для всех причуд тела, ничего слишком великолепного, а каждая вещь так изящна, что годилась бы на украшение дворца. Все предметы напоминали успехи образованности, блеск, шум, и между тем всего лучше, всего привлекательнее казалась тут поэзия уединения, тишина души. Взгляды, лица говорили мне: не обольщайтесь этими четырьмя стенами, мы их перенесем куда хотите, а они без нас потеряют значение,— и я отодвигался от окон, уходил в самую глубину комнаты, чтоб не слыхать уличного стука, чтоб как-нибудь далее уйти в этот чудный мир. Левин был хороший музыкант, жена его любила рисовать; ее рабочий кабинет, убранный с особенным тщанием и богатством, можно было видеть с того места, где муж сиживал за фортепьянами. Так они умели устроить все! Ни одно удовольствие не ускользнуло от внимательной нежности. Часто, гра-

финя, утром я заставал их каждого за своим занятием; много комнат разделяло их, но все двери бывали растворены... паркет, бронза, мрамор светились от солнца... Левин, закинув голову, играл, а издали, с конца дома, оглядывалось на него женское лицо. Я садился слушать, проходило полчаса, час, и вдруг лицо пропадало, потом она являлась, нарядная, стройная, тихая, жала мужу руку и, сказав: «Я поеду, друг мой, прощайте, доктор»,— опять исчезала от нас. Он взглядывал ей вслед, а после спокойно и весело оборачивался на фортепьяны с завидной уверенностью, что она воротится. Иногда, воротясь, ей приходила фантазия не снять шляпки, не сбросить шарфа, чтоб и муж ее насладился тем, что могло понравиться другим, чтоб не было ни одного впечатления, которое произвела бы она не при нем и не на него. Я забывался, смотря на них; в каждую минуту дня, проведенную с ними, утром, вечером, за обедом, спрашивал у себя: «Да где же несчастия, заботы, где ж трудность найти для жизни цель?» Судьба учредила все для Левина с такой попечительностью, что он не знал даже ни малейших хлопот, сопряженных с большим состояньем. Дядя управлял его именьем, и ему доставалось только удовольствие тратить. Жена его вечно была одинакова. По своему характеру она, конечно, притаила бы всякое горе, прослезилась бы украдкой, про себя, но ее охраняли от самых ничтожных беспокойств. Ровный, кроткий, задумчивый ее нрав показывал, что она не любит, не вынесет новизны, противоположностей, крайностей,— и божий мир был представлен ей без изменений: темно разве могла она воображать себе беспрестанные переходы человечества от радости к печали. Если же сердце ее отгадывало подчас, что делалось там, за стенами их дома; если голос нужды доходил как-нибудь в уборную женщины, где было столько золота, блонд, газу; если она считала необходимым возбудить в муже участие и признаться в сострадании...— о, тут и только тут выходила из своего обыкновенного положения. Я видел, как она однажды вбежала к нему в кабинет... Куда девалось спокойствие, томность?.. Лицо суетливо, глаза готовы плакать, точно у огорченного ребенка, что-то совершенно непохожее на нее... она сказала два слова в пользу какого-то бедного, но так горько... Муж вскочил и в первый и единственный раз, поцеловал ее при мне. Боже мой!

в каком состоянии находилась его душа в это блаженное время!.. как изумляла меня человеческая гибкость, способность совсем отчаяться и совсем утешиться! Весел, приветлив и уже немножко горд, это был не прежний смиренный юноша, который бродил по свету ощупью, а зрелый человек, чей рассудок построил прочное здание и угадал вперед, что оно понравится сердцу. Он брал книгу, но уже с холодностью судьи, с уверенностью, что не испугается ее премудрости. Он охотно вмешивался в толпу, но на бале или у себя когда взглядывал, бывало, на всех и ни на кого, этот смелый, рассеянный, неозабоченный взгляд говорил нам: вы надоедите мне — я вас не пущу к себе; вы нападете на меня — я откуплюсь от вас; вы вздумаете прельщать меня высокостью ваших целей, шумихой вашего движенья — я скажу: вы лжете.

Он был так счастлив, что его счастие не заступало никому дороги, так счастлив, что ему не завидовал никто, он был или выше, или ниже тех людей, которые спорят, воюют, трудятся, мучатся и надеются. Прошел почти год. Я уезжал тогда на несколько дней в подмосковную к одному больному. Сын его, премилый молодой человек, воспитывался в ребячестве с женою Левина, изредка бывал у них и просил меня. Вдруг получаю там записку: «Воротитесь, пожалуйста, поскорей, жена моя простудилась на бале и немного нездорова». Я поскакал. Тотчас к ним. Это было вечером, как теперь помню. Уже в передней двери растворялись тише; общая боязливость и порядок показывали, что нет опасности, что больная не умирает. Вхожу... ах, графиня, в первый раз она представилась мне так же прекрасна, как ее душа!.. Ей недоставало прежде чего-то, живости, огня, цвета, приличного пылким летам... болезнь поправила этот недостаток. Полусидя, полулежа, она покоилась на оттомане. Шея обвернута голубым газом; одна рука разметалась, другая, притронувшись к щеке, сквозилась сквозь густые локоны. Тонкая цепочка на лбу поддерживала волосы, какой-то капот, чудесно вышитый, какое-то кокетство, которого я еще не замечал в ней. Яркий румянец, глаза блестят, и на сухих губах улыбка. Лицо в совершенной противоположности с изнеможенным положеньем тела: завитая голова отделялась, хотела резвиться, черты лишились своего покоя, томности, они требовали уже суеты, страсти, тревог, а кругом

мертвое благоговение. Нездоровье обожаемой жены, которого не боялись, а за которым имели удовольствие ухаживать, разливало по всему дому романическую таинственность. Муж сидел у нее в ногах, положив руку на прелестную ножку, смотрел так нежно, что вы пожелали б объяснить себе жестокую способность человека любоваться болезнью. Он беспрестанно говорил, но звуки его голоса не имели мужской резкости; он старался забавлять ее смешными рассказами, но это смешное было придумано так осторожно, что давало случай улыбнуться и никак рассмеяться. Только его слова и касались ее слуха, а то не было тут движения, которое б можно расслушать, нечаянного шороха, на который бы обернуться. Куда девался блеск бронзы, пылающий камин, свечи?.. Ни один луч не доходил до нее в том виде, в каком сотворен природой, у огня отняли силу потрясать нервы. Поймите, графиня, очарование доктора, когда так берегут его больную, поймите темную зависть к тем, кто может окружить такой изысканной нежностью, такой роскошной попечительностью предмет своей нравственной любви. Я нашел ее в лихорадочном состоянии, прописал, разумеется, лекарство,— и Левин сделался еще шутливее, даже стал говорить немножко громче. На другой день больной лучше, на третий также, наконец она начала выезжать, но через несколько времени опять те же признаки. «Нет, друг мой,— повторял Левин,— я уж теперь долго тебя не выпущу». Приходил, бывало, его дядя, мы сиживали в семейном кругу за чаем. «Доктор, вы, пожалуйста, не слушайте мужа,— говаривала она, улыбаясь с своего оттомана,— и пустите меня в концерт». Тогда готовился какой-то концерт. И я улыбался. Все заботились о ней весело. Муж продолжал забавлять жену. Ни он, ни старик дядя не обращал внимания на ее ветреную просьбу, как на причуду больного ребенка, который успеет навеселиться, а кстати при этом случае тешили свое самолюбие, сообщали мне разные медицинские замечания, подавали советы... Дело, вы видите, было неважное, не такое, где обыкновенно умные рассужденья кончаются, а наступает слепая вера. «Удивительно, как у нее раздражительны нервы»,— говорил Левин. «Ей надо раньше ложиться»,— замечал дядя, предлагая мне свой табак. «Да, раньше ложиться»,— отвечал я, а дрожь пробегала по моим членам,

а прямо передо мной, для меня одного все блестели глаза и играл румянец. Я уходил от них в другие комнаты, я глядел по стенам: прекрасно, изящно, восхитительно! да на улице трескучий мороз резал мне лицо, да где же взять свежего воздуха, теплого неба, как перенести куда-нибудь на край света это прелестное и самое непрочное растение!.. Ужас обхватывал мое сердце, когда еще издали слышался мне голос Левина; я чувствовал, что тут страшно бояться, что преждевременный испуг будет ему лишним мученьем, но не имел сил положиться на свое искусство. Я дрожал пропустить одну минуту!.. Горько было признаться, что робеешь, когда так на тебя надеются. Язык мой был добрее моей науки, он отказывался служить немилосердой предусмотрительности; однако ж в самом начале болезни я приступил к старику дяде. «Вы бы позвали,— говорю,— кого-нибудь еще из врачей».— «Что вы? — вскрикнул он в удивленье,— ей сегодня лучше, мы даром убьем племянника».— «Сделайте милость, она не опасна, но надо предупредить». Я выговорил и ушел в самую дальнюю комнату. Тут, графиня, в эту минуту, начались новые страданья моего друга, которых неожиданную развязку не отгадывала никак моя наука. Ему объявили... он сыскал меня... Когда отворилась дверь, мне показалось, что я слышу биенье его сердца и что во всем виноват один я. Он был уже не тот; он пришел не забавлять жену, а допрашивать доктора: «Что ты, доктор? она еще ходит, говорит, улыбается, я еще так с ней счастлив!..» Я кинулся к нему, уверял, божился, клялся; тут не было для меня святой истины, нельзя было перенесть его взгляда. Утешение подействовало. Первый пыл страха затих. Как ему постигнуть вдруг возможность такого несчастья? как подумать, что моя робость основательна? Ведь впереди столько еще средств, накопленных человеческой мудростью, столько еще будет людей, слез, денег!.. Он задумался, сжал мне руку и несколько раз повторил твердым голосом: «Весной я решительно везу ее в чужие края». Левин был еще весел при жене, но уже какая-то неискренность поселилась между ними. Она уже не знала, что у него на душе, что заставляло его и небрежнее брать ее руку, и смелее сидеть перед нею. Кончилась свобода сношений, беспечная откровенность счастия: он не мог уединиться с самим собою, замолчать, задуматься,

предаться в креслах своей особенной мечте; теперь у него не было собственной жизни, ничего своего, кроме смутного чувства, которого он еще не назвал себе; теперь он подмечал ее взгляды, преследовал ее мысли, прислушивался к ее дыханию. Только там за дверьми, куда, бывало, украдкой уходил он вслед за мною и за моими товарищами, там черты его выражали все страшные тайны сердца. Я боялся обернуться в ту сторону, где издали, из какого-нибудь угла он разглядывал каждого из нас, когда мы собирались в кружок истощать свою науку. Мне казалось, что этот человек подслушивал заговор на свою жизнь.

Надежда не была потеряна, и мы берегли его, заставляли надеяться. Ему более не нужно было уважения к его уму, к рассудку, он требовал от нас всемогущества, утешительного слова и не спрашивал, на каких доказательствах оно основано. Ужасна эта новость, эта перемена в том, кто вчера еще спорил с вами, опровергал вас; ужасна необходимость сделаться опять ребенком... Графиня, слышите, мазурка кончилась, верно идут ужинать...

— Я не ужинаю,— отвечала она опрометчиво и выдвинулась на самый кончик кресел. Едва ли не в первый раз случилось ей дать волю естественному эгоизму до такой степени, нарушить приличия, не вспомнить, что, может быть, доктор имел привычку ужинать. Он взглянул на двери как-то пристально и потом продолжал:

— Больная сошла с своего оттомана, сняла свой шитый капот, пригладила волосы. Переменился ее наряд, только муж по-прежнему оставался при ней. Тот же богатый штоф висел над ее постелью; но уже новые, небывалые лица ворвались к ней в спальню. Утром и вечером все знаменитые врачи города толпились около ее кровати... Нам кидались на шею, пред нами плакали, нас осыпали деньгами, словом, не было уж причин не помочь человеку; но болезнь тихая, как ее жертва, водворялась мирно, медленно, ни крика, ни сильного вздоха, ни одной жалобы, ни одного из этих взрывов, на которые здоровые отвечают оцепенением или рыданьями. Тут нечего было испугаться вдруг, тут Левину доставало времени и покоя перебрать все мысли, пройти сквозь все терзанья, высмотреть постепенный ход разрушения и понять, что теряешь. Жена его таяла; час от часу становилась сла-

бее; чтоб пройтиться по комнате, ей уже надо было опереться ему на руку; молодость была тут несчастием и помогала развитию болезни. Днем он уже прятался иногда от ее бледных щек, но любовь преследовала его повсюду. Жена требовала, чтоб он беспрестанно был перед ней, беспрестанно глаза ее могли видеть его, как будто хотела вознаградить мужа за все прошлое время, когда не любила предаваться явно влечению своего сердца и обнаруживать всю нежность, к какой способна. Вечером ее румянец обманывал его: ему не верилось, что есть одни и те же признаки у красоты и смерти; тут он спокойно останавливался в гостиной, где так часто сиживали они вместе: перед ним канва, две-три развернутых книги... Он брал какую-нибудь в руки, рассеянно взглядывал в нее и потом с удивительной заботливостью клал опять на то же место, в том же порядке. Глаза его говорили нам: «Не подходите к этой книге, не трогайте, не закрывайте ее, а то жена встанет и не найдет, на какой странице остановилась». Но ни проблески надежды, ни изъявления любви не могли удержать от благоговейного ужаса у дверей ее спальни. Там нежные ласки, заботливая внимательность, пристальный взгляд... под всем этим таилось сострадание, печаль, страх или ослепление. Левин целовал уже руку, которая начинала дрожать, и смотрел на впалые щеки. Болезнь не смела прикоснуться только к способностям души: болезни одна красота отдана была в жертву, другая оставалась в прежнем виде: то же смирение, та же покорность, какая поразила меня, когда я видел эту милую женщину в собранье и когда на голове у нее был белый розан. Чувство независимости приняло в ней характер удивительной неустрашимости, не той, которая вызывает опасность, но которая не ропщет. Она даже стала сообщительней, разговорчивей, хотя я без умолку приставал: «Вам не должно говорить». Изредка, однако, находили на нее минуты, что, казалось, она ничего не видит, ничего не слышит. Это особенно бывало к ночи, при влиянии лихорадки. Так, однажды вхожу я к ней с лекарством. Мужа не было. В руке у нее какой-то ключ. Стою, долго стою. Она глядит на меня, не шевелится и точно не видит. Наконец: «Послушайте, доктор»,— сказала, обернулась на ключ и опять впала в забытье. Я решился спросить: «Что вам угодно?..»

— Нет, после,— отвечала она,— не правда ли после?.. ведь вы спасете меня... дайте лекарство...— прослезилась и улыбнулась. Можете представить, что я говорил ей тут. Она положила ключ в ридикюль и спрятала возле себя. Мы, наконец, решились объявить, что не ручаемся за жизнь, и не знали, к кому первому отнестись с этим приговором. Кто примет равнодушнее?.. Все плакали о ней... Двор уставлен каретами, в гостиных родные, друзья... Как бы, кажется, умереть, когда столько людей хочет, чтоб вы жили?.. Мне поручили приготовить Левина... К этому кабинету, графиня, подошел я, где он так умно вычислил для себя цель своего существования... Тысячи мыслей мутили мою голову... сердце надрывалось... Я дрожал, отворяя дверь... Вхожу и застаю, что он сидит перед зеркалом, помадит волосы, причесывает бакенбарды, трет лицо. «Что вы? — спросил я,— куда вы?» — «Как куда? — отвечал он, обернувшись ко мне,— я испугал ее, она говорит, что я очень похудел, посмотрите, полнее ли я теперь кажусь?» — залился слезами и упал головою на стол. Слова замерли у меня на языке. Перед его горестью все поражалось онемением. Когда он проходил по гостиным, никто не смел подступиться к нему и утешать,— все как будто указывали на него и шептали друг другу: «Посмотрите, вот человек, он не спит, не ест, и он умирает с ней». Судьба не спустила ему ни одного оттенка в страданье. На другой или на третий день после нашего приговора, он еще не знал его, было рожденье жены. Самые близкие родные вошли к ней. Все из внимания наряжены пышнее обыкновенного, все в утешение навезли подарков. Я как теперь вижу золотую пряжку, которую держала она в иссохшей руке и, может быть, чтоб доставить мужу еще минуту надежды, говорила: «Возьми, друг мой, положи ко мне на туалет, я надену ее в первый выезд». Перед обедом бедный дядя ходил, мучился и приставал ко мне: «Скажите, поздравлять ли его, пить ли ее здоровье, или нет?» Эти страшные сближенья жизни и смерти переходили за границы человеческого терпения. Как-то все это было тем ужаснее, что происходило в больших комнатах, посреди великолепия, роскоши и при всех усилиях, какие только возможны науке, любви и золоту. Все четыре части света с их целебными произведениями были тут. Эта турецкая шаль, накинутая на

ноги умирающей, эта пышность ее последней комнаты на земле, та же пышность, которая ее встретила в первый день счастья...

По дому начинали уже показываться разные лица, невиданные прежде; прежде они не смели переступить иного порога, теперь выглядывали со всех сторон; наступала какая-то минута равенства; какая-то дерзость слез заняла место боязливого уважения. Расстояния исчезали. Все, кому она благотворила, кто был так беззаботен под ее властью, все час от часу подвигались ближе и ближе к ней...

Я еще носил лекарство... Однажды, это было вечером, опять у ней в руке тот же ключ, но уже при моем появлении она тотчас спрятала его. Не знаю, почему ее тусклые, неподвижные глаза, помертвелые щеки и особенно этот ключ показались мне страшны. «Здесь ли муж?» — спросила она. Его не было. «Доктор, отвечайте правду: умру я? скоро я умру?» Эти слова, этот слабый, болезненный голос, в котором слышался еще звук привязанности к жизни,— были невыносимо горьки. Мне вдвое стало жаль ее. Мне стало стыдно моего страха. Я начал избегать ответа, но она прервала меня с таким напряжением, какого я не ожидал от нее: «Полноте, полноте, теперь лгать грех, мне еще надо сделать многое... Бог между нами, скажите правду». Я ничего не выговорил. Вошел муж, она отерла руку платком,—это была последняя черта светской внимательности, я это хорошо помню, и едва-едва протянула к нему: «Благодарю тебя, друг мой». Он кинулся на руку и выбежал из комнаты. Через несколько часов целый дом собрался молиться. Как страшно расходились все от дверей ее спальни, когда наступила минута остаться ей наедине с священником. Там тишина, благоговение, бог,— тут люди и с ними полный беспорядок отчаянья. В соседней комнате нас было только двое. Левин стоял и смотрел в окно. С одной стороны доносился к нему таинственный шепот исповеди, последний отголосок милой жены; с одной — разрушение всего, расстройство головы, пустота сердца, с другой — прямо перед ним освещенные дома, огромный город, какая-то бесконечность огней, какой-то беспредельный мир, населенный все живыми людьми... тут, там, возле и далеко, далеко, везде, где была светлая точка, везде был живой человек... Вся Москва поднялась на ноги, кареты с целого света нагрянули в

эту улицу. Они скакали мимо с своими зажженными фонарями... все шло, ехало, спешило куда-то, все говорило ему: «Смотри, мы здоровы, мы живем, мы еще долго будем жить». Лицо его подвинулось к окну, коснулось стекла... дикие чувства, заглушенные образованием, нравственностью, верой, выступили наружу, рвались против этого движенья. Все, что он перестрадал, все ночи, которые не спал, обозначились яснее в его измученных чертах. Я дрожал, он кинется на меня, потребует отчета за бессилие науки... вдруг послышалось нам два-три вздоха, что-то похожее на самое слабое рыданье... в нескольких шагах от нас не было уже нашего ропота и нашей любви... вдруг явственно раздались слова: «Властию, данною мне, прощаю и разрешаю...» Глухой стон вырвался из его груди; он схватил себя за волосы обеими руками, и мне показалось, что хотел разорвать свою голову на две части. Но тотчас же другие, более горькие чувства сменили безобразное отчаянье... крупные слезы закапали у него из глаз, он бросился ко мне на шею и жалобным голосом спрашивал еще у меня: «Доктор, неужели никак нельзя спасти ее?»

Я не пускал его в спальню, так она просила меня... Ей хотелось и остаться в это время на несколько минут одной, и жаль было его. Но... мы вошли... все тихо, ни шороха, ни голоса, все темно... Я боязливо заглянул за ширмы... на столике лампада... два-три луча, отраженных золотою ризой, алмазами, падали на бледную и худую щеку. Она лежала закрывши глаза, в одной руке был у нее прижат к груди портрет мужа... На лице какое-то спокойствие души, какая-то неизменяемость отстрадавшего тела... Я заглянул, графиня, и мне захотелось дневного света, толпы, людей, их разговоров, их шума... Меня превозмогала тоска, похожая на ту нестерпимую тоску, когда ночью, в бессонницу, мечешься и спрашиваешь: да скоро ли рассветет?.. Уединение, тишина, мирное счастье, семья — все это мне показалось страшно... страшно быть у себя дома, быть одному или с кем-нибудь с глазу на глаз. «Она спит»,— прошептал Левин. Не знаю, не было ль надежды в этих словах? Подкрался к дивану, откуда ей нельзя было видеть его, махнул мне рукою и лег. Я вышел в другую комнату дожидаться, и вот что происходило там без меня, как я узнал от него в первую минуту исступления. Долго лежал он, пристально

смотрел на нее... она не шевелилась... вдруг, неподвижная, открыла глаза и повела ими... ему показалось, ее уши еще подслушивали, ее взгляд, холодный, непостижимый, еще подсматривал что-то. Он хотел вскочить, но видит, голова ее двигается, приподнимается... Оцепенение, испуг, кошмар, может быть, любопытство приковало его к дивану... «Доктор,— говорил он мне потом ужасным шепотом,— это была не жена моя, не моя милая, умирающая жена, это было привидение, которое вставало дотерзать меня». Все лицо ее осветилось лампадой, он глядел и не узнавал его, ничего прежнего, только чепчик и пенюар, это было еще ее приданое... она села, оперлась одной рукой на подушку, а другая дрожала у ее губ, силилась прижать к ним его портрет, чтоб, верно, поцеловать так крепко, как уже нельзя. Глаза ее с неизвестным чувством были неподвижно обращены на образ, все туда, к образу наклонялась ее голова, и слезы лились градом. Наконец шаль упала с ее ног, и она встала вся белая, держалась за кровать, за столик, все смотрела на образ, все целовала портрет, все двигалась, сделала несколько шагов и исчезла в темном углу комнаты.

— Вот она! — вскрикнула графиня, вскакивая с кресел. Лицо ее вспыхнуло и побледнело. Она хваталась за доктора и указывала на зеркало.

В самом деле, в зеркале изобразилась странная профиль: пальцы, приложенные ко лбу, беспорядочные волосы, мертвая щека. Доктор выбежал, растворил дверь совсем: загремели звуки вальса, блеснул яркий свет, засверкали опять чудные глаза графини и ее бриллиантовая звезда. Через несколько минут он воротился, прихлопнул дверь, и видение исчезло, музыка стихла, комната потемнела. Графиня стояла в недоуменье, как будто ничего естественного не умела объяснить себе, как будто спрашивала: «Откуда это лицо, эта музыка, этот свет, где ж эта женщина?».

Доктор не сел уже, он был красен, он был в таком виде, с такими приемами, в таком положении, когда человек рассказывает, не заботясь, слушают его или нет.

— Не говорите с ним,— продолжал он, держась за ручку дверей и нагибаясь в ту сторону, где была графиня,— не подходите к нему, не смотрите на него. Вот вам его тайна: он слышит, щелкнул замок, потом

опять в потемках шевелится что-то белое, опять она перед ним, но уже ноги ее двигались еще медленней, но уже в руках у нее был пук бумаг. Дрожащие пальцы поднесли их к лампаде, торопились подбирать на столике, совали в огонь, чтоб скорей, скорей, покуда есть еще в сердце страх, самолюбие, гордость, покуда есть еще доброе желание сберечь кого-нибудь от раздирательного чувства, помиловать от своей убийственной тайны. Бумага пылала; она смотрела, опершись обеими руками на стол, и, когда потух огонь, дотлелся малейший клочок, самый глубокий, самый тяжелый вздох вырвался из ее груди, тут только казалось, она перевела дыхание... Все сгорело, все кончено; не было уж человека, кто бы разобрал этот пепел; ей самой даже нельзя изменить себе: мешает смерть. Робость ли преступления, которое в жизни не боится себя, а у гроба трусит памяти по себе, величие ли добродетели, которая все дела свои бережет одному богу и заботится не получить за них на земле никакой награды,— все она похоронила и стала слабее, почти падала... Как вдруг тусклые глаза блеснули, взгляд уставился в пол, рука тянулась куда-то, но между ей и предметом ее последнего желанья, последней точки была уже вечность,— бог уже не велит — на темном ковре белелась еще одна бумажка, но тело отказывалось повиноваться душе... Портрет выпал у нее из руки, и черты ее были способны еще к такому выражению уныния, что Левину стало жаль ее: жалость образумила его... он вскочил, она вздрогнула, подняла руки, вскрикнула и кинулась к нему... В эту минуту я слышал, что-то неодушевленное грянулось о пол. Вбегаю... мрачно, мертво... Схватываю свечу... один труп лежит; около него опрокинутый стол, куски лампады и пепел; другой стоит прямо передо мной, но у этого шевелилась еще рука, тянулась ко мне и показывала клочок бумаги: на ней сквозился какой-то дерзкий почерк, от нее веяло каким-то благоуханием, какими-то чудными минутами жизни...

— Вы Левина видели сейчас в зеркале. Он уходил из залы в соседнюю комнату, потому что встретил того, кто писал эту записку.

Доктора не было, а графиня все еще сидела в тех же креслах; около нее стало тише; на ковре и на раме зеркала ни одного луча, только мраморная прозрачная ваза освещала комнату своим таинственным полуро-

зовым огнем. Наконец двери растворились, и в них нарисовался высокий лакей с предлинной палкой.

— Что такое? — спросила испуганная графиня.

— Тушу свечи, ваше сиятельство.

— Да разве бал кончился?

— Все разъехались, ваше сиятельство.

— А дядюшка?

— Ушел в свои комнаты, ваше сиятельство.

— Прикажи, пожалуйста, давать мою карету.

Встала, подошла к зеркалу, взглянулась, подняла глаза в потолок и сказала вслух:

— У него должна быть чахотка.

Кое-где по огромным комнатам, при мерцанье одинокой свечи мелькнули еще раз ее газовые вуали.

Левин уехал куда-то умирать.



ДЕМОН

I

Однажды в самую светлую ночь в Петербурге, на Петербургской стороне, сидел за письменным столом чиновник лет сорока пяти. Сальная свеча, которая совсем была не нужна, но которую он в жару трудолюбия не вздумал потушить, до того нагорела, что из ее светильни составилась черная шапка, похожая на подстриженную березу. Андрей Иванович был или не довольно образован, или не довольно богат, чтоб употреблять воск, и вместе с тем имел, видно, в душе столько благородства, что не жалел сала. Небольшая комната служила ему кабинетом. Она была чище подьяческих кабинетов во всей остальной России. Сверх того, некоторые предметы показывали, что ее хозяин не все купается в чернилах, не всегда занят делом; но позволяет себе наслаждаться жизнию, разнообразить свои занятия, чувствует потребность просвещения и жажду поэзии. Особенно же кидалось в глаза то, что он, по счастию, не читает ничего на иностранных языках, а питается все произведениями родной почвы; следовательно, находится в благополучном состоянии турка, который не видит чужих жен. Хорошенькая Александровская колонна из бронзы, несколько литографий российской работы, один нумер какого-то журнала, два-три тома каких-то повестей и соловей в клетке удовлетворяли тут прихотям ума и сердца. Несмотря на такой прибор комнаты, нельзя, однако ж, не упрекнуть просвещенного чиновника. Колонна, литографии и соловей были, разумеется, куплены; книги же, судя по разрозненным частям, взяты на подержанье: патриархальное обыкновение, ко-

торое сохранилось во всей своей чистоте не только у чиновников, но и у людей более прихотливых, более богатых, более испорченных в других отношениях общественными пороками образованности: никто не попросит поносить вашего платья, и всякий хватает почитать вашу книгу. Я было забыл самое главное украшение кабинета — кипу деловых бумаг.

Таким образом, куда Андрей Иванович ни обертывался, везде перед ним свое, родное: книга русского писателя, картинка русского художника, процесс русского суда и соловей русской рощи. Он сидел в халате и все писал. Только скрып его пера нарушал тишину комнаты и Петербургской стороны. Нигде освещенного дома, нигде съезда карет. Запоздалый пешеход мог спокойно добраться до своего жилья. Ему не попадались навстречу цельные стекла и в них миллионы свеч, ленты, мундиры, женские прически; ни в одном окне не было ничего возмутительного, ничего такого, что заставляет прохожего повесить голову или поднять ее гордо.

Прекрасная ночь и тусклое мерцанье огня бросали фантастический свет на утомленное лицо Андрея Ивановича. Усталость клонила его. Рука работала усердно, но без этой работы, без этого движения мысли, которое раздражает тело, придает ему бодрость, делает человека ночью умнее, жизнь приятнее, а сон ненужным. Серые глаза, не оживленные разумным трудом, волненьями души, едва смотрели: то раскрывались, как в испуге, то мало-помалу слипались опять. На полных щеках не играл болезненный румянец бессонницы. Они были бледнее обыкновенного. Андрей Иванович не бегал по комнате, не тер себе лба, не раскидывался на спинке кресел, не ломал рук, а все сидел, не разгибался и писал,— сонный, терпеливый, полезный, добродетельный!.. Белокурые волосы с проседью лежали в том же порядке, в каком были приглажены поутру. Шумный день столицы и морской ветер промчались мимо, не пошевелив ни одного волоска.

Чья судьба решалась под рукой темного человека, в краю дешевых квартир, при свете чудной ночи и сальной свечи? где тот, кого сыщет всемогущая бумага? на берегу какого моря, в каких снегах России? Андрей Иванович решительно не знал, о чем идет де-

ло. Остроконечный нос его едва не вступил в должность пера; но тут он очнулся, отряхнул голову, оперся обеими руками о стол, поднялся, потушил свечу и подошел к окну. На том берегу темнелась и светлела великая картина. Тут можно было простоять долго, вздрогнуть при виде человеческой силы, человеческих богатств и гранитов Севера; можно было пожелать переехать туда, на другую сторону Невы, в какой-нибудь из этих домов, из которых каждый был поместительней квартиры Андрея Ивановича. Но он не растревожился, взглянул и отошел с тем же, с чем пришел. Ему не захотелось ничего передвинуть, ничего переменить и поправить, все здания были на своих местах, все было благо, что было, не захотелось даже и переезжать. Правильное течение жизни и привычка к правильности, формальности, очереди спасала его от неисполнимых желаний, от вредных сравнений себя с ближними, Петербургской стороны с Дворцовой набережной; словом, от глупых мук воображенья. Поработав и поглядев в окно, он отправился в другое отделение своего жилища. Две комнаты отделяли его от той, куда направились его шаги. Тихо растворилась дверь в нее, осторожно ступила нога через порог, однако ж он вошел небрежно, в полной уверенности, что ляжет спать, и сбирался уже на покой, но вдруг остановился, как будто встретил что-то новое, к чему не привык, как будто голова его, которая устояла перед чудесами спящего Петербурга, расположилась нечаянно к мечтательности, и сердце, онемелое под сухим трудом, отозвалось внезапно на язвительные размышления. Перед ним лежала в постели женщина. Ни скрып дверей, ни шорох мужчины не разбудили ее, она не пошевелилась, а потому читатель догадается, что это была жена чиновника. Ее комната, столица ее царства, носила характер отличный от мужнина кабинета. Там занятия ума, пища для мысли,— тут, по мере возможности, вкус, роскошь, некоторое обоготворение тела, так приятное нежному полу. Тут добрый муж тратил жалованье, выработанное там. На туалете красного дерева лежало бусовое ожерелье, несколько колец, две пары ненадеванных перчаток, стояла склянка с духами и фарфоровая баночка без помады. Даже довольно затейливый ковер был разостлан у кровати с той стороны, где почивала жена. Муж берег только ее ножку от холодного при-

косновения досок. Чиновники балуют жен. Впрочем, и туалет, и духи, и ковер,— что это значило? всего этого мало было для милой женщины, для комнаты, где она, несчастная, и спала и одевалась. Других размеров требовала душа при взгляде на ее тихий сон, на ее ангельское личико. Самый нежный румянец, самый последний луч от ярких красок дня остался у нее на щеках. Чистый чепчик с простой оборкой спрятал все волосы, веки закрывали глаза: все было бело и розово, только чернелись тонкие брови да густые ресницы. Что-то девичьего сохранилось еще в ее чертах, они уцелели от ежеминутного влияния семейных нужд и бедности, от черных работ хозяйства; девятнадцать лет сберегли ее, как сберегает раковина свою жемчужину в пропастях грязного моря. Не слышно было, дышит ли она! так легко было ей спать, так мало еще накопилось у нее этих грубых дней, за которыми следует мертвый сон с тяжелым дыханьем! Уютно лежала она на двуспальной постели, немного занимала места, грех было будить ее, жалко оставить тут; духи средних веков не являлись из-под земли, чтобы неслышными пальцами понести красавицу по воздуху и опустить где-нибудь на золотую кровать, под бархатный занавес, в благоуханной атмосфере, в стенах, унизанных драгоценными каменьями. Мужчина подле нее, мужчина в ее спальне!.. Это разбойник, который пришел осквернить преступлением убежище невинности, это вор влез в окно, чтоб ограбить сироту; но широкий бухарский халат, подпоясанный, как у порядочного человека, но овал лица, подходивший близко к сферической линии, изображающей доброту, ручались за законность его дерзости и за чистоту его намерений. Однако ж он стоял, точно осужденный, точно совесть мучила его!.. неужели и теперь, неужели опять он осмелится подступиться к ней? он, кавалер пряжки за двадцать лет и четвертой степени Станислава!.. Хоть бы Анна была у него на шее, хоть бы голова была без седых волос, хоть бы каменный дом был на проспекте!

— Что ж ты не ложишься? — сказала жена, полураскрывая сонные глазки, зашевелилась под одеялом, повернулась и заснула опять. Ответа не было. Андрей Иванович стоял остолбенелый, не откликалась его душа на ночной шепот, как и на стройные громады гранита. Есть такие люди, которых не трогает ни закон-

ная любовь, ни архитектура. Чувством ли унижения мучился он? сошла ли на него мысль, что деньги, власть, женщины достаются иногда в силу неправосудия судьбы и притеснения от своих ближних? Наконец, по примеру жены, он также повернул спину, вышел в ту же дверь, прошел те же две комнаты и очутился в том же кабинете. Что-то необыкновенное происходило у него на сердце, замысел или раздумье было в голове. Он начал ходить, тереть лоб и трепать на лбу волосы, чего чиновники никогда не делают. Вы бы сказали: это воскрес рыцарь, который готов на все, чтоб оказаться достойным своей дамы; это человек, который прочел вчера в Юнге, что можно остановить время и заставить его отдать назад, что оно унесло; прочел и поверил. Чему иному приписать такое обратное и неузаконенное путешествие из спальни в кабинет? Поздно, очень поздно приходят иные намеренья в голову! сколько раз ложился он, не останавливаясь перед кроватью, не заглядываясь на жену? но, бывает, целую жизнь не догадаешься, что тебе худо и не посовестишься владеть тем, чего не стоишь. Андрей Иванович растворил окно. Свежий воздух и черные мысли пахнули с Невы. Петербург спал, покоился этот гигант Севера, страшно и приятно было смотреть на грозный и великолепный сон. Трое часовых стерегло его. На земле несколько штыков, между землею и небом ангел колонны, а на небе стоял месяц на карауле. Все было тихо, ничто не двигалось, и в этот великий час в целом божьем мире все чиновники давным-давно перестали писать, а ты пиши да пиши, и не то, что взбредет самому на ум, а что напутают другие; не о друзьях и знакомых, не о жене и детях, не о своем жалованье или чине, а о судьбе какого-нибудь камчадала. Напрасно перо твое притупится, рассудок потемнеет и ты уткнешься в бумагу с вопросом: господи боже мой, неужели в самом деле есть на свете такие земли и такие люди?.. они есть,— есть реки, которые текут золотом, горы, из которых бьют ключи алмазов, есть миллионы племен, есть все! чего нет? люди всякого цвета, всякого чина и звания, они выслуживают узаконенные годы, получают по службе отличия, люди дерутся, воруют, разбойничают, лазают в землю, зарываются в снег, ныряют на морское дно, и все затем, чтобы заставить тебя писать, да как и не писать? Не для того ли пост-

роен Петербург, не для того ли днем светит солнце, а ночью месяц? Глаза Андрея Ивановича не поднялися на небо, не остановилися в воздухе, они перенеслись через Неву, миновали набережную, дворцы, колонну, они пробирались к месту его служения; но какие-то незнакомые призраки подвертывались ему беспрестанно; то чужие окна, то чужие стены, то памятник, то солдат; скалы Финляндии росли на болоте и заслоняли дорогу его сердцу. А как бы не взглянуть ему на свое сокровище! сколько бурь высидел он там на одном и том же стуле! Ураган Финского залива уносил над его головой начальников отделения, а он не колыхался, он продолжал писать; сочинители черновых менялись над ним,—что ему за дело? сочинения оставались те же. Сегодня он пришел оттуда, завтра пойдет туда, завтра проснется этот Петербург, встрепенется эта Нева, зашевелится этот гранит, завтра заблещет солнце, эполеты, звезды, прилетят корабли и с четырех сторон света нагрянет жизнь в эти широкие, немые, окаменелые улицы. А ты, Андрей Иванович, с своим портфелем под мышкой, отправляйся сидеть, сидеть да писать, и смотри дорогой не толкай никого, не заглядывайся по сторонам, гляди все под ноги и вперед, не то заноет сердце, истерзаются глаза: возле тебя, у тебя под боком потянется ослепительный ряд зеркальных стекол, больших, светлых, ярких, и в них, в них улыбнется тебе и платочек, который годился бы на белую грудь твоей жены, и шляпка, которая чуть-чуть спрятала бы от людей ее пухленькие щечки. Не заглядывайся по сторонам, не то зайдешь в кондитерскую, съешь слоеный пирожок, выпьешь чашку кофе; хорошо еще, что ты не читаешь журналов, нет тебе и предлога зайти; хорошо, что ты не охотник до устриц, что тебя не потянет на биржу. Пуще же всего смотри, чтоб не столкнуться с приятелем; едва завидишь его, нырни в толпу: приятель потащит тебя обедать в ресторацию; конечно, обеды в ресторациях веселее, чем в недрах своего семейства, да ведь у тебя есть обед дома, это будет двойная трата. После обеда отдохни, да и опять за письмо; но боже спаси тебя отправиться куда-нибудь на остров погулять под ручку с женой! вы не пара, ты стар, она молода, притом же из порядочных людей кто ее увидит там? Она будет затерта в толпе, а кто и увидит, тот укажет на тебя пальцем, тот подумает: можно ли это прогуливаться

под ручку с такой прекрасной женщиной, не имея ничего на шее! Напрасны были увещания рассудка. Влияние этой ночи пагубно было Андрею Ивановичу. Точно он переродился. Утром, как вышел из дому и возвращался домой, куда девалась его смирная походка и беспорядочная служба? Шаги его явным образом стали противозаконны, глаза разбегались и буйствовали по Невскому проспекту. Такая жадность оживила взгляды, что они не останавливались ни на чем. В несколько часов он пересмотрел гораздо более предметов, чем во всю прошлую жизнь. Нет чтоб посторониться иному, нет чтоб вспомнить завет стариков: чин чина почитай. Он так и кипел неуважением. Особенно это было заметно в отношении с кавалерами Анны на шее; на его же беду, как нарочно, все Анны высыпали на проспект. Этого зрелища он уже не мог выносить, отворачивался, бежал, волнение было так сильно, что, казалось, того и гляди он бросится в объятия к первому, у кого нет ни креста, зальется слезами и вскрикнет: «Ты мой друг, благодетель, отец, хочешь ли, я брошусь в Неву, влезу на петропавловский шпиц?» Он не пропустил без внимания ни одной колясочки, если она везла даму: почему жене его не проехать бы в таком же экипаже, когда его жена не в пример лучше той, которая сидит там? Жена! — Андрей Иванович был еще на народе, Андрей Иванович может в отделении положить перо, заняться приятными разговорами и послушать умных людей!.. За ним, перед ним, кругом его все идет, едет, вертится, шумит; для глаз столько красок, для ушей столько звуков, для ума столько бессмыслицы, для сердца такая пытка, как тут не развлечься!.. а она, бедная, где в эту минуту? в какую глушь завез ты ее? какими замками запер? с кем ей перемолвить слово? в чем выехать? Шить да шить, но ведь это стоит твоего письма!.. Мысль о жене приметно гналась по его пятам, и, если он пропускал мимо генерала, звезду, как пропускает стрелок, не поднимая ружья, птицу, которая вьется под небом, в соседстве облаков, то жена, то ее тень, то ее нежная особа, сотворенная со всеми причудами природы, вынуждали его тут на многие наблаговидные поступки, что бывает со многими, когда они очень заботятся о жене и детях. Вероятно, для жены он позволял себе смерить глазами иной высокий дом; для нее ускорял шаги, не догонит ли каре-

ты четверней, для нее взгляды его перескакивали через улицу, хотели прорваться сквозь стены Александринского театра и вдруг тихо опускались на землю, подергивались мгновенной грустью: там, в этом театре, были прекрасные ложи, где ни разу не сидела его прекрасная жена. Поздно пришел он в отделение, рано ушел. Кто знал его кантовскую точность, тот только может судить о тревоге его сердца. По отделению мелькнуло перед ним два-три молодых человека, которых он прежде не замечал, потому что прежде делал дело, а не занимался пустячками. Ни один из них не сел пописать, не сказал с ним ни слова, не взглянул на него; они поговорили между собой по-французски, а с его начальником на неизвестном языке, приехали в каретах, прошлись да в каретах и уехали. Но эти желанья, мученья и картины, хотя все в них было ново и внезапно для Андрея Ивановича, хотя он сам не мог бы отдать себе отчета, откуда что взялось у него, откуда такое сумасбродство после жизни, доведенной спокойно до седых волос и, что еще лучше, до объятий завидной женщины, все-таки говорю, это странное нашествие ада на его душу не должно бы до того растревожить желчь мужа, чтобы страдала жена. Не должно бы по-настоящему подействовать на его ровный нрав таким образом, чтоб это было заметно и отравило семейное счастие. Конечно, он был не Талейран; но, исписавши столько бумаг, где иные упражняются в том, чтоб скрывать талант, полученный от бога, скрывать, что и у них есть здравый смысл, как бы не научиться и ему притаить кое-что? со всем тем, едва он ступил на порог своей квартиры, домашние могли тотчас заметить в нем перемену: не было на нем прежнего лица, которое за версту, бывало, просило уже обедать. Можно б подумать, что он на целый век лишился аппетита. Что с ним? чем он так взволнован? Нет, это уж не Невский проспект сидит у него в голове. Ему хочется принарядить жену, показать ее в люди, хочется денег, Анны на шею; да, боже мой, кому ж этого не хочется? да о чем же хлопочет весь мир? Но мир ведет себя пристойно, он обрабатывает свои дела потихоньку, это кабинетные тайны; он добьется до креста и не наденет его, он набьет в карманы денег и с постной физиономией будет проповедовать, что богатый не внидет в царство небесное. Поэтому выражение в чертах Андрея Ивановича нельзя было при-

писать какой-нибудь обыкновенной естественной причине, которую всякий носит у себя в сердце и от которой ни у кого не меняется лицо. Любопытно б, однако ж, объяснить себе его расстройство, отгадать истину, дорыться до корня его отчаянья. Но иногда приходят в голову все вещи известные, тертые, все деньги да чины, и никак не припомнишь, что еще глубже трогает человека. Правда, одно слово, сказанное на ухо, может убить старого мужа, один почерк пера может уничтожить давнослуживого чиновника.

— Что с тобой сделалось? — спросила жена, потому что этого вопроса нельзя было избежать; но спросила без суетливости, без испуга, с каким подбегает жена к осерженному мужу, когда он или моложе ее, или, если старше, может по смерти оставить что-нибудь.

— Сделается,— отвечал муж,— как сидишь целое утро, не разгибая спины, когда другие прогуливаются у тебя под носом и ходят так прямо, точно проглотили аршин.— В первый раз Андрей Иванович солгал на службу. Именно в это-то утро он и не имел права роптать, в это-то утро он почти и не сгибал спины. Женино любопытство ограничилось одним вопросом, потом она надулась сама, села, как правая, к окошку, подперлась локтем и стала смотреть на улицу. Чрезвычайно приятно, когда молоденькая женщина сидит, молчит и дуется; благороден порыв независимости в слабом существе и извинительно пренебрежение в красавице. Она не навязывалась с утешеньями, не приставала: «Раздели со мною пополам твое горе». Что тут делить по-пустому! Из всех разделов это, конечно, самый чувствительный, но зато и самый несносный: делишь, делишь, а все останешься при своем; никто тебя не обидит и не возьмет чужого! Она не прибегла к кошачьим ласкам, чтоб умилостивить разъяренного льва, спросила, повернулась и села. Ее равнодушие может показаться странным, всякий имеет право сказать: ей должно было хоть притвориться, да изъявить больше участия, потому что всякий догадался уже, какая сила свела эту жену с этим мужем. Нищета выдала ее головою. Он дал ей крышу, он поил, кормил и одевал ее, но вот и все, а удовлетворение первых нужд не ставит никого в совершенную зависимость. За такое содержание в обрез, за кусок хлеба никто не благодарит; кусок хлеба только

сердит и принимается, как должное, как исполнение христианской заповеди. Вот если б жена знала, что муж в состоянии выполнить причуды ее воображения и тщеславия, что он ужо привезет ей ложу в театр, завтра подарит модный браслет, о, тогда дело другое! тогда, разумеется, она не села бы к окошку и не подперлась бы локтем. Лишнее милее необходимого, и льстить, угождать, ухаживать за ложу или за браслет не так стыдно перед собой, не так отвратительно, как за насущный хлеб. Чиновница похорошела, чиновник подурнел. Они принялись обедать. Она не ела и того, чего хотелось; он ел и то, чего не хотел. Она взглядывала беспрестанно на все четыре стороны, на все безделицы, не стоящие внимания, но так искусно, что муж, который сидел перед нею почти лицом к лицу, ни разу не попался ей на глаза. Он не смотрел на безделицы. Она, после первого блюда, хоть их всего было два с половиной, положила на стол салфетку; ему салфетка была необходима до самого конца, потому что он утирался чаще обыкновенного. Нельзя было предвидеть, чем кончится такое разногласие в действиях: попросит ли муж у жены прощенья, что воротился домой сердит и несчастен, или жена, вопреки обычаю, спустит ему несчастие без наказания! Тем трогательней была эта сцена, что случилась за обедом. Тут бедность и очевиднее и чувствительнее. Комнаты свои Андрей Иванович поубрал, но едва ли не на счет своего стола. Комнаты для людей, стол для себя, а с собою многие у нас поступают без церемонии. Что-то неизмеримое разделяло мужа с женой. Резче выдалась особенность каждого. Чем более продолжалось убийственное молчание, тем более жена становилась тут не у места. Это была гравюра с английской подписью на постоялом дворе, в горнице русского мужика; однако ж Андрей Иванович выглядывал сподлобья так значительно, как будто умел читать по-английски. Впрочем, он, казалось, и не думал о водворении мира в своем семействе, казалось, в душе у него не было уже и речи о домашнем счастии. Видеть жену, которая после первого блюда кладет салфетку, смотрит на все, кроме вас, и сидит перед вами в двух шагах, поджавши губки,— затруднительно, беспокойно; у всякого в этих случаях прибавляется неловкости, у Андрея Ивановича — нет; он ничего не разбил и не пролил, он был неловок по-прежнему;

что-то мертвое очутилось у него в глазах, какое-то равнодушие к собственным страданьям и к страданьям целого человечества. «Да что ты так смотришь на меня? на мне узоров нет, а портретов писать еще не выучился»,— сказала жестокосердая жена, повертывая голову в сторону, так что слова ее относились прямо к стене. «Да помилуй, друг мой, за это еще с мужей пошлины не берут»,— заметил несчастный муж и потупился в тарелку. «Да что ж я тебе на смех, что ли, досталась?» Жена вскочила и выбежала из комнаты. Муж сделал на стуле медленный полуоборот, кинул ей вслед дальновидный взгляд и потом постепенно пришел в прежнее положение. В самом деле, было отчего вскочить: девятнадцатилетняя женщина сидела за обедом и сама не обедала. День был теплый, в доме душно, а на ее розовые щеки, в ее ясные очи валил пар от русских щей; а перед нею неопрятные остатки самой нехитрой, но самой сытной пищи; тесный столик, установленный измаранными тарелками, и человеческий рот, который все ест да ест, не скажет милого слова, не поцелует ручки; перед нею покраснелый Андрей Иванович, его отяжелелая особа и его лукавые, пристальные, непостижимые взгляды. Мерно поднимал он их на нее, долго останавливал на ней, точно искал в вечно прекрасном лице какого-нибудь выражения врасплох, какой-нибудь тонкой черты, где виднее душа. Жена портила картину, мужу следовало быть наедине с этим обедом. Жена убежала. Муж приподнялся и помолился.

II

На плечах у Андрея Ивановича был тот же бухарский халат, та же сальная свеча догорала в его кабинете, и такая ж ночь светилась под окном. Воротился вчерашний час, все явилось на смотр в прежнем виде; опять старая сказка, опять гранит, ангел и месяц; опять, куда ни взгляни, нет средства смотреть: все великолепно, очаровательно, чудно!.. Петербург стоял на том же месте, морские волны не смыли его, ни одна из них не вспрыгнула на берег, а Андрей Иванович сумел претерпеть кораблекрушение. Петербург был тот же — чиновник переменился. Кипа бумаг лежала еще тут, перед ним, да уж ему до них не было дела.

Он не сидел, он не писал, он просто ходил. Это беззаботное препровождение времени предполагает или много денег, или бунт страсти, а так как мы видели, что по деньгам нельзя оставить Андрея Ивановича в подозрении, то следует думать, что у него кипела душа. Впрочем, он не выходил из границ. Даже в этом непривычном состоянии не позволял себе никакого своеволия, никаких порывов, которые б разноречили с его зрелыми летами и с его прошедшим миролюбием. Все движенья мятежного Андрея Ивановича были разумны, проникнуты опытом жизни и знанием человеческого сердца. Так, например, он вдруг останавливался посередине комнаты, правую руку, то есть кончики пальцев, клал за пазуху халата, левую закладывал на поясницу, нагибал голову со всем станом немного вперед и, потупив глаза, держался в этом почтительном положении несколько минут. То стоял он немым, то шевелил губами, как будто произносил речь, как будто украл из классической трагедии монолог наперсника; но и его, как наперсников, нельзя было расслышать: глубина смиренья или пыл чувства задушали звуки голоса. Потом, это ему не нравилось, он опускал руки, как солдат, как солдат вытягивался с тою только разницей, что не отменял наклоненья головы и потупленных глаз. Правда, пробовал он приподнять голову, вскинуть глаза, выдвинуть одну ногу, но это ему не удавалось, к этому не было у него призванья. А между тем сияла бледная ночь, а между тем широкие полосы света и тени падали с неба на громадные созданья человека. Все было близко, что́ льстит гордости, что́ убеждает нас в прочности наших строений, все, от чего исчезает земля под ногами. Но иные тем охотнее припадают к ней, чем больше величия у них под боком. Долго переходил Андрей Иванович из одного положения в другое, долго вырабатывал из себя статую, согласную с его идеей и с требованьями века, долго трудился он обдуманно, отчетливо, без опрометчивости,— дьявольское наваждение коверкало его члены в ночное время, когда люди или спят, или пишут. Дорого ему стоило это. Он не учился танцевать. Тело его не было выломано и приготовлено искусством для всяких театральных положений. Андрея Ивановича бросило в краску, у Андрея Ивановича откуда ни взялась живость молодости. Бывало, с середины комнаты до письменного стола он пройдет чинно и

сделает пять крошечных шагов. Теперь это расстояние вместилось в один огромный шаг. Растрепался халат на его груди, и, может быть, в первый раз сверкнули степенные глаза. Он опомнился, он взглянул на свои бумаги, он с раскаяньем блудного сына кинулся к ним: сколько часов погублено в праздности, в действиях законопротивных, отдано в съеденье бог знает каким преступным мыслям!.. Горячая жажда честной работы проснулась в нем, жажда труда все-таки почтенного, который до сих пор кормил его без укоризны!.. с необыкновенной жадностью рылись его руки в бумагах, точно скупой между куч золота не досчитывался червонца!.. Наконец он вытащил лист самой лучшей почтовой бумаги, поднес к свече, полюбовался произведением петергофской фабрики и сел. Минутный пыл прошел, обычный свет распространился по его лицу, как лучи утра по небу. Андрей Иванович может писать неправильно, но сидит за письмом всегда в правильном состоянии души. Андрей Иванович не пишет очертя голову. Почтовая бумага была положена к стороне, перед ним лежала серая: уже на волос от нее шевелилось его перо, он наклонялся к ней, отшатывался от нее и не спускал с нее глаз, заглядывал то справа, то слева, а все не решался приступить. Опять странность, то ли было прежде! прежде писанье текло у него как по маслу. Наконец сомнения прекратились, начало сделано, но и тут беда: не успевало слово явиться на бумаге, как он медленно, важно и без малейшего негодованья зачеркивал его. Куда девался золотой век переписыванья? Завтра спросят у Андрея Ивановича: «Перебелили вы?» — а он уже не скажет: «Перебелил»; Андрей Иванович не перебеливает, Андрей Иванович сочиняет. После каждой строки, которая оставалась неопороченною, которая была ему по душе, он чуть-чуть, самым нежным образом повертывал голову и немного искоса взглядывал на дверь: из-за нее волшебной невидимкой налетало на него бесплотное вдохновение, за нею хранилась эта казна, откуда можно брать, без позволения начальства, сокровища дорогих мыслей и ярких слов.

III

Едва солнце стало подниматься из-за Невы, как Андрей Иванович вылетел на улицу. Так еще было рано, что общество, которое нашел он там, не совсем

приличествовало его званию. Охтянка с кувшинами молока, чухна в одноколке, повара с дач за припасами, солдаты на смену и ни одной чиновной особы! Не с кем было разделить время, встретить восход дневного светила, некому поклониться, а найти знакомое лицо, уверить себя, что оно точно знакомо, и раскланяться с ним хоть издали, кто не знает, как это необходимо и на воздухе и в четырех стенах? Честолюбие ведет не к добру: чем выше сан, тем скучнее, тем больше становится около вас этих чумных, с которыми не следует вам связываться. Чиновник должен бы испытать тут весь ужас одиночества, всю неприятность быть на улице, когда она полна разночинцами; но он шел скоро, ему некогда было рассуждать, он спешил к цели и щупал только боковой карман мундирного фрака, желая, вероятно, унять биенье сердца или осведомиться, не выскочил ли его бумажник в Неву. Под мышкой у него не было портфеля, даже курьеры с чемоданами бумаг, когда попадались ему навстречу, не привлекали его вниманья: так охолодел он к своему ремеслу. Петербург просыпался весело: казалось, что никто в нем не встанет с постели левой ногой; несколько лучей солнца — и все изменилось: река, камни, люди и чугун — все, кроме Андрея Ивановича. Он один находился еще под влиянием месяца и продолжал грозную ночь. Лицо его лоснилось, глаза съежились, фрак походил на халат, а палка на перо. Он не смотрел никуда, его ноги выбирали сами дорогу, он проносился по зеркалу тротуаров, как дух, которого не может согреть солнце, освежить запах моря и порадовать только что выметенная улица. Ему негде было постоять, некуда прислониться, все здания отталкивали его, прелестное утро гнало отовсюду, потому что он не оставил ничего у себя дома, ничего не спрятал в своем кабинете, а вынес на площадь все имущество своей души, ее заботы, замыслы, надежды, вынес целую ночь свою. Она вся была с ним, четко отпечатанная в его чертах. И Петербург отказывался от него, люди не признавали его за брата, он каким-то отверженным колесил по городу и нигде не встречал второго себя, нигде не осталось унылых следов ночи, ни одного предмета, истерзанного ее привиденьями, ни одного лица, измятого бессонницей. У него под глазами богатая столица отвечала на все требованья других; другие находили тотчас, что́ им по сердцу: там везлись

припасы, которые съедятся, там бумаги, которые прочтутся. Петербург бодрствовал, Петербург служил, Петербург ел уже. Какое ему дело до чужой ночи! он и своей не помнит, где ему отыскать ее теперь в глубоких безднах родного моря? С минуты на минуту город жаднее кидался на рынки и становился несноснее; едва Андрей Иванович успевал подойти к дому,— дом просыпался, изо всех окон выглядывали какие-то лица, из каждой двери высыпали на улицу неугомонные нужды, новое движенье, новый шум, все это прибавлялось, росло, и крик новорожденного дня сильнее да сильнее преследовал несчастного. Зачем выскочил он из-под своего тихого крова? скоро не найти ему места, скоро лучи солнца заглянут во все закоулки и бросятся ему под ноги. Он торопился предупредить этот блеск, вредный для зрения, и вдруг, в пылу убийственного эгоизма образованной столицы, наткнулся на что-то однородное с собою, встретил сочувствие, нашел дом, для которого, как и для него, утро еще не наступило, дом, который спал. Ни на кровле, ни на окнах не было ни одной ослепительной полоски, солнце не попортило еще дикого гранита, дом стоял весь в тени, был неприступен, важен и велик. Только сердце юноши могло обхватить его и самое молодое воображение подняться выше. Андрей Иванович стал как вкопанный, глаза его уперлись в стену, не смея разгуляться по ее огромной площади, которая была ему не по чину и не под лета. Обязанный службой и семейством, он присмирел сморщился. Бедность, красавица жена и почти пятидесятилетний возраст на плечах придавили его к земле. Дом был построен крепко, ни туда, ни оттуда, казалось, ни входа, ни выхода, казалось, там или много было дела, или уж ровно ничего. Какое ж сношение у человека, стоявшего под открытым небом, с человеком, закупоренным в этих стенах? Сквозь плотную массу их нельзя разговаривать, ничего не слышно, а Андрей Иванович и не думал идти прочь; напротив, он расположился, как дома, опять схватился за карман, полез за пазуху, потом, конечно для большего удостоверения, цело ли все, вынул пакет и начал ворочать его. Таких пакетов мы не умеем делать в Москве. Впрочем, этот не пример: он так тщательно был запечатан, из такой роскошной бумаги, к тому же так сохранен, что даже буря души не измяла и не запачкала его!.. Кто не до-

гадается, что тут было одно из первых сочинений Андрея Ивановича? игрушка его воображенья, незаконный плод его ночи! Тонина пакета показывала, что он пишет широкой кистью и набрасывает только главные черты. Почтительно обращались его пальцы с таинственным пакетом, как будто предвидели, что до него удостоят прикоснуться другие руки, как будто в нем хранились самые нежные чувства, излитые в самых нежных стихах. Но стихи дело не офицерское, на что есть поэты; чиновник, что ни принимался писать, а верно, написал просьбу. Такое предположение было сообразнее с сущностью обстоятельства, тем более, что он едва не на цыпочках ступил на крыльцо и вошел в сени. Перед ним лестница, да куда ведет она? над ним свод, да его не достанешь. Никто не загораживает дороги, а идти страшно, а врожденное чувство шепчет: «Ни шагу вперед». В таком положении находились богатыри перед очарованными за́мками: сражаться не с кем, нет ни души, только в воздухе раздается чей-то голос и не велит шевелиться. Андрей Иванович не пошел прямо, а стал поглядывать, нельзя ли обойтись ему без торжественного шествия по парадной лестнице!.. В стороне была дверь, тихо и скромно добрался он до нее, робко дотронулся до замка̀, и рука у него задрожа̀ла: есть такие ж минуты в жизни каждого из нас, какая была у Наполеона, когда он с острова Эльбы ступил на берег Франции: пан или пропал. Андрей Иванович отворил, и ему стало просторней на земле. Картина, которая представилась, внушала больше храбрости, чем картина сеней. Человек неизвестного звания, в неприличной одежде, с заспанными глазами, с всклокоченной головой, чистил сапоги и, несмотря на это смиренное занятие, едва удостоил взглядом своего гостя в мундирном фраке. Этот порывался вступить в обстоятельный разговор, где б одно слово вязалось за другое, мысль вытекала из мысли, тот действовал лаконически:

— Не можете ли вы доставить этот пакет его превосходительству?

— Его превосходительство на даче.

— Ведь он каждое утро изволит приезжать.

— Что ж, вы все несите туда.

— Пакеты, кажется, принимаются здесь.

— Принимаются, да не я их принимаю...

Андрей Иванович никогда б не кончил, если б не

прибег к общеупотребительному средству; он, не в пример другим, принес жертву, которая иным не в привычку; он служил давно и рисковал своей собственностью в надежде, что получит то, чего просит.

Через несколько дней велено было ему явиться к начальнику в десять часов утра..

IV

Чрезвычайно приятно дожидаться в приемной делового человека!.. Тут между новыми лицами, между жителями особенной части света вы встречаете и старых знакомых, их, кого столько раз видали и привыкли видеть на улицах, на балах, по гостиным, по ресторациям!.. тут в несколько минут вы можете исправить ложные мнения, составленные вами о людях. Один являлся везде и вечно с шумом да с криком, и вы думали про него: какой беспокойный и опасный человек! Другой оскорблял вас прыткостью лошадей, скакал мимо, как будто хотел сломить голову, и вы воображали: этому жизнь копейка! Все, что пугало вас: страшный рост, страшный чин, блеск ума, непреклонность сердца, все, которые буйствуют на гуляньях, превозносятся в гостиных, величаются перед подчиненными, тешатся над лакеями, так смело любезничают с дамами, что завидно; так крепко стоят, что, кажется, у их ног есть дубовые корни; так громко проповедуют, что уж, конечно, не уступят ни вершка из своих заветных убеждений; все эти юные головы, бешеные глаза, широкие плечи и угрюмые усы, все, кого считали вы такими ветрениками, что их может осчастливить только женская улыбка и приманить один женский взгляд; все, кого нельзя умилостивить кучами золота и совратить с пути истины никаким красноречием... Души, очищенные светом наук, и души, грязные невежеством... о, вы помиритесь с ними, вы их полюбите, вы признаете в своих ближних своих братьев, вы увидите, что они не так легкомысленны, как кажутся, не так вспыльчивы, чтоб не могли владеть собой, и не такого гранитного свойства, чтоб не растаяли на солнце. Сладко воротиться от заблуждений, исправиться от зависти и улучить в жизни минуту, когда имеешь право не свидетельствовать никому почтенья; сладко с наглых улиц, из великолепных

зал и даже с Петербургской стороны перенестись в приемную!.. какой ровный свет, какая тишина, какие открываются миротворные звуки в человеческом голосе, какая легкость движений, что за воздушная походка! Андрей Иванович давным-давно наслаждался, потому что стоял у притолоки с незапамятных времен. Это был не тот несчастный для начальников день, в который ломился к ним всякий,— и кому нечего есть, и кто сыт по горло, и кого ограбили, и кто награбил. Это было не то ужасное утро, когда мало еще, что они вытерпливают неисповедимую бессмыслицу просьб, позволяют дерзкому человечеству проявлять свой эгоизм, бормотать дрожащим языком о своих желаньях, о своем голоде и о своих прихотях; когда мало, что они находятся в необходимости отворачиваться беспрестанно то от слез, то от глупости, уничтожать просителей или взглядом или словом, но должны еще насладиться свиданьем с вежливыми и чувствительными людьми, с теми, кому нет до них другого дела, кроме сердечной потребности, духовного влеченья, кому только и нужно, что приехать, постоять, поклониться и поклоном отвести душу. А потому приемная не напоминала нисколько вавилонского столпотворения; все в ней на этот раз было просто, обыкновенно, неразнообразно; всех можно было оглядеть на просторе с ног до головы и вывесть заключения, свойственные мыслящему человеку. Андрей Иванович находился не в многочисленном обществе, а между тем стоял у притолоки так плотно, как будто испытывал давление масс. Цвет невинности и цвет греха, белый и темно-зеленый, давали приятный характер его одежде. Он прибрался по-воскресному, он пришел в гости, и платье у него было вычищено с особенной тщательностью, волосы причесаны глаже обыкновенного, а белый галстук был завязан самым уютным бантиком. Несмотря, однако ж, на такое старание сохранить во всем чистоту, приличие, меру, несмотря на уменье и скромно повязаться и развесить все свои права на гордость, нельзя было сказать, что это праздник у Андрея Ивановича. Любовь к жене, сила воли или алчность воображенья перенесла его из затишья Невы в самый разлив Петербурга,— он очутился, наконец, в сердце этого здания, мимо которого со времени своей женитьбы не мог пройти равнодушно... все домà, этот один тревожил несчастного,

на этот один косился он и заглядывался всякий раз... грозил ли ему опустошеньем, старался ль напитать впечатлениями неправды, чтоб сильнее выразить свои жалобы небу?.. робко, полупристально, болезненно озирались глаза Андрея Ивановича; с непривычки он, может быть, искал тут чего-нибудь похожего на свою уютную квартиру, какой-нибудь нити родства у начальника с подлинным, искал птицы под пару своему соловью... но все было ново, дико, неприязненно, все как-то не так, как у людей. Ни одна мысль его не могла подняться до этого высокого потолка, ни одно чувство не приходилось впору по величию этих стен и окон. Было где отдохнуть от письма, разломать свои члены, но этот простор казался ему, видно, так же приятен, как широкая степь в метелицу. Хотя почти на все предметы он осмелился взглянуть исподтишка, самым учтивым образом, однако ж одна дверь осталась неприкосновенной: на нее недостало у него духу обратить свое дерзкое любопытство. Другие, кто был в комнате, обходились с этой дверью также осторожно; все взгляды, даже и те, где более, чем у Андрея Ивановича, обнаруживалось способности к геройству, скользили только по ней, ни один не смел упереться в нее. Дверь огромная, дверь по росту великанов, которые когда-то хотели вскарабкаться на небо. Тяжело висела она на своих позолоченных петлях, блистал ее бронзовый замок. За нею было тихо, за нею молчанье гробов; она заслоняла какой-то чудный мир, откуда не приносилось ни звуков человеческого голоса, ни шороха человеческих ног.

Там тянулся беспредельный ряд комнат, там начиналось серебряное и золотое царство, где устанешь ходя, а не встретишь ни души, не отыщешь сердца, которое бы билось; там также кто-нибудь коптел над письмом или в недоступном уединении чистил ногти, погруженный в черную магию своей силы. Испуганный ужасающими размерами дома, Андрей Иванович принял решительное намерение не смотреть на эту грозную дверь, чтоб сохранить остаток мужества и присутствие ума, необходимое в таких обстоятельствах. Глаза его перестали бродить по сторонам, а, следуя самому естественному направлению, уставились прямо. Перед ними очутился не мертвый предмет, не пища для мечты, не запертая дверь, которая разгорячает воображение и расслабляет душу, а два

живых существа. Андрей Иванович стоял, они сидели, Андрей Иванович в белом галстуке, они в черных. Эти два посетителя до того погрузились в свой разговор и в самих себя, что, по-видимому, не имели ни малейшего понятия, есть ли кто еще в этой комнате и в целом доме. Им не случилось ни разу повернуть головы на труженика службы; однако ж с той минуты, как он обратил на них свою почтительную наблюдательность, небольшая перемена последовала в их особах. Они почувствовали, вероятно, присутствие жертвы, которую можно растерзать, а потому один из них важнее положил ногу на ногу, другой развалился в креслах. Тот, кто был старше, сидел чинно, его благородная осанка показывала, что он понял жизнь, заглянул на ее дно и увидал, что не из чего хлопотать. Седые волосы внушали почтение, правильные черты лица выражали бесстрастие мудрости, тело было уже так тучно, что даже не имело возможности изворачиваться в свете с тою угодительной легкостью, какая необходима искателям счастья. Он чрезвычайно медленно вертел свою табакерку и чрезвычайно степенно слушал своего собеседника. Андрей Иванович казнился, Андрей Иванович смотрел на него с ужасом; старик обращался с этой комнатой, как тот с своей квартирой; он сидел и не удивлялся, что сидит; он прирос к креслам, он того и гляди что останется в них обедать и после обеда отдыхать; мир разрушится, а старик этого не заметит, отворится дверь, а он не пошевелится. Молодой блистал летами, беспечностью неопытного сердца, белокурые волосы вились неправильно на его беззаботной голове, щеки горели румянцем; он весь был невинность, забвенье, свобода; он не знал, что есть на свете чины, ордена, деньги и безденежье; он дышал модой, его окружала атмосфера нарядных дам, блестящих балов, он раскидывался на креслах с такою изнеженностью, что, верно, нес вздор своему знакомому... а между тем бедный чиновник, по их милости, не знал, куда девать свои глаза: стены и люди внушали равное благоговение... их черные галстуки, их неприличные поступки, искажение всех обрядов, которым выучился он на службе, и которых идеал представляла его одежда... ах, это были, конечно, сами начальники... Но вдруг за дверью зазвенел колокольчик. Андрей Иванович потер рукою по волосам, чтобы бы-

ли поглаже, и вместе с тем перевел дух... он с отчаянья смотрел еще на прежнее место, но прежнее виденье исчезло, там не было ни воздушного юноши, ни разочарованного мудреца; там давным-давно никто не сидел; важные люди провалились сквозь землю, а на месте их стояли такие же Андреи Ивановичи; ноги их не двигались ни взад, ни вперед, а все шевелились, как будто имели обязанность волноваться заодно с душою, как будто спрашивали: «Куда прикажете?» Кто-то бросился в дверь, но при этом общем смятении нельзя было различить, кто именно; в таких смутных обстоятельствах легко ошибиться и принять камердинера за чиновника, а чиновника за камердинера. Тревога была фальшивая. Старик и молодой уселись опять, но уже понапрасну: Андрей Иванович отменил вытяжку; он с чувством собственного достоинства начал и сам прохаживаться на пространстве аршина; для него не было уже в этой комнате диких зверей, только в душе у него гнездилась дума, способная поглотить целое существованье человека. Все перебывали за дверью, все возвращались оттуда с явным расположением или насвистывать водевиль, или задушить своего подчиненного. Оставалась очередь за чиновником.

В комнате становилось просторней да просторней, и, наконец, она до того опустела, что если б была ночь, то он испугался б самого себя.

Долго пришлось ему томиться в пустыне приемной.

— Пожалуйте,— сказали и ему.

И для него отворилась дверь.

Андрей Иванович был не философ. Он в продолжение жизни не работал над своей душой, чтоб приучить ее к хладнокровному созерцанию человеческого величия. Он даже под старость не верил еще, что все это суета. Ему некогда было упражняться в мужестве и не у кого учиться неустрашимости. В статской службе не то что в военной, все одни перья, нет ни пуль, ни ядер, нет охотников лезть грудью вперед и хоть одному да вспрыгнуть на батарею, а потому и не настоит особенной надобности храбриться. Андрей Иванович не бился головой об стену, чтоб лично для себя, из собственного удовольствия вырвать с корнем из своей груди какое-нибудь непристойное чувство: он, по примеру других, пускал свое сердце на волю божью, это негодное сердце, которое становится шире

в присутствии четырнадцатого класса и ежится перед генералом. Следовательно, можно вообразить, в каком положении находились его руки, ноги, глаза, целый стан, целый образ божий, когда он шагнул в дверь и очутился в генеральской атмосфере. Перед ним также кабинет, также приют труда, но в другом роде. Солнце светило в огромные окна. Что-то веселое, какая-то радость оживляла угрюмую картину богатства. Не одни люди убрали этот кабинет, само небо было к нему милостивей, чем к кабинету подчиненного, и посылало для освещения гораздо больше лучей. Посередине стоял длинный стол, уложенный книгами и бумагами. Много блистало на нем подсвечников с разными выдумками в пользу драгоценного зрения, много затей для каждой прихоти и ответов на каждую мысль. Не отодвигаясь от него, не шевелясь с кресел, можно было все счесть, все смерить, все узнать, обо всем справиться, проглотить вкратце всю премудрость человека, всю подноготную важных занятий и выйти на божий свет в полном вооружении, как Минерва из головы Юпитера. Чего не поймешь, можно было велеть, чтоб поняли; чего не захочешь понять, потому что иногда длинно, велишь сделать извлечение. Всякий лист бумаги написан четко, черными чернилами; какая вещь ни попадется под руку, все это перламутр, золото, все это из Англии да из Франции, так что по чувству приличия тут неловко бы беседовать о народности. Ландкарты французские, книги французские, гравюры, литографии французские, ковер английский; с первого взгляда русского только и было, что Андрей Иванович, да и тот находился в таком не национальном расположении духа, что со страху мог легко заговорить по-иностранному. На столе стояли еще великолепные часы и портрет женщины, которая своими чертами одушевляла, вероятно, работу. Приятно в начальнике излияние чувствительности; приятно, когда над сухим и часто бесчеловечным трудом мужчины носится женский образ, не отлетает добрый ангел. Кто входил, тому нельзя было видеть портрета. Андрей Иванович сделал шаг, ступил на мягкий ковер и занял своей особой такое маленькое пространство, что, если б взглянули тут на него последователи Мальтуса, то согласились бы, что, как люди ни размножайся, им никогда не будет очень тесно. Эта робость, это смущение, это чино-

почитание, которые он внес в собою в комнату, не подавили, однако ж, в нем природного инстинкта. Что ни происходило у него на душе, а он не растерялся, он дебютировал и между тем отгадал чувством, где что находится в этой неведомой стороне, куда следует при входе обернуться, в какой угол направить глаза. Положим, что картины, бюсты, произведения искусства не могли ослепить его, положим, что он был не женщина и не мог ни на секунду заняться безделками роскоши, но какой же дух шепнул ему: не гляди ни минуты на готические кресла, стоящие перед столом, не соблазняйся ничем, что тебе представится, не ищи себе подобного на том месте, где вечно находил ты пишущих людей, а взгляни прямехонько направо, там, вдали, в глубине... он то и сделал; мысль и луч его глаза, как самая меткая пуля, отправились тотчас в цель, упали как молния на главный предмет и в одно мгновение встретились с бархатным сюртуком и человеческой спиною. Хозяин кабинета писал стоя. Присутствие нового лица не обеспокоило его. Он продолжал писать. Андрей Иванович бледнел, лицо его сливалось с белым галстуком, а тело с воздухом, потому что ни того, ни другого вовсе не было слышно. Час от часу становилось ему страшнее. Молчанье вещь ужасная. Мы б перестали бояться зверей, если б они хоть немножко разговаривали.

Вдруг из-за спины послышалось:

— Что вам угодно от меня?

Хотя Андрей Иванович не принадлежал к числу тех, которые смиренно отказываются от всякой деятельности и, вопреки своему призванью, погребают себя в праздности и ничтожестве, только бы не пришлось им беседовать с чьей-нибудь спиною, однако ж этот спинной вопрос смешал и его.

— Ваше превосходительство,— проговорил он бог знает уже каким голосом и запнулся. Опять последовало молчанье. Начальник положил перо и оборотился. Это был мужчина среднего роста, лет сорока, с привлекательной осанкой, с благородным выражением в лице. Его черты, нега его движений показывали человека, мастерски воспитанного, высокообразованного, человека, принадлежащего большому дому, отборному обществу, мировым идеям. Он был так изящен, что, верно, не видывал в глаза ни одного мужика, и если при самом начале оказал неважному чело-

веку маленькую неучтивость, то это была не его вина: занятия, власть, привычка обстоятельства, да и сами подчиненные... Он пошел к столу, приятно разгоряченный своей работой, пошел важно, небрежно, в забытьи, а Андрей Иванович в это время твердил у дверей урок той мучительной ночи, когда клал за пазуху кончики пальцев и вытягивался, как солдат; Андрей Иванович превратился в магнитную стрелку и тихо, неприметно, не двигаясь с места, все вертелся к своему дорогому северу по пословице: где мило — там глаза, но напрасно. Он не мог добиться, чтоб заметили его. Природа назло ему сотворила его добродетельным, дала силы помогать многим, когда они ничего не делают, и не дала средств мешать им, когда они заняты. Хозяин кабинета прохаживался, нюхал табак, смотрел в потолок, то мерил глазами своего гостя, то наблюдал его лоб, то гляделся в его пуговицу, словом, был чрезвычайно милостив, только молчал.

Андрей Иванович, конечно, догадывался, что такой скромности требуют дела службы, не терпящие отлагательства.

— Да что ж вы молчите? — спросил начальник с живостью, которая показывала, что он вспомнил свою обязанность и почувствовал, наконец, надобность выгнать Андрея Ивановича.

— Ваше превосходительство,— проговорил этот во второй раз и впал в уныние. Приятно быть причиной такого страха, приятно стоять перед тем, у кого от вас не ворочается язык. Важные мысли, бремя занятий, гордость сана слетели с лица начальника; он облокотился о стол и как-то разнежился; тело его сделалось гибче, глаза добрее, он быстро перешел от совершенного пренебрежения к ласковому вниманью и вежливо обратился к Андрею Ивановичу, как будто сжалился над ним или узнал в нем старого знакомого, за которого мучает совесть.

— Да таким образом я никогда не добьюсь, зачем вы просили меня видеть; я занят, вы, пожалуйста, не держите ж меня, скажите.

— Ваше превосходительство, я служил...

— Что ж, разве вы не довольны службой? — Начальник сел, повалился на спинку готических кресел, вывернул ладони и, зевая от усталости, вытянулся.

— Помилуйте, ваше превосходительство, как можно быть недовольным?.. я хотел доложить, что служу почти тридцать лет...

— Ну хорошо, что ж далее?

По мере того как начальник становился добрее, терпеливее и вникал в нужды своего подчиненного, по мере того этот делался развязней. Руки у него начинали при ином слове отделяться от стана, в глазах замечалась дерзость, ноги выходили из границ.

— Ваше превосходительство, я по мере сил трудился и тружусь; я довольствовался куском хлеба, другие получали, может быть, за службу более, но я думал: бог с ним, только б быть сыту да по мере возможности быть полезну, а там что бог даст.

Такой нравственный образ воззрения на вещи поставил начальника в положение известного Отелло, когда этот спрашивал у своего друга: к чему клонится речь сия? душа его, видимо, начинала возвращаться в то первобытное состояние, в котором поворачивала спину, но Андрей Иванович уже подрумянился.

— Ваше превосходительство,— сказал он с небольшим напором голоса, и этот титул был уже не просто учтивость или подобострастие, а риторическая фигура повторения, чтоб усилить речь.— Я на службе дожил до седых волос, имел счастие получить эти знаки отличия, первый приходил в отделение, последний уходил, дома не имел времени пропустить в горло куска хлеба, не знал ночей, все умирал над делом и не жаловался, да и на меня никто не пожалуется; теперь же пришлось высказать правду, неволя говорит, ваше превосходительство.

— Да что ж она говорит? — вскрикнул начальник полусердито; но чиновник пришел уже в такое нервное состояние, что не мог оробеть. Как лошадь, которая закусила удила, как трус, которого вывели из терпения, он сам вскрикнул в том же тоне:

— Ваше превосходительство, вы меня обидели, чувствительно обидели.

Начальник встал, смерил глазами с ног до головы и взглянул пристально ему в лицо, как будто хотел дознаться, кто перед ним,— великий человек или безумный. Дерзкое обвинение, едкие слова правды или наглость лжи изумили его, он потерялся и, точно не зная, что́ делает, с кем говорит, спросил тихо, рассеянно:

— Чем?

Андрей Иванович улыбнулся и горько и зло.

— Гм!.. чем? вы не знаете?.. У нашего брата в жизни какая цель? было бы, как придешь домой, где отогреться, угол, где прилечь, да было с кем перемолвить слово, разделить пополам горе и бедность, ваше превосходительство, грех не пощадить седых волос, отнять у нищего рубашку; у вас столько денег, что, если их разделить по нашей братьи чиновникам, так каждому придется вдоволь; в этой одной комнате столько сокровищ, что тысяча таких, как я, завтра б... вам мало!.. да, боже мой, возьмите себе все, деньги, почести, я одной милости прошу, я прошу немногого, оставьте мне под старость мою милую жену.

Слезы брызнули из глаз Андрея Ивановича. Слезы трогают, слезы льстят, слезы уверяют вас, что вы богатырь, а что другой ребенок; слезы сильное оружие, оттого-то с женщинами и не должно сражаться.

Андрей Иванович воспользовался своим расположением к чувствительности.

— Ты сумасшедший,— сказал начальник довольно умеренно.

— Нет, ваше превосходительство, я в полном уме, но есть отчего сойти!.. в чем моя вина? что у меня жена молода, что у меня жена красавица! я все знаю, она бредит вами... вы б вечером, когда ложитесь в постель покойны, счастливы, богаты, в чинах, вы б спросили, чтó он делает, чтó делает бедный человек, у которого, если вы захотите, не будет завтра ни постели, ни куска хлеба!.. Бывают такие тихие ночи, что, кажется, нет никого на земле, кто б не спал приятно, а мне приходится бежать из дома, кинуться в Неву или разбить голову о какой-нибудь памятник; а я ворочаюсь, не знаю, на какой бок лечь, а я слушаю, как она во сне повторяет беспрестанно имя вашего превосходительства.

— Да что ты? откуда ты? с чего ты взял? — вскрикнул начальник. У него в голосе слышались уже отзывы той бури, которая копилась в душе. Он невинен, сказал бы один; он изучил дела и знает, что ни в каком случае не должно признаваться, сказал бы другой.

Недоуменье, непонятливость, любопытство,— все эти отрицательные чувства, под которые легко подделаться, изобразились и перепутались в его чертах. Он

стоял в странном оцепенении, он, может быть, хотел лучше показаться смешным, прикинуться глупым и с удивительной наблюдательностью глядел в глаза Андрею Ивановичу, не мутны ли они? Но эти глаза сделались живее, чище, но это круглое, мирное лицо воспламенилось. Оно также запылало благородством, схороненным на дне каждой души.

— Ваше превосходительство,— начал опять оскорбленный муж несколько плаксивым голосом, который разрушал отчасти очарование его воспламененного лица.— На кого вы напали? Чем мне от вас защититься? Какая безумная предпочтет меня вам? да и поделом мне.— Андрей Иванович рванул себя за волосы.— Тебе бы писать да писать, тебе бы коптеть над делом, тебе бы околеть над проклятыми бумагами, а то вот еще что вздумал!.. жениться!.. Вот тебе молодая жена, вот тебе жена-красавица! — Клок волос остался у него в руке.

Начальник вложил пальцы одни в другие, прижал их легонько к груди, наклонил голову немного вперед, посмотрел на чиновника молча, потом тихо, преспокойно, в совершенном отчаянье спросил:

— Какая жена? что ты за человек? шутка это, что ли? Научил тебя кто или сам ты выдумал? ради бога, скажи, покуда я не потерял терпенья и не отправил тебя в желтый дом.

— Ваше превосходительство, не стращайте; я знал, на что шел, жить или умереть — мне все равно: она бредит вашим превосходительством, не запирайтесь.

— Вон! — закричал начальник полным голосом, кинулся к Андрею Ивановичу и за один шаг от него едва мог удержать себя. Человек светский, не столько чувствительный к обидному выражению, он выносил разного рода неучтивые обвинения в дурном поступке, но не в силах был вынести грубого слова. Он посягнул на единственное утешение темного труженика, отнял у него последнее счастье, он внес раздор в бедный дом, в беззащитную семью, это бы ничего, от таких упреков не страдает гордость, напротив... но едва с неловкого языка сорвалось: «Не запирайтесь», как вся кровь бросилась ему в лицо и залп его бешенства мигом обратил Андрея Ивановича в первобытное состояние. Бездна, которую этот наполнил было глубоким человеческим чувством, опять раскрылась пе-

ред ними, опять длинный ряд чинов раздвинул их на неимоверное расстояние. Андрей Иванович прибрал свои руки и ноги, потушил жар своей души и, как Сильфида, скользнул в дверь, но, повернувшись, улыбнулся про себя так двусмысленно, так зло, так надменно и самоуверенно, как будто надеялся поступить на вакансию какого-нибудь дьявола.

— Вон! — кричал ему вслед начальник, недовольный, видно, его расторопностью.

Дверь затворилась. Гость отправился. Хозяин кабинета остался один, и остался на том же месте, держал себя за голову, смотрел туда, где явился и исчез перед ним призрак чиновника. Утомленный продолжительным терпеньем, он, наконец, вышел из себя, дал себе волю, закинул руки за спину и бросился ходить по комнате, чтоб, вероятно, быстротой движенья успокоить взволнованную душу, излить наружу свое справедливое негодованье и свой всемогущий гнев. Щеки его были необыкновенно красны, глаза сверкали. Первые шаги показывали совершенную решимость не разбирать правого с виноватым, не рассуждать, не вникать в дело, а сердиться. Это был или благородный порыв против клеветы, или порыв нетерпимости против благородства. Всякое чувствительное сердце испугалось бы за Андрея Ивановича. Но нет такого положения, нет, слава богу, такой грозы на земле, чтоб вовсе не видно было света, чтоб где-нибудь не прокрался тонкий луч надежды. Неистово ходил хозяин кабинета, а между тем вместо впечатления ужаса походка его, страшно сказать, имела в себе что-то смешное. Быстро шагал он и вдруг так же быстро, перед стулом, особенно перед дверьми, задумывался, покачивал головой, протягивал руки вперед, пожимал плечами... В одну из этих немых сцен он не утерпел, не смог больше размышлять молча, жесты увлекли его язык, мысль вырвалась из души, и он проговорил громко: «Жена-красавица!..» — но эти слова еще пуще осердили его, он еще скорей отбежал от дверей. Такая скорость была, однако ж, не в его характере, не в духе его воспитанья, не в нравах общества, к которому он принадлежал. А потому, когда в другом углу комнаты раздалось опять: «Жена-красавица!..» — ноги его начинали уже нежнее прикасаться к английскому ковру. Предвидел ли Андрей Иванович этот переход от движений самых неправильных в самую

изящную природу? Знал ли он заранее, что глава его не может долго бегать по кабинету, как какой-нибудь неблаговоспитанный неуч? Изучил ли он до того человеческое сердце, что нашел людей добрее, чем их представляют, и понял глубокий смысл пословицы: где гнев, там и милость?

В комнате стало весело по-прежнему, не было ни лица, ни чувства в раздоре с прекрасными лучами солнца; никто не роптал на судьбу, не плакался на людей, не надоедал несчастием, никто несносными жалобами не отравлял благоуханного воздуха роскоши. Начальник ходил еще, только руки его были уже в боковых карманах бархатного сюртука. Голова наклонилась на одно плечо, глаза поднялись вверх; какие-то мечты носились над ним под потолком, в какую-то прекрасную будущность он погружал свои взгляды... душа его строила воздушные за́мки и полусонно, смело, с явной наглостью любовалась чудными сокровищами, которые ей грезились, как любуются те, у кого есть довольно власти, чтоб завладеть ими, или довольно денег, чтоб их купить. Но вдруг он схватился за колокольчик и позвонил. Человеку положительному, человеку, искушенному опытом жизни, вздумалось, конечно, поверить мир мечты миром действительным, захотелось образумить себя и узнать, сохранит ли он в соприкосновении с существенностью здравое понятие о том, что слышал и чем забавлялось уже его избалованное воображение!

Вошел кто-то вроде Андрея Ивановича.

— Он давно служит? — спросил начальник. Вопрос не имел надлежащей ясности, но иному дается привилегия быть темным; иной какими иероглифами ни пишет, на каком коптском языке ни пробормочет несколько звуков, а найдется ужас сколько таких, что все поймут. Поэтому за вопросом последовал как молния и ответ:

— Давно, ваше превосходительство.

— У него большая семья, много детей, он вдов? — продолжал спрашивать хитрый начальник и продолжал скоро, строго, угрюмо, с пренебрежением. Этот образ спрашивания, эта суровость необходимы при разговоре о большом количестве детей и вообще в делах, требующих приличного сострадания и чувствительности. Хозяин кабинета имел вид, что принимает во вдовце, обремененном многочисленным семейством,

такое сердечное участие, что даже сердится на свою слабость. Тот, кого так безжалостно закидал он вопросами, кто должен был знать всю подноготную каждого предмета, который подвернется на глаза его превосходительству, смешался. Да как и не смешаться, когда в первый раз отроду придется противоречить? Понизив голос и в недоуменье, так ли понял, о том ли говорит, не смея ничего утверждать и не смея, однако ж, отрицать вполне целый вопрос, он возразил сомнительно только на один его пункт.

— У него нет-с детей.

— Как нет? — сказал начальник помягче.— Я спрашиваю вот о том, что сейчас вышел.

— Он женат на первой, и не очень давно, ваше превосходительство.

— Не очень давно?.. да уж ему... да он мне показался в таких летах...— Начальник улыбнулся и замялся, как будто не хотел уязвить слабого своей могучей эпиграммой.

Подчиненный потупил глаза в землю, скромность запрещала ему выказать, как весело было у него на сердце от такого милостивого разговора, однако ж он принял на себя дерзость усмехнуться.

— Да еще какую выбрал, ваше превосходительство! красавица, и такая молоденькая!..

Начальник опять надулся.

— Там никого еще нет?

— Никого-с.

— Хорошо.

Один ушел, другой кинулся в сторону, наткнулся на великолепную гравюру пиршество Балтазара и начал беспрестанно нюхать перед нею табак, начал разглядывать ее с полным, по-видимому, уваженьем к созданью живописца и к отличной работе гравера.

Этот огромный, бесконечный дворец, эти огненные, непостижимые слова, написанные неведомыми пальцами, этот блеск, от которого потускнели тысячи светильников и курильниц, царь и его наложницы, сосуды, похищенные из Иерусалима и наполненные вином разврата, мелкая толпа, раздавленная ужасом, миллион лиц, где виднеется только одно лицо пророка... Владелец картины вникал во все подробности и, закинув руки опять за спину, ближе да ближе нагибаясь к картине, проговорил сквозь зубы, но с особенным благозвучием в голосе:

— Бредит мной!

V

Неприятно жить за Москвой-рекой, да и на Петербургской стороне не лучше! Там вы точно исключены из списка живых; а как вскроется Нева, то и сидите без дела, кусайте пальцы, посматривая на Северную Пальмиру! Уж если бог привел быть жителем столицы, то, по-моему, надо терзаться в самом центре ее и, хоть по треску мостовых, ежеминутно чувствовать важные преимущества своего положения. Невский проспект, Тверская, вот около чего, вот где следует селиться... Правда, меня самого берет ужас, как я вспомню, сколько раз проехал я по Тверской! Неприятно, говорю, это отступничество от божьего мира, это умничанье столичных отшельников, эгоистов в полном значении слова; еще неприятнее иметь кабинет у жены под носом! Андрей Иванович сообразил все эти неудобства и переехал. Кабинет себе устроил он уже не возле спальни и так далеко, что мог безмятежно предаваться своим трудолюбивым занятиям. Ничто женское не мешало ему, никакое нежное сердце не в силах было действовать пагубно на таком благородном расстоянье. Он переехал; но не все перевез с собой. Много явилось нового, многого не оказалось. Посещение, сделанное им, имело влияние на его вкус и на меблированье дома. И он поставил на свой письменный стол бронзовые часы, и у него на стенах висели парижские картинки. Чувство народности пострадало жестоко в этом переезде. Журналов валялось больше, повестей ни одной. Андрей Иванович взялся за ум и перестал читать. Какая-то привязанность к вещественности, ко всему искусственному, какое-то забвение удовольствий, предлагаемых матерью природой, открылось в нем. Соловья не было. Бог знает куда он девался. Труженик, который часто, бывало, отдыхал за его пеньем, не вспомнил о нем в суматохе перевозки, а может быть, чего доброго, счел неприличным принять старого друга, повесить клетку с птицей в таких комнатах, где находились бронзовые часы и где каждое кресло работал немец.

Было семь часов утра, чиновник по старой привычке сидел уже; но сидел перед зеркалом, не в халате, а в полном облачении, в белом галстуке, только без фрака, и завязывал на шее ленту, на которой висел аннинский крест. По медленности, с какою делалось это де-

ло, можно было заметить, что он никуда не едет, а так, просто, прохлаждается для препровождения времени.

Прошел час, прошло два. Андрей Иванович то наклонит зеркало, то сам наклонится к нему, то отшатнется и взглянет на него свысока, а все сидит, все смотрится. Есть такие предметы, в которых беспрестанно открываешь новые стороны; такие источники, которых никак не вычерпаешь досуха. Вместо того чтоб отправляться на службу, он начал принимать гостей.

— Ну, что поделываешь? — сказал, повернувшись проворно всей Анной к какому-то посетителю, у кого на лице и в ухватках было видно, что он живет еще на Петербургской стороне и еще пишет.

— Да ничего-с, пришел поздравить вас. Вы, кажется, изволите ехать. Карета подана.

— Нет, братец, это жена; ужасная охотница выезжать. Видел лошадок?

— Видел-с. Чудесные лошади.

— Зато, братец, и дорого стоят.

— Да помилуйте, что ж в свое удовольствие и не заплатить денег за вещь, которая нравится! — заметил гость со вздохом.

Андрей Иванович ударил его по плечу.

— Правда, правда, братец, был бы ум — деньги будут.

Кое-кто явились еще с какими-то поздравленьями, а между тем человек, лакей или камердинер, подал билет на ложу в театре.

Андрей Иванович прикрикнул:

— Ну, что ты несешь ко мне! Отдай на половину к Марье Ивановне.



МИЛЛИОН

I

Незадолго до святой, в два часа пополудни, великолепная четвероместная коляска примчалась к подъезду Тверского бульвара с великим неистовством. Трудно выразить ярость крошечного форейтора, когда какой-то ковчег, плавающий по Москве под именем кареты, и какие-то несчастные дрожки помешали надменной быстроте экипажа. Мальчишка рвался подъехать поскорей, кричал, суетился, давил со всею наглостью человека, который, подвозя другого, думает, что подъезжает сам, но кроме его господ, нашлись в божьем мире еще иные господа. Чем сильнее шумел он, тем медленней отодвигались дрожки и карета, тем ленивее и грубей оглядывались их кучера, потому что приятно обдать холодом чей бы то ни было энтузиазм и в сером армяке заслонить дорогу вишневому кафтану. Между тем как форейтор мучился от наслаждения быть частицею роскошной коляски, его нарядные барыни таили на душе то же самое чувство, ту же пружину наших действий, то же честолюбие, без которого никого не бывало б на гуляньях, кроме разве добрых людей, осужденных беспрестанно прогуливаться по земному шару. Но всякий честолюбив по-своему. Слуга плясал на лошади, его торжественные повелительницы сидели неподвижно; он смотрел за несколько шагов вперед, они успели уже взглянуть во всю длину бульвара, успели уже спросить у этого пространства, освещенного солнцем, обсаженного деревьями, усыпанного песком и наполненного какими-то лицами, шляпками, цветами, зонтиками, палками: «Много ли вас тут, или тут ли он?..»

Некоторые дамы, дойдя до конца бульвара, бросили два, три взгляда, быстро повернулись и пошли скорее прежнего. Несколько молодых людей приостановились, картина стоила вниманья. Чрезвычайно богатая упряжь, аксельбант огромнейшего из лакеев, модные плащи, чудные вуали, словом, вся огромная масса экипажа и все его подробности производили на душу необыкновенно сильное действие, особенно потому, что свежий ветер весны и ее теплое солнце удивительно располагают нас к поэтическим думам любви и зависти. Это принеслось и остановилось что-то целое, полное, оконченное, и важное, и прелестное. Тут все вообще, все взятое вместе: лошадь, человек и изделие рук человеческих было так хорошо, что когда начали выходить из коляски, то мне стало жаль ее.

Оставим же тех, кому в пылу ветреной молодости, ежели есть еще молодость ветреная, хотелось только заглянуть проворней под милую шляпку, проникнуть сквозь волшебную сеть вуалей,— причтем лучше себя к числу мудрецов, которые при громе восхитительного экипажа, при блеске рассыпанного золота задают хладнокровный и единственный вопрос: что это? кровопусканье семидесятилетнему старику или игрушка здоровеющего ребенка? последняя вспышка лампады, богатство умирающее или богатство новорожденное? в обоих случаях коляски одинаковы, в обоих случаях вы затруднены, поставлены между двух крайностей, вы терзаетесь между жизнью и смертью, а вам должно непременно знать, кто умрет завтра и кто родился вчера, должно решить, из чего сделан экипаж, из капитала, в долг или из доходов. Конечно, есть эти гербы, эти ливреи, пораженные общим мнением, на них мы смотрим спокойно, голова наша отдыхает, ум не сомневается, никакой фасон, никакая вороная лошадь, никакой рост лакея не соблазнят уже нашей разочарованной души; им наши глаза, не им наше сердце... но есть случай... коляска подъезжает к бульвару, и вы задумались. Что-то незнакомое, что-то новое, невиданное, а между тем все так богато, а между тем там мелькают живые взгляды, горит девичий румянец. Часто изумительный экипаж падает вдруг в самую середину столицы, без приготовлений, без предисловий, без передовой молвы, без одного звука о тех, кого назначен он возить... да, есть случай... вас зовут на бал, вы входите в дом, встречаетесь с отборным обществом, или,

лучше, с обществом набранным, все перед вами в широких размерах, все велико, щедро, расточительно, длинные стерляди, тонкое вино... прекрасно, да этот дом, когда он вырос на московской почве? этот хозяин с дочерьми, откуда взялся он? эти жирные стерляди, где они наловлены?

Мы спрашиваем и, однако ж, невольно веруем, имеем причину веровать во все, что внезапно, ново, молодо, что скрывалось в глуши России, копилось в тишине степей, что приехало не из Петербурга, что состарилось не в Москве. Худо, если славный экипаж принадлежит славному имени, то есть имени изношенному; еще хуже, если это имя попадется зачем-то в какой-нибудь строке нашей истории. Чем долее кто жил, тем более имел времени прожить.

Лакей откинул подножку.

Одна дама и ее три дочери сошли на бульвар. Хотя все они были одеты с этой утонченной изысканностью, которая за порогом уборной превращается в изящную простоту; с этим трудом, который исчезает под совершенством искусства, хотя, по-видимому, каждой из них досталось на туалет поровну и материнской любви и отцовских денег; однако ж можно было угадать, кем родители занимались особенно в глубине своего сердца, на ком основаны их лучшие, блестящие, нежные расчеты; кого первую надеялись они, а потому и хотели выдать замуж. Чем больше дочерей, тем виднее эта одна, эта главная, этот якорь и знамя семьи. Не говорю уже дома, в гостиных... но на чистом воздухе, на бульваре... и тут княжна Софья отделялась от сестер, чем? бог знает!.. взглядом, походкой, движеньем лорнета, складкой платья,— отделялась, как тот, кто пущен действовать, кто носит в груди призванье на подвиг, как тот, кто говорит,— от того, кто слушает, как отделяется авангард от резервного корпуса.

На нее взглянула мать, ступая на бульвар, и она, предпочтительно перед сестрами, пошла с краю. Все, что выходит из пределов обыкновенности в каком бы то ни было роде, очень заметно, очень ярко у нас, во-первых, потому, что в Москве просторно, во-вторых, потому, что мы в обществе, как и на небе, не каждый же день видим нарушение установленного порядка. Вот отчего княжна Софья,— я не сочиняю ее, хотя мне приятнее бы сочинить,— вот отчего всегда и везде привлекала она вниманье, вниманье несколько и

обидное, неудовлетворительное для дельных, основательных видов, но чрезвычайно лестное для тщеславия. Ее прекрасный рост пришелся по двум векам, мирил два поколения: она была не до того уже высока, чтоб нынешний мужчина не осмелился поднять глаз на нее, побоялся бы вздумать о ней во время вальса,— и не до того мала, чтоб достойный потомок екатерининских времен не мог славно пройтись с ней мазурку. Рост, отмеченный, если хотите, пошлостью умеренности, рост средний, в нем не проявились страсти природы, ни ее скупость, ни ее расточительность, да, он нравился... Душа, утомленная линиями, вытянутыми в беспредельность или, по большей части, рано переломленными, отдыхала на этих классических размерах, на этом правильном существе, которое не слишком рвалось от нас к небу и не пропадало на земле. Я, конечно, не сказал бы здесь ни слова о туалете княжны, я пренебрег бы тело и предпочел бы дух материи, если б повествователь не имел обязанности быть женщиной, то есть привязываться без милосердия к мелочам. Он живет ими, от него требуют подробностей, а подробности ее царство; взгляд ее, взгляд мгновенный, взгляд-молния, в то время, как видит слезу, не просмотрит ни одной ленточки. Пересказывая верно и тонко длинную цепь несчастий, она скажет непременно, во что несчастная была одета. Поэтому не должно показаться странным, если я поступлю, как водится, самым обыкновенным образом и также скажу, что княжна была в шелковом платье каштанового цвета, на левой руке у нее висела пунцовая шаль, ветка лиловой сирени, первинка весны, украшала ее бастовую шляпку. Она откинула свой блондовый вуаль, и лицо ее явилось на удивление и соблазн. Поразительная белизна, румянец во всю щеку и голубые глаза — вот чем отличалась прекрасная россиянка, бодрая дочь Севера, не опаленная южным солнцем и не разнеженная до хилости мечтательной чувствительностью Германии. Эта бодрость, эта свежесть зимы отражалась и в ее походке: вы ни за что не заметили б у нее колебаний утомленного стана, томных падений головы, этих уклонений от прямой линии, позволенных гуляющей женщине и запрещенных марширующему солдату, ни одного признака привилегированной слабости, по милости которой мужчины у нас только и делают, что подают кресла прекрасному полу, когда он стоит,

и поддерживают его руку, когда идет. Ноги княжны ступали верно, но, казалось, им не нужно было опираться крепко, казалось, в ней столько легкости, что она могла держаться на воздухе, и столько силы, что малейшее прикосновение к земле было для нее достаточной опорой. Глаза ее не сияли томностью, не обладали этим врожденным свойством голубого цвета, которое можно приобресть, смотря целый век на один и тот же предмет, они еще не сосредоточились, были развлечены, они надеялись еще на все и на всех, а потому в отсутствие будущего героя этой повести глядели во все стороны. Я не умолчу даже и об одном недостатке княжны, если, впрочем, это недостаток. Так по крайней мере говорят иностранцы и, основываясь на нем, отказывают коренным русским в европейском окладе лица. Дело идет об выпуклостях над щеками, о развитии скуловых костей, что у княжны было довольно заметно и показывало примесь монгольской крови, чем, однако ж, не портилось нисколько ее славянское благородство. Эти выпуклости давали ее чертам выражение проницательности, остроты, но часто и хитрости, особенно, когда она взглядывала вбок; косвенный взгляд ее обнаруживал много европейского ума, много образованного смысла, между тем в нем было что-то восточное! Величина ее глаз, форма, цвет, все принадлежало племени, населяющему Европу, только они, судя по наружности, не за тем смотрели, чтоб смело выказывать свою душу, а скорее, чтобы заглядывать в вашу. Как секира легионов Юлия Цезаря превратилась в алебарду буточника, греческие вазы — в наши кувшины, консул древнего Рима — в торговых консулов, так, наоборот, у княжны глаза ее рода, переработанные поколениями, потеряли свой наследственный характер, преобразовались в нечто лучшее, из маленьких сделались большими, от дикости дошли до просвещения, от коварства до тонкости; глаза приятные, глаза благородные, глаза мыслящие, но несколько углубленные, но иногда вылетала из них электрическая искра, передаваемая самым первым предком своему последнему потомку, виднелась Азия, мелькали народы, которые сорвались некогда с ее цепей, кто-то из-за куста наводил стрелу, кто-то с арканом в руке выглядывал на табун лошадей. Появленье княгини с дочерьми произвело на многих приметное действие и оживило несколько мертвых лиц. Если во-

обще трудно встречаться с знакомыми оттого, что должно что-нибудь сказать и что-нибудь услышать, то еще труднее найти занятие на бульваре: деятельность процветает у нас только на Ильинке да в Английском клубе, а потому надо видеть, с каким нетерпеньем молодые люди и пожилые холостяки добивались чести пройтись возле княжны. Каждый по очереди, и тот, кто ждал еще приключения, и тот, кто был отпет на лаврах приключений давно прошедших, торопились блеснуть на этом посту, как будто тут было больше опасностей и, следовательно, больше славы. Картина светского рассеяния, невинная прогулка, безгрешные забавы утра и вместе единственная работа тех, кому нечего делать!.. Приятно наблюдать тихие удовольствия праздности, приятно видеть, когда в Москве гуляют, двигаются, всего же приятней было для глаз, что скука исчезла тотчас с каждого лица, которому удавалось тут выставить себя напоказ рядом с лицом княжны. Но кто принял бы в ней искреннее участие, но кто со стороны полюбил бы душою, бескорыстно, ее молодость, красоту, ее шляпку и шаль; кто вздумал бы перевесть слова, движенья, взгляды ее усердных спутников на их мысли; что-то горькое примешалось бы к впечатлению ее торжества. Больно, если никто не замечает вас, еще больнее часто, если замечают все. Она ходила в полном блеске бульварной славы, беспрестанно кто-нибудь возле нее, кто с Кавказа, из Петербурга, из Франции, из Англии, кто из Москвы. Как мы ни бедны народонаселением, однако ж и у нас бывает иногда столкновение разных частей света. Европейцы и москвичи, путешественники и домоседы, и тот, кто уже съездил, и тот, кто еще едет, словом, всякий считал обязанностью подойти к княжне, всякий при ней становился виднее, только никто не подходил с этой робостью, которая ручается, что вместе с ногами приближается к вам и душа, никто не остался в тени, не спрятался за других, чтобы скромно взглянуть на нее издали, тихонько обернуться; чтоб укрыть от толпы чистоту своих мыслей о ней и не выбросить на площадь святыню своего чувства. Напротив, все до одного, завидев ее, ускоряли шаги, небрежно бросали знакомых и дерзко подвертывались к ней; потом происходила сцена, зависящая от мнения, какое каждый имел о себе, и от роли, для которой послан он провидением. Один закидывал немного го-

лову, играл тростью, чертил песок и, ни разу не обернувшись к княжне, казалось, только и говорил ей: «Этот галстук купил я в Лондоне, эту палку в Париже, меня уж вы не удивите, то ли я видел!..» Приезжий из Петербурга был вежливее, внимательнее, он приятно наклонял к ней свой стан, ни на кого не смотрел, кроме нее; он просил спасти его, он заехал в провинцию, никого не знает, его знакомые, друзья, родные, буря его деятельности, светскости и славы там, на великолепных берегах Невы. Смиренные жители первопрестольного града обращались к ней больше с музыкой (ох, эта музыка! от этой музыки житья нет!), упоминали о парке, но были между ними и такие, которые удачно подделывались под парижанина и притворялись петербуржцами: то смотрели беспечно бог знает куда, то искали спасения от одиночества, страдали модным несчастием быть выше толпы, скитались сиротой на московском бульваре; иные ходили возле княжны с таким выражением на лице, как будто голове их не было покою от европейских мыслей, как будто Дон-Карлос и доктринеры не давали им спать, как будто она была не живое существо, не женщина с прекрасными глазами, а только орудие судьбы, назначенное для преобразования и перерождения обществ.

Мать и сестры не мешали ни ей, ни им, не путались в их разговоры, не позволяли себе повернуть головы, поглядеть, что делается возле; княгиня равнодушно отдавала свою дочь на жертву всем взглядам, всем словам, так, что милая княжна была совершенно покинута родными, но зато вы побились бы об заклад, что она не просидит на бале ни одного танца, что блестящего бала без нее быть не может, что на бульваре не останется ни минуты одна, то есть в женской компании, что в гостиной, в зале, везде, где есть толпы, люди, мужчины, нельзя миновать ее, везде она была необходимостью, властью, законом. Свет дал ей узнать, как приятно быть первой, дал отведать блаженство неравенства, между тем когда около нее умолкал его шум, гасли огни, расходились поклонники, напрасно глаза ее искали в сумраках ночи какого-нибудь утешительного призрака, напрасно воображение ее гонялось за грезами; ей нечего было вспомнить, не на что понадеяться... предпочтение, известность, почести, слава исчезали без следов, ничья тень не

врывалась в ее комнату, ничей взгляд не преследовал ее, ни в чьем взгляде не видала она ни разу нежной думы о счастии или злого умысла на состоянье, ни любви, ни корысти, ничего дельного, ни одной степенной мысли; ни одной из этих верных цепей, которыми так крепко приковывается мужчина к женщине. Тут-то давала она себе клятвы отказаться от света, произносила отречение от мира и сердилась, что в бальной зале нет угла, где б можно просидеть в таких же потемках и в таком уединении, как в своей спальне. Магазин, портной, новая прическа, новый покрой платья, игрушка, которую примчал и умчит тот же вихорь моды,— вот в какой разряд понятий поставило ее общество. Святы были ее причуды, уловлен каждый взгляд, понято малейшее движенье, но для того только, чтоб тешить ее, как ребенка, и унижать человека до вещи. Она играла в судьбе мужчин почти ту же роль, какую играет окно в судьбе картины. Кому нужно было осветить хорошенько парижскую палку, лондонский галстук или морщину на лбу, приписанную самолюбием не летам, а глубокомыслию, тот непременно торопился к ней. Она существовала в пользу других, это было солнце, у которого из миллионов лучей ни один не падал на него самого, а все на какие-то планеты. Ему позволяли сиять и не завидовали и не соперничествовали. Княжна видела, что с иными обращались иначе, что перед прочими, ей, кажется, подобными, не смели рассыпаться так явно; их следили издали, к ним подходили украдкой, с ними разговаривали мимоходом; их каждый стерег от каждого, их не выдергивали из толпы напоказ толпе, зато эти скромные отшельницы, эти тихие гостьи шумного света, озаренного ее блеском, являлись вдруг, неожиданно у цели жизни, с добычей, необходимой для женщины, являлись, опираясь на руку мужа. О, в такие минуты она, может быть, чувствовала, чтó есть ужасного в известности, нестерпимого в славе; может быть, сердце ее было пронзено той же мыслью или, лучше, похожей на ту, какая мучила Отелло, когда он жалел, что не умер ничтожным в глуши своей Африки. Со всех сторон доходил до нее голос правды, весь ход общества терзал ее истиной, все происшествия дня толковали ей значенье мира, все лица говорили ей: «Ваш ум обольстителен, ваша веселость оживляет нашу мертвую природу, ваши глаза возбуж-

дают наше воображение; мы благоговеем перед вами, мы с четырех сторон света приносим к ногам вашим дань удивленья; вечера у вас прелестны, дом убран великолепно, экипажи бесподобны, туалет очарователен, родство как нельзя лучше; знаем, что в приданом у вас будет все: батист, кружева, блонды; знаем всю важность и величие связей ваших, но что делать? удовольствуйтесь, пожалуйста, нашими восклицаниями, не требуйте от нас руки и сердца, оставьте это существам более темным, менее милым и прекрасным, у которых нет братьев и домов, а есть души или деньги.

Было три часа. Княгиня начинала взглядывать пристальней в лицо каждому, кто подходит к ее княжне, потом на секунду потупляла глаза в землю, потом с сосредоточенным любопытством продолжала смотреть вдаль, как будто она не только в гостиных, но и на бульваре искала избавителя для своей дочери.

— Он на ней женится,— сказала одна, отвертываясь от какого-то мужчины в серой шляпе, который с боковой аллеи старался пробраться на среднюю.

Слова эти относились к молодому человеку, прекрасно одетому. Он, казалось, обрадовался случаю и пустился в прославление своего пола.

— Можно ли,— говорил,— после этого обвинять нас в жадности к деньгам? сколько богачей женятся на бедных! — Тема эта послужила ему средством к дальнейшим выводам, их заключил он довольно жаркими увереньями, что нет ничего усладительнее для глаз и благодетельней для сердца, как союзы богатства с бедностью, как великодушное забвение земных расчетов, с каким бросают иногда свое золото к чужим ногам. Он даже довольно тонко дал почувствовать, что женщины менее способны к таким высоким подвигам, но хладнокровная дама не стала ему противоречить, заметила только, что богатых женихов больше, чем богатых невест, потому что закон дает менее сестрам, чем братьям, и заметила так легко, так весело, что вы тотчас подумали бы про себя: «Это невинное творение, крепко затянутое в корсет, которое идет рядом с нею, не подходит под закон. Этот злонамеренный юноша напрасно кидает нежные взгляды на свои лакированные сапоги».

— Конечно,— продолжал начатый разговор в строю степенных людей человек крепкого сложения,

известный в Английском клубе здравым смыслом, неопровержимой логикой и пятьюдесятью тысячами дохода,— этого нельзя назвать глупостью, он умен, он уже доказал, но, признаюсь, я бы этого не сделал: во-первых, жена должна иметь непременно половину того, что есть у мужа, вот мое правило; мне, например, не нужно, да я для нее, я хочу, чтоб она не зависела от меня ни на волос. Независимость, господа, независимость!.. во-первых, эта княжна...

— Половину, да вы с вашим правилом хотите разорить меня! — раздался в ответ голос решительной оппозиции.

— Боже мой, с его состояньем! — шумело между собою несколько пожилых молодых людей,— да я бы давно объехал целый свет, да я бы выкурил сигару у подножия пирамид, избегал все закоулки Парижа, объелся во всех тавернах Лондона,— что он тут гнил в этой глухой Москве? Таким образом, покуда мужчина в серой шляпе пробирался к княжне и шел спокойно, погруженный, как казалось, в самого себе, в свои собственные занятия, все другие заглушали для него чувство эгоизма, пересматривали его жизнь, считали деньги, пускались на них в предприятия, заводили прядильни, ездили на луну и за версту подавали ему разные спасительные советы, что всегда бывает с тем, кто их не просит и не слушает. Он мало-помалу делался центром бульвара, со всех сторон слетались на него кровожадные мысли гуляющих, даже два студента принимали участие в общем деле, доказывая своим примером, что живые люди занимательней мертвых наук. Любовь к истине требует исключить из этого круговращения несколько достойных особ прекрасного пола, у которых в осанке видна была уверенность выйти замуж, когда вздумается, у которых в сердце гнездился Петербург с своим гранитом, гвардией, камер-юнкерами, дипломатическим корпусом. До них не долетала грязь пересудов и не прикасалась к ним ненужная зависть. Они проходили мимо с такой быстротой, как будто ни на чем московском не могли остановиться и смотрели на Москву так же свысока, как Гумбольдт с Чимборазо смотрел на бедную землю. Да еще сколько-то юношей в университетских мундирах, невинные в житейских волненьях, всплывали на поверхность этой бурной суеты; их лица показывали, что и на бульваре можно спасти душу; они шли уеди-

ненно, озираясь дико и глубокомысленно на эту жалкую толпу, где никто не знал того, о чем они наслышались, где никто не читал про Гегеля и где люди жили, дышали, гуляли по законам бог знает какой философии. Княжну покинули все, чувствуя, что шутка должна уступить место делу. Один очутился возле нее, один, кого судьба создала, как нарочно, для исцеления глубоких ран ее сердца, нанесенных учтивым и бесчеловечным светом. Мать и сестры вышли тотчас из состояния покоя: с нежной заботливостью они стали даже помещать свои слова в разговор, который до них не касался, не понимая, вероятно, что усердие помочь мешает часто успеху. Новый и желанный сопутник их не походил нисколько на прежних. Он был одет чисто, богато, если хотите, но как-то степенно, как-то поучительно для рассудка и безопасно для воображения. Все на нем было самое лучшее, самое дорогое, а между тем сюртук оказывался немного длиннее, чем следует, и был застегнут на одну лишнюю пуговицу. Свою прекрасную палку с чудным антиком из Рима или из Неаполя он держал так просто, так неветрено, как будто палки выдуманы человеку в пользу, а не в удовольствие, как будто и на бульваре они употребляются только затем, чтоб в случае нужды иметь в них подпору. Английская роскошь и воздержанность в одежде да русская беззаботная походка — вот что бросилось бы у него в глаза каждому, если б он не отличался еще и другими, более важными особенностями. Его смуглое лицо, его густые и несколько навислые брови появились вдруг на одном плане с светлыми лицами княжен, с веселыми красками их нарядов, и эта противоположность внушала с первого взгляда такое беспокойное чувство, что становилось жаль кого-то, что хотелось кинуться на защиту слабого и напасть на сильного. Целая семья обратилась к нему, но уже не затем, чтоб разменять несколько летучих слов, скользнуть глазами и отвернуться,— тут уж шел не перелетный щеголь бульвара, шла судьба, которую и страшно и приятно отгадывать. Его присутствие налагало обязанность разделять его мысли, вглядываться в его черты, сливаться с его негибкой природой. Прежняя княжна исчезла, на ее месте стояло новое существо, совершенно сходное с нею формами, но различное значением. Легкомыслие молодости, обольстительная ветреность и минутное,

безответное счастливое расположение духа — все это замерло в ней при виде смуглого мужчины и его дельной осанки. Он не позволял шутить жизнию, наслаждаться весенней погодой, сходиться и расходиться с многолюдной толпой гуляющих, он требовал, чтоб его собеседница шла с ним нога в ногу, терпела без ропота его испытующие глаза, терялась в его тени, и княжна слушалась, и прекрасный цвет ее пунцового платка казался уже не так ярок. Вы видели, вы боялись, что она даже не спросит, куда он ведет ее, к чему более лежит его сердце, в какой мир любит погружаться его душа... Одна черта ручалась за будущность княжны и отчасти уничтожала опасения, это удивительно добрая улыбка, которая беспрестанно сопровождала тут его суровые и пристальные взгляды. Необыкновенная белизна зубов сквозилась постоянно сквозь чуть-чуть раскрытые губы, прекрасно образованные, свежие, нежные, и на этой половине лица проглядывала первородная чистота души. Ни смуглость, ни угрюмые брови, ни взгляд, приобретенный от людей, не мешали действию улыбки, созданной богом, хотя общее впечатление было двусмысленно, похоже на лучи солнца в глубине соснового леса. Если Талейран говорит правду: «Смотрите на рот, а не на глаза, когда хотите знать, что на сердце», то мужчина в серой шляпе был человек прекрасный. Княжна должна бы при нем упасть в мнении, сейчас видели ее торжественную, свободную, беспечную, и вот она подвергается не тайным страданьям, а явному унижению, идет беспрекословно в каком-то подданстве, довольная своим рабством. Но он так приятно улыбался, так глубоко высматривал ее!.. Другие заботились доказывать, что ведут жизнь самую рассеянную, что знакомы с целым светом, что женщины их слабость, и дрожали с восторга, когда представлялся случай поклониться модной женщине или иным мнимым знаменитостям. Этот в самом деле был знаком с целым светом, но зато кланялся ему с таким благовоспитанным однообразием, что вдруг на разноплеменном бульваре настал золотой век, исчезли чины, породы, состоянья, известность, слава; мода перемешалась с стариной, люди сравнялись; он пропускал их мимо, как самых близких родственников, едва взглядывая на того, кому следовал поклон, едва отделяя глаза от своей прелестной и присмирелой княжны.

На гулянье стало показываться уже много таких, которые давным-давно отобедали. Четвероместная коляска помчалась в обратный путь, мужчина в серой шляпе пошел шагом куда-то к Страстному монастырю.

— Умна,— сказала одна дама.

— Счастье,— сказала другая.

— Она его промотает,— заметила бегло коренная жительница Москвы, торопя без милосердия свою дочь, чтоб скорее садилась в карету.

— Он возьмет ее в руки,— проговорила четвертая, впиваясь глазами в исчезающий вуаль княжны.

А между тем один молодой человек кинулся красиво в свою петербургскую колясочку и взглянул на другую сторону, только так милостиво, что, видно, не запрещал никому жениться; взглянул, как глядит человек, который едет, на того, кто идет, или который думает: «Тебе сорок лет, мне двадцать пять».

II

Мужчина в серой шляпе... Я выставлю начальную букву его фамилии Г.., назвать полным именем не могу, а выдумать имя не хочу. Имея несчастие и решаясь рассказывать истинное происшествие, я не желал бы, чтоб оно было принято за плод моего воображения. Где он служил, как служил и, наконец, служил ли — не знаю, да это и не касается до нас. Дело идет не о чинах, а о деньгах. Отрывок из его жизни, который я счел приличным употребить в мою пользу, не наполнен заботами честолюбия, столкновением с действующими людьми, ни счастьем угнетать других, ни выгодами быть на время угнетенным.

. . . .

. . . .

Аристократ особенного рода, более слабый или более сильный, не берусь решать, он получил в наследство от своих незначительных предков четыре тысячи душ. Довольно, кажется. Но жадный век не дал ему покоя. Куда ни обернется он, везде так и вырастет перед ним промышленник, фабрикант. У всякого только и на уме, чтоб иметь работников подешевле или чтоб человека заменить машиной, потому что машина не ест; всякий так и норовит выбарышничать у голодного несколько кусков его насущного хлеба, чтоб самому потом объесться трюфелей. Г... не находил

спасенья от фабричных наклонностей человеческого рода.

Некуда было ему уйти от них, негде спрятаться. У торгашей нет ничего святого. Они гонялись за ним по пятам. Театр, бал, гулянье, все эти места, где неприлично говорить о хозяйственных и чистых доходах, не могли укрыть его от прядилен, откупов, а пуще от свекловицы. Если кто из состраданья, из милости или из уваженья к его душам и решался потерять несколько слов и заводил с ним речь о книге, о литературе, о политике, о религии, то это делалось так легко, так воздушно и вместе с таким насилием, какое употребляет женщина, чтоб растаять от нежности, когда случается ей гладить по головке чужого ребенка. Он видел, что не эти вопросы забирали людей за живое, не от них приходили в движенье вялые руки, вспыхивали лица и наливались кровью глаза. В то время как язык у иного лепетал что-то похожее на идеи, на бескорыстную мысль, на участие в таком деле, от какого до скончания земли не получишь ни гроша доходу, в то время Г... слышал глухое биение сердца, которое мучилось сомненьями между выжимкой и вымочкой, терялось в сладких мечтаньях о том, как бы извлечь из деревень все, что можно и, следовательно, должно извлечь, и что на фабричном наречии называется: поставь крестьян на купеческую ногу. Страх его брал, что, наконец, какой-нибудь фабрикант потеряет с ним терпенье, кинется на него, растерзает, сделает из него пряжу и получит на нее сорок процентов. Но нельзя жить с людьми и не делать того, что они делают. Святые уходили от них в пустыни, чтобы спасаться. Г... не ушел, а потому, сколько ни защищался, не мог со всей своей идеальностью уцелеть от влияния века и попал в откупщики. Сначала он думал, что разорится, но потом, когда возмущение в Польше было прекращено и войска по счастливому стечению обстоятельств расположились в той губернии, где он держал откуп, барыши превзошли всякое ожидание. Через четыре года Г... увидал себя обладателем не только душ, но и огромной суммы чистых денег. Денег было много, прихотей не прибавилось. Так бывает. Кому не нужно, тому дается, кто умирает с голоду, у того отнимается. Г... стал чрезвычайно богат, и неизвестно зачем. Его желанья остались в тех же размерах, возможность удвоилась. Так как он любил заниматься сам всяким

делом, за которое брался, то занятие откупами, совершенно не сходное ни с его образом мыслей, ни с его чувствами, утомило его и вывело почти из терпенья. Он кинулся в омут спекуляций потому же, почему хорошо оснащенный корабль с многочисленным экипажем и с искусным капитаном не может иногда противиться миллионам волн, которые гонят его в водоворот; он заплатил дань своему веку, привил себе, так сказать, оспу, чтобы после никогда не иметь ее, и откланялся промышленности. Часто сидя за счетами, углубляясь в проклятые цифры, Г... с какой-то тоскою, с каким-то озлобленьем глядел на их красивые формы и, однако ж, не смел спустить с них глаз. Эти единицы, эти десятки, а особенно эти нули... что-то живое, что-то могучее, что-то нестерпимо приятное приковывало его к бумаге. Он чувствовал, что не за свое взялся, но соблазнительный дух жизни извивался перед ним в этих маленьких, кривых и круглых фигурах, не слушал раскаяний его души и не пускал ее на волю. Если луч солнца заставал его за египетской работой, если заглавие умной книги попадалось ему на глаза, он душил в себе до времени впечатление, которое иной луч производит на иное сердце, и грустно опускал стору; он выписывал книги и не развертывал их; в нем сохранялось еще просвещенное благоговение к бескорыстному труду разума, он считал себя недостойным погружаться в великий мир мысли или, может быть, испытывал на себе, что не можно богу работать и мамоне. Всякое положение казалось ему предпочтительней положения откупщика; благородное сердце страдало под ярмом тяжелого промысла и между тем мало-помалу, нечувствительно, без собственного ведома отравлялось ядом ежедневных картин и мнений. Беспрестанное сообщение с людьми, которые только и делают, что дают деньги или их просят, представило ему целый свет, может быть, в настоящем, а может быть, и в ложном виде. Алчная толпа заслонила от него остальное человечество. Она ежеминутно совала ему напоказ свои собственные лица. Правда, что в утешение себе он открывал на них удивительные способности. Кто ни попадается на глаза, всякого употреби куда угодно, нигде не испортит, всякий бросается под ноги с своим самоотверженьем и молит усердно: «Я отдам на растерзанье мое тело, для которого хлопочу, я оскверню мою душу каким хотите пороком, я

спою с кругу весь мир, я пойду, пожалуй, в герои добродетели, если это вам нравится, только заплатите мне».

Чтение самых деспотических эпох истории не может дать полного понятия об этой чудной услужливости, какая окружает откупщика. Неволя не выучит такой преданности, как собственная охота. Г... привыкал жить с мыслию, что все продается. Неверие ложилось в основу его сердца. Борьба этого благоприобретенного чувства с прежде накопленным достояньем души была ужасна!.. Счастлив еще, что ему не проходили даром сцены, которые совершались у него за глазами в скопищах разврата. Счастлив, что материнское благосостоянье не делало его вовсе не способным к мученьям душевным. С пуками ассигнаций, с кучами золота росло богатство, но и укоренялась неосязаемая и неизлечимая болезнь. Тайное правосудие наказывало его за причину барышей, за безобразные минуты забвенья в жизни разумных существ, вымещало на нем нищего, который пропивал свою душу и свои лохмотья для его обогащенья. Деньги так и сыпались ему, но поди ж купи теперь на них какое-нибудь убежденье, купи веру, любовь, дружбу, купи человека, про которого бы ты не думал, что он завтра тебя продаст. К недоверчивости и раздору с самим собой приводила его постепенно временная покорность направлению века. Слабостью характера или, вернее, силою общества он был увлечен не в ту сторону, куда просилась его душа, и мучился, что не поборол чужой силы своей твердостью. В этих мученьях, в этом взгляде на людей с денежной стороны, заключается тайна сцены, какая приключилась ему в жизни, сцены, ужасной для немногих, ничтожной или смешной для большинства. Она была окончательным плодом четырехлетнего занятия откупом и прежних лучших годов, проведенных в заботах более бескорыстных и в приготовлениях к чему-то другому. В ней встретились два противных полюса: строгое благоразумие промышленника и идеальный порыв самого благородного сердца...

III

Дом княгини, которая в начале этой повести прогуливалась с дочерьми по бульвару, был почти со всех сторон окружен садом. Большие окна выглядывали кое-

где из-за широких зеленых листьев и особенно вечером, при свечах, производили самое поэтическое впечатление. Когда сквозь старые деревья вы чуть-чуть примечаете или освещенные палаты, или бедное жилье, это все равно, вам непременно придут в голову разные мечты о необузданном веселье, о таинствах алхимии. Там, подумаете вы, или разливанное море, или собранье колдуний, или шайка разбойников. Но страшные грезы воображенья уступали тотчас место другим, более женоподобным ощущеньям при входе во внутренность дома. Тут все располагало вас к нежности, надежде, все успокаивало и отнимало страхи. Со всем тем невозможно было отпускать без опасения какого-нибудь из своих близких и неженатых родственников в эту глушь, за эти густые ветви, в гости к многочисленному семейству, составленному преимущественно из взрослых дочерей. Да, легкий испуг, прелестный ужас охватил бы сердце всякого хорошего родного, если б ему сказали: «Видите за деревьями эти окна, этот огонь, видите, мелькают человеческие тени, женские головки, там ничего нет, кроме розовых щек, вечно нежных глаз, вечно доброй улыбки, там сидит мать, а из комнаты в комнату порхают ее дочери...»

В первый раз еще летом они оставались в Москве; они обыкновенно проводили это время года в подмосковной, а с некоторых пор в Петровском парке. Но, наконец, не полюбился им парк!.. притом же и Г.., привыкнув, верно, к вольному воздуху губернии, к ее жизни попросту, без церемоний, выразился о парке довольно резко и неблагонамеренно: «Помилуйте, как там можно жить! пыль, шум, только и делай, что гуляй да принимай гуляющих, дом как улица, а главное, непременно встретишься со всеми, кого, по милости божьей, не видал уже лет десять». Впрочем, нельзя было сказать, что он враг общественных увеселений. Напротив, после губернской прозы ему приметно нравилась кое-какая поэзия столиц. Княжна Софья из чувства благодарности намекнула было что-то в защиту Петровского: она помнила тихонько про себя дни многих торжеств и коленопреклонений, дни, которые нелегко сглаживаются с сердца, но потом вдруг начала открывать в своем саду и в своем московском доме такие прелестные качества, что против них не устоял бы никакой парк в мире. «Как мы умно сделали, что

вас послушали»,— сказала она весело, стоя внизу рампы при входе в широкую аллею. Белое платье ее освещено заходящим солнцем, лицо покрыто тенью от ветвистого дерева. Г.., прислоняся вверху к растворенным дверям, смотрел на прямодушную красавицу, которая не думала скрывать, кого послушалась и для кого переменила образ мыслей о парке. Княгиня в глубине комнаты работала, вдали играли на фортепьянах. Это была самая затруднительная минута для того, кто или в гостях, или с гостями; это было вскоре после обеда. Однако ж Г... имел вид человека натощак, человека в час пополудни, хотя и нельзя было ни в чем упрекнуть обеда. Оживленные черты его казались даже не так мрачны, как обыкновенно, деятельность сердца придавала бодрость отягченному телу. Он ничего не отвечал, а только вынул изо рта сигару, подержал ее несколько секунд на воздухе, прищурил от дыма глаза и улыбнулся своей доброй улыбкой. Столько счастья выражалось на его лице, что не было пустого слова, которого не выслушал бы он с великодушным участием; не было у княжны движенья, за которым не последовал бы глазами. Вы видели, что он совершенно погрузился в тихое наслажденье настоящей минутой, что у него нет никакой заботы, что его не ждет никакое дело, что ему некуда ехать, некого отыскивать, что он не жалеет вчерашнего дня и не боится за завтрашний. Стоит наладиться ездить все в один дом, то, наконец, так в нем обживешься!.. Если в первой молодости страсть холодеет от привычки, то в некоторых летах и после известных бурь привычки становятся страстью. Хотя ему не было еще сорока лет, но он привык уже к этому саду, к этой семье, к тому, что тут делалось, что говорилось, и даже к тем, кто надоедал ему тут. Сперва красота привлекала его, сперва представился ему в женщине светлый мир поэзии, куда мог он уйти от сухих воспоминаний и черствых впечатлений, потом обворожило радушие. В его положении он имел полное право считать себя опасным и ожидал, что примут его в число знакомых со всеми признаками светского удовольствия, но церемонней, но холодней, чем женатого или бедного, но станут из уважения к строгости нравов и толком защищаться от него и держать себя несколько поодаль, чтоб не войти с ним в эти родственно-приятельские отношения, которые почитаются при известных обстоя-

тельствах и неприличными и вредными для развития в мужчине полезного чувства. Он ошибся. С первого раза заметил простосердечный тон дома. С первого раза поставили его на такую приятную ногу, обошлись с ним так искренно, так незлонамеренно, как будто у него все имение в залоге, а потому он, воротясь тогда к себе, бросился как был на диван, лег на спину, положил руки под голову и пролежал часа три, разглядывая потолок то справа, то слева и часто закусывая губы с лукавой улыбкой. Точно удалось ему обмануть кого-нибудь и прикинуться нищим. Княгиня давала полную свободу дочерям и совсем не надзирала за ними. Сидит себе, бывало, за работой, покоясь от трудов воспитанья, с совершенной безопасностью, с полным убежденьем, что ей не следует уже бояться ни за одно чувство, ни за одну мысль, ни за один шаг своей дочери. Не без особенного удовольствия взглядывал иногда на нее Г... и подмечал это гомерическое состоянье души. Он ездил уже к ним почти каждый день, княжны выбегали к нему навстречу, княжна Софья, не столько проворная, пускала сестер вперед, а сама или следовала за ними поодаль, или едва успевала показаться в дверях гостиной. Иногда она изменяла им и приносила его шляпу, которую часто прятали они. В ее обращении с ним было несколько более воздержности, не так много, чтоб он мог подозревать совершенную холодность или глубоко обдуманный замысел, и не так мало, чтоб не мог надеяться на истинное и потому робкое чувство. Впрочем, гармония между сестрами нарушалась только изредка. Изредка княжна Софья разногласила с ними или медленностью шага, или молчаливостью, или невниманьем. Бывало, в минуту довольно живого разговора с их ежедневным посетителем, вдруг нечаянно легкая тень подернет ей лицо, тонкий сумрак застелет глаза, и два, три слова ее собеседника потеряются даром. Г.., однако ж, ни разу не осердился на такое рассеянье, верно предполагал, что иногда женщины оттого вас не слушают, что думают о вас. Впрочем, повторяю, это случалось редко. Большею частию сестры действовали по-братски, составляли прелестную группу, освещенную равным светом и проникнутую той же идеей. Все они были одинаково простодушны и прелестно искренни и добродетельно опрометчивы. Несмотря на иностранное воспитанье, в них сохранилась русская коренная черта:

они вечно имели вид, что говорят от всего сердца, радуются изо всех сил. Но что есть грубого в такой радости, что есть наглого в душевных излияньях, это приняло у них форму более благонравную, более нежную. Они не скрывали своих недостатков, не заботились о последствиях, с детской небрежностью бросали слова на воздух, жили как-то не думавши, как-то по беспрестанному вдохновенью. Эта патриархальная или, если хотите, провинциальная черта могла бы оскорбить привычки человека, который, пройдя известную часть жизни, полюбил с горя все условное, все выученное, все пристойно лицемерное. Г... запретил бы охотно говорить по увлеченью, смеяться от души и готов был сказать всякому: «Ради самого бога не будьте со мной искренни, отстаньте от меня с вашей откровенностью, я не хочу знать, что происходит у вас на сердце, не хочу заглядывать ни в чью душу». Но тут, в доме княгини, ему нравилось то, что́ он ненавидел. Тут он пленялся простодушием, делался ребенком. Когда княжна с сестрами смеялась перед ним, резвилась, шутила, он позволял себе разделять расположение их духа, вмешивался в их круг, бегал с ними по саду. Они то толпились около него, то разбегались, и медленная княжна Софья оставалась одна с ним. Но обыкновенно он бывал тяжел на подъем, сидел и любовался. Картина этой семьи умиляла и нежила. Милые существа, существа слабые, беззащитные, мелькали перед ним, кружились, не спускали с него глаз; он был центром их движенья, магнитом, к которому летели их слова, в который впивались их мысли. Они не знали и не справлялись, кто он, откуда, где жил, что делал; они верили его взгляду, его улыбке, тому, что он сам скажет про себя; их можно было обмануть, очернить, ограбить, и Г... глубже уходил в кресла и бессильней опускал голову на руку: чувство довольства, чувство силы, чувство гордости проникало на его угрюмое лицо. Между тем этот покой, эту безопасность, эту адскую уверенность, что вы можете быть вредны, а другой безоружен перед вами, безделица возмущала. Г... то погружался в забвенье, в негу счастья, то вдруг от вещи самой ничтожной, от мелочей стан его вытягивался, брови становились гуще, глаза важнее... он стоял, как мы видели, в дверях, на верху рампы, курил сигару, смотрел на княжну. Разговор не оживился. Созерцательное состояние убивает внешнюю жизнь.

Княжне неловко стало от такого немого восторга. Чтоб придать драматическое движение этой сцене, она взбежала на рампу, подошла к кусту цветов и с какого-то невинного цветка начала обрывать листья. Но нельзя же ей было до того заняться этим, чтобы выпустить из виду все окружающее, а потому, продолжая терзать и уродовать что-то прелестное, она взглянула раза два на своего гостя, взглянула вбок, бросила этот косвенный взгляд, о котором говорили мы в начале нашего рассказа. Сигара у Г... потухла, он отнял плечо от притолоки и выпрямился, как будто чей-то грубый голос закричал на него: «Что ты так по-родственному расположился в этом доме?» Странный блеск мелькнул перед ним. Прекрасные глаза осветили картину каким-то другим, нееждневным смыслом. Чудесный, но страшный взгляд сорвался с женской души. Это уже взглянуло не простосердечное, не слабое, беззащитное существо, взглянула женщина, у которой в голове перебывало также много мыслей, которая не без пользы обращается в обществе и не без оружия ходит между людьми. Г... повернулся, вошел в комнату, и, покуда никому не было видно его лица, на нем успела блеснуть минута такого горького раскаянья, такого глубокого упрека самому себе: «Ах, что это? где ты? зачем ты так далеко зашел?..» В рассеянье, преследуя этот разряд мыслей, надеясь, что шляпа да перчатки поправят дело, он взял ее, надел их и сел, точно приехал в первый раз с самым церемонным визитом. Никто не понял этого движенья. Княжна, удивленная, смотрела издали сквозь двери, рука ее замерла на цветке. Сестры кинулись с вопросами: «Что с вами? что вы это?» — и остановились в недоуменье, зачем он сел так чинно и, по-видимому, надолго, когда собрался в путь. Княгиня,— она обыкновенно постигала все, отгадывала всех человеческих действий, и пустых и важных, улыбнется, бывало, да скажет: «Горячая голова, доброе сердце» — и дело кончено,— княгиня положила иголку, не выронила ни слова, а только уставилась на Г... с самой приветливой улыбкой, как будто слушала чтение прекрасных стихов, которых не понимала. Он опомнился, выдумал, что ему нужно ехать, подошел к канве, пробормотал что-то забавное, рассмеялся и исчез.

IV

Не знаю, была ли эта сцена поводом к беспокойствам и продолжительным семейным толкам в доме княгини, только на другой день не оказалось никаких печальных последствий. Г... опять явился по-прежнему, и встреча, сделанная ему, изгладила тотчас воспоминания, если они оставались, о невинных взглядах, которые он от своего подозрительного характера перетолковал так ужасно. На него находило вдруг, бог знает отчего, желанье воротиться назад, желанье, выраженное в истории человечества понятием о золотом веке, но кто из нас не пугался иногда настоящего, не осуждал того, что́ делает, и не хотел приняться за то, что делал прежде? кто не говорил себе: «Зачем я езжу в этот проклятый дом» и не приговаривал: «Дай уже заеду в последний раз». Впрочем, его странностей нельзя сравнить с странностями всего человеческого рода. Он был исключеньем из общих законов. Сидеть в кругу княжен, разговаривать с ними, видеть их каждый день вошло у него в обычай, сделалось необходимостью, между тем он являлся к ним не с раболепным чувством обожателя, не представлял из себя слепого поклонника, а добивался чести совершенствовать их, направлять на путь истинный, разыгрывал, к несчастью своему, роль наставника: они были веселого нрава, охотницы смеяться, рядиться, говорили, не напрягая слишком умственных способностей, и тем самым, вследствие законов учтивости, не налагали на своих собеседников обязанности слушать их с трудолюбивым вниманьем. Княжна Софья была, как мы видели, степеннее, сердце ее успело уже настрадаться, однако ж и она не портила нисколько общей семейной черты. Если кто отравил веселую беспечность этого дома, согнал беспрестанную улыбку с прелестных лиц, это был Г.., правда, он бегал по саду и все-таки внес с собою стихию важности, пошел наперекор привычкам княжен. До него они прикасались только к тому, что мило, легко, небеспокойно; протанцуют на бале, мелькнут на гулянье, пропоют романс, которого завтра не станут петь, скажут и услышат только то, от чего через минуту не уцелеет ни обрывка мысли в голове, ни ползвука в ушах, так что каждый день жизнь у них начиналась снова, свежая, новорожденная, не обезображенная вчерашними остатками. Г.., напротив, с чем

бывало ни явится, все это как-то вечно, постоянно, все это какие-то толки о том, о чем люди не перестанут толковать. Всегда сумеет навести разговор на нравоучительный предмет, пристанет с книгами. Его слушают и, разумеется, не перебивают: завидная участь ораторствовать между княжен!.. для него нежная природа женщины гнется во все стороны. С необыкновенным величием души они отказываются от всего, что любили, перестают почти выезжать, принимают к себе, но с особенным удовольствием проводят время только с ним, в неограниченном счастье домашнего круга, наводняют свои гостиные книгами, развертывают их и впадают в отчаянье. Г... все критикует. Тот роман нехорош, ту повесть не стоит читать, французские книги никуда не годятся (на что бы, кажется, лучше?), давайте английских, а по-английски ни одна из княжен не знала. Можете представить их затруднительное положение, когда он, увлекаясь собственным красноречием и чужим молчаньем, распространялся перед ними о Шекспире, Моцарте и чуть-чуть, на волос, не доходил до ораторий Мендельсона-Бартольди. Такое отсутствие такта должно б взволновать гордую душу, независимое сердце взбунтовалось бы против этих богачей, которые все себе позволяют; но чего не перенесет снисходительное долготерпение женщины!.. Княжны то опустят головки, то приподнимут; княгиня продернет иголку и остановится... Меньше стало у них смеха, больше чтения, меньше ходили они из комнаты в комнату, больше сидели на месте. Однажды Г... взглядывал исподтишка на княжну Софью, которая, держа голову в косвенном положении, смотрела на него прямо и, по-видимому, слушала всем сердцем, что он говорил. Разговор вертелся на предметах, не стоящих вниманья, наконец дошло до чего-то английского, до английской машины или лошади, все равно, только княжна выпрямила тотчас голову, повернула глаза, сделала движенье, как будто сказала про себя: «А, вспомнила!» — потом прикоснулась самым нежным образом к какой-то небольшой книжке, которая лежала возле на столике, чуть-чуть приподняла двумя пальцами прелестный переплет, взглянула под него и проговорила весело, неробко, без малейшего кокетства в голосе:

— Хотите прослушать мой английский урок?

— Как английский? — спросил Г... с таким видом, что, казалось, перезабыл все, о чем прежде шла речь.

— Да давно ли вы учитесь?

Княжна отвечала, давно ли, с точностью определила время, но с этими словами куда девалась ее смелость? потупились прекрасные глаза и зарумянились щеки. Г.., верно, приписал это застенчивости, страху перед его глубокими познаниями в английском языке, а не расчел, не догадался, что княжна начала учиться, назвала ему именно тот день, когда он в первый раз принялся надоедать ей англичанами. Если б жалкая сорокалетняя память не изменила ему, он принял бы еще более к сердцу эти чувствительные тонкости, эту обдуманную нежность и улыбнулся бы еще счастливее. Урок был сказан, княжна прочла наизусть какие-то стихи, и Г... впал в совершенное изумление, глядел на нее, как на красоту, которая отнимает у вас уверенность, что вы ее стоите, как на талант, за которым не смеет гнаться ваше воображение. Выучиться в такое короткое время и с таким совершенством коверкать по-английски свой язык, это было, конечно, сильное доказательство любви, одно, на что еще можно положиться.

В этот вечер Г... поехал от них с особенным расположением к астрономическим наблюдениям. Дорогой, развалившись в коляске и закинув голову, он мужественно поднял глаза на небо, однако ж без всякого благоговения озирался на звезды то туда, то сюда, не задумался ни на одной, точно все знал, все понял и не боялся ни пространства, ни времени.

V

Литература до того вскружила княжен, что они начали приставать к Г.., чтоб он познакомил их с одним российским сочинителем, с которым был очень дружен. Похвально внимание к отечественной словесности. Сладко писать для княжен. Г... не хотел привести своего друга тотчас, по слову, сказанному вскользь, по мановенью женской руки, чтоб, разумеется, придать ему более весу, заставить их думать, что русский тоже француз, и тем самым способствовать развитию народности, развитию страсти к отечественным произведеньям, которая начинала обнаруживаться в княжне Софье с довольно уже опасными признаками. Г... откладывал, но его друга требовали непременно; не бы-

ло никакого средства противиться новому направлению княжен, основанному на благородной привязанности к русскому чтенью: любовь к отечеству превозмогает препятствия, а потому сочинитель и был привезен. Едва он вошел в этот волшебный дом, то первый предмет, который поразил его и отправился прямо к нему в сердце,— было его сочинение, книга, брошенная на фортепьяны, на самое видное место, не развернутая, но, судя по наружности, без милосердия исчитанная. Кто при таких обстоятельствах не понял бы, что это обман, приготовленье, умысел,— и между тем у какого писателя в душе не родилось бы подозрение, что, может быть, и в самом деле его читают и перечитывают. Сочинитель скользнул по книге, окинул глазами потолок, прищурился на длинную анфиладу комнат и с чувством знатока, архитекторским тоном сказал своему другу: «Какой прелестный дом!» Эта пустая фраза, это приятное впечатление подействовало сильно на Г..: в его движеньях заметно было что-то странное, он принимал гостя точно у себя и, как самый тщеславный хозяин, трусил за каждый стул. Но ему нечего было бояться. Все стояло на своем месте, и во всем замечалась особенная стройность. Княжна, как нарочно, оделась еще лучше обыкновенного и позволила себе явиться в полном блеске своего ума, красоты, вкуса. Перед Г... она скромничала немного, выставляла больше сестер, не делая шагу, чтоб не затмить их, и по собственному чувству, из самоотвержения беспрестанно обуздывала свое могущество. Приезд сочинителя изменил это благое поведение и поставил ее на грешную стезю тщеславия. Она вступила в свои права, перестала щадить родных и завладела первым планом картины, а потому, когда сочинитель вошел, то, после нескольких слов с парадной хозяйкой дома, он заметил тотчас, что не тут присутствие силы, не тут центр гостиной, и, переминаясь по комнате, невольно обратился к княжне, инстинктивно передвинулся к главному лицу, к настоящей власти, которая дарована свыше, а не присвоена пустыми обычаями.

Г.., более великодушный, поместился около слабости, сел возле княгини и начал упрашивать ее: «Ради бога, княгиня, положите себе за правило не вышивать турок... Турка верхом, турка пешком, турка под окном, что это у вас за азиатские наклонности!..»

Они вступили в ученый разговор, а между тем со-

чинитель испытывал счастье, какое только суждено человеку испытать на земле. Княжна (под этим словом должно теперь разуметь княжна и ее сестры), княжна оробела: несмотря на прелестное платье, на самый живой румянец, на самое выгодное положение,— с одной стороны около нее стояли ширмы, все обвитые плющом, с другой — кусты цветов, она выглядывала своими чудными глазами из этой зелени, из этого благоуханья и как-то мешалась, неясно говорила. Сочинитель, разумеется, понял это. Близкое присутствие отличного ума, таланта, способностей, гениальности пугает чрезвычайно!

В какую это обетованную часть Москвы завезли его!.. По доброте сердца он начал прибегать к разным средствам, чтоб не остаться надолго страшным и умерить ужас своего появленья: дал пройти первой минуте; сам опустил глаза, выдумывал беспрестанно разговоры, один пустее другого, чтоб не очень затруднить милую княжну, чтоб снизойти до нее, чтоб показать глубокое пренебрежение к своему величию. Г.., как ни был увлечен рассужденьями о канве, но от него не ускользнуло и то, что совершилось в другом углу комнаты: он увидел впечатление, произведенное его другом; и развеселился с княгиней больше, чем бывало, и смеялся от всей души. О, приятно, тысячу раз приятно, когда блистательная княжна, драгоценная вашему сердцу, робеет перед человеком, у которого нет других преимуществ, кроме слова и мысли. Но это было только начало. Сочинителя провели по всем ступеням удовлетворенного самолюбия. Сперва он встретил книгу, потом благоговение, потом показали ему, до какой степени владеет он навыком света, как ловок в приемах, как легко может ободрить, приподнять до себя всякого, кого захочет. Мало-помалу княжна приходила в свое обыкновенное состояние, связнее начинала говорить, смелее взглядывала,— постепенность в этом переходе от трусости к мужеству была так естественна, влияние сочинителя на то двоякое расположение духа было так очевидно, что никто на месте Г... не усидел бы возле княгини. Но он позволял себе издали только некоторый род наблюдения, посматривал, не окажется ли пищи для критики, его самолюбие было в беспрестанной игре, и со всем тем он, казалось, оставался очень доволен, радовался на княжну и не думал, что его другу, хотя на одну секунду, придет в голову

какая-нибудь грешная мысль. На этот счет можно быть покойну с сочинителями. Первый визит продолжился более чем следовало, разговор сделался живее и основательнее, чем прилично. Княжна дала ему этот оборот и успела блеснуть перед своим новым собеседником сокровищами воспитания. Ей нетрудно было ослепить его. Во-первых, разумеется, она говорила по-французски лучше всех сочинителей, а это на них очень действует, хотя они и запираются. Следовательно, он в глубине души непременно подумал: «Боже мой, как она говорит по-французски!..» Потом княжна все читала, все, чего не нужно читать; от этого он необходимо пришел к следующему заключению: «Боже мой, как у нас женщины образованны!..» Наконец она знала несколько языков, то есть умела говорить на них: это должно было довести его до совершенного отвращения от мужчин, а особенно от своих собратов, которые, как англичане, только что понимают, а говорить не могут. Красота, сладкий голос, запах цветов, роскошная мебель дополняли очарование. Сочинитель засиделся, выбор предметов для разговора увлек его в бездну поэзии: он попал в дом, где так все и дышало музыкой, стихами, невинной любовью к изящным искусствам, непреодолимой страстью к книгам... «Боже мой, как ты счастлив!» — вскрикнул он своему другу, когда этот тотчас после визита заехал к нему и едва успел войти. Восклицание было нескромно, потому что Г... пересказывал кое-что из своих посещений княгине, но ни в чем не открылся, не признался ни в своей слабости, ни в своих намереньях, да до этой таинственности не было уже сочинителю дела: он не простыл еще от жару и не имел более сил молчать, как будто ничего не подозревает. Мерещилась ли ему книга на фортепьянах или в самом деле душа отдохнула с новой княжною от всех старых княжен, только он ходил по комнате поэтически взволнованный. Г... не принял ни малейшего участия в этом волнении, усмехнулся, как старик на молодого человека, который горячился, сел в шляпе и начал или шутить, или выпытывать у своего друга самое искреннее мнение с самого дна сердца.

— Да что же за счастье? Я не вижу ничего особенного.

Г... стал очень заботливо раскуривать сигару, сочинитель остановился.

Один имел вид неприступной крепости, другой, маленького роста, живого темперамента, походил на наездника, который по-пустому гарцует в поле.

— Если ты имеешь намерение жениться когда-нибудь, то должен жениться на княжне. Бог не сотворил для тебя другой женщины лучше... Да сделай одолжение, перестань курить.

Г... засмеялся и курить продолжал покойнее прежнего.

— Да что же ты меня уговариваешь? Положим, что я тронусь твоим красноречием, но ведь это не все. Почему ты уверен, что я нравлюсь ей, да и как ты уверишься?

— О, на этот счет ты можешь быть покоен.

Сочинитель любил, когда про него говорили, что он удивительно знает человеческое сердце.

— Прежде, как я не видал ее, то думал, что тебе трудно выведать правду, что за тебя пойдет тотчас всякая и что ты, тебе подобные должны же чем-нибудь искупить ваши богатства, должны же отказаться от чего-нибудь в пользу нашу. Женская искренность по крайней мере, думал я, принадлежит нам, нам остается удовольствие просить руки и получить отказ.

Г... снял шляпу, лицо его почти исчезло в дыму, сочинитель продолжал:

— Но, друг, я видел ее. Вздор эти бредни скептицизма! Неправда, что наблюдательный глаз не отличит лжи от истины, души прекрасной от души хитрой. Сердце возмущается при такой мысли. Есть взгляды, которые как-нибудь да изменят, есть эти чистые звуки в голосе, под которые нельзя подделаться! Что это за варварские мнения! Женщину с детства приучают лгать да притворяться, а потом клянут, что не всегда искренна. Да посмотри, как она мила, как рада, когда представляется ей случай и когда позволят ей, несчастной, обнаружить то, что у нее на сердце. Княжна так скоро говорит, что ей некогда размеривать и обдумывать свои слова. Поверь мне, это видно, у них в доме не тот тон, их как-то не боишься, с ними чувствуешь себя свободней, лучше. Из вежливости она старалась в разговоре со мною показать, что на ту минуту я был главное лицо, и не умела: взгляды ее невольно относились к тебе, уши подслушивали, не скажешь ли ты чего-нибудь, сердце боролось с требованьями света,— эту

борьбу не переймешь, этому не выучишься, она не так создана, не так смотрит, а что за образование!..

Сочинитель исчерпал свое воображение в похвалах княжне и, наконец, дошел до того, что сказал даже:

— Я истинно в целой Москве не знаю другой!

Это была, конечно, маленькая несообразность; ну как, кажется, в Москве не найти другой! Г... встал весело, как будто добился того, зачем приехал, и проворно, но без всякого беспокойства, возразил ему:

— Да ты влюбился в нее!

— Полно, пожалуйста, шутить, когда человек говорит дело. Боже мой, что это может быть ваш дом! Вы сосредоточите около себя все, что есть просвещенного; путешественник или кто другой из людей любопытных, его непременно встретишь у вас; куча книг, музыкальные вечера, образованные обеды; обедов, пожалуйста, не забудь, все журналы, да женись, друг, сделай милость, женись.

Я распространился о сочинителе, потому что он с этих пор сделался добрым гением княжны и заплатил ей щедро за внимание, оказанное в лице его российской словесности, а особенно за благосклонность, с какой удостоила она бросить его книгу на фортепьяны. Ему предстоял тяжелый подвиг. Он беспрестанно должен был восстановлять ее в мнении своего духа, хотя она не делала ни малейшего проступка и не подавала повода ни к каким оскорбительным подозреньям. Но что делать! такова была ее участь. Не так прямо взглянет — и уж виновата, и Г... едет к сочинителю и входит в комнату полновесными шагами, точно статуя командора на ужин к Дон-Жуану. Услышит ли он где-нибудь в гостиной, на улице, в лавке, что в каком-нибудь доме, который провидение наградило дочерьми, за кем-нибудь ухаживают, и по милости пустого слова, неверного слуха, клеветы сочинитель лишается сна. Г... явится к нему поздно, просидит часов до трех ночи, ни о чем нет речи, кроме несчастного, кого заводят, и к концу беседы похудеет, истерзается участием к человеку постороннему. Но теперь буря, которая беспрестанно поднималась у него на душе, проходила скорее. Он боролся с нею уже не один в глуши своего сердца, друг своими розовыми мыслями помогал ему осиливать ее. Дом княжны с каждым днем становился для него необходимей и приятней; не так часто его злое воображение перетолковывало в

дурную сторону поступки княжны, не так часто придирался к ней его неверующий ум. С некоторых пор она побледнела немного или, лучше сказать, румянец у нее на щеках стал еще тоньше, еще нежней. Цветущее здоровье, сила сложенья пострадали приятным образом для глаз от продолжительного неведенья судьбы, от нервных тревог, сопряженных равно и с истинной любовью и с болезненным ожиданьем конца начатому делу. Г... все ездил и все не говорил ни слова никому, даже и сочинителю, зачем ездит, с какой целью. Частые посещения подавали надежду, убийственное молчание отнимало ее. Это была причуда богача, который не давал себе труда подумать, что надо же поскорей решиться на что-нибудь, что за минуты своего удовольствия в кругу прелестной, обворожительной семьи он, может быть, платил ей тайными мученьями и, наверное, уже доставлял обильную пищу толкам да пересудам. Неизвестно, что в продолжение этого времени было на душе у княгини и ее дочерей. Их мысли, их планы, их чистосердечные беседы между собою оставались загадкой для любопытного. Там, во внутренних комнатах, беспокоились ли они, радовались ли, приходили ли в отчаянье, уповали ли на волю божью, плакали или смеялись — никто не знал. Но никто не мог иметь такого черствого сердца, чтоб со стороны даже не принять участия в их положении. Разумеется, за то, что Г... ездил к ним, их терзали в свете, между тем к этим терзаньям примешивалось и человеколюбие. Многие жалели, что он, по-видимому, не намерен жениться, когда с часу на час должно было рухнуться состоянье княгини. Завтра не будет у княжны новой коляски, завтра она умрет с горя, иссохнет от обманутой любви, завтра какой-нибудь бородач поселится в этом великолепном доме, спустит собак и запрет ворота. Впрочем, так как мнения о состояньях часто ошибочны, то не знаю, до какой степени эти опасения были основательны. Во всяком случае нравственное чувство обязывало уже Г... заплатить собою за неосторожность своих ежедневных визитов, если б даже рука княжны не сделалась постоянным предметом его размышлений. По счастию, наступил такой промежуток времени, в который не приключилось никаких пустяков, способных расстроить и взволновать его. Он являлся к княгине с светлым лицом, более чем прежде заговаривал с княжною и начал входить в гостиную

таким решительным шагом, что нельзя было не вздрогнуть от радости и не испугаться мужской смелости: в глазах у него сверкала окончательная мысль, на губах шевелилось уже дерзкое слово. Княгиня уходила со страху за шерстью, часть ее дочерей отправлялась играть на фортепьянах в две руки, перед ним оставалась одна. Каждую минуту следовало ожидать, что он объявит себя спасителем этой семьи, сбережет этот дом для просвещенных любителей балов, сохранит княжен в поученье другим княжнам. Каждую минуту того и гляди он предложит руку и сердце, как водится, законным порядком, начнут громоздить приданое, начнутся излияния нежности, сладкие речи, богатые подарки, установленные вековой мудростью человека, и ко дню бракосочетания любовь разрастется в сердцах невесты и жениха неимоверным образом; но нечаянно впуталось тут ничтожное обстоятельство, которое изменило естественный ход дела и дало ему неправильный, неслыханный оборот.

VI

Сказано выше, что княгиня принимала. Иногда по вечерам сбиралось у нее общество, небольшое, но приятное, то есть веселое. Хозяйки дома одушевляли гостей и сообщали им свою любезность. Но так как любезность есть вдохновение, лирическое состояние души и, следовательно, не может продолжаться, то на этих вечерах чувствовалась тотчас потребность в чем-нибудь более существенном. Любезность очень удачно заменяется у нас картами и танцами. Раздавались фортепьяны или скрипки. Каждый и каждая становились сноснее, умнее, живей. Княгиня избегала стариков. Бывало, куда ни обернись, все у нее так молодо, везде вечная весна. Представителем осени был едва ли не один Г.., а потому он начинал тем, что пересаживался с кресла на кресло и не находил приличного места между зеленью и розами жизни. Но и его увлекали в танцы. Так было много свободы, мало чопорности, что сестры княжны подбегали к нему, как к брату, долго шумели с ним, она же издали взглядами, улыбкой, всей душой поощряла их. Г... уступал женской настойчивости, никогда, однако ж, не брал самой княжны, а всегда в контрдансе приходился против нее и, делая с нею вторую фигуру, танцевал отлично. Вторая фигура была его торжеством. Прекрасная женщина пере-

давала ему свое искусство. Она смотрела на него так вдохновительно, приближалась так благородно, отлетала так легко, что и он становился гораздо воздушней обыкновенного. Г... выносил из контрданса убеждение, что протанцевал хорошо, и это сознание собственного достоинства действовало на его нрав в продолжение остальной части вечера. Он смеялся, шутил и уже по охоте, из любви к предмету, пускался опять в танцы. Веселое расположение духа оканчивалось мазуркой. Мазурку он с некоторых пор оставил и потому, выключенный из круга людей действующих, удалялся к стороне, смиренно выглядывал из какого-нибудь угла, но его выкапывали из углов, его начинали беспрестанно выбирать и выбирать уже не одни княжны (в мазурке дамам своя воля), а все, у кого двигались ноги и билось сердце. Другому это было бы приятно, он хмурился, лицо его становилось пасмурней да пасмурней, он, конечно, приписывал такое невинное предпочтение испорченности нравов, безнравственности века, потому что, наконец, отрывал себя от княжны, уходил в другие комнаты, останавливался перед растворенными дверями, пристально смотрел туда, вон из этого околдованного дома и прятал свое лицо в потемки сада. Но кроме мазурки еще одно обстоятельство мешало ему наслаждаться безмятежным счастием. Это был молодой человек лет двадцати пяти, недурен собою, ловок, свеж, мастерски одет. В его осанке, в его приемах видна была такая самонадеянность, такое подражание современному эгоизму и такая полнота сил, что поневоле становилось досадно. Он что-то написал, что-то напечатал, но заговорите с ним о какой-нибудь книге, он скажет, что ничего не читает; спросите у него: «Это ваше помещено в журнале?» — он сделает мину и с надменным пренебрежением пробормочет: «Да, вздор, пустяки, я уж не помню». Заведите же речь о торговле, о политике, тут он закипит стихами, вспыхнет поэзией, примется напевать какой-нибудь прелестный мотив, и вам станет совестно заниматься житейскими дрязгами, грязнуть в государственных сплетнях, когда другой только и делает, что бредит искусствами да упивается мелодией. Черта, которая особенно сердила степенных москвичей и возбуждала зависть в честолюбивых юношах, была та, что он подсядет к женщине, расположится в креслах как можно покойнее, вытянет ноги, наклонится к ней очень близко, бог зна-

ет что шепчет, бог знает чему улыбается. Некоторая наглость в обращении, принимаемая многими за самую последнюю моду, истинный дух времени — за чудный отрывок Парижа, придавала молодому человеку обольстительный вид и, судя по женским физиономиям, проводить с ним время было очень нескучно. Княжна Софья встречала его холодно, и между тем Г.., при всяком удобном случае, подшучивал над ним с особенным удовольствием. Когда оба они съезжались у княгини, то один все молчал, а другой старался говорить чрезвычайно много и, казалось, сердился, что тот молчит; один сыплет, бывало, драгоценности своего ума, а другой посмотрит в окно, оборвет цветок, пропоет романс, повернется и уедет. Молодой человек не был богат, не слышно было, чтобы кто-нибудь посягал на его свободу; он утром одевался, вечером танцевал и, таким образом, жил приятно для себя, не во вред другим. На одном из этих вечеров Г... в первый раз позволил себе провальсировать с княжною. Когда они делали круг, то нельзя было без особенного чувства видеть радость на лице матери, участие в глазах сестер. Тут обнаружилось вполне, до какой степени жили они все душа в душу, а доброе согласие между членами семейства трогает чрезвычайно. Оробел ли Г... при этом важном шаге, думал ли, что после вальса необходимо уже следует жениться, или просто из худо понятой вежливости, только обнял стан княжны как-то несмело, как-то неблизко придвинулся к ней и провертелся с нею по зале без этого пыла, которого ожидаешь от мужчины, влюбленного и вальсирующего в первый раз с предметом своей любви. Княжна сделалась неприступней для всех прочих кавалеров. С кем ни танцевала потом, никто не мог обратить на себя ее вниманья. Она едва удостоивала ответом и то вскользь, не повернув головы; она не слыхала многих слов, мило ей сказанных, и имела вид, что вымещает, наконец, своим пренебреженьем свои прежние страданья в свете. Эта строгость нравов, эта неподвижность придавала еще более силы и господства к красоте. Она была как-то особенно неприкосновенна. Не для них, не для этих легких и бесчувственных сердец, которые со всех сторон залы слетались к ней без цели, бог одарил ее белизной, румянцем и прелестью взгляда. Между тем черты ее были веселы, светлые глаза живы, лицо находилось в противоречии с холод-

ностью обращенья; казалось, она наложила на себя тяжкий обет, сдерживала невинные порывы молодости, жажду забвенья и все поэтические наклонности. Княжна стала неприступна, Г... напротив. Из степенного англичанина он вдруг превратился в ветреного француза. Беспрестанно волнуется, беспрестанно говорит, без умолку действует, и влияние ее на эти отступления от характера было явно. Отовсюду они наблюдали и видели друг друга, везде помнили только себя, как будто для них одних горели свечи, играла музыка и приносился душистый запах сада.

— У меня есть до вас просьба, княжна,— сказал ей Г... тихо, когда она проходила мимо его ужинать и, проходя, останавливалась.

Княжна подвинулась к нему.

— Мне нужно с вами поговорить наедине, можно ли завтра?

Княжна потупила глаза.

— Прошу у вас только четверть часа.— Г... пришел в свое первобытное положение, Г... стоял сурово, только нежная улыбка ручалась за благие намеренья его сердца. Он просил таинственного свиданья с таким достоинством, такими благородными звуками голоса, что нельзя было отказать.

— Приезжайте пораньше,— сказала она торопливо и покраснела. Им тотчас помешали. Княжна бросилась в другую комнату, пожала руку сестре, которая попалась, взглянула на мать и села за такой дамский стол, что к нему не мог прилепиться ни один мужчина.

Было весело и довольно шумно, а все шумели сестры княжны. Они спешили говорить, точно не надеялись пересказать всего, что случилось с ними в этот вечер, и хотя взглядывали на Г.., сидевшего в стороне молча, однако ж не пользовались нисколько примером скромности и покоя. Даже княгиня за почетным столом, куда обыкновенно приглашают всякого проходящего и где наблюдается известная воздержность в речах, даже княгиня разговорилась до того, что, если б не чепчик, то и ее можно б принять почти за княжну. Ужин сближает людей, за ужином больше влеченья у сердца к сердцу, больше братства на земле.

Многие теснились в переднюю, делать уже нечего, отужинали; но зато иные посматривали друг на друга с каким-то темным желаньем и с каким-то блеском в лице. Куда ехать? зачем ехать?

По гостиным образовалось несколько групп. Музыка заиграла опять. Две, три пары еще вальсировали, но вальсировали быстрее, пламенней. Никто не берег своего туалета, своей прически, а за несколько часов никто не поверил бы, что не будет думать о них. Правильная часть вечера кончилась, наступил беспорядок: всякий теперь скажет, что у него на душе, и поступит по самому внутреннему убеждению. Г... скрывался в дальних комнатах. Княжна стояла в глубине залы, недалеко от выхода, кого-то провожала и чего-то ждала. Рассеянно пожимая руки уезжающим, она медленно повертывалась то туда, то сюда, взглядывала на окна,— от них несло на нее холодом, а свежесть летней ночи только что раздражала ей нервы. Щеки ее горели, глаза обращались томно. Тосковала ли она, что расстается с знакомыми на неопределенное время, или после этого длинного вечера, в который вела себя так чинно, имела нужду в одной минуте неблагоразумия и свободы? Откуда ни взялся молодой человек, о котором было говорено. Едва ступая, он показался из гостиных, лениво остановился, гордо окинул глазами залу, увидел княжну и встрепенулся. Они взглянулись. Молодой человек бросил шляпу, очутился возле княжны, кивнул музыкантам, чтоб играли скорее, и помчался с нею. Зала исчезла под их ногами, их груди коснулись одна другой, их мысли, чувства, желанья слились в этом вихре, замерли в необузданности движенья; рука мужчины держала княжну так крепко, кружила ее так сильно, так скоро и страстно... но она не рвалась из этих объятий, но легкие ножки ее не опускались на паркет, а едва дотрагивались до него; но голова не отворачивалась с негодованьем; княжна не робела, княжна не роптала, княжна сносила жадные взгляды, терпела жаркое дыханье; это было мгновение силы, огня и беспамятства, это был взрыв сердца, взрыв свободы. Они сделали несколько огромных кругов и, наконец, остановились. Она пошатнулась! Сестры ее прощались еще с уезжающими у выхода, зала была почти пуста, музыка затихла. Первое дело княжны было взглянуть тотчас на противоположную сторону. Она подняла глаза и от усталости или от испуга помертвела. Там, на другом конце, посередине дверей стоял как вкопанный судья каждого ее слова, каждого шага и, может быть, слишком скорого вальса. Он заслонил длинный ряд светлых комнат, и даже

издали чрезвычайно была заметна строгая наблюдательность на его мрачном лице. Вы видели, что этот человек занят делом, что перед ним проносятся по зале призраки испорченного воображенья, что он непременно сравнивает различные способы вальсированья, вальс сорокалетний с двадцатипятилетним. Княжна вглядывалась в его навислые брови и стиснутые губы: где эта добрая улыбка, где эти многозначащие слова, сказанные ей недавно таким благородным голосом? Он уже не помнит, что́ говорил, не помнит ее продолжительного благоразумия, бесконечных доказательств ее нежности, ни изобретательности женского ума, ни вдохновений женского сердца. Он все принес в жертву впечатлению минуты. Он уже не улыбался, не шевелился и ничего не просил. Черты его окаменели с каким-то страшным выраженьем. В одной комнате с ним, против него нельзя уже было мечтать ни о счастии, ни о любви, ни об устройстве дел. Он не поймет невинной шалости, не извинит минуты увлеченья, не помилует за молодость. Княжна едва сдвинулась с места. Бледная, не сводя с него глаз, тихо пошла к нему. Еще не разъезжались, кое-кто оставался, чтобы все заметить, за все осудить и завтра рассказать по городу; но что значил этот страх перед силой, которая влекла ее? Зала сделалась больше, длинней. У княжны недостанет сил дойти до него. Медленно приближалась она, никуда не оглядывалась, никого не боялась, она видела только его одного. Он один тут способен понять все ее мысли, проникнуть в глубь ее души, он способен по милости вальса дорыться до преступленья. Она подошла к нему как можно ближе, наклонила голову на одно плечо и, с умилительным выраженьем, с выраженьем самого чистого покаянья приподняла на него глаза; эти глаза просили пощады, сами не зная за что; они говорили ему: чем же я виновата, что вы не так скоро вальсируете? но не думайте, чтоб я стала оправдываться: лучшие побужденья моего сердца, подвиг добродетели, поступок высокой нравственности, я за все рада обвинить себя, все дурно, все ужасно, все, что вам не нравится, я без малейшего ропота признаю великим преступленьем.

— Вы будете к нам завтра? — спросила она у него.

— Буду, княжна,— отвечал Г.., повернулся от нее не довольно вежливо и опять остолбенел. Молодой человек разговаривал игриво и чрезвычайно развязно

с одной дамой, вдали виднелись его распаленные щеки, его волосы, растрепанные в вихре вальса, ему не было дела ни до любви, ни до ревности, он не отыскивал истины, не подозревал лицемерия, а просто находился в блаженном и торжественном состоянье. Г... взглянул опять на княжну. Она не обрадовалась еще ответу, она стояла по-прежнему, преклонив свою душу перед своим жестоким судьей. Ее прекрасное платье потеряло в волненьях вечера первоначальную свежесть, букет цветов находился уже в таком положенье, что, верно, не так был приколон.

— Буду, непременно буду,— повторил Г... тоном человека, который неизвестно с кем говорит, с вами или с собой.— Да отчего ж мне не быть? — прибавил он, продолжая разговаривать с каким-то привиденьем. Последние слова давали княжне чувствовать неловкость и неосторожность вопроса, сделанного ею. В самом деле, отчего ему не быть? разве их отношения изменились совершенно в несколько секунд? разве он имел основательную причину отказаться от выпрошенной четверти часа? разве... но где перечесть все, что можно иногда передумать, выходя из залы?..

Едва Г... вышел, как мать и сестры кинулись к княжне.

VII

Приехав к себе, Г... был очень недоволен освещением, с каким обыкновенно встречали его, когда он возвращался поздно, и на которое прежде ни разу не обратил вниманья. Ему показалось темно, нестерпимо темно, и загорелись свечи, осветились комнаты некстати, не вовремя, без всякой видимой надобности. Света, огней, жизни требовал он, а не постели, не тихой ночи, не отдыха после длинного дня и утомительного вечера. Ему не соскучилось еще бодрствовать, отправлять дневную работу существа разумного, не надоело мыслить и чувствовать, ворочать глаза во все стороны, носиться с головой, которая беспрестанно что-нибудь да думает. Праздновал ли он наедине с самим собою неожиданное открытие, гениальную находку, или хотел без свидетелей наглядеться на свою роскошь, упиться могуществом своего богатства, пересчитать, у скольких миллионов людей нет того, что у него есть, а потом уже лечь покойно и заснуть счастливо? Правую руку он держал за жилетом, на груди, мял гал-

стук, терзал рубашку, захватывал тело; пальцы его пытались пробраться глубже, искали дороги к несносному чувству, которое поместилось где-то внутри. Мрачно озирался он, как будто попал в незнакомый дом, как будто шелковые стены, бронза, мрамор, картины предвозвещали скорое появление духов, владетелей этого великолепия. Мертвая тишина везде. Ни шороха ног, ни стука кареты. Дом и город, казалось, только построены, а не населены. С ужасом всматривался он в украшения своих комнат, в дорогие предметы искусства и чудеса промышленности. Не им ли, не этим ли игрушкам, накупленным бог знает зачем, обязан он и правом любить и правом свататься? без них что он может? чего будет стоить? без них не отнимут ли у него воздуха, которым дышит, неба, на которое глядит, прекрасной княжны, куда ездит?

Он стоял с глазу на глаз с своим богатством, и некуда было повернуться ему: везде попадались навстречу какие-то сокровища, все неодушевленное разговаривало с ним, живым, все шумело ему в уши: «Сколько у тебя денег!..» Но вместо того чтоб от такого приятного напоминания прийти в себя, утешиться, помириться с молодыми людьми, княжнами, княгинями и со всем добрым человечеством, Г... впал в уныние, опустил руки, наклонил голову. Тоска, глубокая тоска или, лучше, чувство самого едкого униженья выразилось в чертах его лица. Он изнемогал перед своей собственной силой, не выдерживал сравненья с прелестями собственного дома. Эта картина лучше своего владельца, формы этой статуи, выписанной из Италии, лучше нескладных форм человека. Всякое нежное сердце растает здесь перед изящными произведеньями, отдаст справедливость парижской бронзе, английским коврам и простит непременно недостатки хозяина из уважения к его мебели. Грустно оглядывался Г.., не послышится ли из какого-нибудь угла грубый голос правды, жестокое слово со дна женского сердца, не сверкнут ли суровые, но по крайней мере искренние взгляды?.. Он вымаливал у этих стен светлого призрака, появленья чистой души, а перед ним блистала позолота да лоснился шелк. Расхаживай по комнатам сколько угодно, наслаждайся бессонницей, мучь до утра свое воображенье, тебе не пригрезятся бесчувственные глаза, гордая осанка, холодное лицо; перед тобою явятся женские тени, но явятся не

в строгом виде,— вечно милые, с благосклонной улыбкой, с ласковым языком... здесь так хорошо, так покойно, столько вкуса, здесь кто решится сказать, что́ думает, кто полезет сюда с правдой, как на улицу?.. Истерзанный внутренними волненьями, он медленно подошел к бюро, отпер и выдвинул ящик. Лицо его приняло выражение менее поэтическое, но более глубокое, более основательное.

Тут представился ему предмет другой важности, лежала кипа небольших бумаг, сложенных вдвое. Дело шло уже не о комнатах, прекрасно убранных, не о стульчиках да картинках, не о столярах да художниках, тут вкратце, вчерне хранились все произведенья природы, ее восхитительные климаты, нежные растенья, целая земля и полный человек. В уютном ящике, на пространстве нескольких вершков, помещалось неимоверное количество удовольствий и мучений, самых утешительных добродетелей, самых высоких чувств. Бумаги лежали скромно, не шевелились, без всякого сознания собственного достоинства!.. Приятно бы видеть такое смирение силы, но это была безобразная смесь, нелепый хаос: противоположные вещи, разнородные созданья божьего мира покоились вместе, и у них царствовало какое-то отвратительное равенство. Оттуда можно было вынуть все, что вздумается: вечную любовь и лакомый обед; дружбу по гроб и тонкое вино; непреодолимую страсть, свободу, рабство, узы родства, почтительных детей, и чудный экипаж, и модное платье, все открытия образованности, все дары просвещения, все, что великого ни сотворит гений, что ни выглянет на свет милого, прекрасного, доброго. Г... смотрел на бумаги, стан его принял гордое положение, голова отшатнулась назад, руки сложились крестом; он не признавал этой страшной власти, он рвался прочь от нее и между тем не мог отделаться; напрасно его надменный вид обнаруживал презренье: к благородному порыву примешивалось чувство зависимости; ропот души выказывался невольно, глаза наливались негодованьем... его счастие, его надежды, его права — все это было не в нем, а в проклятом ящике... Да, пусть в эту глухую ночь, при этой тишине какой-нибудь дьявол просунет голову сквозь этот паркет, выползет из-под этого ковра и наважденьем адского взгляда сотрет твое имя на этих бумагах, а поставит другое, кого больше любит; пусть

перелетят они отсюда в соседний дом, передадутся в чужие руки, исчезнут с лица земли, и завтра ты разлетишься к княгине, но войдешь уже в сени не теми ногами; не так дерзко будет висеть на плечах твой плащ, ты не узнаешь ни стен, ни людей; лакей едва приподнимется. «Княгини нет дома, княгиня одевается, княгиня отдыхает, княгиня дремлет, княгиня занята, княгиня мирит царства, заводит войну, богу известно, что делает, да только не изволит принимать...» Теперь дело другое, теперь смотри на эти бумаги, кланяйся им, ползай перед ними, для тебя нет положенного времени, урочного часа, теперь двери настежь, лакей только что отворяет да посторанивается: «Княгини нет дома, дома барышни, пожалуйте; княгиня едет, пожалуйте; княгиня больна, пожалуйте. Княгиня лежит в постели, умирает, послала за попом и все-таки пожалуйте». Г... побледнел, губы его дрожали от гнева, но тотчас отвернулся от бумаг: как ни сердись, а с ними нечего делать, это вещь неприкосновенная, на них не поднимется рука: он в исступлении окинул глазами комнату, кругом его отвратительный комфорт... Быстро подошел к окну, с какой-то злостью остановился перед ним, схватил великолепные занавесы, рванул изо всех сил, и бесподобные украшенья упали к его ногам в самом жалком виде. Краска выступила у него на щеках, он нагнулся, поглядел, задумался и стал спокойнее, точно нашел средство избавиться, наконец, от денег без вреда самому себе, сделаться бедным без страданий бедности и увериться, любит княжна или обманывает. Через несколько секунд после такого безрассудного действия Г.., не раздевшись, бросился на диван в совершенном изнеможении.

VIII

На другой день, тотчас после обеда, княжна Софья сидела у растворенного окна. Деревья сада мешали видеть и проходящих и экипажи. Ей нечего было наблюдать, не на кого смотреть; она сидела, положив голову на руку, облокотясь о мраморную доску окна, и чертила по ней пальцем какие-то каббалистические знаки. Глаза ее следовали пристально за невидимым рисунком. Казалось, что ей была понятна эта тарабарская грамота и что холодный мрамор принимал в себя каждое прикосновенье волшебного пальца. Ничтожное занятие производило глубокое впечатление. Надлежало заключить, что она провела утро в празд-

ности, не в забавах, не в пустой суете, а что ее душу посетили суровые размышленья. Это было, как я сказал, после обеда, и, однако ж, княжна находилась в таком духовном состоянии, что, по всему вероятию, не только сама не ела ничего, но, конечно, отворачивалась, когда ели и другие. Стук на мостовой не извлекал ее из задумчивости. В это время дня гремят по большей части одни дрожки, а на них не стоит обращать вниманья. Иногда, правда, что-то походило на карету или коляску; княжна останавливала свой палец, приподнимала голову, но медленно, без особенного движенья, держала ее несколько секунд, отделив от руки, потом опускала опять, потом продолжала опять чертить. Это не та карета, не та коляска, это ехал кто-то далеко, на край Москвы, неизвестно к кому. Княжне было грустно, княжне было скучно, но вместе и досадно. Раза два она схватывала мраморную доску за край, как будто пробовала, не выломит ли из нее хоть крошечный кусок. Разумеется, такое богатырское дело оказывалось ей не по силам. Вдали, в глубине комнат, что-то белелось, порхало, чуть-чуть переносилось с места на место. Это были ее мысли в видимых образах, тени, не издающие никакого звука, существа, принявшие на свое сердце чужое беспокойство и чужие мученья. Это были ее сестры, которые не могли усесться. Ни одна из них не подошла к ней, не сказала ей ни слова, не осмелилась взглянуть на нее, ни одна не повернулась так неосторожно, чтоб легкий шум платья или шорох ноги коснулся до слуха милой сестры, напомнил ей, что тут есть свидетели, которые видят состояние ее души, знают ее ошибку и отчаиваются, как она. Что́ терзать состраданьем, мучить утешеньями, оскорблять надеждой и без того расстроенное сердце? Иногда всякий взгляд, всякий шаг, всякое слово близкого человека только что растравляет свежую рану. Весь дом замер. После грешных веселий вчерашнего дня он преобразился и сделался похож на тихий приют добродетели. Княжна утомилась, наконец, сидеть согнувшись и встала, но уже не так живо, как вставала прежде. Походка не имела той бодрости, ноги едва волочились одна за другою. Подошла к часам, половина восьмого. Рано для обыкновенного визита, ужасно поздно для того, кому сказано: приезжайте пораньше. Несносный маятник стукал беспрестанно. Время шло и ничего не приносило с собой. Орлиный взгляд княжны

впился в стрелку, которая прыгала по секундам, но и стрелка не останавливалась. Вот еще четверть часа вон из жизни. Каждая минута становилась драгоценней. Несколько ударов маятника, и Г... уже, конечно, не будет. Блестящие надежды, гордые замыслы, столько утех тщеславия, столько шалостей воображенья, столько жизни, употребленной на одну заботу, на одну мысль, на одну цель,— все по-пустому, надо отказаться от всего, и это по милости двух-трех кругов вальса: княжна не отходила прочь от часов. Проклятое время, с которым вечно должно соображаться!.. Ее лицо, весь стан, все члены находились в оцепенении, только два пальца руки, державшие ленту пояса, занимались счетом секунд и вздрагивали в такт со всяким прыжком стрелки. Но и это движенье прекращалось, и пальцы немели, когда что-нибудь ехало по улице. Теперь не нужно уже было кареты или коляски, чтобы подействовать на аристократический слух княжны,— дрожки, извозчик, телега, всякая мерзость делала из нее совершенную статую. Ее понятия об экипажах перепутались, сумасбродный дух равенства овладел ею, там тащились ломовые дроги, а она, бедная, едва-едва повертывала глаза на окно, взглядывала искоса, взглядывала робко и не переводила дыханья, чтобы не помешать им ехать. Ударило восемь, и что-то ужасно загремело. Дом задрожал. Какой-то сорванец несся мимо с нестерпимым треском. Княжна бросилась к окну, высунулась немного, но там все зелень да цветы, все прекрасная природа, покрытая пылью... Она не стала наслаждаться этой прекрасной картиной, а очень проворно повернула спину, толкнула кресло, и, ломая руки, остановилась перед анфиладой комнат. Сестры ее, которых прежде было видно, тотчас исчезли. Она стояла одна, никого перед нею, она уже не прислушивалась ни к бою часов, ни к уличному шуму, а смотрела в глубину, во внутренность дома. Не уйти ль ей из гостиных, не убежать ли к себе в спальню или кабинет? Там можно кинуться в отчаянье на диван, спрятать лицо в подушку, облить ее слезами, можно с досады исковеркать что-нибудь. В эту минуту позади ее что-то заходило, растворились какие-то двери, человек доложил, и вслед за ним показался Г... Он шел медленно, приподняв немного голову; в левой руке у него была шляпа с палкой, правая играла на лбу концами его густых волос. Княжна на этот раз против

обыкновения встретила гостя сама, а не пустила вперед своих сестер...

Если вам случалось играть в карты и проиграться в пух; если в этот ужасный вечер или, лучше, в эту ужасную ночь ваш противник, обобрав у вас все деньги, кидался к вам на шею, прижимал с чувством к своей груди и только не разливался в слезах, что долго не увидится с вами, потому что завтра чем свет едет в деревню или на Кавказ; если никакие увещанья с вашей стороны не могли тронуть его и заставить отказаться от такого бесчеловечного намеренья,— то вспомните же это утро, это завтра, когда вы, не сомкнув глаз, приподнимались на постели, садились и думали, что он теперь едет, едет с вашими деньгами, что можно отыграться, да не у него, можно иметь деньги, да не те, которые он увез. Теперь представьте, что этот злодей в ту самую минуту, как вы мучаетесь, воображая его на большой дороге, входит к вам... что тогда бывало с вами? Только с вашим тогдашним чувством могу я сравнить чувство княжны. Глаза ее засверкали, лицо ожило, все черты, все движенья выразили эту твердую уверенность, это энергическое состоянье души, когда тихонько говоришь себе: «Нет, теперь уж ты не поедешь в деревню, не отправишься на Кавказ, теперь уж я тебя не выпущу, теперь я отыграюсь». Такая неосновательная радость, а может быть, и то, что княжна обращала, вероятно, больше вниманья на душевные свойства, чем на лицо, помешали ей заметить, что Г... приехал не играть, что он также не спал всю ночь, терзаемый другого рода мыслями, и что при виде его нечему еще было веселиться. Он подошел к ней и остановился, не говоря ни слова.

— А маменька сейчас будет,— сказала княжна,— поехала куда-то.

— Поехала!.. Куда ж она поехала? — спросил Г... Это был один из тех вопросов, на которые не нужно отвечать.

Княжна переменила речь и заговорила очень скоро:

— А вы меня застали в большой радости. Сию минуту, перед вами, я получила подарок. Брюллов, бывши в одном доме, нарисовал простым карандашом эскиз какой-то будущей картины... Мне так хотелось иметь этот рисунок... Я так просила... хотите видеть? Я уж вклеила его в альбом, боюсь только, чтоб карандаш не стерся.

Восхищенная княжна, не дожидаясь ответа, повернулась резво и почти побежала. Г... пошел за нею и встретил ее сестер; остановился с ними, чему-то улыбнулся, над чем-то подшутил; они рассердились, отвернулись и ушли от него в противоположную сторону той, куда отправилась главная из них; она же между тем стояла уже вдали с развернутым альбомом в руках, не трогалась от восторга с места и в художническом забытьи повторяла: «Прелестно, посмотрите», Г... дошел, наконец, до нее. Княжна, чтоб покойней рассматривать эскиз, вдвинулась в глубину комнаты и опустила альбом на стол, не выпуская его совсем из рук и не сводя с него глаз...

Тут по разным мебелям было разбросано несколько английских кипсеков, несколько героинь Байрона; на стене висел портрет брата княжны, прелестного молодого человека в адъютантском мундире, лежали две-три развернутых книги, чуть ли также не все английские, и гравюра паровых карет, унизанных человеческими фигурами.

В скромном углу, на крошечном столике, пышный букет розанов, погруженный в воду, издавал еще тонкий запах, едва чувствительный самому нежному обонянью. Окна были заставлены стеклянными ширмами фабрики Орлова; их живые краски спорили с свежестью божьих цветов и зелени. Стояли пяльцы; на потолке готический фонарь, а к довершению чудные готические кресла. Формы средних веков, наследство от замков и рыцарей было перенесено в Москву неизвестно по какому праву и перемешано с принадлежностями новейшей образованности. Я не говорю о дамских безделицах, разложенных на так называемом письменном столе.

Что это была за комната? какое ей дать названье? Но комната мирная, комната небольшая, в ней ловко остаться вдвоем и прошептать тихое слово любви. Княжна смотрела в альбом и никуда более, наклоняла голову то в ту, то в другую сторону, сыпала похвалы, однако ж скромные, без малейшей дерзости в голосе. Между тем никто тут не вторил ей, никто не принимал участия в успехах отечественной живописи. Надо было видеть, надо было взглянуть, чтоб удостовериться в присутствии живого существа и убедиться вполне, что не призрак, а истинный человек вошел сюда за нею. Этого княжна не осмеливалась еще сделать. Как взглянуть на того, кто сейчас положит к вашим

ногам свое сердце, свою голову и свои миллионы? Искушенная светом, испытанная в премудрости притворства, она не могла, однако ж, противостать своему положению и, по примеру прошлых дней, угомонить внутреннюю тревогу. Румянец благочестивой робости вспыхнул живее на ее белых щеках, голос начал замирать, она замолчала; она продолжала еще вертеть альбом, но не знала уже, куда деваться ей с живописью, чем спастись от ужасной тишины, которая распространилась кругом. Возле нее в двух шагах стоял знакомый мужчина; сию минуту она видела, слышала, чувствовала его, но куда ж он девался? Тут нет никого, кроме ее; тут только она чуть-чуть переводит дыханье, только она пугается беспрестанно шума альбомных листов и беспрестанно шумит ими. Не растаял ли он в ароматном воздухе этой комнаты, не проскользнул ли сквозь стену, не окаменел ли на месте от созерцанья красоты? Княжна находилась в большом затруднении... Прервать молчанье, когда оно завязывалось уже не на шутку, есть дело самое трудное.

Чтоб как-нибудь ободрить себя, чтоб быстрым движеньем, решительной мерой выйти из этого несносного состояния, высвободиться из-под смертоносных взглядов какого-то остолбенелого существа, она кинула альбом, повернулась проворно и села, но в ту же минуту, по несчастной привычке, навела искоса свои проницательные глаза на тот пункт, где следовало ей, наконец, отыскать своего собеседника, посмотрела на него лукаво, обольстительно, ужасно. Комната ожила, комната населилась людьми. Чья-то палка неизвестно от какой причины хлопнулась об пол с великим треском. Княжна вздрогнула, и ее глазам представился Г... в полном своем виде, мрачный, с навислыми бровями. Он стоял согнувшись позади готических кресел, крепко держался за их спинку и гляделся пристально в бархатную подушку. Паденье палки не возбудило в нем чувствительности и не развязало его языка. Это была застенчивость, свойственная всякому мужчине, который не знает, с чего начинаются нежные излияния сердца; а потому княжна уселась так благосклонно, в ее улыбке, на ее розовых щеках появилось столько доброты, столько человеколюбивого снисхожденья, что можно было начать с чего угодно.

Опять наступила тишина.

Через несколько секунд Г... поднял голову.

— Княжна,— сказал он твердым голосом,— позволите ли вы говорить с вами откровенно?

Она положила на стол конец своего пояса, взяла в руку перламутровый ножик и занялась ими.

— Вы позволите? — продолжал Г.., вытянувшись во всю длину своего роста и сложив руки на груди.

— Но, может быть, мы имеем разные понятия об откровенности. Я должен вам заметить, что на моем языке это слово не есть пустой звук; оно обыкновенно не заключает в себе никакой важности и не имеет ни на волос смысла. Моя откровенность стоит мне дорого. Я приготовлялся к ней. В продолжение нашего знакомства вы сделали на меня такое сильное впечатление, что мне захотелось быть с вами совершенно искренним. Этого желанья я не мог преодолеть и испытываю его в первый раз в моей жизни. Не знаю, есть ли тут что-нибудь лестного для вас, но признаюсь, сказать вам и вам одной, что у меня на душе, какие б ни были последствия нашего разговора,— мне это кажется величайшим блаженством.

Г... остановился, княжна подождала немного, не заговорит ли он, потом была вынуждена отвечать.

— Я уже согласилась выслушать вас,— сказала она очень тихо, продолжая разглаживать ножиком свою ленту.

— Да. Но вы воображаете, что так как я необходимо стану говорить человеческим языком, так как на мне человеческий образ, то разговор наш примет обыкновенное направление и пойдет по заученным правилам. Нет, княжна, мне уже несносны уроки воспитания и законы света,— не правда ли, что, наконец, становится невыносимым наш ежедневный способ выражаться, то есть лгать и обманывать друг друга. Я хочу сказать все, что не говорится, а только думается; я из уважения к истине, наперекор учтивости, каждую мысль и каждое чувство назову их настоящим именем. Перенесете ли вы суровую искренность мужчины? поймете ли удовольствие отделиться на несколько минут от людей, от их привычек и предрассудков, заглушить пустое самолюбие, сделаться посторонним самому себе, стать выше самого себя; раскрыть свою душу до ее последних изгибов, признаться, что в ней есть хорошего и дурного, произнести свой собственный суд холодно, рассудительно и приговорить себя к смерти, если надо?

Княжна посмотрела на него очень важно и наклонилась опять к своей ленте. Можно б подумать, что она читает вступленье в какой-нибудь роман Вальтера Скотта. Скучно, чрезвычайно скучно, а надо читать, будет весело.

— Вы, конечно,— продолжал Г.., не переменяя положения и не разводя рук, сложенных по-наполеоновски,— желали иногда сказать вашему кавалеру на бале: «как ты несносен», вашей приятельнице: «как ты мне надоела»; вашей гувернантке: «какому вздору ты меня учишь!» — желали и не могли. Нельзя этого сказать, они рассердятся. Свет возопиет против вас. Но такого рода неудовлетворенные желанья не составляют еще великого несчастья. Вам, вероятно, случалось страдать сильней, мучиться искренностью более высокой и более существенной. Да, безумие находит на человека и в полном уме. Иногда без всякой цели, не во вред ближним и не в пользу себе, а так, бог знает из чего, прокричал бы громко все свои мысли и чувства, навязал бы каждому встречному свое мнение о нем. Чувствуешь, что после такого поступка сделался б милее самому себе, лучше, благородней, и между тем ходишь, притаив дыханье, ходишь молча в этой толпе, где тот, кого ненавидишь, думает, что ты его любишь, а по ком умираешь от любви, тот дрожит твоей ненависти. Ах, княжна, можно прийти в ужас от нашей второй природы: ее называют нравами, воспитаньем, обычаями и чем еще?.. не правда ли, что надо схватиться с радостью ребенка за такую секунду, когда представляется возможность дать полную волю благородным побужденьям сердца? Перед вами стоит человек, которому вы можете сказать в глаза все, что думаете; с ним вы можете рассуждать о нем так же смело, как об этих креслах: самую горькую правду, но только правду он примет как милость, как первое счастье в жизни, как такое благодеянье, которого не осмелится просить у бога во второй раз. Забудемте, что мы в населенном городе, живем в обществе, с людьми, что там, за этими окнами, они ездят, ходят и говорят по-своему, станемте говорить не так, как они.

— Какой правды требуете вы от меня? — спросила княжна самыми нежными, самыми невинными и стыдливыми звуками. Ее голос выражал и детскую непривычку к головоломным разговорам, и прелестную

непонятливость, и обворожительный страх, и тайную надежду.— Я, кажется, столько уже вас знаю, что говорить откровенно с вами мне будет приятней, чем со всеми другими.— Тут она подвинула к себе гравюру паровой кареты и так близко наклонилась к столу, что едва не положила на него лица. Движенье княжны было до того мило, что не гармонировало нисколько с суровыми приемами мужчины; даже в пальцах ее, когда они чуть-чуть дотронулись до картинки, обнаружилась душа, настроенная в эту минуту иначе, расположенная только к мягкости, кротости и добру, душа, неспособная зарезать словом, сделать несчастным...

Г... схватился опять за спинку кресел и с усилием оперся на них обеими руками.

— Княжна,— сказал он с убийственным холодом, уставив свои глаза на нее гораздо пристальней прежнего,— вас отдадут за меня, и вы пойдете.

Она вся вспыхнула, отвернулась и встала; она взглянула на дверь, но не сдвинулась с места; она стояла беззащитная и не знала, что делать... Где у нее оружие против дерзкого языка? где у нее сила против грубой мужской силы?

— Э, боже мой! — сказал Г.., не дав ей времени опомниться и покачнув головой с приметным негодованьем,— у ваших ног лежал бы умирающий, к вам одним обращал бы он шепотом первую и последнюю исповедь своего сердца,— вы и тут нашли бы, куда поместить свое женское тщеславие, вы не простили бы ему прямого, точного, нековарного выраженья, когда уж он заботился бы не о словах, а о душе?.. Разве я говорю затем, чтоб оскорблять вас? разве я хочу хвастать своей победой над вами? разве я созвал сюда свидетелей? разве есть на земле еще кто-нибудь, при ком повернется мой язык повторить то, что будет сказано в этой комнате? Я говорю потому, что вы так думаете, потому что так думают ваши родные, потому, что это правда, а нам следует теперь разобрать основательно наши с вами отношения и цель этих отношений. Да отчего же и не желать выйти за меня? отчего не стараться об этом? Что тут дурного? Напротив, вы поступили бы дурно, если б не желали. Сядьте, княжна. Будемте хладнокровны. Я не стар, не безобразен, в смысле света хорошо воспитан, образован, довольно умен, живу не как степной варвар, принадлежу к тому же роду людей, к какому

и вы, чистых нравов, доброго характера; известен за честного и благородного человека... Мы будем с вами непременно счастливы, я нисколько не сомневаюсь,— вы будете прекрасной женой, а я очень хорошим мужем, мы даже никогда не узнаем, любили ли друг друга до свадьбы; то верно, что будем любить. Теперь бояться нечего, теперь все без исключения счастливы, несчастных браков нет оттого, что супружеское счастье не чувство, а уменье, а мы чего не умеем в наш век? Наконец я богат, богат,— повторил Г... с странным ожесточением,— из всех же несчастий, которых сумма называется жизнию, самое приятное, разумеется, богатство. Видите ли, вам можно признаться в своих намереньях, отчего не говорить о них громко при всех? Если б вы отвечали мне: «Да, отдадут, и я пойду»,— кто осудит вас? кто смеет осудить? Вы исполняете все условия общества, все требования человеческого разума, все обычаи и законы,— чего еще людям надо? где у них написано, что это не водится? что брак, основанный на самом зрелом размышлении, следует считать ужасным преступлением?

— Я не размышляла, я не думала о людях, я не пересчитывала ваших достоинств и не знала, сколько их у вас, я была в заблуждении.— Последнее слово проговорила княжна таким голосом, как будто собиралась плакать. Она еще больше отвернулась, чтоб спрятать свое лицо, которое поддерживала ладонью, именно с той стороны, где стоял Г.., и про себя прибавила: «В приятном заблуждении».

— Я не обвиняю, а оправдываю вас, княжна,— продолжал он, бесчувственный к слезливому расположению духа.— Если б я знал, что́ вы думаете, и не говорил вслух, что́ думаю сам, неужели это было бы лучше? Оцените, пожалуйста, мою искренность. Да, ни я, ни другие не обвиним вас; обвинят те, которые станут завидовать, которые рады будут принять яду, умереть преждевременной смертью, чтоб только помешать нашему соединенью. Стало быть, у нас все устроено и слажено, стоит мне отнестись к вашей матушке, и перед нами раскроется прекрасная будущность, тихая или шумная жизнь, какая угодно.

Княжна обернулась к нему и взглянула во все глаза.

— Но,— сказал Г.., щупая пальцами готическую резьбу кресел,— чем судьба наделила меня, чтоб быть достойным вашей руки, наделила недаром. Пе-

редо мной счастье, во мне полное убежденье, я вижу целую мою жизнь с вами, ничего не могу придумать лучше, уладить вернее, и мне мало этого. Я желал бы, княжна, чтоб ваше согласие не было делом рассудка и не происходило ни от моих достоинств, ни от моих преимуществ перед другими. Знаю, что все равно, так или иначе; какова ни будет причина, последствия будут прекрасны: чувствую, что это ни к чему не ведет, что это совсем не нужно, что это не прибавит ни на волос моего благополучия,— пустая прихоть, детские понятия... но что делать? Желанье существует, оно есть, оно факт, я не в силах стереть его с сердца, вырвать из несчастной груди; мне хочется иметь уверенность, что, если б черты мои отвратительно исказились и я разорился б в прах, то вы пошли бы за нищего, то и тогда в целом свете не отыскалось бы другого, кому б вы отдали свою руку. Вникните, княжна, в мое безумие. Мне хочется этого безотчетного чувства, которое ни на чем не основано, ни за что не держится и не опирается ни на что? родится само собою, берется бог знает откуда и не знает, так сказать, на земле ни отца, ни матери; этой чистой, обольстительной, но глупой любви, которая предпочитает урода красавцу и дурака гению. Не приписывайте, однако ж, моего желанья, этого прекрасного плода, доброму корню; я неумолим к себе, во мне есть другой я, и в эту святую минуту нет у меня с ним ничего общего. Желанье мое не чувствительность, не нежность, не добродетель; это бесчеловечная гордость, гнусное тщеславие, развитое скверным воспитанием; это адский деспотизм, к которому приучили меня деньги. К вашей совести отношусь я, княжна.— Г... отодвинул кресла, чтоб дать себе место, его смуглые щеки раскраснелись.— Я стою перед вами безоружный, нет у меня всеведущего ума, всевидящих глаз, нет именно того, что нужно. Кроме вашего слова, вашего искреннего, благородного слова, я не имею никаких средств узнать истину. Вы сидите передо мной, вы остаетесь здесь, вы смотрите без гнева, слушаете снисходительно, но это сделают и другие. Что происходит у вас на сердце? Какая сила держит на этом диване? Какая мысль запала к вам в душу, как мы встретились в первый раз? Тогда все по углам жужжали: «Он богат», все указывали на меня, как на зверя, которого надо растерзать. Может

быть, этим толкам, этой молве обязан я, что вы обратили на меня вниманье. Скажите, княжна, не бойтесь обидеть, я неуязвляем, грудь моя горит не столько жаждой любви, сколько жаждой правды. Вы видите, я весь отдаюсь вам, я ни одной мысли не прячу от вас... любите ли вы меня? чувствуете ли, что эта любовь устояла бы против всех искушений судьбы, против всех ее ударов? Они ведь сейчас могут обрушиться на мою голову... скажите, вы ничего не потеряете.

Княжна вышла из онемения, глаза ее блеснули, она наклонилась вперед, хотела что-то сказать, но вдруг отшатнулась, вытянулась чрезвычайно прямо, опустила черные ресницы, приняла вид, что или осердилась на себя за свой невольный порыв, или посовестилась солгать, и отвечала с достоинством:

— Зачем вы здесь? зачем вы говорите со мной, если до сих пор не умели еще сами разрешить своего вопроса? Я не намерена быть игрушкой ваших сомнений. Верьте больше слову, чем делу, думайте, что вам угодно.— Тут она проворно закрыла лицо руками, облокотилась на стол и с глубоким вздохом, едва внятно простонала: — Боже мой, боже мой!

Г... окинул ее глазами и с приметным сожаленьем сказал:

— Ах, о чем я вас спрашиваю? Вы не можете разобрать своего чувства, оно засорено чужими мненьями. Вам и хотелось бы отвечать люблю или не люблю, да нельзя. Не люблю, и мы разойдемся, нам нечего больше делать, а вы должны выйти за богатого, вам нельзя обойтись без богатства: условия, при каких мы существуем, жизнь, как она нам дана, истины, которые в ходу, люди и вещи, все требует, чтоб мы удерживали бескорыстные порывы души, переламывали ее, если она бунтует. Это новая обязанность, прибавленная к обязанностям человека, это наш долг, а не дурной поступок, это только что самосохранение, только что не самоубийство.

— Надеюсь, я не обязана отвечать за чувства, какие вы мне приписываете. Чего вы хотите? что́ можно понять из ваших слов? Оставимте меня. Я не говорю уже о себе. После таких странных подозрений... но, положимте, другая и сказала бы вам: «Я, право, не думаю о вашем богатстве, с чего вы взяли? кто вложил вам в голову эту несчастную мысль?» Что ж было б? Ведь вы не поверите, вы непременно требуете ненави-

сти, у вас только одна правда, у вас тот искренен, кто скажет: «Я беспрестанно думаю о ваших деньгах, я хочу ваших денег»; да помилуйте, что это за ужас!

Лицо княжны, лежавшее на ладонях, разгорелось: глаза ее, долго закрытые, дурно, казалось, видели; она была расстроена, она была отдана на жертву обидным сомненьям мужчины и, однако ж, говорила таким кротким голосом, что разговор должен бы, наконец, принять направление менее беспокойное и менее неприличное, но в чертах ее непреклонного собеседника виднелась все та же и одна упорная мысль.

— Нет,— сказал он рассеянно, взглянув в потолок,— я не ненависти хочу; простите меня, я сделал вам нелепый вопрос. Вы не свободны, вы не можете дать мне ответа, как я его понимаю. Вы не виноваты, что на моей стороне целый свет, положение ваших дел, ваши родные, ваш собственный рассудок, все надежды, какие вам внушали, все обольщенья, какими вас портили, виноват я, что у меня столько совершенств. Но если вы пойдете из того только, что надо пойти, то не забудьте, богатство, которое дает мне такую ужасную цену, это богатство, оно все-таки будет мое. Не ошибайтесь. Люди менее расчетливы, чем воображают. Говорили ли они вам, что у них нет такого сильного чувства, нет таких близких сношений, которые сгладили бы этот оттенок? Деньги важны не потому, что на них купишь, а потому, что можешь купить. Этого удовольствия вы не узнаете, вы не будете иметь понятия об этой дьявольской гордости. С моим характером я сделаю себе великое наслаждение из вашей зависимости. Я стану необходимым посредником между жизнию и вами. Каждая вещь, чтоб дойти до вас, пройдет через меня. Мужчина берет силой, женщина берет лаской. Нарядное платье, роскошная комната, безделки вашего туалета — это буду я, везде я, не будет места для ваших глаз, угла для вашей мысли; все, что бросится потом под ноги, выкинется за окно, за все вы заплатите мне нежным взглядом, ангельской улыбкой. Что ж, если со временем встретите вы кого-нибудь, при ком сердце ваше забьется другим образом и нарисует перед вами картину другого счастья! Он пройдет мимо, он только мелькнет подле вас, но оставит по себе вечную тоску и самое едкое раскаяние. Он отмстит вам за меня, за эту минуту, как я стою здесь с таким ребяческим чувством

и говорю против себя все, что имею сказать. Вам придет на память наш теперешний разговор, да будет поздно; вы услышите шорох моих ног, вы не осмелитесь выронить слезы, она навернется у вас на глазах, но воротится назад... Княжна, вы покажетесь мне с светлым лицом, вы станете уверять меня, что не знаете, куда деваться от своего благополучия,— нельзя уже будет избавиться от моего богатства, до гроба надо будет наслаждаться им.

— Это не помешает вашему счастию,— сказала княжна, выведенная уже из терпения, с приметной досадой.— Вас будут любить искренно, вы будете думать, что это притворство... Ну, а если станут притворяться так хорошо, что вы не узнаете природы с искусством, не все ли равно для вас? Ведь вы заботитесь только о себе, вам, например, нет никакого дела, как слова ваши действуют на других...

Г... взялся одной рукой за лоб, а другою за затылок, стиснув свою голову, и заговорил почти шепотом:

— Я сказал, что ожидает вас, если вы пойдете за меня не по любви, но если откажете, то в наказание за ваше благородство, за величие вашей души,— о, я знаю длинную цепь страданий, через которую, пожалуй, проведет вас алчный свет! Вы можете не встретить человека, кто б вам понравился; можете встретить, да он станет требовать денег, денег... Княжна, я не за тем здесь, чтоб вы пострадали за свою искренность. Я не могу вынести этой мысли... Верите ли, что нас здесь двое, что ни завтра, ни после, ни в продолжение целой вечности не будет третьего у нашей тайны?.. Всмотритесь в выраженье моего лица, вслушайтесь в звуки моего голоса,— так не лгут, так не обманывают...

Г... поднял рукою волосы, подвинулся к столу, наклонился с таинственностью; княжна смотрела на него в совершенном изумлении, он увлекал ее за собою в какой-то непостижимый мир, краска на ее щеках начинала пропадать.

— Что я говорю? — продолжал он,— забудьте мое имя, я не живой человек, я дух, посланный к вам судьбою. Она дала вам красоту, ум и, верно, прекрасное сердце, но тут же сделала ошибку и теперь хочет поправить ее... На что эти чудные сокровища? на что ваша прелестная молодость, если вы не имеете права беречь этой святыни с благоговением, если в каждую

минуту для женщины, в минуту ее великого подвига, вы должны обмануть того, кто полагается на вашу совесть, должны поступить так же, как поступает все, что есть отвратительного и безобразного на свете... Бог только видит нас... Я даю вам честное слово, клянусь всем святым, что никто не узнает...

— Чего не узнает? — спросила княжна, придвинувшись к столу с беспокойством и нетерпеньем.

Г... смешался, точно не предвидел вопроса или истощил уже все свое мужество, но перед ним сверкнули вкрадчивые глаза, мелькнул опять этот лукавый взгляд, который вечно ободрял его неверие. Он вынул из кармана пук бумаг и с злою полуулыбкой, сквозь которую белелись его прекрасные зубы, сказал:

— Что я ни делай с этими бумагами, как долго ни ворочай в руках, как ни держи крепко, бояться нечего: на них не останется следа от моих пальцев и никакой памяти обо мне. Никто не отгадает, откуда они, где были, близ чьего сердца лежали, у них нет ни малейшего чувства привязанности ни к месту, ни к человеку,— это что-то тверже мрамора, холоднее льда; зато и мне так же мало их жаль, как им меня. Тут пятьсот тысяч... Вы меня любите — они мои; не любите — они ваши.

Г... положил ломбардные билеты на стол, но они тотчас полетели на пол. Княжна толкнула их с ужасным негодованием.

— Как видно, что вы были откупщик,— сказала она судорожным голосом и залилась слезами.— Как вы смеете предлагать? Я не хочу ваших денег, не хочу вашей любви, не хочу счастия.

Г... задрожал. Ни угрюмые брови, ни смуглое лицо не помешали радости выразиться в его чертах с необыкновенным огнем; но это была одна секунда. Опять его неподвижный взгляд остановился на княжне с страшным недоуменьем и немилосердно допрашивал ее: почему она знает, что он был откупщик, кто сказал ей, зачем справлялась?

— Что это, княжна, любовь или привычка желать и непривычка действовать? Нежная рука не боится ль просто прикоснуться к тому, перед чем обыкновенно не робеет ничья душа? что нашли вы тут горького и обидного? Между нами нет уже пустых приличий; язык мой перезабыл, как выражался вчера!.. Я даю вам свободу, я разрываю эти гнусные цепи, которые

давят вас и, может быть, поневоле привязывают ко мне... Не сердитесь, не плачьте, взгляните на меня смело, вникните в смысл моего поступка, поймите мое теплое чувство... Это не злой умысел, не насмешка, не искушение, мне хочется, чтоб вы имели возможность пройти свою жизнь с той же нравственной чистотой, с какою создала вас природа... Но мою святую цель, мое доброе намерение я предлагаю не даром и требую награды. Я устал от сомнений, истерзан лицемерием; я не знаю, что такое правда, дайте мне встретиться с нею в вашем присутствии, сжальтесь надо мной, дайте услышать истинный звук вашего сердца, непорочный крик человеческой души!.. любовь или ненависть, все равно... Я не приду в отчаянье, я потеряю вас и буду счастлив: при мне останется ваш светлый взгляд, ваше благородное слово, его отголосок отдастся на целую мою жизнь, он пересотворит меня, я все прощу свету, все отпущу людям, я умру покойней, я вспомню, что видел однажды чужое сердце и знал чужую мысль. Что останавливает вас взять, если взять должно? не думаете ли, что я расскажу об этом?.. Да, боже мой, не могу рассказать, хотя бы и захотел!.. Мне не поверят, назовут лжецом, запишут в дураки, запрут в сумасшедший дом!.. Не боитесь ли разорить меня?.. Ах, куском моего тела, кровью моих жил я готов заплатить за правду!.. вы мне скажете ее?

Он поднял с полу бумаги и выхватил из кармана еще пук.

— Любите вы меня или нет? Миллион, княжна, возьмите миллион.

Она, бледная, сжалась, голова ее ушла в плечи, она повернулась боком и только искоса позволяла себя взглядывать на это страшное привидение, которое стояло перед нею так близко и держало на воздухе руку, одаренную какой-то богатырской силой. Казалось, что если рука опустится, то под нею треснет и гранит. Княжна потерялась в своих мыслях, была оглушена неслыханными словами, не приготовилась к этому человеку, который вздумал перешагнуть за границу своих прав, рыться в чужой совести, посягать на тайны, сберегаемые для одного неба.

— Вчера еще,— продолжал Г.., нападая на себя, вероятно, в надежде, что княжна защитит. Страстное, неистовое выражение его лица показывало, до какой степени он будет счастлив, если она не возьмет.—

Вчера еще вы не возмущали ничьего спокойствия, никому не было нужды до ваших истинных достоинств, завтра их заметят и оценят, завтра им не будет счета, вам отдадут полную справедливость; никто уж не пройдет мимо, не повернется на одной ножке, а от благоговения окаменеет подле вас; вы получите уверенность, что огромное число из тех, с кем танцуете каждый день, даже когда им пригрезится самый счастливый сон, в самом необузданном бреду не осмелятся подумать, что стóят вашей руки... Вы явитесь в свет, но не скажете уже ему: «Я только прекрасна, только что умна», когда ваши счастливые соперницы с большим успехом повторяют одно: «Мы богаты». Вы не вступите в такой унизительный спор с деньгами и на весы против денег не положите своей красоты и души... Я сделаю, весь город заговорит, что вы мне отказали: это, разумеется, поднимет вас в общем мнении. Что вы видели? кого вы знаете? с кем меня сравнивали?.. Велик и разнообразен божий мир!.. До сих пор я заслонял его от вас; несносный человек, я стоял между ним и вами, и каждый взгляд ваш поглощал в себя. Есть много людей,— вот вам они,— которые моложе меня, у которых больше огня в глазах, больше жизни в движеньях и больше будущности на лице... Не одна Москва на свете, есть Петербург, Лондон, Париж... Вчера вас выбирали, завтра вы станете выбирать... Вам не будет дела, кто из нас богат, кто беден, кто дурен или хорош, только б сердце ваше нашло, что он лучше других... Княжна, любите ли вы меня?.. Не мои руки предлагают вам деньги... Это делается между вами и невидимой силой... Я вызываю наружу все, что есть святого в вашей душе, что вечно должно таиться в каком-нибудь изгибе человеческого сердца... Да или нет? Отвечайте, миллион, княжна, миллион!..

— Дайте,— сказала она, поднимаясь с дивана, белая, как мрамор, и протянула руку с необыкновенным благородством. Вся ее осанка дышала благовоспитанной гордостью и каким-то высоким чувством.

— Я вам верю, я думаю, что могу встретить человека, который понравится мне больше, чем вы. Если я вас любила, то в эту минуту перестала любить.

Г... подал ей билеты, она содрогнулась, отвернула руку, и они упали на стол.

На другой день в самом деле весь город заговорил, что княжна отказала.


Стихотворения



БЛЕСТКИ

Басня

(Из Арно)

«Ах, боже мой! Что делать мне?
Ну, право, и во сне
Иному б не было такой беды ужасной.
Весь бархат мой прекрасный
Весь в пятнах, отчего? Ума
не приложу;
Но виноватого когда узнаю,
То другу удружу!»
Так говорил купец. «А я не понимаю,—
Сиделец отвечал,— что за убыток вам?»
«Как! По твоим словам
Убытку нет мне никакого,
Что в лавке пролежит моей
Так много, о злодей!
Товару дорогого».
«Да вышить блестками, вот делу и
конец».
От радости вспрыгнул купец.
«Ах, друг мой! Твой совет, ну,
страх как мне приятен.
Под блестками не видно
будет пятен».
Мой оправдается рассказ,
Когда кто пристально вглядится в нас.
К несчастию, бывает
Частехонько все то же и одно;
Не всякой только примечает
Под блесткою пятно.

<1822>

К ***
при посвящении ей перевода трагедии «Мария Стуарт»

Laissez moi peu de gloire et
beaucoup de bonheur.

Parny[1].

Когда мой перевод, не славе обреченный,
Возьмешь досуга в час к себе на строгий суд,
Быть может, кинув взор на сей листок забвенный,
С улыбкой примешь ты мой первый, скромный труд.
Вот все, чего хочу. Я лавров не достоин,
Мне взора твоего они не заменят;
И в неизвестности остануся спокоен:
Я не от света жду, но от тебя наград.

Пускай другой, свой век кончая над стихами,
Идет с поклонами невежде их дарить
И, оскверняя дар, врученный небесами,
От гордой знатности улыбку испросить.

Нет, нет, я не пойду к надменному вельможе,
Я не люблю ласкать спесивых богачей;
Наемник и поэт у многих значит то же,
Но цель поэзии возвышенней, святей!

Итак, сей малый дар тебе, о друг прелестный!
Что счастье в мире есть — мне взор твой доказал.
Пусть имя здесь твое осталось неизвестно.
Но угадала ты, о ком я умолчал!

<1823>

ЭЛЕГИЯ

Das Lebens Mai blüht
einmal und nicht wieder.

Schiller[2].

Как быстрая волна в безбрежности морей,
Как в сердце пламенном обманчивая радость,
Как первая любовь беспечных, юных дней,
Моя умчится младость.

---

[1] Оставьте мне немного славы и больше счастья!
Парни.

[2] Лишь раз цветет чудесный в жизни май.
Шиллер.

Придет жестокий час, когда прекрасный взор
Я встречу холодно, без страстного волненья;
Мне будет красоты улыбка, разговор
Тогда без наслажденья.

Не сяду весело на шумных я пирах,
Любви не призову, друзья, в беседы ваши,
И с именем твоим, о Нина! на устах
Я не напеню чаши!

Увы! протекшего ничто не заменит,
И где я, опытный, найду очарованье?
Быть может, старика немного усладит
Одно воспоминанье.

Тогда, поникнувши седою головой,
Холодным зрителем сидя в веселом круге,
Я стану вспоминать о чаше круговой
И сердца о подруге.

⟨1824⟩

ЭЛЕГИЯ

Мой друг, я истощил бесплодное старанье!
Мне звука прежнего в струнах не пробуждать;
Сковало их упорное молчанье,
И пламенный восторг отвык их потрясать.
Я в горести немой смотрю на лавр далекой,
Как воин раненый на подвиги других.
Соперники мои бегут к мечте высокой...
А я один отстал от них.
Стыжусь бездействия, но действовать не в силах!
Все мысли, чувства все любовь сожгла во мне;
Она кипит в горячих жилах;
Она отъемлет сон иль в беспокойном сне
Волнует грудь мою желаньем беспредметным...
Давно ль я жаждою известности пылал?
Давно ли мысли трепетал
По смерти лечь под камнем неприметным?..
Алина, я тогда еще не знал тебя!
Я не горел огнем неукротимым;
Не знал блаженства — быть любимым
И не слыхал о счастье — жить любя!

Но ты предстала мне — и я простился с славой,
Я счастливой любви пожертвовал молвой,
И не делимое с тобой
Бессмертье было б мне отравой!..

<1824>

ПЕСНЬ МАГОМЕТАНИНА

Не славьте мне блаженство рая,
Когда земное встречу там,
Когда для страсти оживая,
Паду я гурии к ногам.

Увы! В стране очарованья,
Подруг небесных светлый взгляд
Пробудит давние страданья,
Прольет мне в сердце прежний яд!

Я испытал любви измену,
Лобзаний счастливых мечты,
И не хочу бедам в замену
На перси вечной красоты!

Нет! я не верю в наслажденья,
Которые сулит любовь,
И не хочу для заблужденья,
Как многие, родиться вновь!

<1825>

ЭЛЕГИЯ

Нет, нет! я не рожден с благословеньем неба,
Не ждет меня бессмертия венец,
Не буду никогда жрецом прекрасным Феба!..
Ударит час... могила — мой конец.

Зачем же предо мной летает призрак славы,
Тревожит дни, тревожит сна покой
И указует мне на подвиг величавый,
Чтоб вознестись над смертию самой,

Чтобы исторгнуться из мрака гробового,
Где грустно лечь со всеми наряду?
Зачем?.. Как многие, без жребия святого,
Неведомый я по земле пройду.

Но ах! Испытанный блаженством скоротечным,
Застигнутый внезапною бедой,
Стремлюся я все к наслажденьям вечным
И прочь иду от радости земной.

Давно ль, надеждою в храм бытия введенный
Я не желал в грядущее смотреть,
И счастьем роковым, любовью упоенный,
Прекрасно жил, не думал умереть?

С подругой юною я, веруя мгновенью,
Любви давал бессмертие в удел;
Не понимал конца такому наслажденью,
Которому конца я не хотел.

Увы, минутному нельзя поверить дважды,
А вечное избранным суждено.
И славы на алтарь дары приносит каждый,
Но каждому ль бессмертие дано?

Кто, жизни доблестной последний миг встречая,
Во мглу веков нетленный перейдет?
Чей камень гробовой потомства длань святая
Лавровыми венками обовьет?

О, мысль высокая!.. Томительной тоскою
Исполнятся мои минуты бытия:
Не так я сотворен... Небесного не стою,
В земном же прелести не обретаю я.

Ничтожество! С тобой дружиться я намерен,
Забыто все, мелькнувшее во сне:
Все, все покинул я, тебе останусь верен
И чувствую, ты не изменишь мне.

<1826>

А. Ф. ДМИТРИЕВОЙ,

посылая ей трагедию «Мария Стуарт»

Есть в жизни светлое мгновенье:
Тогда, бросая взор вокруг,
Везде мы видим наслажденье,
Везде нам радость верный друг.

Зовут любовью это время;
Она живет на небесах,
И, облегчая жизни бремя,
Бывает на земле в гостях.

Тогда на мир глядим пристрастно,
Мечтая смело всякий час:
Как сердце чувствует прекрасно,
Так все прекрасно возле нас.

Тогда быть добрыми умеем,
Притворство не знакомо нам,
Прощаем мы своим злодеям
И снисходительны к стихам.

Так вы, с улыбкой снисхожденья,
Примите здесь мои стихи
И лестным взором одобренья
Мне отпустите за грехи.

Не голос веры в дарованье,
Не жажда суетных похвал
Мне дали стихотворца званье:
Я для любви стихи писал.

Она была мне вдохновеньем,
Прекрасной музою моей,
И лучше славы награжденьем,
И счастием немногих дней.

Я, вас увидя, вспомнил счастье!
Так русский, переплыв моря,
Не помнит родины ненастье,
На небо лучшее смотря.

<1828>

КУПЛЕТЫ ИЗ КОМЕДИИ-ВОДЕВИЛЯ «ДИПЛОМАТ»

Испанский посланник

Хоть осторожность наблюдаем
Мы в политических делах,
Но важность их позабываем
В часы веселья на пирах.

В конгрессах тайно все бывает,
На бале тайны нет ни в чем,
И что австрийский двор скрывает,
Мы часто в Польском узнаем.

Шавиньи

Я был ничтожен накануне,
Сегодня — силен при дворе,
И гений мой в моей фортуне,
А не в моем секретаре.
Тут никому и не обидно;
Но часто, к нашему стыду,
Ума секретарей не видно,
А мы за ум их на виду.

Герцог

Счастлив министр, который другом
Простому и народу был,
Кто все места одним заслугам,
А не родне своей дарил;
Иной же носит сан завидный
Себе и многим ко вреду;
В ином достоинства не видно,
А он поставлен на виду.

Графиня

Я принцу не была невеста,
Но он мне жертвовал собой;
Не блеска золота иль места,
Любви искал он за женой.
Мое замужство страх завидно,
Другим замужство на беду:
У женихов любви не видно,
Одно приданое в виду.

Принц

Любви пожертвовал я званьем,
Жена возвысилась ко мне;
Но часто женятся с желаньем,
Чтоб возвышаться по жене.

Пускай подобный брак постыден,
Но он с фортуною в ладу:
И муж за то бывает виден,
Что у других жена в виду.

Сальдорф

(один из посланников)

Мой враг отсюда поневоле
Ни с чем отправится назад,
И у двора не скажут боле,
Что я не тонкий дипломат.
Мне пред испанцем не обидно,
Его всегда я проведу:
Пускай меня не будет видно,
Да он не будет на виду.

Граф

Заслуги личные так редки,
И служба горе для того,
Чьи не заслуживали предки
И за себя и за него.
Роднею выйти в люди стыдно,
Но без нее не быть в ходу:
И кто с умом, того не видно,
А кто с родней, тот на виду.

Изабелла

(к зрителям)

Переговоры кончив быстро,
Мы вас упрашивать должны:
Здесь вы даете чин министра,
Здесь вы снимаете чины.
От вас иль похвалы завидной,
Иль обвинения я жду
И тем, которых здесь не видно,
И тем, которые в виду.

(1828)

НА ОТЪЕЗД В ИТАЛИЮ

княгини З. А. Волконской

Как соловей печально в день осенний
Под небо лучшее летит,
Так и она в отчизне вдохновений
Воскреснуть силами спешит!
И далеко от родины туманной
Ее веселье обоймет;
Как прежний гость, как гость давно желанной,
Она на юге запоет.
Там ей и быть, где солнца луч теплее,
Где так роскошны небеса,
Где человек с искусствами дружнее
И где так звучны голоса!
Но там и здесь тропою незабвенной
Она прорезала свой путь:
Где ни была, восторг непринужденной
Одушевлял поэта грудь.
Где ни была, волшебные искусства
Стремились дань ей принести,
Никто ей не сказал «прости!».
Ее хранит в странах различных света
И память сердца и ума.
Ах! Для чего в Италии все — лето,
И для чего у нас — зима!

<Москва, январь 1829>

ЧЕРВОНЕЦ

Сгорала свечка восковая,
Прошли дневные суеты,
А дума, сердце разрывая,
Гнала и сон мой и мечты.
Могучий демон и лукавый,
Свободный путник на земле,
Червонец, тусклый, худощавый,
Валялся на моем столе.
Воображение поэта
Остановилося на том,
Кто много раз на сцене света
Видал и сильного рабом;
Кто, пробегая наши руки,

Бывал и счастьем и бедой,
Творцом и радости и скуки,
Наградой подлости людской!
«Где был, что делал?..»— грустным взглядом
Спросил я дорогой металл;
И вдруг, внушенный, верно, адом,
Червонец так мне отвечал:

«Везде я проложил дороги,
Где людям не было пути;
Умел из хижины в чертоги
Иного шута провести.
Я знаю, что̀ земная слава,
Я видел гениев полет:
Их миновалася держава,
Моя держава не пройдет!
Я был на севере, на юге,
Я видел все и всех один,
Был вечно у людей в услуге
И вечно был их властелин!
Мне все земное продавали!
Я был свидетелем порой,
Как дешево тех покупали,
Кто очень дорожит собой.
Известность, временную славу,
Блеск почестей, толпу друзей
Не раз купил я, на забаву
Для ваших безотрадных дней!
Патенты знатности давнишней
Я часто богачу писал;
Тому, кто сам на свете лишний,
Тьму лишних предков набирал,
Преступник чести и закона
Со мною был неустрашим;
Тому я всюду оборона,
Кто правосудием гоним!
Кого молвы святая сила
Гнала из общества людей
И справедливо заклеймила
Печатью строгою своей,
Того я спас от вашей мести,
И мимо пронеслась гроза;
Везде он слушал звуки лести,
Ему смотрели все в глаза,
И кто сильней вооружался

На жизнь клиента моего,
Тот всех прилежней объедался
За лакомым столом его!
С Пиладом ссорил я Ореста,
Друзьям был вечною бедой;
Со мною старая невеста
Бывала часто молодой!..
И красота, сей ангел мира,
Сей лучший отблеск божества,
И вдохновительная лира,
Признали вы мои права!..
Я нежный взор любви притворной
На богаче остановил,
И за меня поэт покорный
Стихи безумцам подносил!
Я клевету и обвиненья,
Крик неумеренных похвал,
Страданья ваши, наслажденья
И жизнь швейцарца покупал!..
Я, путешествуя по свету,
Истерт обманами жидов!..
Я не попал в карман к поэту
И в руки честных игроков!
...Я также не купил иного:
Любви небесного огня,
И вдохновения святого
Не продавали за меня».

<1829>

В АЛЬБОМ

к[нязю А. Н. Волконско]му

Не раз один, для взоров томных,
Для взоров светлых и живых
На поприще стихов альбомных
И мой прокрадывался стих.

Бывал я награжден улыбкой
И слышал много я похвал
За то, что даже и ошибкой
В альбомы правды не писал.

Но твой альбом — совсем другое:
Я не красавицу пишу

И ежели солгу, то вдвое
Я перед правдой согрешу.

Скажу тебе я два-три слова;
В них будет истина одна:
Жизнь для тебя еще обнова,
Но скоро носится она.

Не верь тому, кто дружбы — сказкой,
Любви — мечтою не зовет
И кто, с однообразной лаской,
При каждой встрече руку жмет.

Все жди того, что уж бывало,
Слезами горя не кропи,
Жить наяву старайся мало
И более, как можно, спи.

<Москва, 25 января 1829>

ИЗ КОМЕДИИ-ВОДЕВИЛЯ «СТАР И МОЛОД»

Оливьер

Тот имя заслужил ногами,
тот всем обязан голове,
тот вышел в люди под шатрами,
а тот женитьбой на вдове.
Тот имя замарал доносом
за то, что имя дал в печать.

Виктор

Забавен свет, хоть очень тонок:
иная матушка твердит,
что дочь ее совсем ребенок,
а не ребенком дочь глядит;
вот по какой ошибке странной
нам нежность в имени смешна:
иную звать пора бы Анной,
а все Анеточка она.

Г-жа Линсбург

Иной, кого совсем не знали,
старушкам угождал весь век;

за то они везде кричали,
что он предобрый человек.
За то угодник их невинной
невесту взял, и взял свое,
хоть имя доброе в гостиной
вы знаете, бывает чье?..

Альфонс

Иные имена, как часто,
меня забавили подчас!
Играя в вист по полтораста,
иной стал с именем у нас.
И люди знатные все дружно
его зовут по вечерам;
тому быть с именем не нужно,
чье имя славно по душам.

Брюксаль

Кто с *именем,* тот к счастью близок;
оно дает и ход и вес;
иной был с именем так низок,
а все в большие люди влез! —
Мы ценим только блеск наружный,
к нему лишь ходим на поклон,
и имя доброе не нужно
тому, кто с именем рожден.

Михель *(слуга)*

Какая пестрота на свете!
Какое множество имен!
Иной пешком, иной в карете,
тот князь, тот граф, а тот барон;
лишь я один, ну, право, чудо!
Живи *без имени* весь век,
хоть называюсь я не худо:
мое ведь имя: человек.

Матильда (*к публике*)

Здесь имя лишь того прекрасно,
кто может вас привлечь сюда,
кому вы здесь единогласно
кричите «браво» иногда!

Здесь дарованью нет замены,
здесь без него конец худой,
и имя доброе со сцены,
как трудно принести домой!

(1829)

КУПЛЕТЫ ИЗ ВОДЕВИЛЯ «ЩЕДРЫЙ»

За честь России шли мы дружно,
Победа нам была верна,
От вас далеко ветер южный
Лелеял наши знамена.

Ни горы дикого Кавказа,
Ни Грузии палящий зной,
Ни мусульмане, ни зараза
Не воротили нас домой.

Впервые русского солдата
Балкан надменный увидал.
Святые берега Евфрата
Впервые русский конь топтал.

Где над землей едва рожденный
Так пышно первый день рассвел,
Там горстью русских занесенный,
Напомнил римлян наш орел.

Я видел Карс, где свист картечный
Сулил могилы нам одне,
Где русские пошли беспечно
По мосту страшному к стене.

И где усеял враг готовый
Рядами пушек высоту,
Где новый шаг вел к смерти новой,
Мы пели «по мосту-мосту».

И слышны были песни эти
В адрианопольских лугах:
Там полумесяц на мечети,
Там наши ружья на стенах.

Там кончились труды похода;
Но скажут слово — мы пойдем

И песню русского народа
В стенах Царьграда запоем.

(1830)

В. М. Т.,

при доставлении ей трагедии «Мария Стуарт»

Несу вам с робостью стыдливой
Мой труд давнишний напоказ:
Здесь редко-редко стих красивый
Улыбку выманит у вас;

Но здесь живет воспоминанье
О счастливом каком-то дне,
Как баснословное преданье,
Давно рассказанное мне;

На имени лежит уныло
Здесь молчаливая печать...
И некому, как прежде было,
Мою загадку разгадать.

<1829>

РОМАНС

Не говори ни да, ни нет,
Будь равнодушной, как бывало,
И на решительный ответ
Накинь густое покрывало.

Как знать, чтоб да и нет равно
Для сердца гибелью не стали?
От радости ль сгорит оно,
Иль разорвется от печали?

И как давно, и как люблю,
Я на душе унылой скрою;
Я об одном судьбу молю,
Чтоб только чаще быть с тобою.

Чтоб только не взошла заря,
Чтоб не рассвел тот день над нами,

Как ты с другим у алтаря
Поникнешь робкими очами!

Но, время без надежд губя
Для упоительного яда,
Зачем я не сводил с тебя
К тебе прикованного взгляда?

Увы! Зачем прикован взор,
Взор одинокий, безнадежный
К звездам, как мрачный их узор
Рисуется в дали безбрежной?..

В толпе врагов, в толпе друзей,
Среди общественного шума,
У верной памяти моей
Везде ты, царственная дума.

Так мусульманин помнит рай
И гроб, воздвигнутый пророку;
Так, занесенный в чуждый край,
Всегда он молится востоку.

<1829>

* * *

Так за насмешку в свой черед
Мужчины мстят и даже дамы;
Нам злое дело с рук сойдет,
Беда за злые эпиграммы:—

Толпой забавной окружен,
Играй ты поневоле в жмурки,
Не говори, что тот смешон,
Что та стара уж для мазурки.

<1830>

ГЕНРИЕТТЕ ЗОНТАГ

Whence com'st thou?..
B y r o n[1].

Мечты поэта облетели
Края далекие земли;
Тебя достойной колыбели
Они под небом не нашли.

---

[1] Откуда приходишь ты?..
Б а й р о н.

Скажи, обитель вдохновений:
Ее не угадаю я.
Откуда вылетел твой гений?
Где загорелась жизнь твоя?

Скажи, цветет ли лавр зеленый,
К волшебным наклонясь водам;
Поет ли соловей влюбленный,
И наше ль солнце блещет там?

Какие клики наслажденья
Приветствовали твой восход,
И память твоего рожденья
Чем торжествует твой народ?

Звездой неведомой, пролетной,
Сверкнула ты в степях зимы.
С какою негой безотчетной
Тебя заслушалися мы!

Тебя то око не видало —
Сказал мой ослепленный взор!
Тебя то ухо не слыхало —
Был громкий сердца приговор!

На миг один, певица рая,
Помедли здесь, не улетай;
И, нас на небо похищая,
Еще земле не отдавай.

Все так же спросят берег шумный:
В какой стране ты рождена?
Такой же радостью безумной
Заплещет невская волна!

<1830> 26 июля

<М. П. ПОГОДИНУ>

О славе говорить не нужно,
Я дать куплеты очень рад.
Кто с «Вестником» сживется дружно,
Тот будет славою богат.

<1830>

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КУПЛЕТЫ К ВОДЕВИЛЮ А. А. ШАХОВСКОГО «ДВА УЧИТЕЛЯ»

Тарусина

Я много в сына положила,
Куда наука дорога!
Я много денег получила,
Меня же проучил слуга.
Иной до многого добился,
И не учася ничему;
Иной на книги век косился,
А все в глаза глядят ему.

Жак

Я в гувернеры из лакея
Не первый, кажется, попал;
Не первый спорил, не робея,
О том, чего не понимал;
Но только критик самый строгий
Меня не должен осуждать;
Я первый шел кривой дорогой,—
Да как же прямо выйти в знать?

Алеша

Учись — иной кричит без толку,
Читай да образуй себя.
Другой твердит нам без умолку:
Женись — так выучат тебя.
Легко прослыть, женясь счастливо,
Ученым, умным, деловым;
Быть может, я сужу и криво —
Да как же быть судьей прямым?

Чупкевич

Две тысячи мне назначают,
Так сгинь ученость от меня:
Науки юношей питают,
Скажите ж: юноша ли я!
Ученье свет — вопрос решенный;
Да с светом я во тьме брожу:

Зато уж кто прямой ученый,
Я косо на того гляжу.

Турусина

Учу я сына просвещенью,
Хоть плохо, но простите вы;
Учиться же благотворенью
Он станет у родной Москвы.
Как горячо ее участье
К слезам и старцев и детей!
Ах! На кого косится счастье,
Тот видит в Вас прямых друзей!

(1831)

В АЛЬБОМ ...ОЙ

Wenn sie's hören wird, was
kann sie meinen?
Gòethe[1]

Когда грядой осенних туч
Покрыто небо полуночи,
Как редко примечают очи
Печальных звезд мгновенный луч!

Когда на сердце опыт ляжет
И опечалит наши дни,
Как редко сердце наше скажет:
«С надеждой на нее взгляни!»

Так редко света суд презренный
Дает нам верный приговор;
Так редко мы встречаем взор,
Огнем души воспламененный.

В листках альбомов дорогих,
Где звучны светские приветы,
Так редко блещет вольный стих,
Сердечной думою согретый.

Альбомов пышные слова,
Как наша жизнь, бывают скучны;

[1] Если она это услышит, что она может подумать?
Гёте.

Как наша дружба — равнодушны,
И вероломны, как молва.

На что обычай наш старинный
Занес альбомную тетрадь
Туда, где похвала гостиной
Не может слух очаровать?

Ах, бросьте вы альбом забвенью:
Его ль напевы слушать вам?
Его приют всегдашний там,
Где нет предмета вдохновенью.

Здесь только он стихам моим
Могила общая с другими:
Нет, вы не улыбнетесь им;
Вам не задуматься над ними.

<1831>

К N. N.

O! Where is Lethe's fabled stream?

Byron[1]

О память! верная могила
Печали, радости земной!
Ты много дней похоронила,
Зажженных счастьем надо мной.

Зачем же всех не забывала?
Зачем, одной не изменя,
Ты, как святыню, сберегала
Ее на сердце у меня?

Я помню... роза молодая,
Свой блеск под зеленью тая,
Она явилась, расцветая...
Взглянул и загляделся я.

В свои безоблачные годы
Беспечной жизнию шутя,

[1] О! Где воображаемая река забвения?
Байрон.

Она, казалось мне, природы
Была любимая дитя.

И с простодушным упоеньем
Я слушал звук ее речей,
И с бескорыстным наслажденьем
Смотрел на свет ее очей.

Но вдруг судьба так своевольно
Ее от нас умчала вдаль —
И сжала сердце мне так больно
Моя сопутница, печаль.

И долго ждал я тех мгновений,
Когда опять она блеснет...
Как будто в ней мой добрый гений
Мне радость вечную пошлет!

И вот она передо мною,
Вот пышно расцвела она!..
Зачем же новою тоскою
Моя душа отягчена?

Не мне любви очарованье
И страсти первая слеза;
Не мне шепнет она признанье,
Потупив черные глаза.

Я знаю... мрак ненастной ночи,
Мой скучный жребий осеня,
Ее сияющие очи
Навеки скроет от меня.

<1831>

К N. N.

La vanitè a un souffle dui
dessèche tout
Balsak[1]

Нет, ты не поняла поэта,
И не понять тебе его;
Зачем же спрашивать ответа

[1] Тщеславие засушивает все.
Бальзак.

Ему у сердца твоего!
  Не для небесных вдохновений,
  Не для любви созрела ты,
  Но для безжизненных волнений,
  Но для мертвящей суеты.
Но многих голос твой обманет,
Но многих взор твой соблазнит,
Хоть никогда слеза не канет,
Слеза любви, с твоих ланит.
  Тебе не внятны сердца стоны,
  И жертва сердца не нужна.
  Ты, как паркетные законы,
  И суетна и холодна.
И я пророчу день печальный,
Когда губительный расчет
Тебя пред жертвенник венчальный
С блестящим шутом поведет.
  Смешные думы я покину,
  Нас помирит судьба твоя:
  Не раз Рафаэля картину
  В дому невежды видел я.
Кружись, блистай на сцене света:
На ней так сладко торжество!..
Нет, ты не поняла поэта,
И не понять тебе его!..

<1831>

П. А. БАРТЕНЕВОЙ

On earth no more
Byron[1]

Неправда! Ты не соловей!
Его мне песни назвучали
Про мимолетность наших дней,
Про землю, про ее печали!

Он все грустит, как будто знает,
Что должен стихнуть наконец,
Что песнь живет и умирает,
Как умирает сам певец!

---

[1] Его нет в живых.
Байрон.

Другие понял я мечты,
Другие понял наслажденья,
Как предо мной запела ты
О чудной тайне вдохновенья.

Твой голос мне давал уроки,
Высокой прелестью дыша,
Что есть о небесах намеки,
Что есть бессмертная душа!

<Ноябрь 16 <1831>

ОТРЫВКИ ИЗ ВОДЕВИЛЯ «НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЕТА, ИЛИ КОМЕТА В 1832 ГОДУ»

Из 1-й картины

Павел

Мой почтеннейший дядюшка-астроном. Не бойся, ему до земли дела нет, на ней он ничего не видит.

Его наука так задорна,
Что нас не ставит в грош она;
Нам кажется земля просторна,
Ему же кажется тесна.

Но дело в чем, я растолкую.
Тут есть особенный расчет:
Он в небе встретил запятую,
Так землю точкою зовет.

Бонардин

Чины с ума его сведут.
В нем так душа честолюбива,
Что он, взгляните, тут как тут,
Где честолюбию пожива.

Ну, как ему не надоест,
Все хлопочи, все изгибайся...
Он с неба не хватает звезд,
А на земле не попадайся.

Про добродетель и науки
Мы громко начали кричать
И прибирать богатых в руки,
И в пользу бедных танцевать.
Теперь не денег мы желаем,
А просвещенья одного:
Из свеклы сахар добываем,
Хоть нам и горько от него.
Мы то прочтем, о том услышим,
Что писано и не при нас:
Мы вечно говорим, как пишем,
И с жаром пишем на заказ.
На свете люди все узнали,
Все, кажется, идет на стать:
Мы так умны, так добры стали,
Что, право, нам не сдобровать!

Куплеты из 3-й картины

Бонардин

Все звезды я считал, бывало,
Но мне они не по глазам;
Учился я, а толку мало...
Не поклониться ли звездам?
Поклонишься — не ошибешься;
Поклонишься — не осмеют:
Ведь без ученья обойдешься,
А без поклона обойдут.

Граф

Кто кланяется ежедневно,
А кто поклона вечно ждет —
И потому я рад душевно,
Как утром кредитор придет.
Я с ним могу, не беспокоясь,
И без поклонов обойтись;
Ему не кланяйся ты в пояс,
Именью только поклонись.

Павел

Что жены многих бед причиной,
Кой-кто нам доказать умел;

И я с дражайшей половиной,
Быть может, сам не буду цел.
Жене поставлен муж главою.
И что ж? Поди пойми людей:
Один раскланялся с женою,
Другой же поклонился ей.

Бабета

Мужчин поклон не беспокоит,
Везде мужчинам легкий путь:
Чтоб поклониться, то им стоит
Снять шляпу, голову нагнуть.
У нас же так несправедливо
Поклоны разные ввелись;
Жених умен — присядь учтиво;
Жених богат — так поклонись.

Дюран

Везде поклоны путь проложат,
Все можно выклонить подчас:
И дело поскорей доложат,
И вспомнят вовремя о нас.
Нельзя назвать поклоны бредней,
Как хочешь, а поклонам верь:
Иной накланялся в передней
И не поклонится теперь.

Луиза

(к зрителям)

Счастлив, в ком твердости достало,
Чтоб не сгибаться ни пред кем
И у кого знакомых мало,
Чтоб мог он кланяться не всем!
Счастливей тот, кто без исканий
И все нашел, и жил своим —
И кто под гром рукоплесканий
Вам только кланялся одним!

(1831)

К...

Не верь ты верности земной,
Как сверхъестественному чуду;
Но верь, что в стороне чужой
Я долго, долго не забуду
И музыку твоих речей,
И простоту твоих желаний,
И небо мирное очей,
И ад неистовый лобзаний.

<1832>

К. Б. ЧИЧЕРИНОЙ

Без прозы, без стихов болтливых
Тетрадь явиться к вам должна.
В ней на страницах молчаливых
Цветов есть много, мысль — одна.

И эта мысль твердить вам будет
В веселый и печальный час,
Что тот, кто знал вас, не забудет,
Кто не забыл, тот знает вас.

<1832>

Ф. Д. Х[ВОЩИНСКО]МУ

Там, где толпилися татары,
Где веки замели их след,
Где буйный вихорь из побед
Едва нам слышен в звуках Мары;
Там тихой степи гражданин,
Науки сумрачный поклонник,
Аптекарь, доктор, дворянин,
Какой-то странный беззаконник,
Какой-то на Руси пришлец,
Какой-то сумасбродный Чацкий,
И не военный, и не статский,
Не фабрикант и не делец,
Кого не встретишь за обедней,
Кто в жизни новый тон сыскал,
Не стаивал ни в чьей передней,
Зато в газетах не стоял;

Кто смерти не дает потачки,
Не возит красненьких домой,—
Склонился чуткой головой
К одру нервической горячки...
И средь чужой семьи гробов
Здесь не лежать костям Ивана,
Под этим саваном снегов,
Под этой синевой тумана! —
Опять Иван к живым пристал,
Опять он, смотря по погоде,
Завяжет галстук мне по моде
Или напенит мой бокал;
Пойдет за мной беспечной тенью,
Как я пойду бродить во мгле,
Все торопиться к наслажденью,
Искать чего-то на земле!
Когда мне будет тесно, душно,
Он станет мой табак стирать
И дум мучительных печать
На мне увидит равнодушно;
Мечты болезненной полет
Принять на сердце он не может,
Моей горячки не поймет,
Моим огнем не занеможет;
В деревню, город или степь
Перенесет он без страданий
Всю незатейливость желаний,
Всю жизни тягостную цепь.
Но я не весело покину
Ковры безлюдные полей;
Я долго, долго не остыну
К простору дикому степей:
Здесь нет желез для вдохновенья,
Здесь пылу воли нет конца,
Как необъятности творца,
Как необъятности творенья;
Здесь океан передо мной!
Лазури, зелени, свободы! —
Душа, не сытая землей,
Все рвется вдаль, на край природы!
Здесь хочется бежать людей,
Любви их, дружбы, счастья, горя,—
Туда, где нет земли, ни моря,
Ни восхитительных степей!
Смешны здесь ласки и угрозы,

Чем свет манил и чем пугал,
Что я любил, чего желал:
Мечты, восторги, бури, слезы!
Смешны все наши празднества,
Когда над степью раскаленной
Блестящей ризой божества
Пылает пламенник вселенной!
Огонь очей, заря ланит,
Вся жизнь мне кажется обманом,
Когда безмерным великаном,
Скелетом снежным смерть лежит.
Я видел их, края свободы!
Пространством жажду я поил,
Их зной, их мир, их непогоды,
Их мертвый лик благословил.
На них душа была согрета,
Мысль расширялася орлом!
И вольный ветер выл кругом,
И я тонул в пучине света!..
На них в глухой, могильный час
Был бледен неба свод широкий,
И было в мире двое нас:
Тут я, там месяц одинокий.
Я вспомню их... А вы, мудрец,
Степей беспечный, давний житель,
К кому в радушную обитель
Входил блуждающий певец,
Вы вспомните ль, что здесь видали
Того, кто в светлый ваш удел
От тучи утренней печали
Когда-то птицей залетел?
Плод стихотворного тумана
На стихотворный ваш привет —
Вот краткий, в двух словах ответ,
Иль лучше — бюллетень Ивана.

<1832>

ЭПИГРАММА

Не говори, что ты в долгу передо мной;
И так долги мне неприятны!
Притом же умная насмешка над тобой
Есть для тебя долг неоплатный!

1832

РОМАНС

Она безгрешных сновидений
Тебе на ложе не пошлет
И для небес, как добрый гений,
Твоей души не сбережет;
С ней мир другой, но мир прелестный;
С ней гаснет вера в лучший край...
Не называй ее небесной
И у земли не отнимай!

Нет у нее бесплотных крылий,
Чтоб отделиться от людей.
Она — сиянье роз и лилий,
Цветущих для земных очей;
Она манит во храм чудесный,
Но этот храм — не светлый рай...
Не называй ее небесной
И у земли не отнимай!

Вглядись в пронзительные очи,—
Не небом светятся они:
В них есть неправедные ночи,
В них есть мучительные дни,
Пред троном красоты телесной
Святых молитв не зажигай...
Не называй ее небесной
И у земли не отнимай!

Она не ангел-небожитель,—
Но, о любви ее моля,
Как помнить горнюю обитель,
Как знать, что̀ небо, что̀ земля?
С ней мир другой, но мир прелестный,
С ней гаснет вера в лучший край...
Не называй ее небесной
И у земли не отнимай!

<1834>

* * *

Гений мира, упований,
Разукрашенного дня,
Чуть прошептанных желаний,
Чуть мелькнувшего огня!

Гений радости спокойной,
Гений утренних лучей,
И твоей улыбки стройной,
И твоих живых очей!..
Веет негою бывалой
Легких крылий белизна,
И его ланиты алой
Вечно свежая весна!..
Там бежит ручей холодный,
Блещет солнце на цветы;
Там под пальмой благородной
Гений твой, любовь и ты.
Но в роскошную обитель
Не пойду я за тобой:
Есть со мною мой хранитель,
В небе гений есть другой...
Как раскинется широко
Ночи грозная краса,
Он угрюмо, одиноко
Покидает небеса.
То печально, тихо вьется
Над померкнувшей землей,
То застонет, то зальется
Слез горючею струей.
То с торжественным укором
В даль безвестную глядит,
И поводит гордым взором,
И блистает, и дрожит.

<1835>

КУПЛЕТЫ, ПЕТЫЕ КНЯГИНЕЙ З. А. ВОЛКОНСКОЙ В МОСКВЕ, НА ВЕЧЕРЕ У Г. СОЙМОНОВА

Голос

Я знала вас в саду природы,
Где все искусства принялись,
Где в светло-голубые воды
Глядятся лавр и кипарис.

Где греет солнце не родное,
Там гордо блещет Рим чужой;
Но подле Вас и все чужое
Казалось мне родной Москвой.

Я знала вас, когда победа
Сверкала в голубых очах,
Под черным панцирем Танкреда,
С волшебной песнью на устах.

Гремела Вам толпа живая,
И взорам виделось моим,
Как наша тихая Тверская
Перерождалась в звучный Рим.

Хор

С благоуханным светлым краем,
С искусством нас сдружили Вы;
Мы вас встречаем, провожаем,
Как самый нежный звук Москвы;

Как все, чего у жизни мало,
Чем можно сердце утолить,
Как все, что в мире заставляло
Мечтать и петь, петь и любить.

(1836)

НА Н. ПОЛЕВОГО

Он вечно цеховой у Цинского приятель,
Он первой гильдии подлец,
Второй он гильдии купец
И третьей гильдии писатель.

<1839>

СТРАШНАЯ ИСПОВЕДЬ

(шотландская баллада)

...Не желай ты узнать дерзновенно
того, что от нас им в уме сокровенно.

Жуковский

Есть замок на севере дальном.
Он крепкой стеной окружен.
При лунном сиянье печальном
Над местностью царствует он.

И, пенясь, река протекает
Меж скал, где тот замок стоит,
И с гулом потом ниспадает
С утесов крутых на гранит.

Давно существует преданье,
Что в замке, в полуночный час,
Вдруг слышатся плач и стенанье,
Страдальца незримого глас.

В народе молва разгласила —
Здесь грешника дух заключен,
Он праведной божеской силой
Томиться навек осужден.

Никто в те места не приходит,
Не виден в них пахаря плуг,
Их путник со страхом обходит;
Все пусто и мертво вокруг.

Но кто же в ворота въезжает
На борзом коне боевом?
Доспех его златом блистает
И шлем с соколиным пером.

С дружиною храброю с боя
То граф молодой проезжал;
Он был утомлен, и покоя
В пустынном он замке искал.

Он входит в высокую залу —
Там все в разрушенье лежит;
Там время рукой начертало:
«Ничтожны булат и гранит».

Он панцирь тяжелый снимает,
Снимает он меч боевой...
Уж он над героем летает,
Вкушает он сладкий покой.

Но вдруг за стеною раздался
Ужасный страдальческий стон,
И тихий внезапно прервался
Усталого юноши сон.

«Кто, смелый, нарушить дерзает
Владельца Кинрасса покой?» —
Так грозно герой восклицает,
Но немо все в зале пустой.

И граф молодой в удивленье
Вдруг видит — огни по стенам
И страшное ада явленье
Предстало героя очам.

Старик, весь цепями обвитый;
Как пост его желто чело,
И синие впали ланиты —
Страданье на них налегло.

Ужасные очи блистали
Как будто геенны огнем;
Уста что-то тихо шептали...
Страшило все в призраке том.

Но юный герой не смутился,
Крестом он себя осенил;
«Кто ты и откуда явился?» —
Он смело у духа спросил.

«Всесильным молю тебя богом,
Поведай мне жребий ты свой:
Где ты? за могильным порогом,
Иль в жизни еще ты земной?»

«Услышать меня ты желаешь»,—
Со стоном скелет отвечал.
«Ты богом меня заклинаешь,
Чтоб я тебе все рассказал».

«Узнай же, о юноша смелый,
Я грешника страшного тень!
Такое свершилось мной дело,
Что ясный померкнул бы день».

«Внимай мне...»
Но что он герою сказал,
Того на земле не узнали.
Владелец Кинрасса бледнел и дрожал,
Все фибры его трепетали.

Когда же наутро дружины пришли,
Уж графа они не дождались;
Они его мертвым, недвижным нашли,
Кого-то он слушал, казалось.

1-го ноября
<1840>

ГЕНИЙ, ПАРЯЩИЙ НАД МИРОМ

(Из Гёте)

Между солнцем и землею
В созерцаньи я ношусь,
Чудной неба синевою
Я любуюсь, веселюсь.

Memento mori. Ах довольно!
Зачем мне это повторять?
И в жизни светлой и привольной
О смерти скорбной вспоминать?
Как старый школьник-лицемер *
Я говорю тебе досадно:
Мой милый друг, на свой манер
Лишь vivere momento.

Днем светило золотое
В небе радостно блестит;
Что-то чудное, святое
Шепчет лес, волна звучит...
Ночью лунною сребрятся
Гор верхи и дерева;
Волны с шумом не катятся,
Не колышется вода...
И в природе ум высокий
Наслаждение найдет.
В целом мире смысл глубокий
Он оценит и поймет.

3-го ноября
<1840>

<НА Ф. В. БУЛГАРИНА>

Что ты несешь на мертвых небылицу,
Так нагло лезешь к ним в друзья?

Приязнь посмертная твоя
Не запятнает их гробницу.

Все те ж и Пушкин и Крылов,
Хоть ест их червь по воле бога;
Не лобызай же мертвецов —
И без тебя у них вас много!

<1845>

<К графу Закревскому>

Не молод ты, не глуп, не вовсе без души.
Зачем же в городе все толки и волненья?
Зачем же роль играть российского паши
И объявлять Москву в осадном положенье?
Ты править нами мог легко на старый лад,
Не тратя времени в бессмысленной работе:
Мы люди смирные, не строим баррикад
И верноподданно гнием в своем болоте.
Что ж в нас нехорошо? К чему весь этот шум,
Все это страшное употребленье силы?
Без гвалта мог бы здесь твой деятельный ум
Бумаги не щадить и проливать чернила.
Какой же думаешь ты учредить закон?
Какие новые установить порядки?
Ужель мечтаешь ты, гордыней ослеплен,
Воров искоренить и посягнуть на взятки?
За это не берись; простынет грозный пыл,
И сокрушится власть, подобно хрупкой стали;
Ведь это — мозг костей, кровь наших, русских жил,
Ведь это на груди мы матери всосали!
Но лишь за то скажу спасибо я теперь,
Что кучер Беринга не мчится своевольно
И не ревет уже, как разъяренный зверь,
По тихим улицам Москвы первопрестольной,
Что Беринг сам познал величия предел:
Окутанный в шинель, уже с отвагой дикой
На дрожках не сидит, как некогда сидел
Носимый бурею на лодке Петр Великий...

<1849>

* * *

Он вытерпел всю горечь срама,
Насмешек по миру трезвон,
И, посидев в заклепах Гама,
Сел на французский трон.
Теперь народа он избранник,
И телом и душой хорош;
Он божий Франции посланник,
Пред ним во прах Барош!
Теперь по чудной воле неба
Он всей Европе очень мил,
Он даже герцогиню Теба
В порфиру нарядил.
Зачем же я не в этой славе,
Зачем мне счастие не то?
Сижу в Ремесленной управе,
Бог ведает за что.
Сказал ты, немец, очень круто,
Но тайну уловил с небес:
Нет истины, нет абсолюта,
А только есть процесс.

<1853>

* * *

Что̀ домов, что̀ колоколен
В белокаменной Москве!
Вижу, коршун вьется волен
В лучезарной синеве.
Утро зимнее прелестно,
Слышу благовест церквей,
Отчего же сердцу тесно
У окна тюрьмы моей?
Или, ею пробужденный,
Вновь очнулся прежний пыл?
Нет, свобода, друг бесценный,
Я давно к тебе остыл.
Ты являлась между нами
В человеческих чертах,
А живешь за облаками,
В неизведанных странах.
Но за тьмою этих зданий,
Этих улиц без конца —
Есть предмет моих страданий,
Сын, далекий от отца.

Но зачем на эту груду
Безобразную домов,
Где напрасно отовсюду
Блещет золото крестов,
Из чистейшего эфира
Солнце шлет лучи свои,
С лона благости и мира,
С неба правды и любви?

<1853>

* * *

Не говори, что сердцу больно
От ран чужих;
Что слезы катятся невольно
Из глаз твоих.
Будь молчалива, как могилы,
Кто ни страдай,
И за невинных бога силы
Не призывай.
Твоей души святые звуки,
Твой детский бред,
Перетолкует все от скуки
Безбожный свет.
Какая в том тебе утрата,
Какой подрыв,
Что люди распинают брата
Наперерыв?

<1853>

* * *

В тебе, столица скучная,
Былых времен завет,
К неправде равнодушная,
Как солнца вечный свет,
В твои жилища скромные,
Широкой Руси мать,
Умел я бури темные
Со всех концов скликать,
Но я ж один под тучею
Удары принимал:

Ее стрелою жгучею
  Никто, сражен, не пал.
И с силою упорною
  В неправедном бою
Теперь под злобой черною
  Опять один стою.

<1853>

А. С. ХОМЯКОВУ

Лучший день весны мгновенной,
Лучший праздник у Москвы,
Где премудро и смиренно
В этот час шумите вы,
С ясной мыслью, с чувством чистым,
Я встречал в кругу друзей
За вином твоим душистым
И под звук твоих речей.
Вешней прелестью своею
Не затем он сердцу мил,
Что сбираться в ассамблею
Немец русского учил;
Что Сокольничее поле
Сохранило память дел,
Как наш предок поневоле
Забавлялся, пил и ел.
Чтó мне эти все преданья?
Говор славы иль позор?
Первый крик твой, крик страданья,
На земле твой первый спор...
Этот день за то мы чтили
И за то нам дорог он,
Что тебя благословили
Златоуст и Аполлон.
Сердца скорбные усилья
Растревожили мой мир:
Где бы взять для воли крылья
И примчаться к вам на пир?
На пространстве тесной рамы
Обозначен мне предел...
Я ходил на берег Камы,
Долго в быструю смотрел.
На ее волнах широких
Видел множество чудес,

В бездне вод ее глубоких
Чуял таинство небес.
Я желал, смятенья полный,
Наклоняяся над ней,
Лечь на ласковые волны,
К цели донестись скорей.
Шлю тебе привет печальной,
Поздравленье пермяка;
Из ворот Сибири дальной,
Из кочевьев Ермака;
От богатого Урала,
От страны бессонных грез,
Где земная почва стала
Нивой золота и слез.
Но пленительных для глаза
От меня не жди даров;
Не для перлов и топаза
В край попал я рудников.
Не корысти жадной рану
На душе я притаил
И за золотом к шайтану
Я с молитвой не ходил.
Ты не взглянешь как на чудо
На сокровища мои,
Да и взял я не отсюда
Столько горя и любви.
В эту землю роковую,
Сердца вечную грозу,
Внес я дань недорогую,
Примешал и я слезу.

1 мая 1853 года
Пермь. На исходе вечера

СЕВЕР

Люблю тебя, страны моей родной
Широкий свод туманно-голубой,
Когда над сжатыми, просторными полями
Ты низом стелешься, волнуясь облаками,
И вдаль идешь — и всюду твой простор
Являет тот же необъятный кругозор.

Однообразны Севера картины:
Не весел вид его немых полей:

Ни пашни долгие, ни долгие равнины
Суровой прелестью и грустию своей
Природою изнеженного сына
Не привлекут восторженных очей.

Но — сын задумчивый задумчивого края —
Он любит родину: ее печаль
Его душе — знакомая, родная.
От ранних лет глядит он с грустью вдаль,
Как небо родины его угрюмой,
С холодной вопрошающею думой.

И песня ли порой по степи прозвучит —
Суровая, ее не оживит.
Как жизнь — она протяжна и уныла,
Как сердце — жалобы безропотной полна;
Случайной странницей заслушалась она —
И пуще тайные мечты расшевелила.

ECCE HOMO[1]!

В увеселениях безвредных,
Спектаклей, балов, лотерей
Весь год я тешил в пользу бедных
Себя, жену и дочерей.

Для братьев сирых и убогих
Я вовсе выбился из сил:
Я танцевал для хромоногих,
Я для голодных ел и пил.

Рядился я для обнаженных,
Для нищих сделался купцом,
Для погоревших, разоренных
Отделал зàново свой дом.

Моих малюток милых кучу
Я человечеству обрек:
Плясала Машенька качучу,
Дивила полькою Сашок.

---

[1] Се человек! *(лат.)*

К несчастным детям без приюта
Питая жалость с ранних лет,
Занемогла моя Анюта
С базарных фруктов и конфет.

Я для слепых пошел в картины;
Я отличался как актер,
Я для глухих пел каватины,
Я для калек катался с гор.

Ведь мы не варвары, не турки:
Кто слезы отереть не рад?
И как не проплясать мазурки,
Когда страдает ме́ньший брат?

Вот всем прогресс по воле неба,
Закон развития во всем:
Людей без крова и без хлеба
Все больше будет с каждым днем,

И с большей жаждой дел прекрасных
Пойду, храня священный жар,
Опять на все я для несчастных —
На бал, на раут, на базар!

<1856>

ОСТАВЬ МЕНЯ

Оставь меня... Меня печаль тревожит;
Душа мучительных раскаяний полна —
И вот она уж вынести не может
Всего того, что вынесла она.

Оставь меня!.. Безумствуя, тоскуя,
Как бредом, пламенный, тобой исполнен я —
И все, что чувствую, чего желать могу я,
Все в этом возгласе: «Оставь, оставь меня!»

К ПОРТРЕТУ

Иной, всю жизнь отдав заботам,
Вотще трудится до конца;
И лишь под старость кровью, потом
Получит имя подлеца.

Но ты не хлопотал упорно,
Известности не долго ждал:
Ты без труда, легко, проворно,
Во цвете дней ее снискал.

Не по летам к добру ты склонен,
На угожденье не спесив,
Не по летам низкопоклонен,
Не по летам благочестив.

<Н. А. МЕЛЬГУНОВУ>

Старый друг, верный друг,
Режь меня, жги меня,
Фейербаха люблю,
Умираю, любя.

Он зимы холодней,
Суше летнего дня,
Как он мыслью своей
Развивает меня!

Как читаю его
Я в ночной тишине,
Как смеюся тогда
Я родной стороне!

* * *

Кричит в гостиных бальный мир.
Кричит Москва вчера и ныне,
Что в пятницу на театральный пир
Поскачут все к Голицыной княгине.

Позвольте попросить мне вас;
Я запляшу от вашего ответа:
Нельзя ль для пары глаз
Достать мне три билета?

НА Ф. Ф. ВИГЕЛЯ

Ах, Филипп Филиппыч Вигель!
Тяжела судьба твоя:
По-немецки ты Sehweinwigel,
А по-русски ты — свинья!

* * *

Счастлив дом, а с ним и флигель,
В коих, свинства не любя,
Ах, Филипп Филиппыч Вигель,
В шею выгнали тебя!

* * *

В Петербурге, в Керчи, в Риге ль
Нет нигде тебе житья:
Ах, Филипп Филиппыч Вигель,
Тяжела судьба твоя!


Статьи

АСКОЛЬДОВА МОГИЛА

Романтическая опера в четырех действиях, музыка соч. А. Н. Верстовского, все новые декорации Г. Брауна, машины Г. Пино, костюмы по рисункам Г. Локуэса

Все оригинальное на нашем языке, у нас в искусствах должно радовать каждого, кто принимает какое-нибудь участие в развитии отечественного просвещения, а потому мы отправились на днях в Театр смотреть и слушать Аскольдову Могилу без этого предубеждения, с каким обыкновенно берется Русская книга и покупается билет на Русский спектакль.

Легко может быть что хорошо, думали мы и вошли в кресла с добродетельным, упрямым постоянством влюбленного юноши, который в минуту женской ласки, в минуту чего-то похожего на призыв любви не помнит ни себя, ни равнодушия, ни оскорблений, ни вероломства.

Да и зачем отравлять настоящее прошедшим, зачем заранее запасаться противоядием от удовольствия? Все ждать дурного не есть верх образованности, а робость — показаться необразованным. Легко может быть что хорошо, повторили мы себе; мы были готовы восхищаться с истинно гражданским мужеством и всеми силами старались переселиться в кожу справедливого, доброго, просвещенного судьи, который, покуда не составил для себя убеждения, основанного на самом событии, не собрал улик и не подписал приговора, до тех пор обвиняемый невинен, свят, как бы ни были выпечатаны на его лице признаки старинных грехов.— Первое впечатление было восхитительно! Огромная зала огромнейшего театра в Европе полна, и для этой оперы наполнялась несколько дней кряду. Несколько дней кряду! Утешительное нововведение, явное доказательство, что с некоторых пор публика охотнее ездит в Театр и что ее число час от часу увеличивается. Какие ожидания в душе артиста! Сколько в ней темной гордости и приятного страха!.. «Это для меня они съехались, это все, что тут движется, принадлежит теперь единственно мне!.. о, если мой напев, или мое слово останется в ушах и этого израненного усача, который только и делал, что лазил на

батареи; и этой юной красавицы, у которой нежный слух так привык к чужому языку, да к чужой мелодии; и этого студента Медико-Хирургической Академии, который принес сюда свой последний рубль; и этого неповоротливого бородача, который за рубль отдает вам любой мотив Моцарта и любую сцену Шекспира! — Что, если я проведу здесь уровень восторга по всем состояниям, по всем сердцам, приученным биться от разных впечатлений и под разной кровлей!.. Если мой аккорд или моя сцена вырвет у них из души эту тайну, эту звонкую ношу с одной и той же струны, одну и ту же в райке и в бельэтаже!» О, из произведений искусства самое обильное торжеством и славой — произведение для сцены. В минуте целый век бессмертия!.. Вашу книгу прочтут или только в гостиной, или только в передней, вашу картину закабалит у себя богач; — но драма, но опера!.. тут сцена вашего действия широка, пестра и шумна, как площадь, как Божий мир; тут вам судьи, не избранный круг читателей, которые читают с умыслом, с порядком, без напряжения, и раз двадцать заложат листы вашей книги то обрезком от Французской ленты, то перламутровым ножиком или лоскутком от Московских газет. Тут перед вами живая, своенравная, простодушная толпа. Правда, что ею часто управляет привычка, а к чему она привыкнет, трудно отучить ее... Правда, что, по милости водевилей, чем пошлее мысль, чем площаднее выражение, тем громозвучнее у нас душевный восторг публики.

Все виноваты перчатки: с ними нельзя хлопать; красные же руки, которые не носят их, хлопают невыносимо громко. Мы было хотели однажды, несмотря на отвращение к такому труду, вычислить все гадости наших водевилей, но как нападать на купца, если он заготовляет беспрестанно товар, который требуется! Впрочем, теперь водевили в сторону, они должны уступить место старшей сестре. Перейдем же от Поэзии толпы и залы, от ожиданий артиста к самой опере, которая должна понравиться такому бесчисленному собранию глаз и ушей. Первый удар смычка оковал наше внимание, и мы с должным благоговением сложили зрительную трубку, потупились, стараясь все чувства наши превратить в слух и доказывая своим примером, что общее мнение, господствующее у нас в театре, несправедливо; что увертюру, как и

романс, надо непременно слушать. Опера — создание чрезвычайно сложное! — содержание, музыка, декорации, машины! — С чего же начать отчет? Сохраним здесь порядок не представления, а творения: в творении содержание предшествовало музыке, декорациям и машинам, так начнем с содержания, тем более, что это даст нам возможность объяснить, глубок ли источник, из которого черпал музыкант вдохновение для своих идей и в каком очаровательном краю строил он волшебное здание звуков! Содержание оперы заимствовано из романа Г. Загоскина: Аскольдова Могила. Иные прощают опере всякое содержание, позволяют ей не иметь ни мысли, ни связи; и стоит вам сказать только: что это за нелепость!.. они тотчас возразят: «да помилуйте, ведь это опера, возьмите Итальянцев!»... Они думают Итальянцами заглушить вопль нашего рассудка против бессмыслицы!.. это староверы, это люди привычки, это школьники, которые все могут по линейкам. Что за несчастное произведение искусства, где допускается деспотизм бессмыслицы!.. Неужели, если в самом деле все Итальянские оперы нелепы, так в них то хорошо, что нелепо? Да и пристало ли нам отсутствие смысла, нам, жителям Севера, у которых страсти не потемняют рассудка? Чем мы извиним его преступное усыпление? Где голубое небо, благоуханный навес лимонов, мгновенная любовь примадонны и синее море, ласкаемое веслами под звуки вечерней баркаролы?

Да, и опера должна быть одарена смыслом. Но вы человек поэтический, вам противно это выражение, созданное прозою земли! Смысл, грубая мерка обыкновенных житейских дел, пошлое отличие первого встречного, годится ли он на употребление в высоком деле искусства?.. Вам хочется поэзии, безотчетной, как музыка; вам хочется населить вашу сцену этими милыми существами, которых осязает одна только фантазия, которые недоступны ни пяти чувствам, ни рассудку, у которых есть розовые щеки, чтобы соблазнить, и крылья, чтоб улететь; есть также бледно-синие лица, впалые глаза и длинные сухие пальцы, вооруженные когтями,— словом, вам хочется чего-то или лучше или хуже людей, только б это что-то не было похоже на ежедневную жизнь; вам хочется чудес, воздушных замков, ведьм, чертей, а более всего народности!.. О, не пугайтесь же слова смысла: широко его

значение!.. Давайте нам изображение человека, где б все размеры его теперешнего тела были нарушены; представьте какую-то чудную, непонятную жизнь, где б все делалось не по тем законам природы, по каким мы теперь существуем; постройте нам дворец, весь слитый из золота, и впустите туда шайку обворожительных чертей!.. Мы согласны на все, только покажите нам, что ваше восхитительное здание чем-нибудь придерживается к нашей бедной земле, то есть у него гранитное основание преданий и поверий народных. На этом условии колдуйте сколько хотите и выдергивайте из Истории какие хотите баснословные имена.

Дон Жуан и Фрейшютц,— как про них сказать, что мертвые не ходят к живым ужинать и что нет пуль, которые бы сами попадали в цель? Тут есть свидетельство народов, огромный мир привидений и невидальщины, записанный в легенды, завещанный от праотцов и сохраненный в памяти внуков. Кобολды, карлы, великаны, эльфы и проч., все эти обломки от древних Германских храмов, уцелели в легендах, песнях, балладах; их влияние на людей, их сношения с людьми переданы на письме и передавались искусно: это целая история с колоритом местности, в известных костюмах, с известными происшествиями. Сам Фауст, венец последнего Гения, взят из народного предания. Вот откуда черпаются волшебные оперы! Как не верить колдовству, когда были люди, которые верили; когда есть мир, куда я могу переселиться по милости фантазии; но если этого мира нет; если я не умею понять, в каком углу, в какой стороне, под каким небом происходит дело; если вы дарите нам картину, которая не вмещается ни в одну раму, то простите, что под звуки Русской песни, несмотря на Киевскую ведьму, все-таки получится не сцена из Фрейшютца, и что я, хоть вы сами назовете вашего героя неизвестным, узнаю в нем старого знакомого и дам ему законное имя Роберта. Как все путается, когда мы хотим насиловать прошедшее и воскрешать ту старину, для которой нет у нас живой воды преданий! Но кроме исторического колдовства, кроме волшебного ковра, сотканного из народных верований могучей фантазии поэта, опера может другими пружинами возбудить участие зрителей; в ней может быть интерес, основанный на событии естественном, человеческом, на одном из тех поэтических событий, которые одинаково по-

нятны у всех народов и на которые откликнется один век другому. Опера из времен Святослава!.. ужасно далеко!.. Теперь нет причины не написать оперы из времен Навуходоносора!.. Говорят, когда у одного ученого спросили, во что нарядить действующие лица этой пьесы, то он искренно отвечал: «Во что хотите, мы не знаем, как тогда одевались».

Надежда, Христианка, дочь рыбака Алексея, также Христианка, грустит, что не видит Всеслава; Всеслав к ней приходит; потом приходит ее отец, говорит, что ей пора куда-то идти, и просит, чтобы была осторожна дорогой, потому что много гуляк по случаю праздника Услада. Всеслав берется проводить Надежду. Остается Алексей, к нему приезжают на лодке рыбаки. Является Неизвестный, мрачный с виду, в шапке, опушенной мехом, поет им о старине, об Аскольде, уверяет, что не так живали деды, но рыбаки послушали, да уехали. Выходит Таропка, гудошник, сказывает Неизвестному, что все узнал, что Всеслав точно тот отрок, которого Неизвестный ищет, и что он намерен жениться на Надежде. Неизвестный берет у Таропки веретено, которое этот сделал для Надежды, и хочет сам отдать его ей, а зачем он так поступает, увидим ниже. Сбираются люди всякого пола и звания. Поют и пляшут. Тут выступает на сцену Варяжский мечник Фрелаф, лицо, требующее особого внимания. Так как он Варяг, а не Славянин, то, следовательно, должен быть шут, хвастун, глуп и трус.

Фрелаф уверяет, что поцелует всякую, которая хорошо споет. Стемид, Велико-Княжеский стремянный, грозит ему плечистым мужиком. Фрелаф хочет поцеловать Надежду; рыбаки и прочие как будто хотят противиться; Фрелаф бежит за Надеждой и сталкивается с Неизвестным!.. Этот грозит ему своим кулаком!!! Фрелаф обнажает меч, кидается на него, но Неизвестный вырывает меч и уходит на лодку!!! А когда Варяг кричит: мой меч, мой меч, то герой непобедимого кулака бросает ему с лодки веретено. Веретено пригодилось. Хор повторяет: «веретено, веретено»; полпублики хохочет. Конец 1-го действия.

Действие 2-е. Пир. Празднуют Услада. Вышата угощает. Фрелаф хвастает своей силой, своим прадедовским мечом, просит тихонько Стемида не рассказывать, что случилось; но этот трунит над ним вслух, показывая его меч, веретено. Слышен голос Таропки.

Стемид уходит, чтоб привесть его, а Варяг начинает храбриться, уверяя, что «посадит Стемида на ладонку, другой прихлопнет, так будет того; что узлом завяжет, в бараний рог согнет». В этих коренных Руссицизмах, конечно, есть народность, да зачем она попала на язык к Варягу? Замечательно, что автор заставил Фрелафа и пить больше других: он тут пьянее всех Славян. Таропка забавляет собрание сказкой и пением, а между тем дает знать Всеславу, что этому пора на Аскольдову могилу, на свидание, назначенное в полночь. Все уходят хором. Вышата, Велико-Княжеский ключник, или лучше Кизляр-Ага, велит вооруженным людям идти за собой. Кто-то незнакомый обещал ему указать красавицу, так, может быть, придется отправить ее в село Предиславино. Перемена. Аскольдова могила. Неизвестный потомок от какого-то слуги Аскольда объявляет Всеславу, что этот происходит от самого Аскольда и должен мстить Святославу; предлагает помощь Печенегов и Велико-Княжеский престол, от чего, разумеется, Всеслав отказывается. Неизвестный проклинает своих богов, а Христиане поют за кулисами славу истинного Бога. Тут автор метил на нравоучительную сцену. Всеслав уходит. Неизвестный решается предать Надежду в руки Вышаты, который со своими тут же и похищает ее для Великого Князя. Всеслав, защищая возлюбленную, убивает одного из Велико-Княжеской дружины и говорит: «Я погиб», а Неизвестный говорит ему: «Нет, ты не погиб». Убийца скрывается, за ним погоня, огромный хор кричит без памяти: «Пойдем, пойдем» и, как делается в операх, ни с места.

Действие 3-е, и оно прекрасно. Надежда в селе Предиславине. Тут, и только тут возбуждается участие, есть интерес человеческий; тут вы видите на сцене драму, жизнь, тут вы понимаете, что делается перед вами.

Декорация представляет что-то похожее и не похожее на терема, да так и должно: Бог еще знает, были ли терема при Святославе! Жительницы села сидят по этим баснословным зданиям чинно, рядком, лицами к зрителям: вероятно, им захотелось подышать чистым воздухом, иначе нельзя объяснить, зачем они расселись тут напоказ. Красавицы поют, поют и расходятся. Являются грустная Надежда, нянюшка Буслаевна, потом Таропка, который, чтоб

развеселить Надежду, принимается петь. Вообще в этой опере поют или чтоб развеселить кого-нибудь, или по чьему-нибудь приглашению: «А, ты знаешь песню, спой, пожалуйста». Это, конечно, вежливо, дожидаться, покуда попросят, да только ловко ли писать музыку на такую оперу? Музыкант требует певучего состояния души, чтоб человеку пелось, без просьбы, без приказу, чтоб песнь могла звучать из сердца и тогда, когда б никто ее не слушал. Но, вероятно, автору пьесы показалось неестественным, что люди поют на сцене сами собою, так он заставляет их. Вследствие этого, но тут кстати, Таропка поет и в то время, как Буслаевна расхаживает поодаль, дает знать Надежде, что ее хотят спасти, чтоб она была готова. Сцена оживляется. Эта Надежда, несчастная жертва угодительности Велико-Княжеского ключника, эта нянюшка Буслаевна, которая так приголубливает ее, чтоб лучше настроить и уберечь, этот всесветный слуга Таропка, который пришел с одною хитростью, с своею заливной песнью — все естественно, занимательно. Собираются красавицы, слуги и служительницы села Предиславина, на стене часовой, а Надежда уже у окна в высоком терему сидит и ждет. Таропку опять заставляют петь. Он привлекает внимание всех. Его пение есть не что иное, как рассказ о том, что тут же делается на сцене; все смотрят только на него, восхищаются и, наконец, старый и малый, горбатый и прямой, все начинают плясать и петь, а между тем Всеслав приставляет лестницу к окну, у которого сидит Надежда, и похищает ее.

Это действие прелестно, задумано хитро, тут есть художественность в изобретении, тут возбуждается в зрителе чувство изящное, и тем оно сильнее, что нисколько не приготовлено началом оперы и совершенно истребляется концом. Тут нет ни кулаков, ни веретена, ни бедного Варяга, пересотворенного в Тарабары, а между тем вы боитесь, чтоб не обернулся часовой, чтоб кто-нибудь не свел глаз с Таропки; а между тем все так по-русски: заслушались, зазевались!.. Вот тут есть народность, и доказать это легко, потому что существует народная песня такого же почти содержания: воры забрались на свадьбу, один пляшет и поет перед гостями, другие крадут. Он именно пересказывает, что товарищи его делают, припевая даже: «Эй, нагни голову, шапка видна» и проч. Мы

думаем, что из всех Русских опер, взятых вместе, нельзя составить одного такого действия. Музыка придает ему необыкновенное одушевление.

Мотивы звучат чем-то знакомым, чем-то восхитительно-родным. Мы знаем, что иные отвергают в музыке народность; но есть же баркарола у Итальянцев, водевиль у Французов, либер Августин у Немцев, и есть Русская песня, про которую так метко, так глубоко говорит поэт:

Что-то слышится родное
В долгой песне ямщика,
То разгулье удалое,
То сердечная тоска [1].

Разумеется, Надежды взыскались. Вышата суетится. Общая суматоха. Жаль только, что число бегающих по теремам мало.

Действие 4-е. Вышата у ведьмы: скажи, Вахрамеевна, где скрывается Всеслав с Надеждой? Вахрамеевна колдует; у нее есть сова с такими же огненными глазами, как у Фрейшютца — и ведьма, так же, как Фрейшютц, показывает Вышате Всеслава и Надежду. Вышата узнает урочище; туда; а там Неизвестный предлагает беглецам защиту, если Всеслав согласится на его желанье. Погоня близко. Таропка прибегает, говорит: «Спасайтесь». Тут в Всеславе происходит борение страстей, но, разумеется, чувство долга побеждает чувство самосохранения.— Умру, а не хочу быть Великим Князем,— за что Надежда хвалит Всеслава, и они входят на скалу, хотят броситься в Днепр: авось он их вынесет; вооруженные люди готовы их схватить, но, разумеется, Стемид приносит им прощенье от Святослава. Тут бы и полно, так нет, случись еще буря, которую надо показать, и Неизвестный, который вздумал переправляться через Днепр. Разумеется, он, как злодей, погибает в волнах; гром, молния, хор, актеры падают на колени, руки кверху, а занавес наконец книзу.

Вот опера! Что это за лица? Что за костюмы? К какой мифологии принадлежат эти боги? Надо признаться, что глушь и дичь времен Святославовых недоступна поэзии, не может уже возбудить в нас никакого сочувствия: мы ничего не знаем, что тогда де-

---

[1] Стихи Князя Вяземского.

лали, что думали, о чем говорили, во что одевались и чем питались. Мы не знаем, был ли точно бог Услад, или это просто слово, исковерканное из выражения: «ус злат», какой, говорят, был у Перуна? — О какой старине проповедует Неизвестный, которая была при Аскольде, и против какой новизны восстает, которая была при Святославе? Мы, право, думаем, что и этот жил не по моде. Наконец, из чего хлопочет Неизвестный? Попался ему бедный отрок: «А у тебя нет ни рода, ни племени, так ты потомок Аскольда, будь Великим Князем». «Не хочу» — «Будь, да и полно, не то выдам невесту, не спасу от погибели». Еще, если б самому Неизвестному хотелось на место Святослава, ну, дело понятное, человеческое; а то из чего такое рабское усердие к другому? Тут все темно, непостижимо. Если объяснять это наследственной враждой, то как могла она созреть на Славянской почве? Но, оставляя уже основу пьесы, где нет ни интереса исторического, интереса преданий, ни интереса естественного; где нет ни причины, ни связи ничему, что делается на сцене, кроме 3 действия,— мы обратим внимание на предмет более важный, на вводное лицо Варяжского мечника, на Фрелафа. Если правда, что Славяне призвали некогда Варяг для господства над ними, то, вероятно, Варяги были не трусы и, вероятно, нельзя было обижать их безнаказанно. Можно б понять, когда б представили нам одного из этих пришельцев утеснителем, злодеем, которого все дрожит и которому никто не рад; но как вошло в воображение автора именно из этого предприимчивого, отважного, воинственного народа, из храброй дружины Святослава выбрать шута для райка? Как позволить себе в изящном произведении, на сцене,— еще похвальное слово кулаку, кулаку, который с некоторых пор слишком часто встречается в нашей Литературе? Что за волшебный Русский кулак, который лучше Варяжской сабли? — Неужели это народность?

Нам скажут: это тогдашний быт! Надо же рассмешить публику. «Тогдашнего быта вы не знаете, а если б и знали, зачем выставлять такое качество человека, которое перещеголяет первый медведь с своею лапой? — Зачем льстить этому классу народа, который, несмотря на Великого преобразователя России, до сих пор еще гордо поглаживает за углом свою бороду и за углом рад похвастать своими кулаками? Кулаки не

помогли под Нарвой, и не кулаки, а обученное войско смыло под Полтавой пятно стыда кровью своего прежнего победителя! — Не кулакам обязаны мы, что знаем теперь — звонок ли чугун на Аустерлицком мосту, когда казачий конь бьет о него подковой, и красива ли Сена, когда отражаются в ней Русские штыки. Да притом и неправда: искусство биться на кулачки не доведено у нас до такого совершенства, как в Англии. Неправда, что Русский человек и без меча умеет драться, как сказано в Ляпунове. Русский человек смышлен и не полезет на нож. Русский человек не забияка и не грозит никому.— На начинающего Бог, вот правило, вот чувство, с которым он прошел всю свою Историю. Уверять, что его и меч не рубит и пуля не берет, что у него кулак стоит ваших мечей— смешно и больно.

Мы уже далеко впереди этой мысли, мы уже сильнее сказочных богатырей человечества.

Пусть эта ребяческая, мужицкая народность, через которую прошли все племена, но которою никто не щеголяет, лежит сохраненная в Брянских лесах, под спудом мрачной старины, под проклятием образованности. Не будем отдавать Варяга, или, скажем точнее, Немца на посмешище Русскому кулаку, потому что тут не было ни верности, ни чувства собственного достоинства, ни чувства справедливости. Слово Немец я принимаю в том значении, в каком принимал один слуга, который на вопрос: кто у его барина? отвечал: «Не знаю, сударь, Француз ли, Итальянец ли — только Немец». Смешить Немцами, нападать на Немцев,— теперь мода в нашей Литературе; но с какого оригинала пишутся эти натянутые копии нападков? Но где нашли вы это кулачное самохвальство, к которому привязываетесь, как к единственному источнику вашей поддельной народности? Зачем клеветать на Русских, когда Провидение и Петр дали им способность радушного гостеприимства, человеколюбивый взгляд, кроткое благородное, а не хвастливое сознание силы и жадное любопытство ко всему, чем образованность благословила изуродованных вами Немцев? Нам ли, теперь ли хвалиться преимуществами дикости, грубого тела, когда и враги наши стыдятся уже называть нас варварами; когда мы так быстро шагаем к тому, чтобы похвалиться перед всеми преимуществами разума, без разврата его? Отчего вдруг такая неблаго-

дарность? Не забудем, что Немцы были первыми цирюльниками в России; да и кто объяснил нам наши собственные летописи? Кто составляет и издает для нас словари нашего собственного языка? Из каких книг, если у автора есть библиотека, состоит она? Какие журналы получает он, если любит читать? Кто шьет на него платье, если любит хорошо одеваться? Кто делает ему машины, если он фабрикант? Кому заказывает экипажи, если боится переломить ногу?

Что же поэтому в Варягах или Немцах смешного, и за что же показывать им Славянский кулак?

Чувствуем, что мы вдались в излишнее многословие по случаю как будто ничтожной сцены; но в наших глазах она имеет глубокое значение, и мы не можем без неприятного содрогания встречать на театре или в Литературе проблески не Русского, а Татарского направления.

Высказав наше мнение о содержании оперы, о мыслях, выраженных словом, которым всегда силятся доказать что-нибудь и которые, как бы ни были упитаны жаром сердца, всегда подвергаются суду холодного, отчетливого, разрушительного смысла,— обратимся теперь к музыке, к этому искусству, где ничто не подчиняется мелочному разбору головы, где нельзя осмеять Варяга, намекнуть на Немца и похвалиться силой руки, потому что звуки не унижаются до математической точности, до определенного выражения: они только летят к небу, они только говорят чувству.

Но мы не беремся быть представителями этого темного, тонкого музыкального чувства, с которым так трудно родиться и которое так трудно воспитать в Москве; а потому с искренним смирением кладем в сторону перо независимого критика и берем другое, более робкое, перо общественного переметчика, который сбирает чужие мнения и пользуется ими, чтоб наполнить журнальную страницу.

Вообще все согласны, что музыка Аскольдовой могилы гораздо выше первых двух опер Г. Верстовского, что его талант, как многие другие, не остановился на точке замерзания, не заснул в Вольтеровских креслах, самодовольно созерцая свое давнишнее авторское счастие. Иные находят в Аскольдовой могиле романсическое направление, неясность музыкальной идеи в некоторых хорах и в большой арии Неизвест-

ного, излишество закулисного пения, отсутствие законных принадлежностей старинной оперы, как то: квартетов, трио и проч. Но что до этого, если музыкант, который до сих пор один трудится с неутомимым жаром на поприще своего искусства, одушевил оперу во многих местах неподдельным вдохновением, уловил тайну музыкальной народности, если у него все, что называют песнью, романсом, именно прекрасно, по отзыву самых строгих знатоков.

Справедливость требует упомянуть о тщательной обстановке этой оперы.

Фантазия, которая присутствовала при создании костюмов, сделала все, что могла, для украшения спектакля, и мы никак не обвиняем ее в неверности: она и старалась приблизиться как будто к Русской одежде и сохранила свободу, какую дает ей отдаленность и непостижимость времени.— В машинисте мы в первый раз видели на нашей сцене артиста.— Жаль только, что он имеет, кажется, неточные понятия о бурях и о ветре. У него ветер, в конце оперы, качает два дерева, которые стоят перед зрителями, а остальные все не шелохнутся. Нам показалось странно такое лицеприятие ветра.— Любопытство публики видеть эту пьесу до сих пор еще не удовлетворено, несмотря на столько представлений. Многие пять раз кряду были в театре именно затем, чтобы слушать музыку, многие до сих пор не достали еще билетов.

НЕДОВОЛЬНЫЕ

комедия в 4-х действиях, в стихах, соч. М. Н. Загоскина. Представлена в первый раз на Большом театре 2 декабря 1885 года

Вот для ради чего я мужеством кипел...
Сумароков

Мы отвергаем непогрешимость толпы в деле искусства, как и во всяком другом деле; мы не признаем, что ее суд над произведением изящным всегда непреложен, истинен. Вы слышите крики тысячи голосов, бешеные рукоплесканья... смотрите же на сцену... Что взорвало эти сердца и руки? Какому вдохновению такая упоительная награда?.. Не увлекайтесь, не заноситесь в идеальный мир и не думайте, что глас Божий — глас народа!.. Чему восхищается наш народ?.. Какое-нибудь лицо, извещенное в городе, появилось на сцене с неподражаемым сходством в одежде и в ухватках, какое-нибудь новое кривлянье придумано актером... какая-нибудь площадная двусмысленность или грубая увесистая острота стукнула по ушам зрителей.— Да, толпа неприхотлива; она не вглядывается, а глядит, не наслаждается, а тешится, ленивая не прищурит глаз, чтобы наследить тонкие переливы света в тени и подметить нежную черту художника, не сделает напряжения своему слуху, чтобы не проронить ни одной блестки ума, ни одного слова от души!.. Глубокая мысль, изящество отделки, чистота вдохновения, святыня искусства. Э, Боже мой, зачем придавать такую важность предмету ее забавы? Досуг ли ей пускаться в эти тонкости, о которых можно хлопотать только людям праздным? Ей хочется просто пошутить, и счастлив автор, кто сумеет записать свою пьесу в ее шуты: она хлопает, кричит, бросает в него свой дешевый восторг, закутывается в шубу и бежит из Театра, точно дело сделала.— Тут критик смотрит ей вслед и кусает губы. Он переводит пьесу на образованные понятия об искусстве, добивается толку в этом восторге, спрашивает у себя: да что же такое истинная красота, что такое публика? И не понимает ни красоты, ни публики, ни человека.— Тут-то в его негодующей душе создается призрак общего мнения — ложного, вредного,— ему кажется, все отправились по домам, но говорят, рассуждают, помнят и автора

и пьесу и чрезвычайно заботятся о том, точно ли она хороша. Полный этих горячительных заблуждений, так необходимых у нас литератору, этого суеверия к своему ремеслу, он пускается распространять на бумаге истинные понятия, чувство вкуса и думает, что теперь-то страницы, измаранные чернилами, теперь-то перо будет уже не шутка, а дело, действительность, поступок. И точно, идти наперекор толпе, вследствие сердечного убеждения, хотя приложенного к пустякам, почему-то хорошо, жажда неровного боя почему-то благородна. Жаль только, что толпа не пойдет спорить и не станет читать. Все-таки критика в этих случаях принимает характер нравственный, обнаруживает в своем сочинителе храбрые наклонности, и ее должно отнести в число добродетелей. Но есть у людей немногие истины, редкие ощущения, где все они сходятся, соглашаются, несмотря на различие состояний, одежды, образованности. Есть, к счастию, и в мире идей эти положительные цвета, которые уже всякий назовет красным или черным.— Бывают и для искусств и в театре такие мгновения, когда уже нет ни толпы, ни избранных, когда уже всем или скучно или весело. Вот тут как поступит критик, если, принимая на себя право судьи, основанное иногда на верности вкуса, на изучении, а иногда на самонадеянности, он видит, что его искренний приговор сливается совершенно с приговором публики; что в продолжение четырех действий комедии она сидит, молчит, не смеется и не хлопает? Где взять ему этого холода, которым она одна умеет обдать пьесу? Где взять эту массу человечества, которая своим немым присутствием давит комедию и в глаза уличает ее беспрестанно: это скучно, это неверно, это неправда. Публика страшней, строже, неумолимей всякой теории и всякого критика. Он еще заметит гладкий стих и простит его пошлый смысл или водяность из уважения к безотчетной мелодии звуков; он еще вспомнит, что вы трудились три или четыре года и что в минуты, может быть, неутомимого, потового труда, а может быть, истинного вдохновения, падали вам с поэтического неба чудные рифмы: Тронька, Афонька; Федотка, глотка; Анны, ванны. Публике же нет дела до многолетних трудов, до мелодии и до рифм,— она привязывается особенно к действию, к содержанию, к смыслу и, если комедия с заносчивой важностью бе-

рется за современность, то публика требует настойчиво современности. Вот тут критик является в другом виде, не столько нравственном: присоединить свой голос к большинству, сражаться под знаменем силы не есть уже дело великодушное, и мы оставили бы в покое произведение, в котором не заметили никакого литературного достоинства, когда б на афишке не стояло имя г. Загоскина. Будь это первый опыт темного автора, что говорить о нем, зачем кидаться на беззащитного? Но г. Загоскин не беззащитен, но г. Загоскин имеет за себя ходатая: Юрия Милославского, но ошибки его поучительны, но известность его не пострадает нимало, какую бы мы правду ни сказали. Нам приятно думать, что можем дать волю жадной привязчивости критика, холодной анатомии, злому началу литературы и нисколько не повредить автору: утешительная мысль, что на этот раз чувство человеколюбия не станет роптать против бесчеловечных требований истины. Да, кто не читал с искренним удовольствием первого романа г. Загоскина, многие места Рославлева, а особенно мастерскую сцену извозчиков? Кто не смеялся от души в иных его комедиях, в его благородном театре? Эти слова не есть с нашей стороны риторическая фигура уступления, чтобы вкрасться в доверенность к читателю, нет, мы говорим, что думаем. Как же мог он написать такую комедию, какова Недовольные? Тем более это явление кажется нам странно, что прежде отличительная черта автора была веселость, а теперь противное.

Приступая к разбору этой пьесы, мы должны сознаться, что опоздали, что критика на нее давно уже написана и написана вперед.— На западном краю Европы жил некогда чудный человек, который умер в Мадриде в 1616 году, апреля 23-го дня, однако ж успел раскритиковать многое, что родилось гораздо после его смерти. Он пустил на свет одного героя в полубумажном шишаке, в ржавых латах и заставил сражаться с ветряными мельницами. Как бедный оруженосец, мудрый Санчо-Панса ни уверял благородного рыцаря, что это мельницы, тот твердил свое: это великаны и, в жару добродетельного порыва, ринулся на врагов. Приключение, кажется, и не хитрое, выдумка и не головоломная, только что же вышло? Бесчисленное количество романов, повестей, комедий отправились по свежим следам Дон-Кихота и, до сих

пор еще соблазненные примером, бьются неугомонно с ветряными мельницами, принимая их за великанов.— В самом деле, представить себе в 1836 году Московскую публику такою, какою она была до чумы; заставлять людей говорить, как они не только не говорят, но не могут, не должны и не умеют говорить; втискивать в них мысли, которым на известном пространстве, в известную эпоху, при известных условиях нельзя добровольно забраться ни в чью голову; наконец, выступить в поход, когда нет неприятеля, сочинить нравы и потом осмеивать их — не значит ли это посвящать свою комедию в благородного рыцаря Дон-Кихота?

Недовольные!.. Ну, если теперь в каком-нибудь углу России ученый затворник захочет объяснить себе, что делается там, за глушью его кабинета? — Он, конечно, смотрит на дела мира сего сквозь призму идеального представления, неизбежную, как скоро живешь с одними книгами; он не видал и не видит людей, он не знает их, а ему вздумалось писать современную Историю, а ему нужно уловить физиономию смешных и трагических действующих лиц, отгадать пружины явлений, определить, какие пороки, добродетели, страсти пользуются в настоящую минуту всеми преимуществами моды? — К чему же прибегнуть? Опытных сведений нет,— прекрасно! — да литература есть выражение общества, и ученый историк схватит новую комедию, прочтет заглавие, скажет себе: вот наконец резкая черта, которая бросилась в глаза комику, и пустится писать. Ну, если какой-нибудь путешественник, не знающий нашего языка, не имеющий понятий, как почти все путешественники, о наших нравах, услышит проездом через Москву, что на театре играют Недовольных: он, разумеется, подхватит на лету это слово, не станет углубляться в дальнейшие исследования и отметит в своих записках: общество было недовольно.— Спрашиваем: точно ли будет понятие, какое получат они о главной физиономии общества? Не будут ли они походить на того, кто видел букашек и не примечал слона? Зачем вводить в заблуждение Историка и путешественника; хотя б этот был и Француз? Мы, люди опытные, люди более или менее разочарованные, конечно, не поверим уже на слово никакой комедии, нам не опасно, что про нас ни пиши: перед нами портрет, но перед

нами и оригинал.— Мы видим яркое несходство, мы видим другую физиономию; мы не умеем писать комедий, но чувствуем возможность тысячи их и в этой тысяче ни одной, которую следовало бы назвать: Недовольные.— Когда вас поражает совершенно противное направление, когда вы скорей услышите, что солнце взошло, чем что оно всходит, как говорит Автор в одном месте, когда возбуждено столько надежд на будущее, столько внимания к прошлому и столько движения в настоящем,— такое название есть неизвинительный анахронизм.— Оно поздно: мы ушли уже вперед от комедии, разорванной по стихам на пословицы, где давным-давно представлены недовольные, со всею резкостью сильного дарования, с клеймом минувшей современности. Что такое Чацкий? Что такое Репетилов, особенно последний? Человек, который в душе доволен всем, потому что на его душу не трудно угодить, а между тем ропщет, а между тем прикидывается с такими огромными требованиями, подлаживаясь нелепо под то, что считает образованием и чего никак понять не может. Вот лицо и недовольное и глубоко смешное. Но положим, что автор не думал представлять резкой черты, он подметил черту невидимую, тончайшую: он под словом недовольные разумел не недовольных, а просто людей или с раздраженным самолюбием, или сварливым характером, или с испорченным воображением. Тогда не следовало бы давать пьесе никакого названия и вводить нас в соблазн; нам приходило в голову, что завязка ее основана на какой-нибудь апелляции: недоволен решением Уездного Суда, Гражданской Палаты, что имело бы по крайней мере современный смысл; было бы дельно. Мы привязываемся к названию, потому что оно важно, потому что от его значения произошла ошибка в целом и мелочах. Вот как оно неверно, вот как неверна идея, под влиянием которой писана комедия, что в ней выражения, мысли, лица, все пахнет эпохой Недоросля или Модной лавки.— Не станем рассматривать ее, как произведение искусства: она не может удовлетворить самым снисходительным требованиям его. Зачем в ней ходят, уходят, приходят — это необъяснимо; — зачем говорят — Бог знает. Содержания нет. Завязка делается только в конце 3-го действия, и то какая завязка! основанная на ошибке в адресах. Действующие лица

не оживлены духом жизни, не имеют ни характеров, ни собственного произвола, у них нет логической последовательности ни в мыслях, ни в движениях. Они как-то не умны, как-то не хитры: последнее свойство бросает, правда, на них приятный свет детской непорочности, да что делать? нам и это не нравится: в наш развращенный век даже детская непорочность нейдет взрослым людям. Поэтому мы оставим уже искусство и не станем указывать белых ниток ремесла, которые очевидны. Вникнем только, о чем разговаривают эти действующие лица и какое назначение получили они от автора. Если критику позволено угадывать его намерение, то мы сказали бы, что всем им велено говорить вздор, кроме одного; потому что этот один, Губернский Предводитель Глинский, поступил на вакансию Правдиных, Прямосердовых, Добросердовых и прочих, без сомнения, людей нравоучительных, но нельзя сказать нравственных, ибо в Литературе они считались до сих пор истинными злодеями.

Рассмотрим же теперь, о чем рассуждается в комедии Недовольные и что она осмеивает, сколько мы могли это удержать в памяти после двух представлений.

Действие 1. Губернский Предводитель какой-то губернии Глинский приезжает с визитом к Князю Радугину, ошибается дверьми и попадает на половину к его теще Анисье Дмитриевне Камской, где встречается с ее фавориткой Анютой или Анетой, которой говорит: «Мы с тобой старинные друзья».— Тут начинается изложение в роде древних французских комедий, т. е. Анюта, наперсница, конфидантка, рассказывает Глинскому все, что ему не нужно знать. Эти рассказы состоят в следующем: дела Князя Радугина нехороши, он проматывает пять тысяч душ наследства, потому что ест зимой малину и платит по пятидесяти тысяч за картину! От него, от его дочери, а пуще от сына достается России, где, по их словам, кроме капусты и квасу, не знают ничего. Сын, Парижанин, как можно предвидеть, поссорился за игрой и был ранен слегка на дуэли; а играет он в карты затем, чтобы потрясать нервы. Запяткин, друг его, не в больших чинах, не знатный по происхождению, не служит оттого, что любит свободу, клянет все Русское, а деньги промышляет в карты. Племян-

ник Глинского, Лидин, который не показывается в пьесе, ездит в дом к Радугину, влюблен в его дочь и служит Капитаном. Он не Граф, не Князь, почему и не свел с ума Княжны, но она теперь стала смирнее: ей уже под тридцать. Наконец у Анисьи Дмитриевны есть своя полиция, она заправляет Покровкой, разведывает через подсылаемых шпионов, где что делается, и знает все чужие домашние дрязги. Отличнейшие из ее шпионов: Михай и Афонька. Все это Глинский выслушивает с удивительной благосклонностью. Положим, что Анюта может рассказывать всякие мерзости про тех, чей ест хлеб и у кого живет под крышей, может упрекать Запяткина, что он не знатен родом, не в больших чинах: фаворитка скверной старухи не поймет, что дурного в этих упреках. Но Глинский, Губернский Предводитель, со звездой, человек важный, нравственный, он должен бы так держать себя, чтобы ему не смели пересказывать низких сплетней: он должен бы знать людей за таких, какими сам их видит и не справляется ни с чьим мнением, а еще менее с мнением фавориток. Является Анисья Дмитриевна, теща Князя, у которого пять тысяч душ, шпалеры на стенах, серебряный сервиз, в галунах лакеи... вы отгадываете уже, что она будет делать. Бранится на людей, тот пьяница, тот вор, говорит Глинскому, что он «хлебнул живой водицы», восстает против нововведений и просит его взять их доктора Ивана Фомича — Немца. Глинский очень рассудительно возражает ей, что теперь много хороших докторов и Русских. Она-то на Русских. Тут нельзя не остановиться: из какого века эта черта? Кто уже нападает на Русских докторов и кто их защищает? Да, кажется, с незапамятных времен самые знаменитые доктора в Москве Русские, и в настоящую минуту пользуется особенной славой также коренной Русский. Какая Анисья Дмитриевна не лечится у них, какая Анисья Дмитриевна разбирает, Немец он или Русский? Помилуйте, мы уже дожили до того, что нам все равно, кто б он ни был, только б был искусен; притом же Анисье Дмитриевне неловко лечиться у Немца: она говорит таким кухонным языком, что ее надо понимать Русскому, да и Русскому: «Хорош гусь, невесело положить зубы на полку» и проч.; наконец Анисья Дмитриевна восстает на минеральные воды: «все кричат — не воды — чудо, а знаешь ли,

берут откуда? Из Москвы-реки». Ужасно сердится на шоссе, на дилижансы, на пароходы — все это, по ее мнению, «лихие болести»; сердится, что дают чины детям даточных, а столбовых оставляют в забросе, когда прежде, если отец был в чести, то сын офицер в пеленках. Словом, всеми силами тянется за Простаковой и прикидывается немножко Фамусовым. В этой сцене узнаем мы, что Князь Радугин хочет вступить в службу, писал в Петербург, а ответа нет. Глинский поговорил, послушал и — откланялся. Ах, мы было забыли, что он очень дельно и поучительно сказал между прочим: тому больше чести, кто без знатного родства проложит себе блестящую дорогу талантом или трудом.— Выступают Михей и Афонька. Михей докладывает барыне, что ходил в Надворный Суд по делам Князя, но неладно; а Афонька, с подбитым глазом, на вопрос, что узнал, рассказывай, доносит следующее: шел он от Ситцкой и видит: у Волгиных дом горит в огнях, не худо бы заглянуть...— Мы б ему сказали — на бале нечего шпионить,— ну да у него свое рассуждение. Войти нельзя, в доме его знают, а окна высоки. Сам черт шепнул ему на ухо: он бегом за лестницей, принес, прохожих нет, но только ступил на первую ступень, как сам хозяин дома Волгин прямо с бала на улицу, тут как тут:

«А, попался плут, да с наскоку бряк в щеку, да хлысть в другую; катал, катал, потом людишки приняли».

Один трактирщик недавно разорился: у его знакомого крестьянина спросили, отчего? Да никакой, батюшка, деликатности не имел с гостями, отвечал он. И мы скажем про эту сцену: деликатности не имеет она. Это едва ли бывало и в семидесятых годах, и в Татарской улице. Анисья Дмитриевна бесится на Волгина и на все его потомство — с ней делаются спазмы:

Такой Аффронт получа,
Она требует Ивана Фомича —

своего Доктора.

Действие 2. Молодой человек, у которого отец имеет пять тысяч душ, который путешествовал, должен же был получить какое-нибудь воспитание: пусть

он глуп, пусть он развратен, но его глупость, но его разврат проявятся в известных формах, под известными условиями. Князь Владимир Радугин, так же, как и отец его, назначен привести нас в ужас или уморить со смеху своими нелепыми чужекрайными мечтами; однако не приводит и не морит, потому что его тон, его мечты, его нелепость переступают уже за всякие границы правдоподобия. Запяткин зовет Владимира на игру: «Поедем, душенька»; Владимир отказывается: «Нет, cher ami [1], умнее бы соснуть.— Но в хозяйке дома, куда я тебя зову, Русского нет ни крошки, она поет танти-пальпити, муж ее уехал в Неаполь — там много жен, поедем, душенька,— ну, так и быть, изволь».— Потом они переходят к рассуждениям о женщинах: «К чему для женщин ум, говорит Владимир,— чтоб быть еще милей»,— отвечает Запяткин. «Женщины — дети»,— продолжает князь,— «их надо забавлять: люблю за это я Париж, мужчины там рабы, а они царицы, их тешут, как детей, и если не уважают, зато боготворят».

Вообще воспоминания Владимира о Париже состоят в том, что там «все пьют равно из чаши наслаждений», что там «весело пожить». Мы не знаем, правда ли это, знаем только, что всех русских путешественников нашего времени можно разделить на четыре разряда: одни ездят за границу из видов промышленности, осматривать фабрики, машины и, воротясь, заставить нас задуматься: есть ли за границей люди, не машины ли пишут книги, которые мы читаем.— От других нельзя узнать ничего ни о людях, ни о машинах: они ничего не говорят; третьи говорят, что у нас все лучше; четвертые — о Шатобриане, о Тьерсе, о Баланше, о Шателе, о религиозном направлении, словом, по выражению Грибоедова: «о Байроне и о матерьях важных», но уж о том, что «женщины царицы», что их «не уважают, а боготворят», о наслаждениях никто не говорит, никто уже не скажет: я завтракал в Rocher de Cancale, обедал у Вери — это говорилось и давно перестало говориться. Далее Владимир объявляет, что его сестра «отделала» Лидина, который сказал ей: «Я век буду любить вас, а

---

[1] дорогой друг *(фр.)*.

боготворить не стану», что он, Владимир, уволен от службы, ибо взбесился на начальника, который при всех упрекнул его: «Слыдно вам шататься», а потом в споре велел молчать и прибавил: «У вас на всякой строчке галлицизм, учитесь грамоте, подите вон». Положим, что начальник был и неуч, все неправдоподобно: с такими людьми, как Владимир, не обходятся так сурово, какой бы вздор они ни несли, да притом же несправедливость слишком очевидна: Владимир знает Русской грамоте, например, он говорит: «Бедного холодный пот прошиб» — это одно выражение показывает глубокое изучение языка.

«Князь Радугин-отец обедал в клубе, ел телячьи ушки и пирожки с вареньем, которые ему понравились, почему подал голос готовить их чаще, об этом вышли пренья, пошли на голоса и спорили два часа».— О блюдах в Английском клубе голосов не подают, и хотя бы нам не хотелось защищать клуба, но должно сказать, что и пирожков с вареньем не готовят. Пусть бы Князь назвал Plombiere [1], желе из ананасов, macedoine [2], а то пирожки с вареньем! Помилуйте, это кушанье допотопное, ископаемое; пирожки с вареньем в Истории Гастрономии то же, что в Истории Мод мушки на лице; пирожки с вареньем не современны, они принадлежат к эпохе розанов и левашников. Что же за блюдо «телячьи ушки» — нам неизвестно.— Князь Радугин-отец сердится, что Французский журнал хвалит нас; доволен, что Парижские судьи строже, и недоволен, что кого-то произвели в четвертый класс. Княжна была бы неравнодушна к Лидину, да он «такой чудак, такой педант, все любит Русское; зато он богат»,— говорит ей Владимир, а прежде из слов Анюты видели мы, что лучше Лидина нет мужчины. «Все так, mon frére» [3],— возражает Княжна. «Да он... обер-офицер,— отвечает брат:— что вижу, душенька, не хочешь в Капитанши?»

«Эти mon frére, ma soeur [4], душенька» удивительно нам не нравятся; откуда этот тон? и что за опальный

---

[1] Пломбир *(фр.)*.
[2] овощное и фруктовое блюдо *(фр.)*.
[3] брат *(фр.)*.
[4] братец, сестрица *(фр.)*.

чин Капитан? и где приискалась такая Княжна, которая, вот видите, отворачивается от жениха, потому что он Капитан, потому что любит все Русское, несмотря на то, что ей тридцать лет и что он богат, умен, красавец!.. Невыносимая натяжка!..

Докладывают: «Глинский». Он дядя Лидина, и Владимир советует сестре: «Смотри ж, ma soeur[1], пониже присядь да к ручке подойди. Эх, полно, Волдемар, отстань»,— отвечает Княжна.

Мы не понимаем, зачем Глинский посещает так часто Радугина; еще если б он хлопотал о племяннике... да! ему надобно выступить на бой ума, надо доказать, что все у нас идет вперед. Есть вещи, которых уже не доказывают, есть люди, с которыми не спорят.

Князья Радугины, Запяткин, Анисья Дмитриевна утверждают, что мы глупеем, что просвещенье у нас не растет, что Россия не славится никакими именами, что мы во всем ужасно как отстали; а Глинский: что и нам можно похвалиться, и у нас много своего, что славных имен нетрудно назвать; они всем известны, их уважают в Европе. Нельзя высказать, надо слышать, до какой степени томят вас бесполезность и бессмыслие этих разговоров. После, разумеется, нападения на наш народный костюм и следуемого опровержения Глинский будто бы выходит из себя,— мы говорим «будто бы», потому что если б он в самом деле вышел из себя, то сказал бы что-нибудь от души, новое, свежее, а то, припомнив себе тираду Чацкого, под ее очевидным влиянием, просит, чтобы Господь избавил нас от «выходцев из чужеземных краев, от полуфранцузских сорванцов, от вздорных фраз, от затянутых попугаев, которые зовут негодным все затем, что сами ни к чему не годны».

Странно, что Князья Радугины слушают это, сложив руки: ведь так в гостиных не бранятся. Владимир относится к Глинскому с сарказмом: «Когда у нас видано, чтоб брали взятки; правда, ль, что у нас всегда виноватый наказан, невинный прав и сильный не давит слабого никогда». Мы бы на месте Глинского давно бросили Владимира, а если б нас принудили отражать такое обвинение, то сказали бы, что дела человеческие подвержены совершенствованию, что чувство справедливости, необходимое следствие способно-

[1] сестра (*фр.*).

сти мыслить и потому врожденное, развивается постепенно, постепенно переходит в нравы, обнаруживается в мнении, воплощается в правосудие и час от часу сильнее да сильнее борется с личными выгодами, с корыстью, с остатками, уцелевшими в обществе от его дикого времени. Вы видите эту борьбу, вы видите Россию: разве правосудие в ней таково теперь, каково было в те эпохи, когда ставили «на правеж», когда раздавалось ужасное «слово и дело», когда водили по улицам «языка» и испуганные купцы запирали лавки, бежали прятаться от прихотливой клеветы злодея? Разве оно таково теперь, каково было до указа, бессмертного этими словами: «и самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящее, да будет навеки изглажено из памяти народной»? Чем же возражает Губернский Предводитель?

Да где же этого, к несчастью, не бывает,
И где подчас невинность не страдает,
Неужто там...

Что это за извинение! Если невинность страдает — дурно, а что страдает и у других — не доказательство. Вот тут-то мы не позволяем ссылаться ни на Французов, ни на Англичан; вот тут-то не признаем мы ни одного народа, чей пример мог бы оправдать несправедливость. Для несправедливости нет авторитета на земле. Как! Если б в наших уголовных законах не было более человеколюбия, чем в варварских законах Англичан, законах, которых жестокость поправляют они безнаказанностью, объявляя виноватого правым, если б, говорим, и у нас, как у них, следовало за яблоко, украденное из саду, повесить, то неужели могли бы мы сказать: «Да где же этого, к несчастью, не бывает?».

Тут видно у г. Глинского не только отсутствие Логики в ответе, первых понятий о справедливости в голове, но отсутствие всякого нравственного чувства; и лучше б он покупал перчатки на Кузнецком мосту, потому что они там хороши, лучше б говорил с дамами по-французски, да не защищал бы нас по-Готтентотски — и под конец пьесы не за что было жаловать его в товарищи Министра. Далее он говорит дело: намекая на Францию, нападает на «буйную чернь, которая топчет законы в грязь», и заключает, что «порок всегда ненавидит порядок». Последняя неоспори-

мая истина показывает, как нападение холодно, обыкновенно, провинциально. Если тут кстати бранить буйную чернь, то ее надо бранить сильнее, одушевленнее.

Докладывают, что приехала Вельдюзева. Князь велит отказать, но узнает от Глинского, что она разбогатела, и велит просить. Как ново!

Вельдюзева приезжает за кулисами — для того, чтоб действующим лицам уйти как-нибудь со сцены и окончить 2-й акт. Владимир и Запяткин едут куда-то, первый жалуется, что устал, так последний советует ему «выпить рому и хлебнуть шампанского».

Действие 3-е на водах. Владимир проиграл 10 000 рублей; Запяткин уговаривает его продать подмосковную. Тут они осмеивают разных посетителей, которые проходят мимо, между прочим, одного в чулках, одетого, как на бал. Мы не говорим уже об остроте истасканных насмешек, но спрашиваем: кто одевается на воды как на бал? — Являются новые лица. Княгиня Дутикова, претолстая, о чем можно догадаться по ее имени, уверяет, что Москва — Камчатка, и бредит Ревелем!.. Жалуется, что больна, что «клюет по зернышку, как цыпленок».— Пустельгин, второй Загорецкий, рассказывает, как он мечется по Москве.— Толки о смерти какого-то Сундукова. Пустельгин утверждает, что он умер, а Сундуков является живехонек.— Анисья Дмитриевна бранится, что воды — «толкучий рынок», что Князь Бирюлькин встретился с ней и «не ломает шапки», что Запяткин «кобенится, как будто благородный». Княжна держит в руках записку. Брат спрашивает у нее: «Что это, любовная записка, от Лидина?» «Да, мой ответ решит его судьбу». «Сдавайся поскорей,— говорит Владимир,— ведь скоро тридцать лет». Вообще разговоры брата с сестрою отличаются самой естественной нежностью. От Полкановой, барыни, приехавшей из Орла лечиться, узнаем мы, что неизвестная нам «Матрена Николавна прожила все имение и возит дочек по ярмаркам», что Брун-Крейц «такая гадость, вот так с души и прет!», что она, Полканова, порешилась с Русской мадамой и с «Мусью» Французом, который «был в разных службах»; на что Анисья Дмитриевна возражает: «Француз отслужит семи царям на одних подметках». Где всему этому выучилась в 1835 г. барыня, приехавшая из Орла, и теща Князя, который ест зимою малину?

Анисья Дмитриевна бывала на Петербургских балах, она бракует Московских женихов, восхищается Петербургскими, вспоминает прежних гувернеров-аббатов за их вежливость: как бы ей не знать, что мало того, что мысль справедлива, надо, чтоб выражение этой мысли не было по крайней мере отвратительно.— Но тут все такие карикатуры, что вам, сидя в креслах, становится обидно: неужели надеялись вас этим рассмешить? — Наступает наконец торжественная сцена этого действия. Князь Радугин-отец, Граф Мишурский, Барон Турухтанов и Котомкин, отставной подьячий, выгнанный из службы за взятки, в картузе и в одежде, приличной его сану. Непостижимо, как он попал в общество к этим Князьям, Баронам, Графам, которыми щеголяет комедия. Турухтанов выдает руководство к познанию Русских производящих сил и говорит, что «пройдут веки, пока в России поймут его!» Радугин замечает: «глубокий эконом». Котомкин не может видеть спокойно воровства и беспорядков, а сам проговаривается: «Дай мне кормить воробья на казенный счет, так и лошадь прокормлю». Эта острота старинная.— Все ропщут, что какой-то Правдин определен в Совет. Князь спрашивает: неужели у нас нет людей,— Барон отвечает, что в Европе их много, а Граф, что иностранцы немножко умней Русских, что у нас зато есть ревизские души и проч. Князь, намекая на себя, возражает, что и у нас есть люди, но должно их искать.

Вся эта сцена состоит из общих мест. «Века пройдут, пока я буду понят» — общее место; проговориться, как Котомкин, тоже. В ней нет логической вероятности. Все эти люди, как оказывается впоследствии, ищут службы, считают себя непризнанными гениями, имеют замыслы: какой же гений станет разглагольствовать на водах, при подьячем? какой подьячий проговорится при Князьях? Все это слишком невинно.— Радугин писал к Министру!

Ему бы следовало давно переменить тон и твердить всем и каждому, что человек совершенствуется, а потому должен меняться, что новое убеждение посетило его душу. На убеждение нет суда.

Слуга приносит к Князю из дому письмо, полученное с почты. Зачем это на воды? Отчего не подождали? Почтальоны не разносят писем так рано. Разумеется, письмо с печатью Министерской. Князь назначен

в товарищи Министра, почему он уходит, едва кивнув головой и Барону и Графу, за что они потом ругают его: «нахал, животное».— Нам кажется, что Князь в эту минуту должен бы сделаться с ними учтивее: в притворной учтивости больше надменности — и она приличней человеку, который ест зимой малину.

«А где он живет? »— спрашивает Барон.

«На Покровке»,— отвечает Котомкин.

«А мне нужно туда к золовке!» Граф же говорит, что он также отправляется на Покровку взглянуть на какую-то старушку. Видите, они оба едут поздравлять Князя, так хитрят перед Котомкиным, потому что им никак нельзя было уехать молча: он тотчас бы догадался, что они поехали на Покровку.

Письмо ошибкой адресовано к Князю, а не к Глинскому.

Действие 4. Князь сделан Товарищем Министра, почему он и кричит: «Федотка!» А слуга кричит вдвое: «Чего изволите?» На что товарищ восклицает: «Тьфу, пропасть, эва, глотка!..»

Нам кажется, было бы лучше, если бы он позвонил в колокольчик. Тут происходит ученье. Товарищ учит Федотку, как стоять у дверей кабинета, держаться за ручку и шепотом отвечать приезжающим. В уста Федотки вложена жестокая критика этой карикатурной сцены: знаю, сударь, отвечает он.

Князь находит, что уж Лидин не жених теперь его дочери, отчего и говорит ей: садись, пиши ему ответ, а она подает ему запечатанное письмо: «Он давно готов, вот мой ответ». Решительно, комедия эта открывает новую Америку в наших нравах!..

Княжна пишет жениху отказ и отцу поручает отдать!.. как жаль, что эта черта у нее собственного изобретения, а не подражание Французскому.

Кто-то приехал в мундире; Князь увидел в окно, велит подать халат, но как халат у него в кабинете, то и уходит в кабинет. Этот кто-то в мундире — Котомкин. Дожидается выхода и подличает камердинеру Князя. Что у Князя за камердинер! Судите по этому выражению: «Дочь свалилась с печи, но счастливо, разбила только нос». Приезжают, разумеется, поздравлять и Барон и Граф, которые не знали даже и квартиры Князя.— Выходит Князь, в халате, обещает всем покровительство, всех поместить,— и зовет к себе на вечер в седьмом часу! Какой некняжеский час! Тут

много разговоров. От Пустельгина узнает товарищ, что Министр его занемог, даже скончался. Надежда быть Министром. Но наконец является Глинский разменяться письмами. В товарищи попал он, а Князю отказ.— Разумеется, тут посыпались все несчастья на Князя. Сын его уволен от службы. Он в исступлении, кричит, что Володя его будет служить «и в Австрии», хочет «ехать в Вену», а лучше «в Париж, скорей в Париж». Глинский подает ему разумный совет: зачем ехать в Париж, Кузнецкий мост ближе, кормите его. Но ехать не на что. Шумилов, поверенный, приносит копию с решения Надворного Суда. Все имение Князя описано. Князь восклицает: кто меня судил, кто будет судить! А Шумилов в антрактах этих слов приговаривает: Надворный Суд, Гражданская Палата. Князь кричит: невежды, варвары, а Глинский уведомляет его, что кто брал взаймы, тот должен платить, и пьеса кончается стихом:

Ну, после этого, прошу в России жить.

Нельзя не остановиться на Кузнецком мосту и на Австрии!..

«Кузнецкий мост ближе Парижа, кормите Кузнецкий мост!..» Какой тут смысл! Кузнецкий мост — Париж! Кузнецкий мост развращает, разоряет! Да помилуйте, этот предмет истощен уже «Модной лавкой»!.. Кузнецкий мост — мелочная торговля, там уже много вывесок с Русскими именами, и едва ли эти магазины не богаче гораздо других. Выразите свое беспокойство насчет разорительности Кузнецкого моста первому купцу в гостином ряду и посмотрите, как спокойно, как величаво он улыбнется. Русские миллионы на Ильинке, в Рогожской, за Москвой-рекой, а не на Кузнецком мосту, и мы не понимаем в Глинском его враждебного чувства к перчаткам, к галстуку, к модной шляпке.

«Володя мой будет и в Австрии служить»! Человек, каковы бы ни были его умственные способности, может в минуту исступления переломать мебель, исковеркать бронзу, перебить хрусталь, но не выбежит в халате на улицу, когда там тридцать градусов морозу.— По этой самой причине и в мире нравственном есть мысли, которые ни при каких условиях не зайдут в иную голову. Заставьте Русского, зараженного иностранным, думать как вам угодно; но, чтобы

сохранить хоть тень вероятности, не велите ему говорить при нас: я поеду служить в чужие края, в Австрию. Откуда ему взять такую мысль? Из преданий? Где они? Из современной жизни? Где примеры? Эта мысль западная. Русский не продавал еще за границу ни своей крови, ни своего ума.

Теперь мы скажем несколько слов вообще о всей пьесе. В ней нет ни одного слова современного, ни одной связи у двух мыслей, ни одной мысли, которой бы не было лет пятьдесят! Что касается до стихов, то вы слушаете их, и вам кажется, что их будет миллион! ...так они легки, так нет причины не написать миллиона таких стихов! Комедия нападает некстати на то вредное влияние иностранцев, которое уже не существует. «А, иностранец, давай его сюда», и — этого уже мы не видим. Много их приезжает к нам, и многие привлекали наше внимание только тем, что очень заботливо выделывали па Французской кадрили. Она едва ли не нападает косвенно на путешествия, но тут предстоял ей тяжелый труд: ей должно было победить в просвещенном зрелище это чувство, которое беспрестанно твердит ему: ты должен все увидеть, все узнать; чтобы принести после плоды своих познаний, какие будут приличны, на жертву тем, кого Провидение даровало тебе в родные, в друзья, в соотечественники.— Искать места и бранить все Русское — это еще не смешно, это только несовременно и несвязно. Тут еще нет комедии. Надобно было подметить и создать истинно комическую сторону честолюбия; честолюбием в его обыкновенных проявлениях держится мир: для одних есть мечта о славе, о бессмертии, для других действительность жалованья, места, чины, и нам при первом взгляде гораздо кажется смешнее представить Коллежского Регистратора, который чрезвычайно доволен тем, что он Коллежский Регистратор, и ни за что не хочет в Губернские Секретари.

Написать такую комедию — это просто значит не дать себе труда вглядеться в общество с благоговением художника, это значит повернуться спиною к лицу, которое списываешь, и гордо ввериться произволу своей фантазии; это значит ссорить литературу с обществом, разрывать между ними все связи и насильно двигать ее назад, когда оно двигается вперед.—

Перед нами висит теперь карта России: странно, многие не догадались еще, что она выиграла свою тяжбу и что ей не нужны стряпчие, многие бьются из всех сил, уверяя нас, что она прекрасна: — жалкий труд? Ведь Россия — мы!.. многие пристают к нам: живите в ней, в ней жить хорошо; да мы и так живем, и Князья Радугины живут, право, не поедут в Австрию, хотя гораздо бы лучше сделали, если бы уехали туда до начала комедии.

Есть предметы, которые хвалить и которым льстить опасно; есть предметы, с которыми трудно подняться на одну высоту: похвала не в пример мудренее брани; для похвалы надо много изящной тонкости, много свежести, много огня.

Если в Русских нет хвастливости Француза и надменности Англичанина, то постараемся понять эту скромность и оправдаем ее. Не будем говорить — они бредят иностранцами, скажем лучше,— они хотят соединить у себя все славы, они томятся жаждой своего Декарта, Лапласа, Кювье, Ньютона, Шекспира.

Влагать в уста бессмысленных Князей Радугиных какие-то нелепые бредни о чужих краях, заставлять Полканову смешить нас мусью-Французом — это значит выводить на позор современные недостатки, это давать пищу невежеству, которое радо еще хохотать над Вральманом и не опередило Недоросля.

Заставлять какую бы то ни было Анисью Дмитриевну и в каком бы то ни было случае говорить об иностранцах: «вот так бы их всех дубиной со двора» — это не значит выражать современное стремление к самостоятельности, нашу неприкосновенность влиянию чуждых мечтаний и наши усилия отделить во всем полезное от вредного,— нет, это отгадывать разговорный слог того времени, которое задвинул от нас могучий гений Петра.

Да, мы недовольны; мы желали бы, чтобы на Русском языке не было такой комедии или, по крайней мере, чтоб она была написана не тем, кто написал Юрия Милославского.— Автор был вызван.

ПИСЬМА Н. Ф. ПАВЛОВА К Н. В. ГОГОЛЮ

по поводу его книги «Выбранные места из переписки с друзьями»

ПЕРВОЕ ПИСЬМО

> «Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними: иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные проповедыватели Бога, дерзавшие произносить имя Его неосвященными устами. Обращаться с словом нужно честно».
>
> Гоголь

> Dieses Buch enthält viel Wahres und viel Neues; dosh leider ist das Wahre nicht neu, und das Neue nicht wahr.
>
> Lichtenberg[1]

Я исполнил одно из ваших желаний: прочел вашу книгу несколько раз. Теперь остается исполнить другое, выраженное в предисловии к ней следующими словами: «Прошу их, т. е. читателей, не питать против меня гнева сокровенного, но вместо того выставить благородно все недостатки, какие могут быть найдены ими в этой книге, как недостатки писателя, так и недостатки человека: мое неразумие, недомыслие, самонадеянность, пустую уверенность в себе, словом, все, что бывает у всех людей, хотя они того и не видят, и что, вероятно, еще в большей мере находится и во мне».

Может быть, мне не следовало бы склоняться на эту просьбу и принять ее в буквальном смысле, ибо сам я не достиг того духовного состояния, которое дает силу выслушивать душеспасительную правду, как бы горька она ни была, кротко и с умилением; но вы стали на такую дорогу, вы подняли такие вопросы, что сами уничтожили те мелкие отношения, где люди знакомые, люди, друг к другу пишущие, должны более или менее щадить обоюдно чувствительность своего самолюбия. Да я и не для вас пишу, даже не для тех, которые приняли уже или примут вашу книгу на веру потому только, что она скреплена авторитетом вашего имени. Не беру на себя обязанности наставника

---

[1] Эта книга содержит в себе много истинного и много нового; но, к сожалению, истинное в ней не ново, а новое не истинно.

Лихтенберг.

и просветителя; пишу затем, чтобы прийти опять в нормальное положение, в каком находился я до издания вашей книги. Вы знаете очень хорошо, что в области мысли есть также свои муки, требующие разрешения. Итак, я возражу вам на некоторые из ваших писем. На другие возражать нельзя: истины, в них изложенные, до того всем известны, до того признаны всеми, что давно уже находятся в общем употреблении.

Книга ваша есть плод высокой потребности человека, но потребности, искаженной таким странным образом, что нельзя узнать даже ее первоначального вида. Душе нашей свойственно испытывать недостаточность земного бытия и страдать неутомимой жаждой вечности. В эти благословенные минуты она с неопределенной тоской вспоминает все наслаждения, предложенные жизнию; ей становится ясно, что не так разрешала она вопросы, бунтовавшие в ней, не по тому пути шла, по какому следовало. Она обращается с теплой молитвой к Небу, и тогда сердце наше способно раствориться такой любовью к ближнему, что никакие труды, совершенные нами, никакие великие подвиги не могут осуществить того идеала добра, который представится нашему воображению. Но эти минуты подстерегает Искуситель человеческого рода. Ему надо, чтобы они не превратились в постоянное стремление и не оторвали нас совершенно от земной суеты. Он насылает на нас наши слабости, страсти, пороки, и тот, кто не окреп еще, кого не посетила небесная благодать, тот падает пред силой искушения. Человек оглянется с благочестивым смирением на свою прошлую жизнь, и его собственная личность и все сделанное им покажется ему так мало, так ничтожно, что он невольно захочет это чувство смирения передать в словах: а дьявол напитает их духом неслыханной гордости. Человек пожелает страстно посвятить себя на пользу людям, пещись о своих соотечественниках; а дьявол заставит его говорить с нежной заботливостью о самом себе. Он с чистейшим намерением станет поучать нас, подавать нам советы на дело жизни, и вдруг перепутаются у него понятия о самых простых вещах. Он художник: ему придет в голову быть проповедником; он существует естественно, такая

истина в его созданиях, а он начнет придумывать для себя театральные положения.

Да, есть какое-то адское сопротивление в нас самих самим нам. Мы не в силах часто дать благой мысли плоть и кровь; видим цель, идем к ней, кажется, по прямой дороге — и попадаем не туда. Вы захотели искупить бесполезность всего доселе вами напечатанного; потому что в письмах ваших, по признанию тех, к которым они были написаны, находится более нужного для человека, нежели в ваших сочинениях.

Но что ж вы сделали? Предоставляя себе говорить впоследствии о пользе, бесполезности и человеческих нуждах, я желал бы знать, чем многие из ваших писем отличаются от ваших сочинений. Это также удивительные характеры, сцены, полные жизни и истины; это намеки на художественные произведения, чрезвычайно важные; только, по несчастию, дано им другое назначение и другое имя. Ах, если б мы могли вырвать их из вашей книги и перенесть в сферу искусства!.. Даже Завещание, пусть оно перенесется в роман или повесть; пусть принадлежит лицу, страдающему, без всякой надобности, в полном развитии здоровья, одним недугом — произвесть небывалый эффект!.. Эта женщина в свете, которая, поверив своему наставнику, что на всех углах мира ждут и не дождутся ничего другого, кроме тех родных звуков, того самого голоса, какой уже у нее есть, станет соблазнять людей на добро и умоляющим взором, без слов, просить каждого из нас: пожалуйста, сделайтесь лучше... А другая, чтоб выучиться твердости характера, разделит деньги для годового расхода на семь кучек, как на семь министерств, посвятит седьмую Богу, т. е. на церковь и на бедных и если израсходует ее, то уже хоть умирай перед ней, она отправится вымаливать милостыню из чужого кармана, а ни за что не возьмет из другой кучки. Тут могла бы идея развиться далее, могла б несчастная женщина лишиться всякой возможности приобресть вожделенную твердость, потому что никогда не случается у нее вдруг всего годового расхода наличными деньгами, и стало быть, никогда

нельзя составить ей необходимых семи кучек!.. Наконец, помещик, который поучает крестьян евангельским истинам с тою мыслию, что это самое верное средство купаться в золоте, указывает им на Священное Писание, да на самые буквы, пальцем, и при случае говорит: ах ты, невымытое рыло!.. Это повести, романы, драмы, это родные братья и сестры Маниловым, Коробочкам, Ревизорам!

Сколько б тут было свежести, правды!.. А теперь все это носит характер какой-то придуманности, ни к чему не применяется и ни на что не нужно; теперь мы читаем советы, которым следовать да спасет Бог и помещика в деревне, и женщину в свете, и женщину о семи кучках.

Сочинения ваши приносили и приносят пользу, пользу свою; мы их отстоим, с каким презрением ни отзывайтесь вы сами о них. Искусство полезно, хотя в особенном смысле, и бесполезным быть не может; оно в духовной природе человека, а природу эту пересотворять нечего. Поучения же ваши, в том виде, в каком вы их предлагаете, могут только ввести в соблазн о самых высоких истинах и лишить ум ясности и простоты воззрения на Божий мир.

Позвольте же мне приступить к подробностям. Я начну с Завещания. Известно, что завещания пишутся; да отчего же и не писать их? В них излагается последняя воля человека, который рано или поздно должен умереть и который не хочет оставить землю, как беззаботный младенец, не подумав с любовию о родных, друзьях и о душе своей. Только, по заведенному порядку, у обыкновенных людей (что иные, в мечтательном расположении духа, назовут житейской пошлостью) завещания пишутся, а не печатаются; и как часто люди обыкновенные, взятые в массе, поступают верно, то и тут их воздержание от разговора с соотечественниками основательно. Вступить в беседу с Россией по случаю своих домашних распоряжений, когда они могут исполняться без ее участия, или по случаю своей души, когда поминовения о ней можно устроить гораздо смиреннее и когда Церковь и без наших завещаний будет молиться о нас в числе других усоп-

ших: на эту публичность надо иметь особенное право. Есть разряд людей, которым присваивается это преимущество. Щедро одаренные Провидением, они своею мыслию или практическим делом до того привлекают общее внимание, что им дозволяется (да они, по какому-то инстинкту, и сами дозволяют себе) выносить на свет все задушевное, все домашнее, все мелочи, какие только до них одних относятся, и бессознательно делают это затем, чтоб другие, мучимые любопытством, а может быть, и унылым обращением на самих себя, разрешили сколько возможно загадку их замечательного организма и без ропота преклонились перед тем законом, который неисповедимо равняет людей, заставляя иного искупать великие наслаждения великим горем и великие достоинства великими недостатками. В моих глазах и в глазах многих вы имеете право на публичность такого рода; в ваших же собственных, с той точки зрения, с какой вы хотели смотреть на себя и на весь нравственный состав человека,— нет, этого права у вас не было. Ведь не вздумает же никто, находясь с своими соотечественниками не в тех отношениях, в каких находитесь вы, печатать свое завещание. Вы могли это сделать во имя «Ревизора», «Мертвых Душ»... Но ведь вы отреклись от них; вы сказали, что все напечатанное вами доселе бесполезно; вы просите прощения у своих соотечественников за свои необдуманные и незрелые сочинения; следовательно, в вашем убеждении известность ваша есть плод временного заблуждения со стороны читателей; следовательно, право, какое дает вам эта известность, имеет источником не истину, а ложь, присвоено вам не по заслугам, а случайно, и пользоваться таким правом было бы явным противоречием тем утонченным понятиям о нравственности, которыми желали вы преисполнить вашу новую книгу.

Но вы и не пользовались им; вы не думали, что можете напечатать свое завещание оттого, что написали «Мертвые Души»; у вас была основа другая, более важная: вы приложили его затем, чтобы оно, в случае вашей смерти, если б она застигла вас на пути вашем в Иерусалим, возымело тотчас свою законную силу, как свидетельствованное всеми нашими читателями. Нет, и это не объясняет вашего поступка удовлетвори-

тельным образом. Это показывает только, что вы простое дело пожелали сделать мудреным. Для того, чтоб завещание возымело силу, есть пути более скромные, но более верные и более удобные. К чему поднимать такое торжественное свидетельство? На что вам голос ваших читателей? Если б все они восстали массой, стройно и единодушно, отстаивать каждую букву вашего завещания, то эти грозные и всесильные свидетели пришли бы в большое затруднение: им нечего свидетельствовать.

Но, может быть, слова ваши сказаны мимоходом; может быть, и напрасно, несправедливо, от какого-нибудь дурного чувства придаю им значение: вы напечатали ваше завещание затем, что умирающий должен живых учить умирать, затем, чтоб заповедать нам полезные истины, очевидные в минуту смерти и сокрытые при жизни. Рассмотрим же теперь, что читатели должны были свидетельствовать. Могли ли они исполнить вашу волю, нужны ли они были на что-нибудь и, наконец, что это за истины, которых свет так полезен и поучителен нам должен быть во время нашего странствия по земле?

В первой статье вы завещаете тела вашего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения, потому что во время самой болезни находили на вас минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться. Так как вы теперь, слава Богу, здоровы, то и об этом предмете можно с вами говорить откровенно. Я нахожу, что предосторожность ваша совершенно естественна и похвальна: пусть вы, другой, третий печатаете подобного рода распоряжения, чтоб понудить общество к самой строгой осмотрительности в таких случаях. Не то, пожалуй, и меня похоронят живого. Но другие, более жестокие и, может быть, более логические, скажут, что, с одной стороны, это ни под каким видом не подлежало печати, а с другой, что тут кроется оттенок мысли, несогласной с духом того состояния, в каком вы находились, если судить по вашим следующим словам. Конечно, исполнение обязанности похорон собственно относится до тех, которые, во время вашего путешествия, будут поближе к вам, чем ваши читатели. Свидетельство их излишне: вы в чужих краях, вы на дороге в Иеруса-

лим; мы в России, и нам никак нельзя бы поспеть вовремя. Сердце ваше и пульс переставали биться, но вас не похоронили; эти ужасы бывают чрезвычайно редко, законы всех народов берут же таки против них меры; а потому тут есть какая-то изысканность опасения. Оно у человека, чувствующего приближение последней минуты и христиански понимающего ее глубокий смысл, должно, кажется, быть поглощено опасением иных, вечных страданий или надеждой на вечное милосердие. Если «от ужаса замирала душа при одном только предслышании загробного величия и духовных высших творений Бога, если стонал весь умирающий состав, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни», то на что этот страх временного мучения бросился первый в глаза? Зачем он занял первые строки вашего завещания? Что извлечем мы из него для своей души, которая составляет главную заботу вашей книги? Неужели сохранение собственной жизни, предугадывание всех возможных, даже едва бывалых случаев, могущих посягнуть на ее драгоценное продолжение, есть такая мудреная истина, неизвестная людям живым и здоровым, что ее нужно с одра смерти протрубить во услышание своих соотечественников?

Далее вы говорите: «предать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти». Нет, не стыдно, гораздо стыднее не разбирать места и не обратить никакого внимания: гниющая персть была вместилищем, храмом, сказано в Писании, бессмертного духа; над нею Церковь недаром совершает великий обряд свой и недаром призывает всех живых целовать ее последним целованьем. Если от обрядов Церкви перейдем к обычаям всех народов, то увидим, что желание ваше противуречит общечеловеческому чувству, которое проявляется в этих обычаях. Нужно ли приводить примеры, что во все времена люди воздавали праху последний долг, окружая его почестями, сообразными с степенью их просвещения? Египтянин воздвиг ему пирамиды, изящный Грек хранил его в урне, современный нам Американский дикарь, переходя в другой край, уносит горсть земли с могилы отца; в том народе, который был некогда избран сосудом Божественной истины, вы также не найдете следов пренебре-

жения к персти: Иосиф заклял клятвою сынов Израилевых, что они изнесут его кости из Египта, и Моисей взял их с собою. Уважение к праху не есть забвение о душе, и исполнить ваше требование невозможно: оно возмутит всякого, у кого бьется в груди сердце, не только друзей ваших, но и равнодушного к вам. Если бы не было какого-то непостижимого внушения, если бы вы дали волю вашему собственному чувству, чувству человеческому, естественному, то эта мысль не пришла бы вам в голову. Вы пренебрегли даже общим голосом Русской породы, которую между тем так высоко ставите во многих местах вашей книги. Русская порода, Русские преимущественно окружают благоговением гниющую персть, принадлежала ли она их знакомому лицу, важному или вовсе не известному и ничтожному. Дом умершего растворяется настежь, туда врываются званые и незваные поклониться до земли гниющей персти во имя той одной идеи, что в семье людей не стало человека. Русские, когда встречают покойника, снимают шляпы, умолкают, крестятся, и эти одинаковые знаки внимания перед всякой гниющей перстью воспитывают душу народа, может быть, лучше, чем поклоны живым людям и уважение, оказываемое их достоинствам и величию: ибо живые портят нас, не встречая нашего благоговения с таким равнодушием, как покойники. Для чего же налагать на друзей ваших обязанность, противную великому обычаю той страны, посреди которой они имели счастье родиться?

Во второй статье завещаете вы: «не ставить надо мной никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном». Это вы должны были уже сказать, это есть дальнейшее развитие вашей мысли, логическая последовательность, и за нее нет во мне ничего, кроме полного сочувствия. Вам не хочется памятника; да будет по-вашему! Но позвольте спросить вас, почему он недостоин христианина? Это уже касается и до нас. Ведь слово христианин не употребили вы без всякого намерения, и я на такого рода важных словах останавливаюсь особенно затем, чтоб доискаться, не в них ли заключаются те важные истины, для обнародования которых напечатали вы ваше завещание и которые человеку на смертном одре виднее, чем кружащимся среди мира. Чем памятник мо-

жет исказить значение христианина и унизить его достоинство? Если все христианские кладбища наполнены памятниками, если Церковь, по древнему обычаю, дозволяя возле храмов и даже в самых храмах хоронить покойников, не воспрещала воздвигать над ними памятников; если миллионы христиан, сошедших в землю, и другие миллионы, провожавшие их туда, не находили, что камень, положенный на могилу, оскорбит величие их души, то какое право имеем мы, пришедшие вчера с обязанностью отправиться завтра, осудить одним почерком пера всеобщий стародавний обычай — и в какую минуту? Когда идет дело не о разыскании тонких соприкосновений, существующих между памятниками и достоинством христиан, а о последнем шаге в будущую жизнь. Часто воздвигается памятник над могилой не тому, кто умер, а тому, кто остался жив или, вернее, его гордости. Из этого только следует, что гордость не достойна христианина, а не памятник. Зачем же умирающему предвидеть, что родные или друзья, остающиеся после него, впадут в такой смертный грех? Для самого же умирающего, для достоинства его души, не все ли равно, без памятника, под куском дерева, или под мрамором будет лежать гниющая персть, которая, по вашему же собственному мнению, не стоит никакого внимания? Памятник не пустяк. Все исторические и неисторические народы, во все эпохи, искали отметить и даже украсить могилы. С памятниками соединялись и соединяются религиозные обряды. Этот признак ничтожен, эти украшения суетны; но сколько возле них совершалось воспоминаний, сколько пролито уединенных слез и сколько молитв вознеслось к Небу! Повсеместное распространение памятников в разные времена, при разных образованностях, свидетельствует уже, что они отвечают на какую-то существенную потребность человека и имеют в основании истину. Эта истина представилась вам в слишком плотском виде, вы вздумали очистить ее от земной оболочки и от предрассудков, нанесенных веками; но, поражая тело, вы поразили и душу: ибо что такое памятник? Это также вещественное воспоминание о невещественном. Без сомнения, всякий имеет полное право распорядиться о себе как ему угодно, воля умирающего — святыня; но уже он должен объясняться просто: я так хочу,— и там, где его собственное желание есть един-

ственная причина действию, не выставлять причину другую, не говорить, что это делается из уважения к достоинству христианина.

Впрочем, что же я сказал? Ведь вы не то, что не хотите памятника; я ошибся: вы его хотите, да только не такого, какой употреблялся и употребляется у всех народов, а получше и поделънее. «Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе; воздвигнет он его в самом себе своею неколебимою твердостью в жизненном деле, бодреньем и освеженьем всех вокруг себя. Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели как был при жизни моей, тот покажет, что точно любил меня и был мне другом и сам только воздвигнет мне памятник». Что за странную роль заставляете вы меня играть? Сейчас я был за памятник, теперь должен быть против памятника. Конечно, придуманный вами, несравненно значительнее и прочнее всякого другого. Кто не согласится, что вы желаете дела. Памятник прекрасный, памятник нетленный, неподверженный влиянию вероломных стихий и разрушительного времени. Жаль только, что его нельзя воздвигнуть вам, потому что на него никто не должен иметь притязаний и потому, что никто из людей не стоит его. Непоколебимая твердость в жизненном деле, бодренье и освеженье всех вокруг себя!.. Вы разумели под этим не ту твердость, какая равно полезна на пути добра или зла и какая одинаково нужна для достижения благих целей и целей земных; преходящих, греховных; вы говорите не о том жизненном деле, которое приносит мирские наслаждения и вместе губит душу; вы хотите, чтоб близкие ваши ободряли других не на житейскую изворотливость, не на приобретение телесного благосостояния. Вырастать выше духом — не значит у вас делаться надменнее, неприступнее, обнести свою личность каменной стеной. Направление вашего завещания и всей вашей книги не допускает такого натянутого толкования.

Приведенные слова относятся прямо до нашей духовной, нравственной стороны; они явно метят на то, чтоб друзья ваши омылись от черноты душевной, о которой вы так красноречиво упоминаете далее. Но какое же отношение может существовать между их

духовным возвышением и вашим завещанием, между их нравственным совершенствованием и памятником вам? Много явлений проходит перед нами; но где то, в котором заключается сила, направляющая нас на истинный путь? Люди, конечно, действуют друг на друга своими мыслями, дарованиями, своей жизнью и своею смертью; но кто из них имеет право признать возможность своего влияния не на умственное развитие себе подобного, а на святыню его души, и сказать ему: докажи, что любил меня, сделайся после моей смерти духовнее и сим воздвигни мне памятник? Во имя каких подвигов, совершенных на поприще духа, могут быть произнесены эти слова, и где тот, к кому любовь есть такая очистительная привязанность? Близкие ваши станут помнить вас, помнить долго, помнить всегда, высоко ценить ваши заслуги; но если б из одной любви к вам они способны были на духовное очищение, если б преобразование их нравственного организма зависело от вашего завещания; если б они точно соорудили вам памятник в самих себе таким образом, как вы требуете, то это были бы существа отрицательные, недостойные вашей дружбы, которым духовная высота показалась бы слишком недосягаемой. Нет, между памятью о вас и их духовностью не может быть никакой связи: эта побудительная причина слишком мелка, слишком ничтожна. Человек вырастает духом в силу своей человеческой природы, в силу внутреннего стремления, положенного в основу его разума, в силу вечных истин, глубоко врезанных в его сердце. Это будет не памятник приятелю, а исполнение Божественного закона, предписанного бессмертной душе; это будет дар небесной благодати, независимый ни от чьей жизни, ни от чьей смерти, и на это у друзей ваших есть иной завет, заповедный им иными устами. Бодрить и освежать все вокруг себя в смысле духовном, в смысле нравственном не значит ли воздвигать памятник Тому, Кто сказал: «что сделаете меньшому из моих братий, Мне сделаете».

Наконец, вы говорите друзьям: «пускай же об этом вспомнит всяк из них после моей смерти, сообразя все мои слова, мной ему сказанные, и перечтя все письма, к нему писанные за год перед сим». Без сомнения, такого рода соображение могло бы принести им

большую пользу; но прежде чем завещать это, вам бы следовало принять предварительные меры и обязать их во время разговоров с вами вырезывать ваши слова на меди.

В третьей статье вы завещаете: «Вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмет на душу тот, кто станет почитать смерть мою какою-нибудь значительной или всеобщей утратой. Если бы даже и удалось мне сделать что-нибудь полезного, и начинал бы я уже исполнять свой долг действительно так, как следует, и смерть унесла бы меня при начале дела, замышленного не на удовольствие некоторым, но надобного всем, то и тогда не следует предаваться бесплодному сокрушению».

Если бы вы были последователь Зенона и Епиктета, я бы понял ваши слова. Не окажите внимания моему праху, не ставьте надо мной памятника, не плачьте обо мне,— смысл этих противуестественных требований был бы ясен. Понятно также, когда умирающий, видя горькую печаль предстоящих близких, говорит им: не плачьте! Но завещать не плакать, но думать, что умрешь, и ни один из живых не предастся бесплодному сокрушению по тебе, но желать, чтоб никто не выронил на твой гроб человеческой слезы: тут есть что-то принужденное, неистинное и неприятное сердцу. Да и к чему преждевременные опасения? Как знать, расплачутся ли еще о нас!.. Вспомните друзей Иова. За что налагаете вы грех на душу того, кто, из привязанности к вам, может быть, и преувеличит меру потери, понесенной в вас? Человек ценит утрату человека не по делам, надобным всем, а по количеству любви, какое положено на него. Почему не плакать об умершем? Почему не оставить людям их слезы, не иезуитские слезы, которые льются и перестают литься вследствие завещаний, не слезы того, кто, прежде чем плакать, спросит у себя, предаваться ему сокрушению или нет, принесет оно плод или оно бесплодно; но слезы бескорыстные, слезы не по расчету, что умер тот, кто был нужен или не нужен, кто сделал что-нибудь или не сделал ничего, а только потому, что умер человек, и, следовательно, остался другой, кто любил его.

Проливать эти слезы призывает нас церковь: «восплачите о мне, братие и друзи, сродницы и знаемии». Этих слез не осуждает и вечное учение; оно берет человека живым, не мертвой теорией, не философским скелетом, не железным стоиком, который кокетствовал добродетелями, щеголял твердостью и во имя самообожания налагал цепи на все прекрасные и благотворные свойства человеческой природы. Этих слез не запретил Божественный Учитель, ибо Сам прослезился над прахом Лазаря.

ВТОРОЕ ПИСЬМО

До сих пор, в первой половине вашего завещания, вы были лицо страдательное: вы предоставляли действовать другим; другие должны были не привлекаться вниманием к праху, не ставить памятника и не плакать. Теперь вы являетесь лицом действующим, вы хотите поучать нас вашим словом и сделать доброе дело вашим портретом. Рама картины раздвигается, и горизонт становится шире; выступают на сцену не близкие ваши, не друзья, а читатели, «все ваши соотечественники», т. е. Россия. С одной стороны они, с другой вы; с одной стороны миллионы людей, которые чрезвычайно нуждаются, чтоб какой-нибудь писатель оставил «им» в наследство благую мысль, братское поучение, «принес пользу их душе», с другой писатель необыкновенный, предлагающий свои услуги.

В четвертой статье вы завещаете «всем вашим соотечественникам» лучшее будто бы из всего, что произвело перо ваше: прощальную повесть. Она, как увидят, относится к ним. Ее «носили вы долго в своем сердце, как знак небесной милости к вам Бога; она была источником слез никому не зримых, еще со времен детства вашего».

Я не стану останавливаться на том, может ли эта повесть быть лучшим вашим произведением, если написана в роде вашей новой книги и противуположна вашим прочим, «бесполезным», но чудным созданиям; знак ли она божией милости или иного не столько священного вдохновения,— какое мне дело до ее родословной!.. Конечно, вам не следовало бы упоми-

нать, что вы плакали над нею, будучи еще дитятей: назначая ее на великое дело поучения для людей взрослых, вы даете им право требовать, чтоб она была задумана и оплакана в менее нежном возрасте. И завещать ее соотечественникам можно бы иначе,— простым действием типографского станка, как завещаны «Мертвые Души», «Ревизор» и ваши другие повести. Книгопечатание изобретено именно с той целью, чтоб избавить нас от лишнего письма. Но вы рассудили принять на себя напрасный труд. В нем есть некоторая торжественность; да будет так: не эти мелочи достойны внимания. Я перейду к предмету более важному и более существенному. Написав: «завещаю всем моим соотечественникам», вы, по-видимому, почувствовали все значение и всю важность этих слов, а потому выставили несколько причин, которые послужили поводом к такому громогласному воззванию. Вы завещаете нам прощальную повесть, основываясь единственно на том, что «всякий писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям...» Вы говорите: «Умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит что-нибудь похожее на поучение; я писатель, а долг писателя не одно доставление приятного занятия уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поученье людям». Чтоб более уяснить себе, в каком смысле принимаете вы поученье, я приведу еще одно место из письма вашего о Мертвых Душах: «Создал меня Бог и не скрыл от меня назначения моего. Рожден я вовсе не затем, чтоб произвесть эпоху в области литературной; дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всякий человек, не только один я. Дело мое — душа и прочное дело жизни». В пример этого простого, близкого вам дела и в подкрепление своей теории вы приложили образцы — ваши письма: «Женщина в свете», «О помощи бедным», «Споры», «Советы», «Русский помещик», «Чем может быть жена в домашнем быту», «Сельский суд и расправа», «Близорукому приятелю». Все это не что иное, как опыт поучений, которые, вероятно, достигают в прощальной повести большего совершенства; ибо в ней вы думаете, сердце наше «услышит хотя отчасти строгую тайну жизни и сокровеннейшую небесную музыку этой тай-

ны», между тем как в поименованных письмах собственно таинственного ничего нет, и обещаемой музыки еще не слышно. Из приведенных слов, из слов, следующих далее в 5-й статье вашего завещания (где вы надеетесь, что письма, изданные после вас, «снимут с души вашей хоть часть суровой ответственности за бесполезность прежде написанного)»; наконец, из многих мест вашей книги ясно, что, по вашему мнению, в так называемых вами приятных занятиях уму и вкусу не заключается «благая мысль», о которой идет речь, что они не полезны душе и не поучительны людям. Эту мысль, эту пользу, это поученье вы отделяете от своих прежних сочинений, давая им (из ложного понимания или из похвальной скромности) значение умственной игрушки. Но то, что вы называете приятными занятиями уму и вкусу, ни более, ни менее, как произведения искусства. Если они дурны, разумеется, в них ничего нет; если хороши, есть — и благая мысль, и польза душе: ибо есть истина, выраженная только особенным способом, выраженная не логическим выводом, не в правилах и наставлениях, а в художественных образах. В той же вашей книге вы говорите о литературе с великим уважением, и в одном из писем, задавая, вследствие самого странного воззрения, предметы лирическому поэту в наше время, присваиваете ей право на поучительный характер и явно считаете способною приносить пользу душе.

Чтоб разрешить эти сомнения и противоречия, я обращусь к вам же самим. Вы предсказываете между прочим Одиссее, переводимой Жуковским, такую великолепную будущность, которой позавидовало бы любое поученье. Вы полагаете, что ее прочтут у нас все возрасты и звания, что она подействует на всех вообще и отдельно на каждого, что народ наш, почесав у себя в затылке, почувствует, что он молится ленивее язычника, что Одиссея произведет впечатление на современный дух нашего общества, что в ней услышит себе сильный упрек наш девятнадцатый век (несчастный, коснея в невежестве, он не знал ее до сих пор), что она есть самое нравственное произведение, принесет много общего добра, возвратит к свежести современного человека, усталого от беспорядка мыслей и чувств, возвратит его к простоте. Словом, вы

ожидаете от Одиссеи какого-то коренного переворота. Из всего этого следует, что она не шутка и не может быть пустым развлечением, одним приятным занятием уму и вкусу. Предназначая свою прощальную повесть на поученье своих соотечественников, вы, какое бы высокое мнение ни имели о ней, не можете, однако, желать, чтобы она произвела на души более благодетельное действие, чем то, которое обещаете Одиссее; а между тем ее написал язычник и по свойству своего положения не мог напитать душевной пользой, приличной нам, дать ей поучительное направление, желаемое вами; не мог, в вашем смысле, оставить христианину никакой благой мысли, ничего, кроме ничтожной забавы, веселой сказки: ибо в понятиях о нравственности, о душе каждый из нас, безграмотный марака, стоит несравненно выше Гомера.

Вы отгадали художническим сочувствием силу художественного произведения вопреки своей теории. Одиссея, через три тысячи лет, еще жива, благодаря автору, что он вздумал написать ее и не вступал в духовную переписку с друзьями. Одиссея еще заставляет нас высказывать мечтательные мнения и делать несбыточные предсказания; а множество так называемых поучений лежит в библиотеках неразвернутыми с справедливо забытыми именами их сочинителей. Это случилось оттого, что искусство, сопутствуя исторические народы в их развитии, служит не только приятным занятием уму и вкусу, но раскрывает также и глубокую тайну жизни и глубокие истины души. Покорится ли оно влиянию мимоидущих происшествий, ежеминутных изменений общества, или явится в спокойном созерцании идеала красоты, носимого человеком в самом себе, это будет все он, все дух его, воплощаемый в светлые образы поэзии.

Нет ни малейшей трудности указать на добро и зло; но трудно настроить душу к гневу и любви, которых вы справедливо советуете кому-то молить у бога. В этом-то смысле искусство, рассматриваемое с наставительной точки зрения, выше многих поучений, и «Мертвые Души» выше ваших писем. Все поучает человека: искусство, наука, жизнь, и часто всего менее поучают

поучения. Обязанность писателя-художника ограничивается художеством: напишет он произведение, проникнутое художественной истиной, его дело сделано. Но вам показалось этого мало. «Бог не скрыл от вас вашего назначения, ваше дело проще и ближе: ваше дело душа». Велика важность, что искусство входило в воспитание народов и вместе с другими составными частями жизни имело влияние на их историю! Какая нужда, что человеческое сердце переживало с ним все радости и все печали!.. Эта польза душе, извлекаемая из искусства, натянута, не та,— это поучения косвенные, дела мира сего; нужны поучения прямые, которые бы определяли образ душеспасительных действий. «Строго взыщется с писателя; если не останется от него ничего в поучение людям». Строго или не строго, вы не можете знать и не должны брать на себя, что знаете: это тайна не нашей премудрости. Но, переступив за границу искусства, с какими же наставлениями может писатель обратить к нам прощальную повесть? С наставлениями разума и науки? Но они не наложили своих несносных оков на вашу книгу, и очевидно речь идет не об истине. Какие же поучения услышим мы, в которых откроется нам хотя отчасти «строгая тайна жизни и сокровеннейшая небесная музыка этой тайны»? Отчего преимущественно на писателя возлагаете вы часть поучений такого рода? Чему же он станет поучать нас? Нравственности? Добродетели? Как нам вести себя на земле, чтоб спасти свою душу? А ему до этого какое дело? Он писатель! Но кодекс христианской добродетели не велик и не затруднителен для памяти, для него не нужно особенных знаний, высокого просвещения, необыкновенных дарований; он есть общее достояние, собственность богатых и бедных, мудрости и простоты,— собственность единственная, которой не может отнять человек у человека. Этот кодекс, составленный неисчерпаемой любовью, таков, что писателю, потому только, что он писатель, трудно преподавать его и особенно в тот век, когда раздвоение мысли с жизнью и книги с делом доведено до такой печальной утонченности. Книжники, поучавшие о приходе Мессии, не узнали Христа; Он был узнан невеждами, безграмотными. Тут писатель не может сказать безграмотному: послушай меня; в этой науке безграмотный может быть ученее его. Тут наши нравоучительные речи, книги, наши повести, даже и прощаль-

ные — не что иное, как пустой звук, мертвая буква. Тут поученье имеет обязательную силу не столько для поучаемого, сколько для поучающего, и на этом тяжелом поприще одни те подвизались с пользою, которые поучали не на письме, которые не писали завещаний, а сами были завещаньем. Блаженный Августин, бывши еще язычником, гремел в Риме с кафедры против кровавых игр, где человеческие жертвы приносились в потеху просвещенному народу древности; но игры продолжались, не слушался народ ни законов Константина и Гонория, ни поучений знаменитого писателя и других. Тогда отправился с Востока монах, неизвестный до того времени; он явился в Римский амфитеатр, сошел на арену, стал посреди гладиаторов, хотел разнять их и лег между ними, дав побить себя камнями кровожадным зрителям. Монах ничего не написал, ничему не учил; история только запомнила его имя, да остался памятен день его смерти, потому что с этого дня человекоубийства на играх прекратились. Магометане не позволяют писать картины и ваять статуи, опасаясь, что они на том свете потребуют себе живых душ. Так, слово спасения требует на этом свете живого дела. Если всякий писатель станет поучать в вашем смысле, потому что он писатель, отчего не поучать богатому, потому что он богат, сильному, потому что он силен? Таким образом поучение и превращается в гордую забаву для поучающего, в горькое оскорбление для поучаемых и в поругание над святынею нравственности и добродетели. Доказательством этому служит ваше письмо к Русскому помещику.

Мысль о поученьях, которые, с одной стороны, легче всякого другого ремесла, была у людей причиною самых страшных и самых бессмысленных явлений. Можно иметь так называемые знания и через них стоять выше себе подобного, можно распространять их со всем жаром настойчивости, и никто не потребует, не осмелится потребовать, чтобы человек пожертвовал хотя вкусным обедом в доказательство своего умственного убеждения. Можно даже, из любви к ближнему, и при средствах, которые эта любовь умеет находить, поставить его в такое положение, что ему удобнее будет помышлять о душевной чистоте; но вообразить себе, что в христиански-духовном смысле писатель, во имя только своего знания, имеет право на поучение и, следовательно, стоит выше другого, кого

бы то ни было,— этого нельзя, и вопрос о преимуществе такого рода человек сам разрешать в свою пользу не должен.

Чему же, повторяю, станет поучать писатель? Пониманию истин веры? Но, боже мой, при такой мысли самое заносчивое высокомерие должно ринуться с своей высоты. Каких великих органов не имели уже эти великие истины? Ведь надо вспомнить, надо знать, что люди, особенно призванные на это дело, соединяли с несокрушимыми убеждениями необъятную твердость разума, всеобъемлющую ученость; что с ними невозможно, если б даже следовало, входить в состязание. А между тем они поучали не от своего имени, а от имени самой веры, ибо хранили святую заповедь: «Вы же не нарицатейся учители».

Но что я говорю? Может быть, ваша прощальная повесть, написанная во благо всех ваших соотечественников вообще, направлена к цели менее огромной. Служа выражением вашего особенного радушия и самой человеколюбивой склонности к так называемым светским людям, склонности знаменательной, положившей отличительную печать на всю вашу книгу, может быть, повесть ваша займется одним их спасением. И это понятно, и это извинительно. Они кружатся среди мира, в вихре соблазнов и прельщений. Чье сердце не восскорбит о жертвах суеты? Кому не захочется избавить их от этой опасности? Кто, истратив на них все драгоценности своей любящей души, не позабудет других, не «светских» существ, и не станет отзываться об них с таким пренебреженьем, каким наполнены все ваши письма. Но, ради бога, скажите серьезно, неужели вы в самом деле думаете, что светские люди, начало и конец ваших поучительных посланий, не знают, как спасти свою душу?

Знают, не меньше вашего знают, да не хотят. Им хочется не спасения; им хочется жить в свете, как они живут, делать, что делают, не отказаться ни от одной выгоды, ни от одного удовольствия, ни от одной почести, оставаться именно в том положении, в каком находятся; а для успокоения совести, восстающей иногда с упреками, и для комфорта душевного им нужно,

чтоб книга или человек придумывали за них поучения, сообразные со степенью их желаний. Им нужно, чтоб кто-нибудь сказал: живите, как вы живете; будьте тем, что вы есть,— и при этих условиях можно спасти душу. Уверьте женщину в свете, что она может быть и женщиной в свете и святою; докажите помещику, что он и помещик и учитель спасения. Вот от этого иногда они затруднятся; вот тут, правда, полезен бывает человек с высоким дарованием и необходимы поучения особенного рода. Но зачем, кому бы то ни было, браться за это дело? Зачем принимать на себя лишний труд? Стоит выписать из порядочной библиотеки реестр сочинений, изданных на такой предмет: их очень много, над ним трудились тонкие умы, и после них не остается ни слова прибавить к их снисходительному учению.

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО[1]

> Je veux faire sentir et comprendre à tous quelle peut être, la puissance morale de la beauté... or comme m-r l'avocal — général ne comprend pas comment la forme, la beauté peuvent recevoir une destination sainte el moralisante je devais lui apprendre la puissance qui existe dans la chair dans le corps, indèpendamment de la parole. Un procés[2]

Надо вам сказать, что я всегда с особенным уважением размышлял об учителях и наставниках. Их обязанность всегда казалась мне самою мучительною и самою мудреною. С одной стороны, они должны учить тех, кого нельзя выучить; с другой — учить тому, чего сами не знают. После этого можете представить, какое высокое мнение составилось у меня об их важном звании и с каким чувством предубеждения в вашу пользу начал я читать письмо, которым открываются ваши поучения женщине в свете и разным другим женщи-

[1] Третье письмо не было напечатано. В «Московских ведомостях» за 1847 г. сказано в связи с этим: «помещение третьего письма по обстоятельствам отлагается до другого времени».

[2] Я хочу дать почувствовать и понять всем, каким может быть моральное могущество красоты... Так как господин заместитель прокурора не понимает, как форма, красота может принять назначение святое и морализующее. Я должен был раскрыть ему силу, которая существует в плоти, в теле независимо от слова. Судебный процесс.

нам. Первая моя мысль была, что вы взялись за дело... Пора уже приняться просвещать их!.. Существа нежные, существа прекрасные, и они заразились демонской гордостью нашего века... Любовь, которая в продолжение многих столетий, под разными формами, составляла их внутреннюю деятельность и их лучшую игрушку — любви уже им мало. Семейная жизнь, супружеское счастье, милые дети,— и это не удовлетворяет их новой жажды. Домашние добродетели, домашнее благополучие перестали быть целью. Она изпод мирного крова перенесена в невидимую даль. Мы ошибемся, если скажем, что женщина добродетельная находит спокойствие в чувстве своего достоинства и что женщина счастливая точно счастлива: добродетель и так называемое счастье сделались положением отрицательным, условием, при котором легче жить, пристойным платьем, без которого не так ловко показываться. Главное дело — влияние на общество, лихорадочные заботы о других, участие в судьбах человечества. Виновата ли в том чудная женщина Франции, рассказавшая нам историю страшных болезней и не придумавшая ни одного лекарства; или сама она не что иное, как горькая жертва своего времени — здесь не место такому вопросу.

Вследствие этого направления поднялись отовсюду крики о правах женщины, о новом угнетении, не замеченном теми, которые брались пересчитать все виды угнетений. Эти крики непонятным образом достигали в самые отдаленные места и нарушали согласие у людей самых мирных. Европа усеялась вечерами политическими, литературными, социальными; явились разные женские общества. Разумеется, стало несносно, мелко ютиться в своей семье, как улитке в раковине, и изливать на нее все сокровища своего сердца, когда предстоит поприще более обширное, когда там, где-то, страждет человечество. Высокая мысль, полное отсутствие эгоизма, породившее, однако ж, страшную пустоту души. С одной стороны представляется нам в женщине стремление к чему-то прекрасному, новому, но до сих пор необъяснимому, развитие какой-то теории, до сих пор еще мертвой; а с другой — тоска, тоска невыразимая. Посмотрите на противоречие, в какое женщина впала сама с собою; вы видите, что она

как будто бы готова посвятить душу и состояние свое новой идее, а между тем разоряется на неистовые требования моды и с утра до вечера терзается в сатурналиях общественности. Она бежит от своей тоски, ищет забвения, боится опомниться. При этом широком сочувствии к человечеству, при этом похвальном попечении о благе ближнего, ей должно бы приучиться невольно к самозабвению, опрометчивости, ошибкам; и между тем посмотрите, напротив, как мало она ошибается и как она благоразумна!

Положение мужчин от такого порядка вещей не стало слаще. Жалкий актер на вечерних представлениях, он, как планета, послушная механическим законам, все еще вертится около своего солнца; да солнце это не греет более, а только светит. Теперь разговор с женщиной не есть уже приятное препровождение времени, а также кабинетная работа. Вам нечего говорить об этих милых центрах, о литературных собраниях: вы знаете их глубокую скуку.

По всему изложенному выше я полагал, что вы войдете в жалкое положение как женщин, так и мужчин, и если уже пошло на советы и нравоучения, то вы вашей женщине в свете, как и прочим дочерям Евы, дадите добрый урок, произнесете суровое слово истины, скажете светлую мысль, которая поможет нам в нашем общем несчастии.

Велико было мое разочарование, тщетны были мои надежды. Вы пустились в комплименты, бывшие в употреблении по гостиным осьмнадцатого века; вы смотрите на историю, как смотрел Француз Лемонте; вы проповедуете идолопоклонство перед женской красотой, позволительное не нравоучителю девятнадцатого столетия, а герою того войска, которое когда-то дралось десять лет за прекрасную Елену; вы признаете в красавице такое могущество, что, читая вас, так и хочется влюбиться в женщину безобразную; вы снимаете с человека ответственность за его порок или преступление, приписывая их влиянию побочной причины, а не его собственному произволу, и наконец вы слишком много истощаетесь на жалость о таких

страждущих, которых болезни проистекают от излишества здоровья.

Чтоб определить яснее смысл ваших советов и прямое отношение их к женщине в свете, необходимо составить себе понятие об ее характере, каким он является в вашем письме. Первая черта, которая поражает нас, состоит в том, что у нее два характера: один природный, другой составился из переписки с вами. По всему вероятию, вы уже прежде не оставляли ее своими письмами, и она очень извинительным образом, с понятным отвращением к неучтивому и ледяному анализу, смешав художника с нравоучителем, во имя одного поверила другому. Это замечание я постараюсь оправдать очевидными доказательствами, для чего необходимо рассмотреть, в какой духовной пище имела она нужду и какую вы предложили ей. Женщина в свете говорит у вас: «Зачем я не мать семейства, чтоб исполнять обязанности матери; зачем не расстроено мое состояние, чтоб заставить меня ехать в деревню, быть помещицей и заняться хозяйством; зачем муж мой не занят какою-нибудь общеполезною должностью, чтобы мне хотя здесь помогать ему и быть силою, его освежающею, и зачем вместо всего этого предстоят мне одни выезды в свет и пустое, выдохшееся общество, которое теперь кажется мне бездомнее самого бездомья!» В этих желаниях есть мысль, есть потребность деятельности; тут слышится естественный ропот сердца, страдающего под игом светских отношений. Далее, она «не знает и не может придумать, чем может быть кому-нибудь полезна в свете; что для этого нужно иметь столько всякого рода орудий, нужно быть такой умной и всезнающей женщиной, что у нее кружится уже голова при одном помышлении о том, что она слишком молода, не приобрела ни познания людей, ни познания жизни, словом, ничего того, что необходимо, дабы оказывать душевную помощь другим». Эта скромность, это отречение от пагубной мысли оказывать душевную помощь, эта безнадежность быть полезною в свете кому-нибудь — все это принадлежит ее личности, потому что на всем есть свежий след жизни и истины; это черты не из переписки, а из души. Какой же бальзам льете вы на глубокую рану этой женщины; чем разрешаете вопрос, заданный ясно и определительно? Вы начинаете с того, что предсказываете ей

в лице всех женщин великую будущность; вы говорите, что нужно «содействие женщины для оживотворения утомленной образованности гражданской, душевного охлаждения, нравственной усталости; что эта истина в виде какого-то темного предчувствия пронеслась вдруг по всем углам мира, и все чего-то теперь ждет от женщины». Но ведь эта великолепная фраза не помогает фантазии: мы не знаем этих углов, где все чего-то теперь ждет от женщины. Речь идет не о различии полов, а о чем-то поважнее.

В том наше и горе, что мы ни от женщины, ни от мужчины ничего не ждем. Если б ждали, не было бы душевного охлаждения, нравственной усталости, утомленной образованности. Ждал осьмнадцатый век, ждал и от мужчин, и от женщин, и от взрослых, и от юношей,— нам уже нельзя ждать: мы пережили все обманы ожиданий; мы ждали второго тома «Мертвых Душ», а читаем «Избранные места из переписки с друзьями». Утешительно бы было думать, что женщина, которая вносила столько поэзии в нашу жизнь, примет, наконец, на себя и ее черную работу, согласит свободу личности с существованием общества, определит отношения труда к капиталу, укажет исход из результатов, поставивших в тупик современную философию... Это бы очень оживотворило общество; но ведь можно играть словами, да зачем же играть тогда, как милая женщина относится к вам с своим горьким недоумением, с непритворной болью своего сердца?.. Одна ложная мысль повела к другой. Если вы, без всякого основания, без всяких данных, пророчествуете женщинам такой великий подвиг в будущем, то в настоящем тотчас же вслед за этим пророчеством возлагаете на них ответственность за такое дело, в котором они вовсе не виноваты. Кто отвергает влияние, какое имеет жена на мужа? Об этом ни спорить, ни говорить не следует. Но я не вижу, каким образом можно доказать, что в России мужья берут взятки большею частью оттого, что жены или «Жадничают блистать в свете, или предаются идеальным мечтам, а не существу своих обязанностей». Да ведь брали взятки и тогда, как не было света, т. е. до Петра, когда жены не жадничали блистать и не предавались идеальным мечтам. Зачем хотите вы путать понятия о нравственности в молодой и прекрасной женщине? Если человек делает преступление, то вся ответствен-

ность лежит на нем самом, и не признавать этого значило бы лишать его свободной воли, человеческого достоинства, превратить в машину, которая в своем движении повинуется посторонней силе. Если вы хотите извинить его, христиански отпустить ему его прегрешение, вы можете сказать, что он покорился влиянию всего, чем окружен, всех общественных стихий,— и жены, которую дала ему судьба, и друзей, которым жал он руку, и тех, кого слушается, и тех, кому приказывает, и законов, под которыми живет, и воздуха, которым дышит. Все вместе действовало, конечно, на его внутренний организм и влекло в ту или другую сторону; но в сложности впечатлений, воспитывавших его, вы не отыщете нити, управляющей его рукою; он образовался миллионами людей, целой историей, а виноват все-таки останется он сам, и никто еще: он имел свободу пасть и устоять. Пожалуй, «жена может возвратить мужа с кривой дороги на прямую, быть его злом и погубить его навеки»; но ведь это в смысле житейском, материальном, а не в смысле нравственном. «От нравственной заразы», неправда, она не может «уберечь» его; ибо тут уберегает человек сам себя. Думать и хотеть — запретить ему нельзя; это неотъемлемая собственность его, и в ней должен он давать отчет один, без сопровождения своей жены. Нет, не оттого берутся взятки, что наряжаются жены, а оттого наряжаются, что мужья взяточники. Да и с чего вздумали вы, что взятки приносятся в дань к ногам жены? Они мужу необходимее, чем ей. Часто в то время, как она сидит в нужде, они проматываются на другое. Их гораздо больше пропивается на вино, проигрывается в карты, чем тратится на самый богатый женский туалет.

Таким образом, предоставив женщинам оживотворение мира и уничтожение взяток в России, вы находите дело и для той, к которой пишете. Она думает, что в свете нет для нее занятия; вы думаете, что ей следует лечить свет, хотя и странным лекарством. Он ей опротивел, ей бы хотелось бежать из него; вы удерживаете ее, возбуждая в ней сострадание и уверяя, что он не свет, а больница, наполненная страждущими. Вот ваши слова: «Но тем не менее свет все же населен, в нем люди и притом такие же, как и везде.

Они болеют, и страждут, и нуждаются, и без слов вопиют о помощи, и увы! даже не знают, как попросить о ней. Какому же нищему следует прежде помогать: тому ли, кто еще может выходить на улицу и просить, или тому, который не в силах и руки протянуть?» В другом месте: «Вам ли бояться жалких соблазнов света? Влетайте в него смело с тою же сияющей вашей улыбкой, входите в него, как в больницу, наполненную страждущими» и пр. Чтоб не очень растрогать читателя, позвольте мне заметить, что тут дело идет о болезнях душевных. Признаюсь, не без волнения думаю я теперь, что эти строки ваши читала молодая и прекрасная женщина. Зачем же силитесь вы уничтожить в ней ясное понимание предмета и эту простоту воззрения, о которой я имел случай говорить в моем первом письме? Так не тому нищему следует помогать прежде, кто выходит на улицу, а тому, кто с своей нищетой разъезжает по великолепным балам и объедается за лакомым обедом? Но его нищета ужаснее: это нищета утонченная, это мученья бесплотные, сильные недуги сердца и ума! Положим, что правда. Да помилуйте, ведь он свое болезненное состояние не променяет на мужицкое здоровье голодного? Ваша женщина в свете ходила по этой больнице и, как видно, не с каменным сердцем, но не остановилась на этих опасно больных, а задумала бежать от них; ибо следовала чувству естественному, не предавалась ухищрениям человеческого разума, и с нежной разборчивостью посовестилась даже истратить хотя минуту жалости, более нужной в другом месте и для иных страданий.

Я не смею осуждать вас. Вовлеченные в переписку с разными графами и графинями, как заметно по вашей книге, вы невольно с особенной любовью обратили внимание на это отделение больных. Ах, мне постижима эта склонность! Мне самому, по неизвинительной слабости, всегда казалось, что графиня чем-то лучше неграфини, женщина в свете предпочтительнее женщины дома; но зато с таким направлением я уже не решаюсь записываться в лекаря душ.

Каким же образом лечить души? Ваша ученица, как мы уже видели, отказались от этого лечения за недостатком нужных к тому орудий; но вы утверждаете, что эти орудия у нее есть: «Во-первых, красота, во-вто-

рых, неопозоренное, неоклеветанное имя, в-третьих, власть чистоты душевной и еще высшая красота, чистая прелесть какой-то особенной, ей одной свойственной невинности, в которой так и светится всем ее голубиная душа».Желая убедить эту чудную, восхитительную женщину, что ее красота есть точно орудие сильное, вы говорите: «Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиною переворотов всемирных и заставлял делать глупости наиумнейших людей, что же было бы тогда, если б этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы тогда добра могла произвести красавица сравнительно с другими женщинами!..»

Бедная история и бедные дурные женщины!! Видно, в самом деле красота великое могущество, если вы не остановились написать эти строки. Но, высказывая такие оригинальные мысли, вам не худо бы подкрепить их какими-нибудь доказательствами, тем более, что ваша женщина в свете, может быть, и не изучала истории во всех ее подробностях. Где же этот всемирный переворот, которого причиною был бессмысленный каприз красавицы? Назовите. Всемирные перевороты совершались по требованиям всемирных идей. История, как уверяют, есть светильник истины, разумное развитие путей провидения. Неужели стоило бы ей учиться, если б в ней рассказывались капризы красавиц? Были люди, которые смотрели на нее с вашей точки зрения; но эти люди давным-давно прошли,— это материалисты, это Вольтер и другие, с которыми вы, судя по направлению вашей книги, не должны бы сходиться во мнениях. Вы употребили модное слово «осмыслен», но употребили, кажется, напрасно. Каприз не может быть осмыслен; каприз есть такое действие души, у которого нет причины и из которого ничего не следует; каприз потому и каприз, что в нем нет никакого смысла, иначе он перестанет быть капризом; каприз не может быть направлен к добру, ибо каприз зло, а из зла извлекать добро люди не умеют. Правда, существует историческое учение, которое берется за это дело: признавая все средства позволенными для достижения благой цели, оно учит направлять зло к добру. Но ведь этим занимаются последователи Игнатия Лойолы.

ЧИНОВНИК,
комедия графа В. А. Соллогуба

Скажите, отчего добрые намерения и благая цель не помогают написать хорошей комедии? Желаешь счастья своим ближним, благополучия своему отечеству — как же не сочинить или драмы или проекта? Как этой драме не быть прекрасной, а проекту дельным? Хорошее дерево должно дать хороший плод. Почему же мое желание добра и пользы всем и каждому, чистое, бесподобное в своем источнике, в своей сущности, может произвесть и дурную драму и нелепый проект? По какой безобразной логике моя верная мысль и мое теплое чувство, принимая плоть и кровь, то есть ложась на бумагу, делаются неузнаваемы для меня самого? Что было премудро, кажется легкомысленным, глубина превращается в пустоту, истина становится ложью. Неисповедимы условия духовного мира, страшна человеческая природа, а как задумываться о ее странностях бывает иногда назидательнее, чем даже чертить планы для спасения человеческого рода, то мы должны начать с изъявления искренней признательности автору комедии «Чиновник», на днях вышедшей в свет особою книжкой. Этой комедии обязаны мы душеспасительным раздумьем. Не скроем однако ж, что к нашей признательности примешивается немного ропота и много сожаления. Что это за чудесная комедия могла бы быть! Какого прелестного творения лишились мы! Зачем она не вызвана к жизни в том виде, в каком ей следовало родиться?

А счастье было так возможно! [1]

Да, все было под рукой, все было легко, удобно. Тут есть и графиня, приехавшая из Петербурга в свою деревню, милая, молодая, пустая и самая ничтожная из всех ничтожных женщин; есть седой полковник, разумеется, влюбленный в нее и бегающий из угла в угол по ее приказаниям; есть не седой сосед, также,

[1] Письмо Татьяны в «Онегине».

конечно, влюбленный в ту же графиню, которая идет и нейдет за него замуж. Наконец, как тень в картине, нашелся между ними еще сосед, человек-сутяга, начавший тяжбу с графиней. Что же было еще нужно? Не довольно ли четверых, чтоб обворожить зрителя? Теперь пишут из двух лиц поговорки, пословицы, комедии смешные и комедии печальные. Все приходят в восхищение. Для чего же понадобился пятый, именно чиновник? а этот пятый испортил дело. Без него все обошлось бы мирно, нежно, игриво. Графиня, полковник, жених и сутяга поговорили бы между собой, пленили б зрителя бойкостью своих сладких и неуловимых речей, занавес бы опустился и многие, приехав из театра в какую-нибудь гостиную пить чай, стали бы пророчить будущую славу русского языка и величие отечества. Кто б не сказал, что комедия разрешила важную задачу, доказала, что можно порядочных людей заставить говорить по-русски, что и по-русски можно болтать всякой вздор, болтать очаровательно, говорить, не сказав ни слова? Вспомнили бы милого француза Мариво, и все остались бы счастливы: мысль была бы удовлетворена, а сердце полно. Вот что произошло бы, если б комедия ограничилась числом четыре. Велика тайна чисел. Недаром Пифагор проповедовал о ней. Не будь пятого, не будь чиновника, мы во всяком случае не решились бы подать голоса ни за комедию, ни против нее. В случае успеха не вплели б терния в ее лавровый венок, а при падении постыдились бы возмущать покой ее могилы. Вся наша беда от чиновника Надимова. Он погубил комедию, он накинул на нее римскую тогу Катона, а сам выступил вперед, невежливо заслоняя других действующих лиц. Веселое произведение искусства, оглушенное его громкою речью, лишилось своего естественного характера и является перед нами в искаженном виде. Мы готовились улыбаться милой шутке, но нам говорят: я не шутка, я не комедия, а поступок, у меня есть серьезное направление. Да уж и в самом деле не правда ли это? Вот, какую страницу ни разверни, почти на всякой попадаются важные изречения: старинный разврат, искоренение зла, любовь к России, потворство, равнодушие, долг!.. А, долг! Исполним же и мы его, поскольку станет наших сил, последуем доброму совету, не будем равнодушны, не окажем потворства, чем, конечно, заслужим внимание и хорошее

о нас мнение чиновника Надимова, познакомимся с ним покороче, посмотрим, что, говоря выражением Шекспира, кроме слов, слов и слов, есть еще в этом господине, который так смело и так обязательно предлагает себя грешной братии в пример, в образец, в идеал. Вступая в отправление тяжких обязанностей правосудия, мы постановляем заранее, что сама комедия, невиновная ни в чем, должна б быть освобождена от суда и следствия. В ее несообразностях, натяжках, сшивках виноват один г. Надимов. Все преступления против законов творчества совершены по его милости, все принесено ему в жертву, только б он показался нам ужасно красноречив и страшно добродетелен. Между тем, к крайнему нашему сожалению, мы не сумеем представить его в настоящем свете, не привлекая к ответственности невинное и неразвившееся творение.

Дело вот в чем: какая-то графиня, богатая вдова, приезжает в первый раз к себе в деревню; один из ее соседей, Дробинкин, подает жалобу неизвестно куда, и едва ли, по смыслу комедии, не к губернатору, что мельница графини затопляет его, Дробинкина, сенокос. К ней, как она говорит сама, пишут из города, что будет чиновник для следствия. Графиня пугается при мысли, что найдется в необходимости видеть чиновника и говорить с ним. Этот испуг нужен затем, чтоб показать то пренебрежение, какое имеют люди высшего общества к чиновникам вообще, не различая между ними хороших и честных от дурных и взяточников. К счастью, у графини есть еще сосед, седой полковник Стрельский, влюбленный в нее. К нему-то она обращается с просьбою принять чиновника и избавить ее от беседы с ним. Это первая сцена, и начинается она умышленною хитростью. Полковник входит к графине без доклада, извиняясь тем, что не было никого в передней, обстоятельство ничтожное само по себе, а между тем чрезвычайно важное. Полковник вошел без доклада не потому, что привычку быть храбрым перенес с поля битв в мирные сношения общественной жизни, а потому, чтоб после него мог войти и чиновник Надимов также без доклада. Если б не было подготовлено, что у графини двери настежь, и не было придумано в оправдание такой странности, что все ее люди ушли на село смотреть медведя, то Надимов поневоле велел бы доложить о себе, а она не приняла

б его и отправила к полковнику. Тогда хоть опускай занавес. Без медведя на селе какое же средство устроить свиданье графини с чиновником? Полковник с совершенною готовностью и с величайшею радостью берется исполнить поручение графини и спасти ее от канцелярской крысы, как он выражается; но при этом случае ревнует ее к третьему соседу Мисхорину, уверяя, что Мисхорин не так молод, как кажется, и допрашивая графиню, точно ли она намерена выйти за него замуж. Несмотря, однако, на обещание влюбленного сердца и зрелого рассудка, ее поручение остается неисполненным. Полковник не щадит ног, беготня возбуждает даже в нем аппетит, он употребляет все усилия, направляет все мысли на один предмет, но ведь в деревне так трудно укараулить приезжего и сделать распоряжения, чтоб он не проскользнул в господский дом, прямо в комнаты графини! Мисхорин, щегольски и со вкусом, но несколько пестро одетый, требует от графини да или нет, кровь его в волнении, сердце выскочить хочет. Он не спал всю ночь. Графиня не верует еще в него достаточно, чтоб передать ему всю жизнь, она уже была замужем, вскружить ей голову трудно, восторгов блаженства ей не надо, она хочет тихого, ежедневного, прозаического счастья и думает, что Мисхорин способен к одной только страсти, а страсть живет эгоизмом, любовь одна живет самоотвержением. Мисхорин находит, что графиня говорит, как книга, когда он надеялся, что она женщина, что ум женщины должен быть в ее сердце, что любовь сама себя вознаграждает, что не должно думать, пройдет она для нас или мы пройдем для нее, что любви бесстрастной нет, как нет света без огня, и прочее и прочее. Оба они говорят превосходно. Слушаешь графиню — хочется тихой любви; слушаешь Мисхорина — отведал бы страсти. В душе читателя водворяется раздор, не знаешь, на что решиться, на тихую любовь или на страсть, скептицизм заражает ум, но, к счастию, скоро наступает минута примирения. Оказывается, что и графиня и Мисхорин несли вздор, не будучи нисколько убеждены в том, что говорили. Графиня через несколько минут и в несколько минут влюбляется в чиновника Надимова, которого видит в первый раз, а Мисхорин очень легко, не посягая на самоубийство, отказывается от нее.

Наконец вступает на сцену и чиновник Надимов,

щегольски, но весьма просто одетый. Он, при своем появлении в прихожей, оглядывается нерешительно, как бы отыскивая лакея, но напрасно: против этого приняты уже давно благоразумные меры. Все лакеи, как нам известно, отправлены смотреть медведя. Надимов рекомендуется читателю совершенным джентльменом и снимает шляпу не в дверях передней, а тогда только, как предлагает вопрос Мисхорину, он ли хозяин. Это чувство нравственного достоинства доводит его тотчас почти до дуэли с Мисхориным, которому он отвечает уже: «Где вам угодно, только не в имении графини».— «Отчего же не так?» — говорит Мисхорин.— «Оттого, что здесь я не могу заниматься своими личными делами. В доме графини я не принадлежу самому себе».

Невольное удивление поражает вашу душу. Что за человек! и одет хорошо, и входит как порядочные люди, и храбр, и проникнут чувством гражданственности. Себя ставит на вторую ступень, на первой стоит у него общество, общественному делу подчиняет свое собственное. Бесподобно. Но где же логика? — спросите вы у себя не раз в продолжение этой комедии. Надимов не делает ни шагу для исполнения данного ему поручения, он беседует с графиней, гуляет с нею по саду, влюбляется в нее — разве все это не его личные дела, а подвиги самоотвержения в видах общественной пользы?

Мисхорин, пораженный таинственностью своего собеседника, торопится, по очень естественному побуждению, узнать, почему дом графини есть храмина очищения, где Надимову не дозволяется ни малейший порыв эгоизма, и спрашивает:

«Да кто же вы такой?»

Тут, конечно, при самых чистых понятиях об искусстве, нельзя было отказаться от поползновения на эффект. Надимов, как Эдип, вынужден назвать себя и своим именем выговорить страшное слово: он робеет, прибавляет частицу «с» и отвечает сначала вопросом: Я-с? Потом, после нескольких точек, повторяет опять: я? И, выждав, сколько этого требует тире, произносит наконец: «чиновник». За сим следует молчание, потому молчание, что в драмах новейших народов нет хора, иначе хор воскликнул бы без сомнения:

Эдип,
Он матери супруг, своим он детям брат.

Мисхорин хохочет. Странно, очень странно. Надимов принял на себя должность ничтожного чиновника из желания быть полезным, в силу будто бы серьезной мысли, но может ли она поместиться в такой мелкой душе, которая при первом случае стыдится сама себя, краснеет за свое убеждение и перед кем? Перед человеком, хотя щегольски, но все-таки несколько пестро одетым? Странно, очень странно! Сейчас Надимов лез на дуэль, и Бог знает за что, теперь Мисхорин громко смеется прямо ему в лицо над тем высоким званием, где он думает служить отечеству, и Надимов стоит как вкопанный, не оскорбляясь ни-за себя, ни за звание! да и притом где это, в каком углу России, на какой планете, известной просвещенному миру, губернаторский чиновник оробеет назвать себя, приехав на следствие к какому бы то ни было помещику? Сухо раскланявшись с Мисхориным, Надимов остается один, и, чувствуя, вероятно, необходимость все более и более раскрывать перед нами свои духовные сокровища, свой нравственно-поучительный характер, он в кратком монологе сообщает нам, «что не иметь никого в передней — это деревенский обычай, что палаты барские полуразвалившиеся, тоже по нашему русскому обычаю, что роскошно для столицы, а в деревне, для себя, для своего рода, для своих крестьян все как-нибудь; что деньги нужны там на кружева, на оперу, а здесь кто нас увидит?.. бедный чиновник или бестолковый сосед, да мужик с просьбой». Эти основательные замечания, не подвигающие, однако, нисколько вперед дела, порученного Надимову, прерываются появлением графини, и мы отдыхаем, на сердце у нас становится весело. Вот наконец устроилось давно желанное свидание. Препятствия были неодолимые, но счастливо придуманное средство восторжествовало над трудностями. Надимов обращается к графине уже без страха, не краснея, с твердостью мужа, с энергией убеждения:

«Вы, вероятно, графиня, никогда не изволили объясняться с чиновником по тяжебным делам».

Нам становится еще веселее! Какой прекрасный молодой человек! Какая деятельность! Как он любит полезные занятия! Сию минуту он объяснится, хотя, собственно говоря, объясняться не о чем и не нужно, но так и быть, сию минуту он займется делом, приступит к делу! Нельзя же иногда не отвлечься от слу-

жебного долга! Но извольте бороться с жизнью, кто устоит против ее бурного течения? Завязывается опять разговор, и мы не понимаем, как это сделалось, совсем не о тяжбе. Он начинается оппозицией против народной мудрости, против истин, выработанных веками и завещанных нам в наследие предками. Народная мудрость говорит, что по платью встречают, а графиня, видя перед собой человека с приемами джентльмена, щегольски, но весьма просто одетого, затрудняется, пригласить его сесть или нет? Вообще надо заметить, что тут действует какая-то графиня допотопная, а не графиня, современная нам. Иные писатели любят присваивать себе, преимущественно перед другими, знание всех тонкостей в светском круге, называемом, если хотите, высшим обществом. Знание это благодаря нашим правам, нашей физиологии и счастливо или несчастливо сложившимся историческим событиям достигается легко и нисколько не сопряжено с теми препятствиями, которые были отличительною чертою народов Запада. Не было и нет мудрости познакомиться с графиней, с убранством ее комнат, с ее гардеробом, проникнуть к ней в душу, исследовать движения ее ума, определить понятия, привитые ей веком. Нужен только талант. Но, повторяем, в сочинениях иных писателей не заметно дельного желания изучить предмет, который, по благоприятному стечению обстоятельств, находится под рукою. К несчастию, все, что носит у нас правильно или неправильно имя образованности: познания, общественное положение, знакомство с известною средою людей,— все употребляется часто средством для одного чванства перед другими. При внимательном глазе нередко можно увидеть там, на дне, ничего более, как пустое тщеславие. «Я профессор в этой науке не потому, чтоб иметь особенные способности, а потому, что ежедневно упражняюсь в ней, я ежеминутно там, где вас нет». Это щегольство, основанное на ничтожных случайностях жизни, влечет за собою часто свое собственное наказание.

Тот не знает высшего общества, кто знает его затем только, чтоб сказать другим, что они его не знают, как не может назваться образованным человеком тот, кто читает книгу затем только, чтобы похвастать ею. Да, ко многим изображениям этого общества примешивалось у нас почти всегда тайное чувство хва-

стовства, и что же вышло? Писатель превратился в модистку с Невского проспекта, в столяра, в бронзовых дел мастера. Нарядить графиню по моде, поставить перед ней вазу с цветами, убрать ее стол разными безделками, посадить ее в кресла, обитые бархатом, заставить непременно ездить верхом, постлать ковер, вынуть у нее из головы всякую мысль, а из сердца всякое путное чувство — это значит изобразить светскую женщину, графиню. Но, Боже мой, этот рецепт уж известен давно, это уже невыносимо скучно и страх надоело. Ведь в светской женщине, в графине, несмотря на то, что она графиня, может также быть воображенье, тонкость ума, живость чувства, какое-нибудь понимание того, что дышит, движется, мыслит и чувствует около нее. Ошибитесь ради Бога в ее туалете, нарушьте требования моды, оставьте в покое письменный стол, верховых лошадей, избавьте нас от ковров, от мебели; но схватите душу светской женщины, уловите направление ее мысли, представьте влияние окружающих обстоятельств на ее природный характер. Что это за графиня? Зачем увлекать ее от нас, готовых с такою нежностью любоваться ею, в сферу давно забытых индийских каст и насильственно разрывать у нее все точки соприкосновения с мелкими чиновниками, когда ни век, ни она сама, как она есть в самом деле, не требуют такой разрозненности. Нет, неправда, что современная графиня, как новорожденное дитя, не знающее ни людей, ни их отношений, испугается губернаторского чиновника; неправда, что задумается посадить его. Современная графиня не так труслива и не так младенчески добродетельна. Не только в деревне, но и в Петербурге она примет чиновника с ласковым словом, с очаровательным взглядом, посадит и тогда, когда он будет не щегольски одет, протянет ему даже в ином случае, судя по важности дела, два нежных пальчика, согласно обычаю, перенятому нами у англичан. В деревне особенно графини не так недоступны и не так легкомысленны, как многие воображают. Там они становятся очень обходительны со всеми, кто нужен, расчетливы, иногда скупы; они, напротив, спешат знакомиться с полезными чиновниками и, должно сказать к чести современных графинь, часто умеют обделывать свои практические дела гораздо лучше, чем мужчины. Вы видите, что светская женщина на бале легка, как

зефир, и верите ей! Такой взгляд à vol d' Oiseau[1] может вести к важным заблуждениям. Нет, это не графиня из нынешнего Петербурга или из нынешней Москвы, а маркиза из древних записок Saint-Simon[2]. Виноват, маркизы были все-таки умнее нашей графини.

По примеру одного гоголевского лица, которое, не придумав более важного содержания для разговора, приступает к нему наблюдением, как много нынешним летом мух, Надимов, приглашенный наконец сесть, замечает: «Прекрасное у вас имение, графиня». Потом пускается в догадки, что у нее, верно, предположениям нет конца, что она, конечно, думает в лесу завести парк, над рекой террасу, и на ее вопрос: как вы это знаете? — отвечает, что догадывается, что на Руси все помещики хотят перестраиваться, но перестройки никогда не исполняются. Наконец, сказав, что вообще редко какие планы сбываются, он от деревенских построек переходит очень удачно к устройству нашей жизни.

«Кто не ошибался в своих ожиданиях?»

«Жалок тот, для которого прошедшее не служит уроком для будущего!»

Глубокомысленно замечает г. Надимов, а графиня, это милое дитя, изумленная такими новыми мыслями, мудреными для уразумения без пособия учителя, спрашивает: «Почему же?» Надимов отвечает:

«Потому, что он останется тогда навек лицом бесхарактерным, игрушкой в руках судьбы и случай будет им руководить, а не воля. Для такого человека жизнь не призвание, а приключение так себе наудачу».

Тут начинает обнаруживаться, что Надимов не без хитрости. Ему нужно было как-нибудь добраться до рассуждений о цели жизни, и вот вы видите, что он поставил на своем, добрался, хотя и окольными путями. Цель эта, по его мнению, заключается для мужчины в пользе, которую он приносит, для женщины — в счастии, которым она дарит. Графиня, оказывая предпочтение философии скептической над всеми другими философиями, не знает, что такое польза, кто ее приносит, и сомневается даже, чтоб Надимов мог сам, по совести, признавать себя полезным. Надимов

---

[1] с высоты птичьего полета *(фр.)*.

[2] Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760—1825) — французский социалист-утопист.

старается по крайней мере, а как старается, нам уже известно: он на службе, он чиновник.

Здесь перелом комедии, здесь становится очевидно, что до сих пор мы были под влиянием мистификации, мы воображали, что тяжба графини — дело первой важности и что Надимов приехал точно для освидетельствования разрушительных действий одной из стихий земного шара, но ошиблись. Мельница только предлог, только случай высказать важные истины, до которых додумался г. Надимов. Он человек богатый, молодой, путешествовал, живал в Петербурге. Убедившись, как мы сейчас узнали, в чем состоит цель жизни, он решился приносить пользу и, находя, что следует пуще всего заботиться об искоренении взяток, а что к этому ведет пример честных людей, особенно на неважных местах в губерниях, определился где-то на службу в губернаторские чиновники. Мы уже отчасти познакомились с его пылкою деятельностью; теперь предстоит нам красноречие, мысли о разных нравственных и юридических вопросах, добытые, конечно, тяжелым трудом и упорной работой ума в продолжение многих и многих бессонных ночей.

Графиня. Но ведь служить, быть чиновником, писать длинные бумаги — оно должно быть очень скучно, очень важно...

Надимов. Шуточных обязанностей не бывает. Долг всегда важен. Впрочем, служба — поприще, не требующее резких положительных способностей, как наука или искусство. На службе, на небольших местах в особенности, можно принести настоящую пользу одними отрицательными достоинствами.

Графиня. Я не понимаю.

Надимов. Оно очень понятно. У нас нужны чиновники честные, грамотные, толковые и прилежные. Для меня все эти достоинства отрицательные. Я имею состояние, кое-чему учился, много видел и не отвлекаюсь от занятий, потому что ничего не ищу и не желаю. Счастье — дело случайное, польза — открытая цель. Я убедился, что для России нужны не чиновники по названию, а чиновники по делу: оттого я и определился на службу, что я в ней не нуждаюсь (с достоинством), но что она во мне нуждается.

Прежде всего в этих выписанных строках поражает нас неприятно дикая форма речи, слишком частое употребление личных местоимений. «Для меня! я! Для

меня это достоинства отрицательные!» Да, если вы, г. Надимов, хотите говорить серьезно, то потрудитесь уж говорить от лица всех, от имени разума, что нам за дело, как иной вопрос разрешается лично для вас? Это его не объяснит и не докажет. Я убедился! Да какая нам надобность до ваших личных убеждений, тем более, что они и не головоломны. Вы убедились, что для России нужны чиновники не по названию, чиновники по делу, а для Индии, для Америки, а для других стран какие нужны? Кто же в этом не убедился? Где спорщики? Это убеждение существует едва ли не с потопа, к чему же тут я, беспрестанное я? Надо вести речь о самом предмете и смирять буйство всегда ограниченной личности — этого требуют и законы разума и приличия образованных обществ. Далее, мы, не без сожаления, видим, что не ясен и не широк взгляд г. Надимова на природу человека, но, желая быть справедливыми, думаем, что мысли, высказанные им, принадлежат не ему, они повторяются кое-где, он слышал их в каких-нибудь кружках на пошлом языке отупевших голов, и, не дав себе труда поверить слышанное собственным умом, заражает, без умысла, голову милой женщины ложными понятиями, убежденный, что она, не имея привычки размышлять, примет их на веру и еще подивится им. Как? Постановлять за правило, возводить в теорию, что человек, существо разумное, венец создания, может принести настоящую пользу одними отрицательными достоинствами? Но что такое отрицательные достоинства? Это исполнение формального закона, обязанностей, изложенных извне, исполнение из страха наказания или из приманки возмездия, а не из внутреннего побуждения, не от внутренней самодеятельности. Ни общество, ни законы не могут требовать от человека ничего, кроме отрицательных достоинств; нельзя приказать: полюби дело, которое делаешь, одушеви работу твоей внутреннею жизнью, прибавь что-нибудь свое, удели частичку от твоего собственного ума, будь гений, имей талант. Вы назначили ему пройти по битой тропе в известное время известное число шагов, он прошел, будьте довольны. Но это ли «настоящая польза», которую он может принести? Должно ли обрекать его на эту деятельность? Должно ли думать, что мы, определив правила для исполнения предначертанной ему обязанности, положили в них весь огонь человеческой души, всю силу

любви, которою он может быть проникнут к труду, к ближним, к общественному делу? Нет, ни с метлой на улице, ни в должности ничтожного переписчика человек не может принести настоящей пользы одними отрицательными достоинствами. Определение их просто. Напрасно г. Надимов припутал науку и искусство. Всякое свойство человека имеет положительную и отрицательную сторону. Терпение, которое сносит, и терпение, которое преодолевает, терпение Сикста пятого и терпение негра южной Америки — это разные полюсы одной и той же способности — положительный, отрицательный. Если честный человек не мучится желанием, чтоб и другие были честны, не ищет передать свою честность окружающей сфере, не действует для этой цели, а от лени, от безнадежности, без любви и негодования, остается самодовольно-покоен при отвратительных явлениях жизни — это будет честность отрицательная. Работник, занятой механической работой, если отправлять ее, как отправлял вчера, если не старается с каждым днем придумать что-нибудь к ускорению и улучшению своего труда, не требует от него этой оконченности, к которой должен стремиться по свойствам своей природы, если не любуется трудом, совершенным хорошо, а идет себе под игом, привычным шагом, как полезный вол, это также не положительное качество. Чего же хочет г. Надимов? Этих ли свойств? этих ли сторон человеческой деятельности? Можно поневоле довольствоваться отрицательными достоинствами, но вообразить, что они только нужны на службе, в какой бы тесной и низкой среде ни рассматривать ее,— это значит принимать человека за машину и признавать в нем за недостаток ту способность, которою он гордится перед животными. Нет, г. Надимов, напротив, везде, на каждом шагу, во всех действиях нужны в человеке положительные достоинства, только ими он может принести настоящую пользу, а что не у всех они обнаруживаются, у большей части спят, это не дает нам права возводить грустного явления в непреложный закон. Вы скажете: Пиши, не рассуждай! Вы натвердите: вот круг, из него ты не должен выходить ни полетом воображения, ни силою мысли, вы станете обращаться с человеком, как с куклой, которая поводит глазами и кивает головой тогда только, как вы дернете за нитку, вы убьете в нем по капризу вашей теории об отрицатель-

ных достоинствах, даже без малейшей нужды, все высокое, все благородное, все истинно человеческое, всякое чувство независимости от вашей мысли и от вашей руки, так не хлопочите понапрасну, не говорите ему: не бери взяток, он вас не послушает.

Милая графиня не поняла ни единого слова. Да и на что ей отрицательные достоинства, к чему рассуждения о службе? Она переходит к вопросу, который ей ближе, к вопросу о счастье, к вопросу о любви, и если Надимов, для беседы с нею, забыл свою обязанность, то она, становясь на его место, превращаясь в чиновника, приступает к следствию и допрашивает немилосердно:

«А счастья вы не ищете?

Кого же вы любите?»

Надимов. Я-с, графиня? Да, я живу любовью, я постоянно счастлив в любви.

Графине становится это неприятно. Он живет уже, а не начинает жить, следовательно, эта любовь не относится к ней. Надимов продолжает:

«Да-с, я счастлив в любви с тех пор, как догадался, где надо искать ее. Я нашел такую любовь, на которую положиться можно, которая, наверно, и никогда не изменит».

Графиня. Какую же это?

И графиня и мы заинтересованы чрезвычайно. Любопытство наше возбуждено до неимоверности. Мы пылаем нетерпением узнать поскорее эту чудную женщину, ниспосланную небесами, в их благости, губернаторскому чиновнику, приехавшему по делу о затопленных лугах Дробинкина, эту восхитительную любовь, которая, наверно, и никогда не изменит. Надимов называет нам ее. Судите же о горечи нашего разочарованья. Это обман. Это не живая дама с миловидным лицом и в нарядном платье, а дама-идея, идея огромная, уничтожающая, это Россия.

«Любовь к нашему отечеству, любовь к России, говорит Надимов. Этого чувства на всю жизнь хватит и с избытком даже».

И у графини и у нас опускаются руки. Надимов любит Россию и, как кажется, сколько это проглядывает из его слов, уверен немного во взаимности, хотя до него великие люди жаловались большею частью на холодность и неблагодарность отечества: Аристид был изгнан, Велисарий умирал с голоду. Любовь к России—

чувство похвальное! Да, его хватит на целую жизнь и не на одну даже, это правда. Но зачем г. Надимов говорит об этом? Зачем так торжественно, с таким лирическим вступлением? Разве это какая-нибудь диковинка? Разве любить Россию есть привилегия, дарованная исключительно ему и приобретенная какими-нибудь усилиями? Разве предполагается, что графиня не любит тоже России? Давать чувствовать такое предположение было бы неучтиво. Разговор между образованными людьми основан на взаимных уступках, на взаимном благоволении друг к другу. Графиня очень ограниченная женщина, но не может же Надимов сказать ей: я умен. Не может потому, что и графиня, какова она ни есть, должна приниматься за умную. Он умен, умна и она. Не хочет ли Надимов намекнуть ей, что вот Мисхорин, которого он сейчас видел, не любит России, а я люблю? Конечно, Мисхорин, хотя щегольски, но несколько пестро одет, да, во-первых, Надимов не довольно хорошо его знает, а во-вторых, ронять в мнении графини заочно кого бы то ни было не идет человеку щегольски и весьма просто одетому. Для чего же, повторяем, говорит г. Надимов о своей любви к России, если предполагается и должно по совести и из учтивости предположить, что любит ее и графиня, и Мисхорин, и те, которые налицо, и те, которые еще за кулисами? Я люблю, а графиня скажет: и я люблю; после этого следует: ты любишь, мы любим. Что ж это за разговор? Это повторение грамматики, спряжение действительного глагола и ничего более.

Любовь к отечеству не заслуга, не преимущество, не достоинство. Это чувство инстинктивное, невольное. Любишь и потому, что не любить не можешь, и потому, что вне отечества никуда не годишься и никому не нужен. Не любить было бы гораздо мудренее, чем любить. Человек живет во времени и в пространстве, иначе на земле и жить нельзя. Отечество есть именно пространство, одно из условий его существования. Все, что в нас есть, наш духовный и физический состав, все образовалось на этой почве, в этом воздухе, все, что заимствовали мы из-под чужого неба, приобретено нами по милости той же почвы и того же воздуха. Да и кто не любит отечества? Где эти люди, эти народы? Есть такие, которые умирают с тоски по нем. Не станем прибегать к пошлым возгласам о благодарности:

в любви к отечеству таится идея более существенная и более истинная — идея необходимости. Поэтому покинем ли мы Петербург и выберем своей резиденцией город Усть-Сысольск, определимся ли на службу в писцы станового пристава или пойдем положить голову за великую Россию, нам все равно любезную и равно дорогую, мы не имеем права становиться на ходули и высовываться из необозримой массы обыкновенных людей, провозглашая громогласно, что таем любовью к своему отечеству. Даже, прибыв в имение графини или княгини, по жалобе Дробинкина о двух или трех стогах сена, мы должны совершить этот подвиг, не уверяя других, что спасаем Россию или приносим ей пользу. Этого требует чувство уважения к себе, чувство нравственного приличия, этого требуют и законы смешного. Вы вступили в должность муравья и тащите песчинку на огромную гору,— прекрасно, но что же из этого? Неужели это должно послужить поводом к диссертации о любви к отечеству? Впрочем, г. Надимов и песчинки-то не тащит, до сих пор он только разговаривает, а как пример соблазнителен, то мы боимся, что в губернии, где он поселился, будет большое запущение в делах. Все закипят любовью и перестанут писать. Видно, любовь, даже и к отечеству, отвлекает человека от занятий. Но, нам скажут, он отказался от удовольствий столицы, пренебрег наслаждениями богатства, заехал в какую-то трущобу, принес жертву. Это опять не исключительное положение. Заметим мимоходом, что в губерниях служит много чиновников, которые и живали в Петербурге, и богаты, и путешествовали. Что касается до жертвы, тут вопрос важнее. Чтобы жертва получила общественное значение, для этого нужны ее плоды, нужно не собственное мнение, а мнение других. Иного нет средства отличить черту самоотвержения от побуждений эгоизма. Приехать из Петербурга в губернию можно от сплина, от нечего делать, от неудач, из мелкого честолюбия выказать себя. Г. Надимов любит как-то огромно. Любить всю Россию нелегко. Отчего бы не ограничиться какою-нибудь из ее частей? Полюбить бы хоть одну губернию. Россия так обширна, что есть из чего выбрать. Вот, например, в эту минуту, как он изъясняется в своей нежности к целому, части этого целого, то есть понятые или окольные люди, без которых нельзя составить законного удостоверения о за-

топленных лугах, лежат на траве или сидят пригорюнившись у конторы на завалине, оторванные от своих работ, в ожидании, когда будет угодно губернаторскому чиновнику спросить их, Бог знает, зачем и Бог знает, о чем. Они, вероятно, также любят Россию, но, одаренные большим знанием светских условий, любят молча.— Мы говорили до сих пор, не касаясь важного опровержения, которое может быть нам сделано. Г. Надимов может возразить, что его любовь особенного рода, не та, какую мы излагали, он любит лучше и разумнее, чем эти несчетные миллионы людей. Точно, инстинктивное чувство любви к отечеству переходит иногда в другую, высшую степень, в сознание, возводится в идею, и, правда, человек приобретает право сказать громко: я люблю Россию. Но за это право должно заплатить дорого. Оно дается немногим. Это достояние исторических лиц, способствовавших развитию, просвещению, благоденствию и славе отечества. Тут любить мало, надо еще уметь любить, надо видеть ясно цель, куда любовь ведет, и находить в душе своей средства для достижения цели. Надо знать, почему люблю и для чего люблю. Тут уже все помыслы человека, все его шаги, все действия обращены на служение одной, всепоглощающей идее. С ним уже не беспокойтесь, не наряжайте графинь и не ставьте бронзовых безделок на их столики. Для него и нарядна, и прекрасна, и молода одна Россия. Ее только образ будет носиться у его изголовья. Да, существует любовь разумная, любовь не инстинктивная, любовь-идея, но много ли сердец, способных биться ею? Есть в нашей истории имя, которого нельзя произнесть без особенного изумления, есть человек, в котором ясно и осязательно воплотилась эта высокая любовь, но зато куда ни поезжайте по неизмеримому пространству, называемому Россией, везде, во всех самых темных углах вы встретите следы этой разумной, беспрестанной, заботливой и всевидящей любви.

Разговор между графиней и Надимовым льется, как река. Графиня продолжает производить следствие и допрашивать его, давно ли он служит в губернии, где был прежде. Прежде, давно, Надимов жил в Петербурге, но он «не годится для петербургской жизни», он «не может ужиться в городе, где на улицах сыро, а в людях холодно». Нельзя не отдать чести г. Нади-

мову. Все ново, что он говорит. Не годится для петербургской жизни! Какая серьезность! В Петербурге на улицах сыро, а в людях холодно! Какая свежесть мысли, какая теплота чувства! Читатель, конечно, начинает уже догадываться, что графиня влюбилась по уши в чиновника, да и как не влюбиться? Надо себя представить на ее месте. Но не все постижимо для всех. Для людей с медленною понятливостью и со спокойным обращением крови было необходимо сделать такую внезапную страсть вероподобною. Это, разумеется, и сделано. Воображение графини, еще в самые юные лета ее, было поражено редкими свойствами Надимова, его далеким, но поэтическим образом! Когда она еще и не помышляла, что встретится с ним в жизни по милости соседа Дробинкина, Надимов владел уже неопытным сердцем не под именем дельного чиновника, а под милым именем Саши. Саша же, со своей стороны, не видав также графини в глаза, знал ее под нежным названием Настеньки. Их соединяло уже предчувствие, предопределение. Все это обдумано, приведено и объяснено в комедии очень натурально. Оказывается, что графиня воспитывалась в институте с Оленькой Надимовой, что Оленька сестра чиновнику, что она имела намерение не выходить замуж, остаться всегда жить с подругой, нынешней графиней, и обвенчать ее с братом Сашей, который есть не что иное, как наш подсудимый чиновник Надимов. Итак, не естественно ли, что графиня все знает про него, знает, чего никак не могли проведать мы, что у него «восторженные чувства и непреклонный характер». Он писал к сестре письма из Италии, из Египта, сестра тоже писала к нему, и они вместе с графиней сочиняли эти письма, имея обыкновение называть его между собою рыцарем.

Графиня. Ах, извините! Так вот где мы должны были встретиться! О, я вас хорошо знаю! Мы вас называли рыцарем. Я читала все ваши письма из Италии, из Египта, вам сестра ваша тоже писала обо мне. Мы вместе и письма-то сочиняли.

Вы видите, что мало-помалу на голову Надимова, как на мифические лица, собираются все достоинства, разбросанные по многим людям, и все подвиги, совершаемые порознь, различными членами человеческого семейства. Он и щегольски, но весьма просто одет, живал в Петербурге, вероятно, танцует превосходно

польку, и он же мелкий чиновник какого-то захолустья России; он богат и взялся за черную работу; он муравей и он же рыцарь; он так мягок, что увлекается первою графиней, попавшейся ему на глаза, и он же имеет непреклонный характер. Он видел Египет, затопленный Нилом, и он же приехал обозреть луга Дробинкина, затопленные мельницей графини. Какая полнота жизни! Перед нами воскресает древний, волшебный мир Греции, гармония афинского существования! Надимов не пишет к сестре из пошлых местностей, как, например, берега Рейна, Париж, Лондон. Что оттуда писать, да и кто не писал? Конечно, Италия до некоторой степени тоже пошлость, но не совсем. Там следы отжившего могущества и величия, там памятники чудес шестнадцатого века... А Египет, это уже вовсе не пошлость, колыбель человеческой мудрости, страна пирамид и иероглифов! Туда уже не отправится ветрогон-путешественник, которому хочется только рассеяться да повеселиться. Признаемся, мы давно подозреваем, что г. Надимов съездил в Египет, хотя и не решались намекнуть об этом, ожидая от него собственного признанья, и хотя до сих пор нисколько не заметно, чтоб он был посвящен в таинства премудрых магов. Скоро услышим мы от него такие африканские понятия, что они, даже без египетских писем, превратили б наше подозрение в несокрушимую уверенность и заставили бы нас думать, что он, несмотря на скромность, запрещающую ему рассказывать о себе все подробности, посетил не только Египет, но, мучимый любознательностью, проникал в самую гущу Африки.

Зачем г. Надимов запрещает равнодушие и не велит потворства? Неужели премудро-спокойное, азиатски-одинаковое созерцание прекрасных и безобразных явлений — преступно? Неужели помиловать ближнего, не выставить его недостатков, ошибок, прегрешений — стыдно, а путаться в чужие дела, без всякой надежды поправить их — хорошо? Ну, если нам и удастся доказать, что дурная комедия — дурна, что ж из этого? Вероятно, завтра явится новая, которая будет хуже. Допустим, что мы успеем, приложив к образу мыслей, к действиям и к пустозвонным фразам г. Надимова разрушительную силу анализа, отыскать, сверх нашего чаяния, душу варвара под хитоном Афинянина — кому это нужно? Ведь мы не спасем графини; в насто-

ящую минуту она, верно, замужем за Надимовым и хлопочет, как бы этого праведного судью, этого любителя отечества произвести из губернаторских чиновников прямо в министры. Для чего же, повторяем, г. Надимов зовет нас на почву закона и правды, сопровождая свое приглашение возгласами, что становится совершенною невозможностью наслаждение восточным кейфом? У него, как мы знаем, на руках история о мельнице, а графиня, эта счастливая соперница России, вспомнив, что он был влюблен в Вене, просит его заняться венскою историей. Кого послушаться? Мертвой буквы, листа бумаги или живого слова, слетевшего с милых уст? Выбор не сомнителен; и Надимов не колеблется. Он приступает тотчас к повествованию о своих приключениях в столице австрийской монархии: «Это был случай самый обыкновенный», как вдруг, откуда ни возьмись, вбегает полковник. Человек злопамятный, не забыл еще того, что давным-давно изгладилось из нашей памяти и чем так мастерски началась комедия! Он извиняется в своей оплошности, не понимает, не понимаем и мы, как чиновник мог проскользнуть, и, следуя первоначально полученным повелениям, хочет увести его. Ни вид Надимова, ни платье, ни обращенье графини с ним, ни то, что «он состоит при самом губернаторе», не образумливает поседевшего воина. Он обходится с Надимовым как с одним из тех, которых потчуют Ерофеичем или очищенным, и зовет в контору закусить, на рюмку водочки. Что это такое? Но графиня, примиренная уже с мыслью о чиновнике, не предает его в жертву своему седому обожателю, а уводит в сад доканчивать венскую историю. Приехавший Дробинкин принимает сперва полковника, потом Мисхорина за чиновника и обращается к ним с изложением своего дела в выражениях, имеющих притязание на возбуждение смеха. Это нужно для оживления сцены. В творениях с серьезным направлением надо зрителю или читателю давать отдых от глубины взглядов и важности мыслей. Полковник, вероятно, сбитый окончательно с толку своею страстью к графине и лишенный уже всякого смысла, думает еще, что она дожидается его в саду и что он должен все-таки избавить ее от чиновника. С этим намерением уходит поспешно. Остаются Дробинкин и Мисхорин. К ним опять являются графиня и Надимов. Они идут под ручку, наслаж-

даясь жизнью, переходя из комнаты в сад, а из сада в комнату, не стесняясь ни губернаторским предписанием, ни условиями искусства. Графиня, продолжая разговор, выражает удивление, которое разделяем и мы:

Графиня. И она могла изменить вам!

Надимов. Вышла замуж.

Изменница, не понимала человека! Наступила наконец минута начать пагубу Мисхорина, чтоб очистить поле действий для г. Надимова, не поле, окружающее мельницу, а поле любви, занятое Мисхориным, почти женихом графини. Иначе, в качестве рыцаря, Надимов не согласится быть искателем сердца, на которое другой имеет хотя мнимое право. Он скорее задушит свою новую склонность или бежит с нею в пустыню. С этой целью Дробинкин узнает в Мисхорине старого знакомого и спрашивает о здоровье его супруги, а когда Мисхорин отвечает, что не женат, то Дробинкин припоминает ему, что виделся с ним во время сговора. Графине желательно знать, что это значит? Мисхорин говорит, что это брат его хотел жениться в Пензенской губернии, и потом спрашивает, не велит ли графиня седлать лошадей, что также совершенно необходимо, ибо, как нам известно, без верховой лошади нельзя представить верного изображения светской женщины, графини. У нее с Мисхориным начинается отрывистый разговор, а между тем «Дробинкин в углублении сцены рассыпается перед чиновником, который слушает его холодно».

Дробинкин. Ведь воду, батюшка, так подняли, что у меня сенокос сгорел совсем в Пронюхинском овражке... Может быть, изволите знать, вам скажут супесок, не верьте, батюшка. Какой тут супесок... тринадцать стогов накашивали, да стоги-то какие! На редкость! вот и сарай размыло, надо разобрать теперь. На что он годен, сами посудите. Да ведь лес какой был, пятивершковый, осина, все убыток, разоренье... Я на их сиятельство не жаловался, смею ли я... Я что говорю! Столбы поставьте, закон ясный... поставьте столбы, да убытки вознаградите... по расчету... столбы поставьте — вот и все... я о чем прошу... поставьте столбы по закону.

Не без особенного любопытства ожидаем мы от г. Надимова ответа на выписанные слова. До сих пор он называл себя чиновником, но говорил и действо-

вал как честный человек и, если мы позволяли себе опровергать его мнения, то все-таки за ним оставалось неотъемлемое право быть поэтом, путешественником, рыцарем, рассказывать арабские сказки и думать по-египетски. Но праздник этот кончился. Он стоит лицом к лицу с просителем, которому не нужно знать, по каким странам он ездил, кто ему изменил и кто остался верен, как сильна его любовь к России и вследствие каких высоких соображений поступил он на службу. Частный человек исчезает, и перед нами является новый предмет, человек общественный, посвятивший себя на служение России, человек-идея, называемая чиновником, ничтожный, самый ограниченный в правах и преимуществах, но все-таки искра великого, животворного света, представитель нравственного начала, закона и правды. Г. Надимов не решится, конечно, спорить с нами против этого определения. Он богат, имел возможность чему-нибудь учиться и покупать книги, он путешествовал, у него восторженные чувства — он не скажет, что это теория, мечта, что на практике совсем не то. Если ему не удавалось читать, то, верно, случалось слышать, что всякое явление имеет свой закон, свою теорию, что как бы ни было оно бессмысленно, опошлено, и запачкано грязью жизни, истина и святость теории остается неприкосновенностью, теория все тут, вечно соприсущая, ничем не сокрушимая, хотя так называемые практические люди в своей близорукости и ограниченности отрицают ее единственно потому, что не видят. Конечно, это странно, а между тем так: г. Надимов в ту минуту, как подходит к нему Дробинкин, становится представителем нравственного начала. Они незнакомы друг с другом, им незачем сойтись вместе, у них нет ничего общего, и, однако, на данное время они находятся в тесной связи. Эта связь называется юридическою. Она налагает на действия г. Надимова известные правила, стесняет его произвол, запрещает обнаруживаться очень естественным чувствам, не позволяет языку говорить, что вздумается. Суживается среда, где вращался частный человек, сокращается словарь его выражений, определяется число мыслей, дозволенных ему. И все это затем, чтоб чиновник остался верен нравственному началу, во имя которого призван действовать. Положим, что г. Надимов вспыльчивого характера и привык даже предаваться этой вспыльчивости, потому что его

лакеи радовались ей, объясняя ее добротою сердца. Положим, что он, за недостатком другой, более разумной силы, любит безумием гнева, наводя страх на своих раболепных домочадцев, придавать себе в собственных глазах значение жалкого величия и презренного могущества. Но с Дробинкиным ему должно отказаться от своей привычки. Он не смеет сердиться на него. Малейший порыв гнева будет противоречить духу законов, внесением личных слабостей и наклонностей в общественное дело, грубым варварством, допускаемым только на египетской почве. Дробинкин скучен, Дробинкин несносен, Дробинкин многоречив, как все просители, а закон, несмотря на эти нестерпимые их недостатки, предоставляет им обширное поле с некоторыми весьма умеренными и совершенно необходимыми ограничениями. Закон позволяет Дробинкину нести околесную из чувства корысти и не останавливает его болтливости. Архивы нашего судопроизводства и всех образованных народов могут свидетельствовать об этой просвещенной и христианской терпимости закона. Сколько исписано бумаги и сколько написано нелепостей! Воображение пугается. Поэтому и г. Надимов лишен права ставить в вину Дробинкину дар слова, ниспосланный ему Провидением; Надимов не может обязывать Дробинкина на безмолвие и налагать на него молчание. Как человек занятой, если б он в самом деле занимался своею должностью, он будет избегать излишних, ни к чему не ведущих объяснений, но вот все, что ему дозволяется. Дробинкин низок, Дробинкин подл. Ослепленный привязанностью к собственности, он считает свое дело звездой первой величины во вселенной и готов видеть погибель графини со всем ее потомством, только б получить несколько рублей вознаграждения за убытки; а закон, равнодушный к его гнусным побуждениям, не принимает их в расчет и смотрит на одно — прав он или нет, затоплены его луга или не затоплены. Г. Надимов, посланный законом, не должен тоже выражать негодования на мелкость души просителя и оправдывается благородством сердца, не способного выносить проявления презрительных чувств. В терпимости и спокойствии закона гораздо более истины и великодушия, чем в этих патриархальных порывах. Все это великолепный вздор, противный духу христианского правосудия. Наконец главное, г. Надимов не началь-

ник Дробинкина. Проситель, потому что приходит с просьбой, не находится ни в униженном, ни в подчиненном положении перед тем, к кому просьба обращена, и, если чиновник считает себя обязанным смотреть на просителя героем или дикобразом, это показывает, что он заблуждается, не понимает своего назначения, не хочет держаться на той нравственной высоте, на какую поднимают его законы и условия просвещенного общества. Звание чиновника, давая ему гражданские права в кругу общественной деятельности, не создает в нем, однако ж, новых свойств, не полученных им от природы или воспитания, и не снабжает его никакими личными преимуществами перед другими смертными. Надимов может сказать Дробинкину: я чиновник и потому имею право производить следствие; ты не чиновник, ты этого права не имеешь; но не должен думать: я чиновник, и потому я умнее тебя, я чиновник, и потому талантливее, и потому твоя диалектика перед моей никуда не годится. Вероятно, г. Надимов, судя по цели, которую он себе предположил, проникнут этими простыми истинами и станет действовать в их смысле. Какие же понятия вносит он в сферу службы? Чем начинает свое служебное поприще в этой погубленной им комедии? С каким духовным запасом хочет приносить пользу? Что отвечает он Дробинкину?

Надимов. Вы уж мне предоставьте обсудить, что будет по закону.

Даже в спартанском лаконизме редко совмещалось так много содержания в таких немногих словах. Посмотрим, что значат эти иероглифы в переводе на европейский язык. Во-первых, это ли тон строгого исполнителя законов, скромного слуги отечества, человека, исполненного жаждой добра и правды? Нет, это сказал чиновник, надменный своим чиновничеством, нетерпеливый при малейшей скуке. Под несколько учтивою формой тут зажимается рот Дробинкину и отнимается у него даже естественное право размышлять о своем собственном деле. Г. Надимов еще недавно на службе, не огляделся, не развился и потому говорит «предоставьте мне», но опытный глаз провидит в этом зерне его логический плод, будущее «молчи, пошел вон». Да и почему предоставить вам? Что вы, г. Надимов, разумели под этим? Не хотите ли вы убедить Дробинкина, чтоб он не беспокоился, что так

как его дело в ваших руках, то ему не о чем заботиться, оно близко вашему сердцу, дороже, чем ему самому, днем лишает вас аппетита, ночью не дает спать; что вы чиновник, вы замените ему лучшего друга, самого усердного ходатая, будете ему сестрой, братом, отцом. Такого рода фразы употребляются в нашем домашнем обиходе, но ведь это ложь, ложь пошлая, ложь наглая; Дробинкин же ужасный скептик, да и закон требует, чтоб он хлопотал сам о своем деле и не полагался на отеческие попечения чиновников. Не даете ли вы ему чувствовать, что он тупоумен, неспособен обсуживать, но мы уже сказали, что ваше звание чиновника не наделяет вас большей, чем у Дробинкина, степенью ума и не жалует в гении. Но разве вы забыли или не знаете, зачем вы посланы? Кто вас просит обсуживать? Кто вам это поручил? В каких законах это написано? Вам велено собрать доказательства, облеченные в известные формы, точно ли вода на мельнице поднята была выше грани и оттого затопила землю, принадлежащую Дробинкину. Какого качества эта земля, состоит ли она из лугов, леса или пашни, какие повреждения на ней сделаны или не сделаны. Вот что требуется от вас. Обсуживать вам нечего, не только нечего, но строго запрещается. Следователь и судья два лица, два понятия совершенно разных. Если вы хотите исполнить вашу обязанность во всей святой точности, со всей идеальностью, какой можно требовать от человека с восторженными чувствами, то вы должны не обсуживать, а запретить вашему уму иметь какое-либо мнение о том, вознаградятся убытки Дробинкина или нет. Вы должны ограничиться единственно собранием сведений в определенном порядке, утверждающих и отрицающих событие. Обсуживает, судит не лицо, не следователь, а коллегия, суд. Чтоб разделить навсегда эти несовместимые понятия, работала наука, трудились века, погибло много жертв. Известно ли вам, г. Надимов, что люди, которые, производя следствие, сами обсуживали его, называются в истории инквизиторами, что смешение следователя и судьи было и может быть причиною более страшных и более вредных явлений, чем самые взятки. С чего же, на основании каких законов вы требуете, чтоб Дробинкин замолчал и предоставил вам обсуживать? Если б вы сказали это, как частный человек, то тут вышла б величайшая нелепость, ибо

Дробинкин, конечно, озабочен своим делом больше, чем вы, до вас оно нисколько б не относилось, и в таком случае зачем бы вам браться за исключительное обсуждение его. Но вы говорите как чиновник, вы присвоиваете себе в глазах просителя власть, какой не имеете, и обнаруживаете невнимание к закону, запрещающему превышение власти. Помилуйте, все это юридическая азбука. И как это сорвалась у вас с языка такая несообразность! Вам, как следователю, положительно нельзя и вы не будете обсуживать дела Дробинкина; но если вы вздумали так, из одного каприза, ради скуки предаться размышлению, что будет с этим делом по закону, отчего же не позволяете такого рода догадок и предположений Дробинкину? В силу каких особенных преимуществ и способностей вы считаете себя призванным обсуживать, а у другого эту способность отрицаете? Нас беспокоит теперь жалкое положение Дробинкина. Как он бедный поступит? Где для него доска спасения? Он готов называть вас вашим превосходительством, когда вы коллежский регистратор, перебрать все титулы, приятные для человеческого слуха и так верно определяющие достоинства людей, он скажет, что от вас все зависит, что вы самый могущественный из чиновников мира, что вы властны над судьбой его семейства, над его жизнью и смертью, а между тем он очень хорошо знает и меру вашей силы и возможность вашего влияния. Ему известно, кто будет судить его дело. Какое ж впечатление производите вы на несчастного просителя, когда заставляете его молчать и беретесь обсуживать? Что он должен заключить из ваших слов? Не должен ли, по свойству своей корыстолюбивой натуры, подумать, что они сказаны недаром, а с какою-нибудь тайною целью? Что вы не для шутки представляете себя более важною и значительною особой, чем это есть на самом деле. Адский скептицизм не захочет объяснить вашего странного ответа легкомыслием, неведением, необдуманностью. Возразить вам, что вы говорите вздор, Дробинкин не осмелится, да и нельзя. Вы, пожалуй, напишете, что у графини и мельницы нет, а сверх того его, несчастного, покорнейшего из жителей земного шара, представите ослушником, человеком, который, как говорит Гоголь, не верует в Бога. Возникнет другое дело. Дробинкин сказал бы вам, что вы не исполняете своего долга, что в то время, как прогуливаетесь

с графиней, жаркий, летний день может истребить следы затопления, что вы своим бездействием направляете дело в пользу графини, но сказать этого, как мы уже заметили, нельзя, и потому Дробинкин, оставаясь Дробинкиным, делится в то же время надвое: одна часть его негодует и бесится на вас, другая сдерживает ее и смиряется перед вами, а быть причиной такого раздвоения, а ставить человека между правом требовать, что предоставляется законом, и страхом вреда, какой вы можете нанести по вашему положению — называется пыткой, только не физической, а нравственной; пытка же во всех своих формах заклеймена проклятиями образованных народов. Как же Дробинкину выйти из этого мучительного состояния? Чем направить ваши мысли на стезю закона? Как отгадать цель, которую, по мнению его, вы имели, присвоивая себе небывалую власть? как развязать ему свой язык? На это у него есть одно, доступное ему и у таких людей, как он, общеупотребительное средство: деньги. К ним обращается Дробинкин за неимением другого исхода, но на это средство он вызван вами, г. Надимов. Ему самому, конечно, не пришло бы в голову предложить взятки в комнатах графини, где он в первый раз, человеку, щегольски одетому, который ходит с ней под ручку. В деревнях это делается не так. На такого рода дерзости способны только разочарованные жители столиц. Дробинкин не вынужденный, не одобренный, так сказать, вами, поступил бы осторожнее. Он прежде справился бы, берет или нет, отнесся бы к письмоводителю, к камердинеру, нашел бы дорогу к женщине, в которую вы влюблены, к вашей жене, если вы наслаждаетесь блаженством супружеской жизни, к вашей дочери, если Бог наградил вас чадами. Собственное сознание комедии подтверждает наши слова. Из ответа г. Надимова необходимо и тотчас следуют взятки. Дробинкин смекнул это разом. Вот что он говорит:

Дробинкин *(вполголоса)*. А, понял... позвольте, батюшка, на пару слов... Я всего в десяти верстах усадьбу имею... Не побрезгайте заехать... здесь говорить нам неловко... здесь ведь знать такая... чванство, батюшка, чванство, а у меня мы это дельцо обделаем без церемоний... Насчет того... то есть благодарности, уже не беспокойтесь — останетесь довольны.

Мы дошли теперь до места, называемого в драма-

тических произведениях катастрофой, до сцены, для которой натягивались все пружины и соединялись разнородные обстоятельства. Для нее почтенный старик, заслуженный полковник, лишен человеческого смысла, для нее опустошена передняя графини, приведен на село медведь, а милая женщина, украшение петербургских гостиных, перевезена в глушь, в деревню. Имея дело с рыцарем, мы не желаем подать повода заподозрить нас в недостатке рыцарских чувств, а потому с особенною радостью, и, может быть, не без грешных намерений, выпишем здесь от слова до слова эту сцену.

Да не скажет г. Надимов, что мы умышленно утаили от наших общих судей какой-нибудь блистательный порыв его красноречия или какую-нибудь высокую и полезную мысль.

Полковник *(падая на кресла)*. Уф! двадцать лет так не бегал! где вы были, скажите из милости? Я не знал, что сад такой большой. Уф! Извините, графиня, весь запыхался... бежал как угорелый. Ну, да теперь я уж не выпущу, пора, кажется, вас избавить. Пойдемте, господа, в контору.

Надимов. Зачем? Мы уже здесь начали.

Полковник *(отводя Надимова в сторону)*. Да здесь... нельзя говорить обстоятельно, откровенно... надо пересмотреть много бумаг.

Надимов. А, так бумаг много?..

Полковник *(свысока)*. Да вы не думайте, чтобы труды ваши пропали даром. Я уполномочен... и если дело кончится как следует, то будьте уверены, что со стороны графини...

Надимов. Благодарность будет?

Полковник. Уж конечно... Можете даже сами назначить.

Надимов *(шутливо)*. Графиня... вам угодно было давеча спросить меня, зачем я служу в губернии? Теперь я могу вам объяснить на деле. Положим, что я был бы просто проезжий, приехал бы к вам с визитом. Конечно, ни ваши уполномоченные, ни ваши гости не почли бы себя вправе предложить мне с первого слова,— одну из тех *(смеется)* мнимо-забавных подлостей, о которых в порядочном обществе и говорить бы не следовало.

Графиня. Помилуйте, что с вами!

Полковник. Да как же?

Надимов. Позвольте спросить, отчего же, как

только дело коснулось до моей служебной обязанности, потому что я губернский чиновник и в небольшом чине,— мне предлагают тотчас же продать мою совесть, так же просто и естественно, как у другого человека спросят о его здоровье?

Полковник. Позвольте...

Надимов. Не мешайте: я не кончил. Я хотел только определить, что предложенный мне этими господами подарок или подкуп, за который я им, впрочем, очень благодарен, относится не к моей личности, а к званию, мною принятому; вот какие лестные мысли оно внушает! И к горю моего звания, я должен сказать, что я обижаться не вправе, пока будут у нас взяточники. Они-то и распространили между нами какое-то странное начало равнодушной безнравственности! Вот, например, два человека, уже в почтенных летах, которые только при виде незначительного чиновника почитают уже себя обязанными предложить ему торговать законом и обворовывать правосудие! Отчего это? Оттого, что они привыкли думать, что иначе быть не может. Ну, положим *(шутливо)*, г. Дробинкин, человек бывалый по этой части... но *(строго)* полковник, человек заслуженный, благородный *(как бы опомнясь)*, каким горьким опытом должен он был дойти до такого равнодушия, чтоб забыть настоящее значение того, что он говорит!

Полковник. Молодой человек...

Надимов. Виноват, полковник; но вы не вправе меня останавливать.

Графиня. Быть не может!.. Я вас уверяю... все это шутка.

Надимов *(с чувством)*. Нет, графиня, шутить тут нечего... тут нет ничего смешного, и смеяться я не в силах. Мне кажется, что тут, напротив, надо плакать и каяться, и слезами покаяния стереть пятно, наложенное на нас веками. Надо вникнуть в самих себя, надо исправиться, надо крикнуть на всю Россию, что пришла пора, и действительно она пришла,— искоренить зло с корнями. Теперь словами не поможешь, надо действовать... и лучшее порицание дурному, пример хорошего, надо, чтобы каждый из нас, кто дорожит честью своего края, пожертвовал собой и, не гнушаясь мелких должностей, в себе показывал бы другим образец. Начало уже сделано; время окончить начатое... и Бог нас благословит.

Графиня. Но как же?..

Надимов. Не скоро делаются великие перевороты! Но начало положено; теперь каждый честный человек уже оттесняет собой взяточника; это главное... Тот, кто служит по совести, уже вознагражден сознанием, что он ведет нас к исправлению, для нас необходимому,— что он искореняет старинный разврат и недаром носит имя Русского! Вот отчего я служу, графиня! Вот отчего каждый, кто чувствует в себе силу и волю, должен у нас служить.

Полковник. Молодой человек, вы хоть и резко говорите... но в словах ваших есть правда... Правда, черт возьми. Служить у нас надо. Я сам был кандидатом в предводители.

Дробинкин. Даже слеза прошибла... *(в сторону)* у, у! какой тонкий!.. к этому попадись в лапы, дешево не отделаешься!

Графиня. Мне очень неприятно, поверьте, что у меня в доме...

Надимов. Ничего, графиня; не в первый раз. Другие для службы жертвуют жизнью; я уже давно пожертвовал самолюбием. Я перестал сердиться,— эти господа не виноваты. Виновато общее равнодушие и общее потворство одному из наших главных народных бедствий.

Дробинкин. Точно, точно, ваше сиятельство, я человек простой, без умысла, по глупости, к слову пришлось... хе, хе, хе!

Надимов. Но об этом, кажется, довольно. Извините меня, графиня; я слишком погорячился, потому что вопрос так близок к моему сердцу! О чем, бишь, мы говорили давеча?.. О террасе, кажется,— павильона, я думаю, там не надо...

Графиня. Бедный! Как, должно быть, трудно ему жить? *(входит слуга).*

Слуга *(подает пакет Надимову).* От губернатора с нарочным.

Надимов. Что это значит?.. Графиня, вы позволите?

Графиня. Сделайте одолжение... *(Надимов читает с удивлением.)*

Мисхорин *(графине).* Чиновник-то, кажется, читал Цицерона... просто Римлянин... того и гляди на колесницу воссядет!

Г. Надимов, вероятно, изучал все уловки и приемы как древних, так и новых ораторов. Им случалось выдумывать мнение, которого никто не имел, и потом победоносно опровергать его. Они часто сочиняли положение, создавали кукол и сражались с ними. Так г. Надимов вынудил сам Дробинкина на взятки, чтобы после иметь случай высказать свое негодование и представить себя человеком, подавленным думами о государственных вопросах. Мы пропускаем благодарность, предложенную полковником. Это так насильственно, это такая натяжка, что тут дело не без греха. Уж не взял ли с Надимова наш полковник взятку? Но зачем придираться к точке отправления? Красноречие остается красноречием, как ни подыскивайся под него. Не лучше ли обратиться к светлой стороне, а светлая сторона прекрасна! Сколько утешения льет она в душу и каким розовым блеском озаряет эту юдоль плача! Г. Надимов не шутит. Он хватает из жизни самый сложный вопрос. Это старинный разврат, пятно, наложенное на нас веками. Вы пугаетесь, вопрос кажется мудрен. Не бойтесь, г. Надимов его обдумал и разрешил. Затруднений никаких нет. Во-первых, «начало уже положено»: он вступил в службу. Потом все просто, как нельзя простее. «Надо только вникнуть в самих себя, надо исправиться», а тут поможет «пример хорошего». Нужно только побольше гг. Надимовых, которые «в себе показывали бы образец», другие станут подражать образцам, как это всегда водилось в истории, пленятся красотами добродетели и все уладится к общему удовольствию. Ах, г. Надимов, зачем напомнили вы нам невозвратимое время, поэтические мечты юности и высоконравственное легковерие детского возраста? Мы заплатили б дорого, чтоб согласиться с вами. Нет, приглашенье исправиться и действие примером принадлежат к идеям той нежной эпохи, когда думали, что стоит ребенку дать пропись с добродетельными изречениями, и ребенок, узнав, что терпения корень горек, а плоды его сладки, вырастет непорочен и будет терпелив. Конечно, пример входит в воспитание и производит впечатление, но меру этого впечатления не вычислил еще ни один математик, а потому никогда и нигде, ни одному государственному человеку не приходило в голову, при борьбе со старинным развратом, принять во внимание идею образца и действовать примером; так точно, как ни один

доктор не вздумает привести здорового к постели больного с надеждой, что этот, посмотрев на него, встанет на ноги. Пример — лекарство гомеопатическое, неуловимое. Это причина внешняя, это случайность. У мерзавца-отца вырастает нравственный сын; мерзавца-сына воспитал добродетельнейший из отцов. Когда в Англии вешают за воровство, воры крадут из карманов все, что можно украсть. Северные Штаты Америки устыдились иметь невольников, а вольнолюбивые жители южных штатов не прельщаются этим похвальным примером и продолжают, нисколько не краснея, наслаждаться своими неграми.

Где в истории отыщете вы благодетельное влияние примера? У всех народов, в эпохи даже разложения, являлись подвижники добра, правды, самоотвержения, но изменяли ли они ход событий и восстановляли ли нравственное чувство? Да неужели вы, г. Надимов, думаете, что в самом деле честных людей мало и что есть недостаток в образцах? О вас самих мы не станем говорить, ваш пример не только не полезен, но даже вреден. Про вас скажут: он не берет, да он богат, ему не нужно; он не берет, да и не за что дать, он ничего не смыслит. Следовательно, о вас нет речи, но есть примеры другие, есть люди, которые не знают, с чем завтра пойдут на рынок, чем истопить свою комнату, и между тем не берут. Их пример должен быть действительнее, отчего же не действует? «Крикнуть» на всю Россию, если Россия услышит крик — нет цели более высокой, нет жребия более завидного! Мы не против крика, тут мы с вами заодно, нас разделяет только безделица, мы хотим грудных звуков, мы требуем, чтоб в громком слове была плодотворная мысль, и, если кто решится закричать, что холера опасная болезнь, то нам покажется это недостаточным, мы пожелаем прибавления. Да и что вы так беспокоите себя? ведь уж кричали, кричали до вас голоса более громозвучные, чем ваш нежный сопрано, кричал Капнист в «Ябеде», Гоголь — в «Ревизоре», а вековой дуб, глубоко пустивший корни, стоит с неопаленными листьями, все зелен и полон жизни.

Вы «смеяться не в силах», вам кажется, что «надо плакать и каяться, и слезами покаяния стереть пятно, наложенное на нас веками». Слова, слова, слова! Ложно в идее, неисполнимо на практике. Народы не плачут, г. Надимов, народы стирают вековые пятна не

слезами, а развитием, просвещением, вечною бодростью духа, неутомимым шествием вперед, по пути, указанному Провидением. Это слезы не ваши, это слезливое расположение едва ли не есть подражание одному из новейших ораторов. Он, по примеру Мирабо, который некогда указывал на балкон, когда балкон не был виден, выдумал пословицу: «Вынеси меня, мое ты горе», когда такой пословицы не существует ни в одном сборнике, а в устах народа не бывало, да и не могло быть, сочинил, что ей пятьсот лет от роду, и преспокойно вывел удивительное заключение. Мы думали до сих пор, что Русский народ «возносился на высоту» после «горя нарвского и московского» оттого, что находится в эпохе возрастания и что согласно законам, предначертанным не исключительно для него, а общим для всех исторических народов, при условии быть или не быть, обнаруживал всю массу жизненных сил, не истощенных еще историей. Думали и ошибались. По оратору выходит не так. Русский народ возносился совсем не потому, а потому, что поет песню: кручина моя, кручинушка. В этой кручине, в этом горе, в этих слезах, в этом желании сделать из народа — горемыку или народ-плаксу и создать новую пружину для его подвигов, может быть, и много чувствительности, но зато совершенное бессмыслие. На всех государствах есть свои пятна: у Англии — Ирландия, Индия, пауперизм, у Америки — негры. Ну что, если все народы земного шара вздумают смывать эти пятна слезами? Какой тогда подымется плач, куда тогда деваться? бежать на луну? Мы, члены народа, мы, отдельные лица, мы горюем, плачем, у нас есть слезы освежающие, слезы очищения; но, по мнению другого, не менее известного оратора, мы, одаренные бессмертной душою, имеем, кроме государственных целей, еще иное назначение. Вы хотите, «чтоб каждый из нас жертвовал собой и не гнушался мелких должностей». Кого разуметь под словами «каждый из нас»? Людей богатых, которые проводили жизнь в гостиных, говорят по-французски, танцуют польку, путешествовали? Людей, которые к этим качествам присоединяют просвещенный ум и теплое сердце? Но в обоих случаях это мечта, мечта несбыточная и несерьезная. Первым покажется скучно, невыносимо, да на что же они и нужны, где бы то ни было? Другие могут быть полезнее на более обширном поприще и

никак не удовольствуются должностью станового пристава в пустыне, засыпанной снегами. То, чего вы желаете, никогда не будет, г. Надимов, не будет по очень естественной причине. К чему же тратить напрасно слова? Вы как-то странно понимаете дело. Вы требуете, чтоб «каждый жертвовал собой»; но разве правильный ход государственной жизни нуждается в жертвах? Разве она в них должна искать опору себе? Ну если не представятся герои, то, по-вашему, государственная жизнь придет в затруднение и не сладит со взятками? Самопожертвование, энтузиазм, героизм — это свободные проявления духа, предоставляемые личностям, на произвол случая. Общественное настроение или исключительные исторические события вызывают из груди избранных эти высокие чувства, и они вспыхивают, при данных обстоятельствах, всегда как-то кстати; но был бы очень наивен тот государственный человек, который, при разрешении финансовых или юридических вопросов, вообразил бы себе, что у него в запасе есть столько-то жертв и столько-то героев. Скажите, г. Надимов, в беседе с каким государственным мужем Египта почерпнули вы вашу охоту к жертвам? Представьте, что у нас в Европе совсем напротив: мы полагаем, что обыкновенное течение государственной жизни не только не налагает обязанностей самоотвержения, но в своем прочном и гордом ходе пренебрегает жертвами. Она имеет целью не то, чтоб «каждый жертвовал собой», а наоборот, удовлетворение потребностей каждого, как духовных, так и материальных. Явится герой — хорошо, нет героя — обойдется и без него. Не герои должны освещать ежедневный путь государственной жизни, а мысль. Мысль зрелая, спокойная, более верный вожатый и помощник, чем все случайные жертвы героизма. Вы подошли к вопросу не с той стороны, подошли и испугались, и торопитесь уже утешить себя и говорите, что «начало положено». Если вы точно человек с убеждением и старинный разврат, не шутя, занимает вас, то зачем жмуриться? Надо уже смотреть на истину смело, во все глаза, на истину голую, без прикрас, создаваемых малодушием, и не убаюкивать себя колыбельными песнями. Это убаюкиванье отдаляет от цели и вводит других в заблуждение. Может быть графиня, полковник и Мисхорин призадумались бы, но теперь они уснут спокойно. «Начало уже положено», стало, дело идет.

Вы думаете, что «взяточники распространили между нами странное начало какой-то равнодушной безнравственности», и полковника, графиню, все это общество, где находитесь, ставите неучтивым образом в зависимость, от кого же? От взяточников, как будто они обладают таким могуществом влияния, что властны живых людей делать мертвыми и между нравственными сеять безнравственность. Мы не можем согласиться, чтоб прелестная графиня, добрый полковник, Мисхорин, щегольски, хотя и пестро одетый, и наконец сам Дробинкин, все-таки помещик, все-таки владелец, вероятно, нескольких сотен душ, играли второстепенную роль и следовали духу того направления, какое угодно взяточникам. Скорее, не надо церемониться с этими последними, скорее надо их подчинить порядочным людям, порядочных людей поставить на первое место и дать им ту подобающую степень важности, какую имеет почва в сравнении с растением и дерево с своим плодом. Взяточники не виноваты в общем равнодушии, и общее равнодушие не виновато во взяточниках. Равнодушие происходит не от одного какого-нибудь исторического явления, а от суммы явлений, от всего исторического хода, от физической и нравственной организации народов. Равнодушие не в силах ничего создать, создает убеждение, а где обнаруживается потворство, ищите там не холодность, а любовь. Полковник дошел до результатов, за которые вы на него так опрокинулись, совсем не горьким опытом, и развитие его мысли не было усеяно терниями. Спросите, с кем он лучше хочет иметь дело: с взяточником или невзяточником? И вы не узнаете полковника. Он примет осанку торжествующего победителя, он, не заносчивый, не надменный ученостью, поразит вас уверенностью, что постиг тайну житейской мудрости, что знает ту окончательную форму, которая прилична человеческому правосудию, и не запинаясь предпочтет взяточника. Вы сами, если б имели процесс и если б спросить вас наедине, когда вы не рядитесь в пример, а расположены отвечать по внушению инстинктивного чувства прирожденного и нажитого, согласно вашим невольным наклонностям и пристрастиям, какой бы вы дали ответ? Но мы не хотим ни отгадывать, ни определять его прежде, чем пройдем с вами все выше служебное поприще в этой комедии. Таким образом деление на

взяточников и равнодушных кажется нам не совсем верно. Зачем находить все только черты разъединения, противоположности и установлять несогласие? Мы за мир, за тишину. Точки соприкосновения любобытнее, они лучше разрешают поставленные вопросы, оттого нам более по душе единство и гармония.

Для вас взятки порок, преступление. Да, это так, взяточник есть мытарь, торгующий правдой в ее святых храмах. Взгляд справедлив, но узок для объема исторических явлений. В пороках и преступлениях христианские мыслители любят открывать ту сторону, которая сберегает на отверженном человеке божественные черты и дает ему доступ к самому чистому сердцу. Нет преступлений цельных, нет преступлений без доли заблужденья. Если видеть в «старинном разврате, в народном бедствии» один ряд преступлений, то легко утешиться и незачем поднимать большого шума. Преступления не страшны. Они, по свойствам человеческой природы, составляют в человеческом обществе исключения, на них восстает большинство, они прячутся от глаз, краснеют и живут тайною. Превратите только взяточника чисто в преступника, и завтра взяток не будет. Страшно заблуждение. Оно обнимает массы и не боится Божьего солнца. Оно искажало образ святой истины, действуя между тем во имя ее и во благо тех многих жертв, которыми переполнены мрачные страницы истории. Вы выступили на битву с взяточниками, с людьми, но что люди? Существа кратковременные, доступные чувству страха, расположенные к послушанию, когда оно требуется настойчивою волей. С людьми легко справиться, на них есть казнь закона, железо и огонь. Перед вами другой враг, более опасный, этот враг — понятие. Оно бесстрашно, непокорно, несговорчиво и, к несчастью, долговечно. Вы вытесните взяточника и станете на его место, а понятие тотчас пополнит эту убыль и в вашем сыне воспитает нового, который будет предметом удивления для старых. Вы возмущаетесь, вы негодуете, вы приходите в ужас, что продается правосудие, а понятие вступит в сделку с вашей совестью, сочинит слово «благодарность» и уверит вас, что между этим безукоризненным словом и взятками проведена самая непроходимая граница, протянут самый тонкий волос. Понятие предусмотрительно, осторожно и никогда не одиноко. Оно живет общей жизнью с другими,

однородными понятиями. Они тесной семьей вместе проходят века и вместе гибнут, но не порознь. Взятки не жена и дети, не нищета и нужда, их берут и холостые и богатые, взятки — особенное воззрение на жизнь и человека; взятки не причина, а следствие, не болезнь, а один из ее признаков.

Давно ли, испрашивая помещения в общественную должность, проситель писал в просьбе: прошу отпустить покормиться? Управление рассматривалось как кормление, как доход, которым можно быть сыту. Воеводства и приказные дела назывались «корыстовными» делами. Государственный вопрос молчал перед материальною потребностью лица. И тот, кто просился кормиться, и те, которые отпускали его на кормление, нисколько не думали, что в общественном деле интерес частного желудка есть интерес второстепенный. Нам скажут, что способ кормления определялся и, следовательно, был законен. Иногда определялся, иногда нет, но что до этого? Самое воззрение делало невозможными правила, что и подтверждается историей. Если управляемые рассматривались как материал для удовлетворения аппетита управляющих, если на первом плане стояло целью, чтоб воевода был сыт, то как предположить, что он не беспрестанно был голоден? С тех пор государственные учреждения изменились. Просвещенные законодатели России спешили передавать ей в новых постановлениях иные начала, иные истины. Но нравы, но воззрения не догнали государственных учреждений. Рука не смеет уже писать: «Отпустите покормиться», а в голове прежнее понятие еще живо. Предки думали, что место дается единственно затем, чтобы кормиться, и многие из потомков сохранили свято завещанное наследие. У многих, верных преданию, цель та же — кормление, а все остальное, что вновь написано, кажется им, написано так, для одной церемонии. Бумага изменилась, понятие осталось, потому ли, что история вообще невыносимо долго вырабатывает свои идеи, потому ли, что с изменением законов не возбудилась деятельность мысли, которая одна может перевесть их в жизнь, или наконец потому, что старое воззрение со всеми своими подробностями приятнее слабости человеческой.

Воображение пленялось приобретением новых истин права, а душа влеклась к той поэтической неопределенности, где давался широкий простор воле. Закон

исполнил современную задачу, он определил для службы другую цель, другую причину, и кормление, как оно совершалось некогда, назвал взятками, преступлением. Но быт около этого закона, быт, благоприятствующий прежнему воззрению, сберегался тот же. На самую жизнь накладывались не те обязанности, какие излагались в законе, не то требовалось от нее, не те идеи были в обращении; от этого самая жизнь находилась в постоянном и естественном противоречии с законом. Г. Надимов, увлекаясь тоже воображением, не понимает, что делает, когда восстает на взятки. Он не берет их, но, нападая на них, поднимает руку на себя. Последуем за ним в чудный мир фантазии, поддадимся ее волшебному обаянию и постараемся отгадать, как бы это стали жить люди без взяток, какой бы у них совершался жизненный процесс? Какими наслаждениями пользовались бы они и каким подвергались бы лишениям? Ах, г. Надимов, необдуманность, необдуманность губит многое на свете. Жизнь без взяток — что за жизнь? Ведь это полное развитие чувства законности, это, как его необходимое следствие, уважение на каждом шагу, во всех мелочах к личности человека и даже понятых, которые вас дожидаются, и Дробинкина, который придет надоедать. Это уже не на словах, а в самом деле служение нашей великой, нашей дорогой России, и представьте, без всякой идеи самоотвержения, самопожертвования, без всяких прав на хвастовство и удивление, это служба верная по невозможности, чтоб было иначе, простое исполнение долга, произнесенной клятвы, слова, данного честным человеком. Видите ли, к каким последствиям ведет такого рода общественное положение? Ведь оно расстроило бы вас первого. Теперь вы приехали свидетельствовать мельницу, но вам скучно, занятие не по душе, не в привычку, чувство законности вас не тревожит, у вас его нет, и вы заходите к графине, вы с ней беседуете, гуляете, вот сейчас она предложит вам завтрак. Если кто-нибудь осмелится вам напомнить, что понятые давно собраны, вы скажете — пусть подождут. Подойдет Дробинкин, вы ему очень учтивым образом заметите, что вы чиновник, что и обсуживать и говорить вы хотите одни, а он проситель, следовательно, существо бессмысленное и бессловесное. Поступая так, вы остаетесь честным человеком, неоцененным сокровищем, которым служ-

ба, по вашему мнению, должна дорожить. Все это чрезвычайно приятно и удобно. Теперь, по милости взяток, многие подумают про вас: вот красноречивый человек, человек убеждений, человек огонь, а тогда, без взяток, о чем бы вы повели беседу? К фактическим сведениям вы, кажется, имеете пренебрежение, потому что не дали себе труда познакомиться с юридическою азбукой, об идеях вы разделяете мнение первого Наполеона, который не любил их: с чем же вы тогда явились бы на сцену перед графиней, чем бы тронули ее ветреное сердце? За что же вы нападаете на взятки, когда им обязаны столькими удовольствиями?

Против понятия оружие одно — понятие новое, которое надо поставить на место старого. Понятие добывается не фразами, не ребяческими выражениями желаний, надежд и порицаний, а тяжелым трудом мысли, просвещением. С великою робостью, от страха, чтоб наши слова не были перетолкованы в превратном смысле, мы, вопреки г. Надимову, решаемся сказать, что честный человек, сотни, тысячи честных людей, как случайность, как явление, которое может быть и не быть, бессильны в борьбе с закоснелым понятием. Одной честности, этого высокого качества, к сожалению, мало. Нужны честные и вместе мыслящие. Только мысль делает завоевания не случайные, а прочные, одна мысль может создать среду, где нельзя будет двигаться взяточнику. Г. Надимов придумал, как мы уже видели, разные государственные меры для искоренения взяток, образцы и горючие слезы; но меры эти, превосходные сами в себе, оказываются, после нескольких тысячелетий опыта, недействительными. Вы поставьте человека в невозможность брать взятки, и он брать их не будет, а возможность этой невозможности существует для взяток точно так же, как и для других наших действий. Объяснимся примером, если уже г. Надимов такой охотник до них. Он позван на бал; закон не определяет ни покроя его платья, ни цвета, ни материи, и каким бы шутом ни нарядился он, за это не положено никакого наказания. Отчего же г. Надимов не явится на бал в сюртуке и пестром галстуке? Почему лучше согласится нарушить постановление писаного закона, чем обычай, введенный и поддерживаемый какою-то непостижимою силой, которая не лишает прав состояния и не ссылает в Сибирь? Вот что, конечно, в малом и ничтожном виде, называется

взглядом на жизнь. Так люди смотрят, так думают, так привыкли думать; пестрый галстук и сюртук на бале признаны, неизвестно надолго ли, неприличными,— извольте переуверять и оспаривать.

Для важных исторических явлений, для взяток, существует также возможность подобного взгляда и на основании истинном, не выдуманном человеческою прихотью. Судья берется отправлять правосудие, а за деньги называет правду ложью и ложь правдою. Тут логическая нелепость очевидна, ее основание шатко, поколебать его, однако же, трудно, но средство есть, оно вытекает уже из самой бессмысленности явления. Должно только искренно желать достижения предполагаемой цели и не скорбеть о тех понятиях, которые, живя одною жизнью с понятием о взятках, должны умереть с ним одною смертью. Г. Надимов обходится с взятками как-то легко, храбро, не воображая, кажется, что у них есть своя история, география и своя теория. Это не отрывок, не клочок из жизни, а целая жизнь, благообразно устроенная и приведенная в систему на известных местностях. Мы уже так тесно познакомились с г. Надимовым и получили к нему такое расположение привычки, что, желая ему добра, советуем продолжать горячиться против взяток с графиней и полковником, а ни под каким видом не сходиться и не вступать в спор с каким-нибудь умным и закоренелым взяточником. Г. Надимов не знает, какую неотразимую диалектику встретит он, какое научное понимание дела, какие неотвержимые доводы и даже какие добродетели. Дойдет до службы, до отправления должности: тут прошу не прогневаться, пожалуйте денег; а взгляните на взяточника с другой стороны, в других отношениях: он и добрый отец семейства, и теплый друг, и честный человек, который вас не обманет и не продаст. Да, г. Надимов, много и таких взяточников. Поэтому надо нападать не на взятки; они, как мы уже сказали, не причина, а следствие, плод неверного воззрения, ложного понимания, давшего простор необузданности своекорыстных побуждений. Если вы хотите вложить перст ваш в свежую рану и поразить взятки, то во всеоружии рыцаря вступите в бой с рутиной, пошлостью и бессмыслием, которое всякую мысль считает противозаконною тревогой, а всякое посягательство на невежество нарушением общественного благоустройства; с этим невежеством, которое под-

пирает варварские привычки, которые, при помощи обыденной сметливости, хочет отгадывать результаты наук; без учения, без приготовлений берется за все, делает все кое-как, решает сплеча все вопросы, и этот способ действия смеет называть русским умом, а всякого невежественного представителя мнимого русского ума — русским человеком; с этою наглостью невежества, которая, думая, что говорит перед диким обществом, выступает вперед с выдуманными пословицами да с жалкой кручиной.

Если г. Надимов, восставая на взятки, поражает себя, то и мы, не трогаясь его красноречием, попадаем не в очень выгодное положение. Мы сходимся в чувстве, не в мысли, с кем же? с Дробинкиным. Он один услыхал, что сладкое пение состоит из неверных нот. Они взяты громко, но фальшиво. Дробинкин ошибочно перетолковывает естественную порочность голоса хитростью, тонкостью и не думает, чтоб можно было дешево отделаться от такого оратора. Это уже клевета. Но графиня побеждена совершенно, особенно после того места, где Надимов, стараясь остановить разлив клокочущих чувств и уйти от раздирающего вопроса, близкого его сердцу, переходит к предмету прохладительному, к террасе. Это чрезвычайно счастливый, поразительный оборот, употребляемый с пользою даже великими трагиками. Полковник тоже вне себя. И он кричит, что у нас надо служить, причем сообщает нам прелюбопытную новость. Представьте, что наш добрый, услужливый, нежный полковник был кандидатом в предводители. Как досадно, что он не называет губернии, должно быть, хорошая губерния. Нарочный от губернатора прерывает правильное течение сцены. Верно, какое-нибудь экстренное дело, что-нибудь или секретно или конфиденциально! Надимов читает бумагу с удивлением, потом справляется у полковника, что значит в доме графини Мисхорин, и, узнав, что он жених ее, не знает, что делать. В этом раздумье и, конечно, по важности нового поручения лишается аппетита, отказывается даже от завтрака, предложенного графиней, и остается наедине с Мисхориным.

Сказать искренно, мы утомились уже следить за действиями г. Надимова. Особенно становится нам это неприятно теперь, когда он, тоже, вероятно, утомленный под бременем своих рыцарских доспехов, бро-

сает в сторону и меч и щит, срывает с себя тяжелый панцирь и стоит перед нами безоружный, открытый со всех сторон для ударов критики. Мы истинно оставили б его в покое, если б начало не требовало конца и если б, может быть, по заблуждению не считали святым долгом уяснить себе печатно некоторые мысли.

Надимов (*притворяя двери*). Ушли... я должен переговорить с вами.

Мисхорин. Со мною?.. Вы хотите возобновить давнишний разговор?

Надимов. Нет; мы отложим его до более удобного случая; я должен сообщить вам довольно неприятную весть; я получил приказание исследовать один из ваших поступков.

Мисхорин. По жалобе помещика Кривоногова?

Надимов. Точно так.

Мисхорин (*в сторону*). Боже мой!... Я пропал... Графиня не простит никогда!.. Что мне делать? И подкупить этого человека невозможно!

Надимов. Прикажете, чтоб я отнесся к вам формально, бумагой и дал вопросные пункты?

Мисхорин. Нет, нет... нельзя ли иначе, между нами... чтоб не услышал кто-нибудь...

Надимов. Дело довольно сложное, утаить будет трудно. Впрочем, сколько от меня зависит, огласки не будет. Мне приказано не терять времени... угодно вам будем отвечать? (*Садится и записывает.*)

Мисхорин. Делать нечего!

Надимов. Я должен представить ваше объяснение.

Мисхорин. Спрашивайте, что угодно.

Надимов. Вас зовут Виктор Мисхорин?

Мисхорин. Да!

Надимов. Который вам год?

Мисхорин. Тридцать семь лет.

Надимов. Вы очень моложавы.

Мисхорин. Благодарю вас!

Надимов. Другого Мисхорина нет?

Мисхорин. Нет.

Надимов. Чин ваш?

Мисхорин. Отставной поручик.

Надимов. Имение у вас есть?

Мисхорин. Есть; но описано, продается.

Надимов. За долги?

Мисхорин. За долги.

Надимов. К нам препровождена поступившая на вас жалоба пензенского помещика Кривоногова в том, что вы не выплачиваете ему должных денег, десяти тысяч рублей с процентами, и, после нанесенных ему обид, отказались от обещания вашего: жениться на его дочери, в чем выдано вами ей письменное обязательство, подтвержденное неоднократно приложенными тут письмами. Что имеете вы объяснить против этого?

Вот зачем прислан нарочный. Все это делается, верно, в шестидесятой губернии, еще не открытой, в той, где полковник был кандидатом, а если бы делалось в известных губерниях, если б в них посылались нарочные по таким пустым делам, то у губернаторов недостало б ни людей, ни денег. Г-ну Надимову решительно не известен юридический язык, требующий определенности, точности. То он хочет дать вопросные пункты, то говорит, что должен представить объяснение. Вопросные пункты не объяснение, а объяснение не вопросные пункты. Говоря о вопросных пунктах, надо непременно сказать: ответы. Если вопросные пункты предложены, то это значит, что производится формальное следствие, и надо представить его, а не объяснение. Не мог также г. Надимов сказать «к нам препровождена». У кого он перенял такой способ выражаться? К нам, то есть к губернатору? Но представлять себя компаньоном сильного лица, когда вы не что иное, как его безгласный подчиненный — это напоминает, конечно, семейные связи, слияние воедино домочадцев с главою семейства; однако в государственных отношениях такого рода выражения не точны и унизительны для джентльмена. Джентльмен любит оставаться тем, что он есть, и, когда приказывает губернатор, не говорит: мы приказали. К чему это вечное преувеличение и своего собственного значения и даваемых поручений? Не оттого ли, что на г. Надимова могут возлагать только дела первой важности? А между тем в настоящем случае дело, которое обстанавливается так театрально, представляется сложным и к которому приступается с такою напыщенностью, есть дело самое обыкновенное, без малейшей сложности и чрезвычайно удобное для уразумения. Но пойдем по порядку. Г. Надимов точно предлагает вопросные пункты, то есть спрашивает его сначала, как зовут, сколько от роду лет и проч. Эта форма определена в зако-

нах для уголовных преступлений и не случайно, а на разумном основании. Уголовное следствие есть драма, где необходимо и определить с точностью личность человека, и раскрыть в приличных подробностях его прошлую жизнь. Лета, звание, бедность или богатство имеют влияние на присуждаемое наказание, представляют событие в том или другом виде и объясняют преступление разными побуждениями. Поэтому вопросные пункты не пустая прихоть следователя. По этой форме может быть спрашиваем ответчик только в уголовных следствиях, подсудимый, обвиняемый в совершении поступка, за который в Уложении назначено наказание. Так ли, г. Надимов? Если б графиня позвала своих людей, велела бы связать Дробинкина, прибить его и выбросить из своих комнат, то, производя следствие о таком происшествии, вы даже и вашу неоцененную графиню, хотя имя ее врезано глубоко в вашем сердце, должны бы спросить: как вас зовут? Но ее мельница затопила землю Дробинкина, Дробинкину это чувствительнее, а между тем, если б понадобилось вам по этому делу узнать что-нибудь от графини, то вы ни под каким видом не осмелились бы справляться о ее имени и летах, предлагать ей вопросные пункты. Следовательно, чтобы ваше действие в отношении к Мисхорину было законно, надо чтоб он совершил преступление. Что же он сделал? В чем состоит жалоба на него? Не забудьте, что мы знаем совершенно хорошо ее содержание. Вы, допрашивая Мисхорина, объявили ему обвинение и должны были объявить со всеми подробностями теми именно словами, как пишет помещик Кривоногов. Вы не были свидетелем преступления, оно известно вам только из просьбы, и потому вы не могли ни прибавить, ни убавить ничего.

Мисхорин не выплачивает Кривоногову десяти тысяч рублей, но это не преступление, а гражданский иск. Должные деньги взыскиваются или полицией, или формою суда, и мы не понимаем, как такое поручение попало к вам, но извините, мы забыли, все это происходит в шестидесятой губернии: там у вас, может быть, есть какая-нибудь дополнительная статья. Оставим уж это. Перейдем к другому обвинению. О нем говорится вскользь, без внимания, но оно-то и может быть важно в том смысле, в каком мы рассматриваем вопрос.

Нанесенные обиды могут составлять преступление;

но для этого необходимо, чтоб известный поступок был признаваем обидой не только истцом, но и Уложением. Нанесенная обида должна быть обозначена, в чем состоит она, надо узнать предварительно, называет ли еще закон действие, приписываемое Мисхорину, обидой, может быть, помещик Кривоногов круглый дурак или сумасшедший; может быть, Мисхорин предложил ему шампанского в стакане, а тот обиделся, что не в бокале. Положим, что для Кривоногова это и тяжкая обида, но закон не разделяет с ним его мнения и не будет преследовать Мисхорина. Итак, прежде чем думать, что Мисхорин совершил преступление, то есть обидел Кривоногова, нужно осведомиться, как и чем обидел, нужно спросить истца, чтоб он выразился не глухо, а определительно. Обидел, украл — тут нет еще самого действия, нет прямого обвинения, нет юридического смысла, нет повода к преследованию. Поэтому и во втором обвинении преступления никакого еще нет. Затем, что же оказывается? Жалоба помещика Кривоногова не могла быть препровождена к вам, г. Надимов. Кривоногов-истец, а теперь его же, если он не шутя разобижен, должно требовать из Пензенской губернии для объяснения и, в случае разногласия, для очных ставок с Мисхориным. Вот какая выходит нелепость! При производстве уголовных следствий преступник, а не жертва его вызывается в то место, где преступление совершено. Вы скажете, что у графини нет имения в Пензенской губернии и что там нельзя бы устроить эту комедию... Как быть? Правосудие прежде всего.

Остается третье обвинение. Кажется, оно-то в глазах г. Надимова и должно пробудить громы закона. Обещание жениться, письменное обязательство, подтвержденное приложенными письмами! Обещание жениться, сопровождаемое известными обстоятельствами, определенными в Уложении, есть точно преступление; но обстоятельств этих в деле Мисхорина, как мы видим, не существует, а на простое обещание жениться закон смотрит как на обещание приехать обедать. Обещал жениться и не женился, обещал приехать обедать и не приехал. Для такого взгляда есть у закона важная причина, закон разумен. Брак — таинство. Брачный обряд совершается после согласия бракосочетающихся, не вынужденного никакою посторонней, внешнею силой, а произнесенного добровольно,

искренно, из глубины сердца, перед лицом Всемогущего Бога, перед Его Крестом и Евангелием. Если б светский закон преследовал обещанье жениться и заставлял исполнять его, то впал бы в противоречие с церковным законом и на каждом шагу мог бы находиться в невозможности действовать, ибо подсудимому, приведенному насильно, стоило бы только на вопрос: имешь ли благое соизволение, отвечать: не имею, чтоб уничтожить все понудительные меры светского закона. Закон не хотел, с одной стороны, выказывать своего бессилия, а с другой, средствами устрашения, какими обладает, вызывать человека на ложь перед лицом Бога.

Легкомысленный, неблагородный или мерзкий поступок Мисхорина наказывается иным образом. Против такого поступка есть общественное мнение, нравственное чувство порядочных людей; могут быть у обиженной невесты родные и друзья, которые отмстят за нее; но правосудие молчит и не мешается в дела подобного рода. Отец невесты или сама она могут завести с Мисхориным тяжбу, отыскивать с него убытки, понесенные от приготовлений к свадьбе, опишется его имение, он разорится, но допрашивать его уголовным порядком все-таки будет нельзя. Поэтому и в третьем обвинении преступления тоже нет. На основании каких же данных, каких понятий о праве, какого писаного закона вы, г. Надимов, подвергаете Мисхорина допросу по форме, определенной для преступников?

Но наконец, о чем вам вообще спрашивать Мисхорина, к чему эти личные объяснения, зачем личный допрос? Представьте, что Мисхорин отвечал бы следующим образом: я должен точно, заплачу, когда будут деньги, а зачем вы разговариваете со мною о моем долге, я не понимаю, ибо для взыскания денег определен в законах известный, другой порядок. Что касается до обиды Кривоногова, то позвольте спросить вас, как вы смеете спрашивать меня о ней, когда сами не знаете, в чем состоит она, и будет ли еще обидой перед законом? Скажите прежде мне, я спрашиваю вас, чем я обидел Кривоногова, и тогда получите от меня ответ. Жениться я точно обещал, да вам какое до этого дело? Я уже обещаю в третий раз, но не решаюсь оттого, что по испытании своих чувств не нахожу в себе искреннего расположения к вступлению в брак и боюсь принять на душу грех, солгав и невесте

и Богу. Что же было бы далее, г. Надимов? Как бы вы тогда поступили? Что бы вам делать с вашим сложным делом? Мисхорин боится огласки и, как баран, подставляет вам голову; может быть, по привычке, от него далека даже мысль отвечать чиновнику в таких необыкновенных, хотя совершенно законных выражениях. Н. Мисхорин, подобно Дробинкину, поставлен между правом и опасениями, какие внушает ваше звание. Где же мы, г. Надимов? В какое царство лжи, беззаконий, своеволия и насилия переносите вы нас? Это опять нравственная пытка, о которой вы, по вашей счастливой организации, и не подозреваете. Наконец, по какому праву вы употребляете дом графини, ее комнаты местом для отправления вашей должности, для допроса преступников? Вы гость в этом доме и ничего более, вы вошли в этот дом, как сами сказали, потому что самая простая вежливость требовала, чтобы вы представились. В качестве чиновника вам незачем было входить; для исполнения служебных обязанностей, для действий, предписываемых законом, вы не могли, вы не смели, вы не имели права переступить порог частного человека иначе, как с соблюдением известных форм, в сопровождении полиции. Что это за семейный, патриархальный способ распоряжаться и самовольничать? Как вы осмелились, вы, гость графини, нарушить права гостеприимства и беспокоить в ее комнатах ее другого гостя, делая из них какую-то судейскую камеру и не испросив даже разрешения от хозяйки, которая, может быть, испугается вашей служебной деятельности и велит выгнать вас вон? Вы понадеялись, конечно, на слабость женского сердца и на впечатление, произведенное выписанною нами сценой. Мисхорин, находясь в затруднительных обстоятельствах, не возражает ничего г. Надимову, а доказывает ему, что он, Надимов, влюблен в графиню и пользуется своим служебным значением, чтоб отнять у него, Мисхорина, последнюю и лучшую надежду.

Мисхорин. Конечно, от праздной жизни, я увлекался часто, был неосторожен и дорого платил за опыт. Но, посудите сами: каков должен быть тот господин, который, боясь потерять деньги, в карты им выигранные, заставил меня расписаться, что вместо уплаты я женюсь на его дочери? В то время я подписал бы свой смертный приговор, не подумавши; мне

было все равно, я готов был застрелиться. Я графини еще не знал.

Надимов. И вы думаете, что дело это можно уладить деньгами?

Мисхорин. Конечно, можно. Но где же взять их? (*молчание*).

Надимов. Послушайте... Вы правы. Я не могу производить над вами следствия... Я недостоин того. Вы открыли мне глаза; я сам не понимал еще, что со мною делалось... но вы объяснили мне; вы правы: я неравнодушен к графине!

Мисхорин. Вот видите... вы сами сознаетесь!

Надимов. К тому же я знаю, я узнал наверное, что графиня вас любит. Я не хочу и не должен расстраивать ее счастье: я знаю сам, что значит обмануться в любви своей. Надо прежде всего рассчитаться с вашим кредитором.

Мисхорин. Но где найти денег?

Надимов. Это ничего не значит: я их могу отдать покамест.

Мисхорин. Вы?.. Быть не может!..

Надимов. Вы возвратите мне их после... когда-нибудь.

Мисхорин. Но я не могу, не хочу их принять.

Надимов. Вы должны. Дело идет не о вас, а о счастье графини. Слушайте... я сейчас же еду в город, и если можно деньгами удовлетворить вашего помещика...

Мисхорин. Но скажите, чем же могу я выразить вам благодарность?..

Надимов. Сознанием, что и между чиновниками бывают порядочные люди. Берегитесь, графиня идет. Ступайте; распорядитесь, чтоб мне поскорее подали лошадей; нельзя терять ни одной минуты.

Мисхорин. Жизнь моя принадлежит вам?

Мисхорин кажется в восхищении; Надимов уносит с собою высокое чувство самоотвержения, сознание совершенного подвига. Отчего же мы остаемся холодны перед поразительной картиной человеческого счастья и человеческого величия? Отчего не только не восхищаемся, но продолжаем роптать, все роптать, роптать до конца? Зачем обязанность критики не позволяет нам предаться безотчетному восторгу и поверить на слово г. Надимову?

И он и Мисхорин забыли, конечно, маловажное об-

стоятельство, но такое, которое, однако ж, мешает нам мыслить и чувствовать с ними заодно.

В этом деле, кроме мерзавца Кривоногова, который, выиграв деньги, берет в уплату обещание жениться на его дочери, и мерзавца Мисхорина, который уплачивает свой проигрыш подобным обещанием, есть еще третье лицо — это дочь, может быть, самое невинное, самое добродетельное создание, может быть, лучшая из женщин. Она не подозревала о гнусных происках отца и о насильственных мерах, употребленных им для устройства ее счастья; ей никогда не снилось, что есть люди, как Мисхорин, которые способны давать по приказанию какие угодно расписки. Он дал свое обещание ей, он был с нею на сговоре. Ее самолюбие оскорблено, ее имя на злобных языках, она подвергнута насмешливым улыбкам, тяжелому состраданию, она опозорена. Мисхорин был в ужасном положении, готов был застрелиться, его заставили расписаться; но человек, достойный хоть сколько-нибудь названия человека, расписывается в том, что может после причинить его собственную гибель, а останавливается перед распиской, которая вредит женщине, даже какова б она ни была и в каком бы страшном положении он ни находился. Как же вы, г. Надимов, вы, рыцарь, вы, по законам рыцарства обязанный защищать слабый пол, угнетенную невинность, как же вы не поняли этого и не решились дать Мисхорину средства для окончательного нарушения данного обещания. Вы сделали две непростительные ошибки: вы вздумали преследовать его, как чиновника, а этого именно не должно, и помогаете ему, как человек, когда надо отвороотиться от него с презрением; а если, по христианскому чувству, помочь, ссудить деньгами, то скорее для того, чтоб он исполнил слово, когда уже оно, к несчастью, дано, чем для нарушения его.— Хороша услуга, которую вы оказываете графине, хорош жених, с которым устраиваете ее брачный союз. Видите ли, если человек слабого характера, человек-овца, скажет себе: дай буду львом, он станет показывать когти, когда требуется овечье поведение, и представится овцой, когда нужен лев.

Вы во всем, и на поприще правосудия и в туалете, и мыслями и чувствами, хотели сделать из себя пример, образец, хотели озадачить нас собранием всех добродетелей в один фокус. Надо быть тем, чем хо-

чешь казаться, тогда только будешь и непритворно добродетелен, и нравственно щедр, и великодушен кстати.

Является графиня, уговаривает Надимова остаться; но он, под предлогом, что получил приказание ехать, не соглашается, то есть самовольно прекратив одно следствие и не начав другого, прощается с графиней и отправляется. О том, что не только он, но и пославший его не может прекратить следствия, что с места следствия нельзя ему уехать без особенного разрешения, что без этого разрешения он, даже если б занемог, не должен бы оставить имения графини и Мисхорина, обо всем этом г. Надимов и не помышляет. Он чувствует себя недостойным и в силу этого нравственного чувства распоряжается уже, как ему угодно, на основании законов, составленных им самим, для своего собственного руководства. Читатель догадывается, конечно, что ведь это пустяки, он не уедет, и догадка читателя совершенно справедлива. Вот Дробинкин тащит его опять на сцену и дает нам возможность взглянуть еще раз на г. Надимова, услышать звуки его голоса. Дробинкин мирится с графиней, и поэтому нужно составить какой-то «актец» в присутствии г. Надимова. Мисхорин, побежденный его великодушием, признает себя недостойным графини и уступает ему ее. Так и утопаешь в неге нравственных впечатлений! Надимов сознает себя недостойным производить следствие над Мисхориным; Мисхорин считает себя недостойным графини: куда ни обернись, везде добродетель, все недостойные. Графиня говорит Надимову: останьтесь, чем и кончается эта комедия. Свадьба у графини с Надимовым совершается, к нашему благополучию, уже за кулисами.

В заключение мы, к прискорбию, должны прибавить, что г. Надимов и одет дурно. Отеческая заботливость о его туалете видна, но предмет не схвачен со всех сторон. В прописи сказано: «щегольски, но весьма просто». Весьма просто — хорошо, но «щегольски» никуда не годится. Щеголять — значит выказываться, выставлять что-нибудь напоказ, а это-то именно запрещается строго утонченными условиями того общества, к которому г. Надимов хочет принадлежать. Щегольски отвечает французскому слову endimanché[1],

[1] наряжаться по-праздничному *(фр.)*.

а известно, какое это страшное преступление против правил изящного туалета. Надо, напротив, чтоб ничто не было щегольски, чтоб никакая часть одежды не бросалась в глаза, но чтоб все было в то же время и высшего достоинства, и самой дорогой цены. Надо, чтоб целое и подробности были пропитаны глубоким чувством гордости и с некоторым пренебрежением скорее таили, чем обнаруживали для простонародных глаз свою внутреннюю, не всем доступную красоту. Надо решительно не походить на щеголя, не иметь вида, что сорвался с модной картинки, и в то же время не казаться отсталым, уловить тонкую черту между нынешнею модою и вчерашнею, не увлекаться необузданными стремлениями толпы и между тем идти в уровень с современным движением умов. Джентльмен не щеголяет ничем: он носит на себе платье, а в себе свое достоинство для собственного употребления и удовольствия. Мы должны заметить, также не без крайнего сожаления, что г. Надимов не во всем исполнил обязанности благовоспитания. Для человека благовоспитанного чужой дом, чужая комната есть святыня, куда не входят без позволения. Мы не знаем, как на это смотрят в Египте, но в Европе, даже и там, где некому доложить и нет звонка, ни одна дверь не отворится прежде, чем в нее стукнут, то есть спросят: можно ли? Тем деликатнее и осторожнее должен был поступить в этом случае г. Надимов, что он чиновник, представитель власти. Он должен был опасаться подвергнуть эту власть нареканию и иметь вид, что врывается в чужой дом во имя ее, когда она не давала ему права ни на какие дикие поступки. Хорошо, что дело обошлось счастливо и что графине понравилась такая нескромность!.. Счастливый исход не оправдывает самого действия. При первом своем появлении вошел г. Надимов в шляпе, вошел в деревне, к неизвестной ему помещице, когда такого рода приемы несогласны с нашими деревенскими обычаями! Зачем же, без нужды и без мысли, а из одного щегольства оскорблять их? зачем, перенимая чужое, обнаруживать такое неодолимое пристрастие к одному шляпному развитию и направляться все в одну и ту же сторону? Снимая шляпу, г. Надимов спрашивает Мисхорина: «Вы здесь хозяин?» Это просто грубо. Войти без доклада, войти в шляпе и в такой форме предложить вопрос человеку, которого считаешь хозяином, это ни на что не похоже.

Г. Надимов чиновник, а не завоеватель, да и этот иногда дает себе труд церемониться с завоеванными. Вообще, если позволено переносить выражение древних народов на современные явления, то г. Надимова должно назвать варваром. К нему именно идут слова какого-то француза, который где-то сказал: fendez-lui la veste, il sentira le cuir.

«Надо истребить взятки» — прекрасно! «Надо искоренить зло с корнями» — ничего не может быть лучше! Да корень-то этот в вас, г. Надимов, в складе вашего ума, в обороте вашей мысли, в биениях вашего сердца. Взятки — понятие родственное тем другим понятиям, которые вы выражали от начала комедии до ее конца, и составляющее с ним одно нераздельное целое. Взятки необъяснимы без них, они необъяснимы без взяток. Взятки — произвол, вносимый в сферу законности за деньги, иногда сознательно, иногда бессознательно. Вы каждым шагом, каждым словом, и вашими разговорами, прогулками и презрением к полученному предписанию, и ответом Дробинкину, и насилием над Мисхориным, и беззаконною, безнравственною услугою, и намерением уехать вносите тоже произвол, и что всего хуже, без злого умысла во всей простоте и чистоте вашего сердца.

Вы не взяточник, вы человек бесподобный, благородный, честный, но в то же время как язык ваш ратует против взяток, в основе и направлении ваших мыслей лежит глубоко таинственная, непостижимая для вас самих симпатия к тому порядку, к тому настроению, которое создает взятки.

БИОГРАФ-ОРИЕНТАЛИСТ

Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве соч. В. Григорьева

(Русская беседа, кн. 3 и 4, 1856)

Мы очень бы желали, чтоб кто-нибудь растолковал нам, почему не позволяется хвалить самого себя. Говорят, человек к себе пристрастен, а разве другие, произнося над ним суд, будут беспристрастны? Разве другие, в этом мире неправды, лжи, клеветы и зависти, отдадут ему справедливость? Говорят, трудно знать себя, и это мнение, этот закоснелый предрассудок подкрепляют примерами, свидетельством истории, изреченьями древней мудрости. Еще в предхрамии Дельфийского оракула, между разными надписями, находилась и следующая: «познай себя». Человечество на заре дней, по ту сторону Евангелия, употребляя счастливое выражение Грановского, признавало в человеке странную возможность не быть знакомым с самим собою. Да, трудно знать себя, то есть свои недостатки. Это, если хотите, почти правда. Кому придет в голову, да и что за радость изучать их с особенным прилежанием? Ну, а свои достоинства? Что тут трудного? Что этого легче? Кто может иметь о них более подробные сведения, как не сам человек? Кто пересчитает их с такою любовью и заговорит о них с таким жаром? В этом отношении, как и во многих других, понадеяться на посторонних людей, будь они друзья, родные — нет средства: люди невнимательны, люди равнодушны. Положим, что я знаю по-турецки. Знание это не достается даром. Г. Григорьев, которого имя выписано в заглавии нашей статьи, свидетельствует сам о трудностях, с какими сопряжено изучение турецкого языка. По поводу биографии Грановского, сообщая нам важные материалы для своей собственной биографии в утешительном изобилии, он не преминул известить нас и о том, что в продолжение четырех месяцев горько плакал над турецким синтаксисом. Следовательно, и у меня дело не могло обойтись без чувствительности, и я должен был предаться горю над грамматикой Османлисов, обливая слезами оттоманские деепричастия. Спрашивается, кто примет

к сердцу мои печали, кто, проходя мимо меня, остановится с почтением и скажет другому: вот человек! Знает по-турецки. Ученые, прежде чем поведать миру о моем знании, потребуют от меня Бог ведает чего, останутся немы, как рыбы, даже если я напишу, подобно г. Григорьеву, краткое рассуждение о достоверности ханских ерлыков и тем предъявлю права свои на духовную жизнь более мудреного народа, на администрацию Монголов. А толпа, невежественная толпа... но говорить ли о ней? Будешь жить, жить, жить, проживешь целый век, а она станет обходиться со мной, как будто я по-турецки ни слова не понимаю.— Не естественно ли после этого, что я воздам себе подобающую честь и при всеобщем холоде воспламенюсь моею турецкою ученостью? Конечно, человек существо разумное, разумное затем, чтобы сохранять приличия и все делать кстати. Не могу же я приступить к прославлению своей особы без всякого предисловия. В то время как один занят вопросом о взятках, другой о низших классах, тот Неаполем, бомбардированием Кантона, этот правежем, или общиной, было бы странно с моей стороны врезаться в эту массу европейских интересов с моим татарским просвещением, провозглашая громко, что я знаю по-турецки. Такого рода внезапности и неожиданности сбивают с толку, как удар грома из ясного неба. Благомыслящий человек так и не поступит. Он расхвалит себя при удобном случае. Случаи представляются на каждом шагу. Стоит только пользоваться ими. Возьмем какой-нибудь пример, чтобы показать возможность соединения двух, по-видимому, враждующих стихий: права пропеть публично в честь свою хвалебный гимн, и долга — не оскорбить благопристойности, налагаемой и мелкими условиями света, и иногда более глубокими требованиями. Кто не был чьим-нибудь другом, особенно в первой молодости, хотя на короткое время, когда характеры и направления случайных, мнимых друзей не определились точнее дальнейшим ходом жизни? Кто не имел несчастья потерять друга?

Ну, если этот друг был человек замечательный, необыкновенный, которого слово западало в юные сердца семенем добра, правды, образованности; если с понятием о нем связывалось понятие о любви к просвещению, о благородстве человеческой природы, о теплой вере в лучшее будущее истории; если имя его

было разнесено по всем концам России с выражением сочувствия и восторга; если наконец он умер, а у меня из давнопрошедших времен дружбы сохранились его письма, то бесспорно, что, с одной стороны, лежит на мне святая обязанность обнародовать их; а с другой, не правда ли? Нельзя придумать ничего, что бы лучше соответствовало моей цели, ничего такого, где б было более кстати объявить всем и каждому, что я знаю по-турецки.

При других обстоятельствах, начни я превозносить себя и прославлять свою ученость, лукавый свет не стал бы читать меня, мое красноречье пропало бы, как глас вопиющего в пустыне; но тут, под живым впечатлением еще недавней смерти, еще свежей могилы, внимание всех приковано знакомым и памятным именем. При других обстоятельствах умы легкомысленные, не проникающие внутрь вещей, упрекнули б меня в нескромности, в недостатке смирения, а тут я печатаю письма, я друг, следовательно, имею право хвалить себя сколько душе угодно. Разумеется, найдутся люди, которые не согласятся с нашею теорией и, пожалуй, подумают, что она заимствована из каких-нибудь не европейских, а персидских источников. Признаемся, мы совершенно равнодушны ко всем возражениям и опровержениям. Где та мысль, у которой не было противников? Нам приятно, нас ободряет сочувствие, встреченное нами в статье г. Григорьева. Может быть, мы, как и все последователи несколько нового учения, наклонны к ослеплению, но нам кажется, что эта статья написана под влиянием изложенной теории. Сколько доступно нашему пониманию, мы в идее сходимся совершенно с г. Григорьевым. Он мог бы служить важною опорой нам, мы — слабым подкреплением для него. Нас разделяет только исполнение. Идеи, к несчастию, мало; нужна еще ей форма. Истина не обходится без слова. Г. Григорьев не захотел, вероятно, привести себе на память, что в Дельфийском храме, кроме надписи, обозначенной выше, красовалась и другая: «Ничего через меру», а мера едва ли соблюдена им. Воздавая себе должное, он, если смеем заметить, увлекся отчасти. Увлечение постижимое! Как не говорить о себе, а говоря,— как остеречься, чтобы не взять из цветов радуги все, что есть в них розового и ослепительного? Это естественно; но, облекая в милые очертания предмет, столько близкий

сердцу, г. Григорьев не по правилам искусства распорядился светом и тенью: щедрый на солнечные лучи для одной фигуры, он не пожалел темных красок для другой, а потому картина его возмутила нас ученическим своеволием кисти. Вот где, к сожалению, возникает между нами спорный пункт, вот черта разъединения, от которой единодушные теоретики должны разойтись на страшное расстояние, и вот почему сочли мы нужным турецкую статью г. Григорьева перевести на более понятный всем российский язык.

Писать биографии мудрено. Сообщать сведения об отжившем человеке трудно. Тут существуют различные воззрения. Много и много веков повторяется известная поговорка древних Римлян: de mortuis aut bene aut nihil [1]. Г. Григорьев считает ее «обломком какого-то языческого суеверия, несовместного с нашим образованием». Это неверно. Чувство, выраженное ею, соприсуще нашему рождению и есть неотъемлемая принадлежность нашего духовного состава. Оно не суеверие, не историческое явление, а естественное великодушие, всегда приятное и нужное сердцу. Первое, невольное, инстинктивное побуждение перед гробом и над могилой — это простить, отпустить, забыть дурное, преувеличить хорошее,— побуждение, которое было и будет совместно со всеми образованностями. Под его влиянием поэты различных эпох и разных народов простирали свое всепрощение даже на исторические лица, на людей великих и людей замечательных. Так говорит Пушкин о грозном враге своего отечества:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень.
. . . .

И путник слово примиренья
На оном камне начертит.

Когда речь идет о человеке обыкновенном, то в этом великодушии скрывается своя доля справедливости. Обыкновенного человека, по смерти, как обвинять? Его самого нет, чтобы стать лицом к лицу с обвинителем, зажать рот клеветнику, опозорить зависть,

[1] О мертвых или ничего или хорошее (*лат.*).

выставить напоказ узкий взгляд мелкой души; а общественное мнение не возмутится ни ложью, возводимою на него, ни пренебрежением к точности рассказа, и общественная нравственность не пострадает в этом случае от нарушения правды. Он жил в тесном кругу семьи и знакомых, без видимого, ощутительного влияния на те стихии и события, из которых слагается история. Где ж и на что собирать данные о его жизни? Откуда явятся защитники? Во имя какой идеи, какой пользы окажется нужным проверить слышанное? Ложь может пройти безнаказанно, и Римляне говорили de mortuis aut bene aut nihil. Но выходя из массы обыкновенных людей и перенося вопрос на обширнейшую сцену, на деятелей, так или иначе заявивших свое существование, мы замечаем, что великодушные наклонности сердца уступают часто место другому, не менее священному, но более строгому требованию, требованию истины. Хотя Шиллер называет смерть великим примирителем, нам кажется, что с замечательным человеком нечего мириться, миловать его и прилагать к нему закон всепрощения. Он, с одной стороны, живое существо, Божие создание, неизвестно за что одаренное особенными преимуществами, а с другой — неминуемое следствие, логический плод того общества, где родился и жил. Эта связь живого и, так сказать, мертвого факта, движенья по собственной воле и движенья, возбужденного извне, бывает причиною неутолимого любопытства и жестокости. Не из назидания и поучений, а просто из жажды знания мы раскрываем жизнь замечательного человека до ее малейших подробностей, хотим проникнуть в заповедные тайны его существования, не умалчивая слабостей, не обходя пороков. Это действие плодотворно и законно. Через него общество знакомится с собой, узнает свою силу, качество своего влияния и продолжает необходимую работу над вечно полагаемою и никогда не разрешимою задачей — каким образом в одном и том же лице совмещается так удобно хорошее с дурным и великое с малым? Неудержимая потребность влечет нас к самому нескромному вмешательству в дела замечательного человека. Определяя его, мы думаем определить и устройство нашего духа и ход общественной жизни. Результат прошедшего и настоящего, шаг к будущему, он становится нашею жертвой, нашею собственностью, которою мы любим

располагать по произволу: это светлая точка, полезная нам для освещения дороги, маяк, утешительный для глаз, редко спасающий от кораблекрушения, но всегда доказывающий присутствие бодрствующей мысли, неугасимого огня. Поэтому с замечательным человеком не нужно церемониться, гладить его по головке и пускать в публику только избранные места из его жизни. Нам надобен весь он, его живой образ; дайте нам его таким, каков он был, и мы не станем роптать на отсутствие деликатности или милосердия в биографе. Пусть могила еще свежа, пусть не осохли слезы, так и быть: давайте истину, ничего, кроме истины. Она обнажит раны, но и яснее выставит те свойства, которые помогли ему совершить подвиг и удостоиться значения. Мы поймем вражду к идее, которой он был представителем, проклятия, посылаемые ей из глубины противных убеждений, это будет свидетельством той степени влияния, какою он пользовался; поймем обнаружение слабостей и недостатков — это покажет в биографе художническое понимание предмета, стремление воскресить отжившего и описать в точности его любопытные черты. Но тут нужна не миниатюрная работа и крохоборство труженика, заключенного в своей раковине, а широкий объем мысли. Рисуя замечательного человека и вызывая к ответу его мнения, дела, цель, нельзя выполнить этого отчетливо, не приняв в соображение времени и пространства. Где и когда он действовал? Какими сочувствиями встречались его лучшие надежды? Много ли давалось простору для его деятельности? Какую нравственную пищу принимал он в себя из этого общества, посреди которого должен был воспитать, уберечь Божий дар и не зарыл в землю своего таланта? Не сжималось ли иногда судорожно его сердце от впечатлений, получаемых извне, и не приходило ль ему в голову, что и он пропадет,

Как Богом брошенное семя
На почву камня и песка?

Обоюдное действие человека на общество и общества на человека есть непреложный закон. Он вмещает в себе отрадное понятие о тесной связи людей между собою, и, однако, в нем же таится нередко причина самых горьких явлений. Обширна сфера, много нитей, невидимых для глаза!

Но затруднение увеличивается, если излагается жизнь современника. Он с тем обедал, с тем переписывался. Сколько потребуется воли и воображения, чтобы заглушить в себе бунтующее желание равенства и подняться за ним на известную высоту, а не его стащить за собою в грязь! Конечно, над этими важными трудностями и над мелочами нашей природы легко восторжествовать таким биографам, как г. Григорьев. Он действует не в размерах человеческой личности, всегда своекорыстной, самолюбивой, завистливой, а от другого незаподозренного имени. Он объявляет:

«Тем же, кому может показаться, что мне, бывшему некогда другом Грановского, неприлично судить о нем с большею, нежели другие, строгостью, отвечу старинным, но вековечным: Amicus Plato, sed magis amica veritas»[1].

Положим, что этот девиз невыносимо надоел, беспрестанно попадается на глаза и вечно не у места, но такая пламенная любовь к истине, такая чистота цели невольно привлекают все наше внимание. Мы, стало, имеем дело не с простым жизнеописателем, страдательным лицом, нет, перед нами глашатай правды, который совершает добродетельное жертвоприношение, повергая на ее святой алтарь нежное чувство своего сердца. Сладки душе подвиги самоотвержения, приятно встретиться с честностью Брута. Таким образом, г. Григорьев является на поприще биографа с двойным характером. С одной стороны, мы считаем его, как уже и сказали, последователем нашей теории, а с другой — он выдает себя за жреца истины. Изучение этой двойственности не лишено, кажется, некоторой занимательности.

Грановский был в Петербургском университете студентом юридического факультета, г. Григорьев — восточных языков. Там они познакомились и на известное время подружились. Надо заметить, что Грановский по воле родителей приехал в Петербург не для учения, а на службу. В службу он и поступил, но оставил ее, чтобы получить университетское образование. По выходе из университета кандидатом он опять

[1] Платон друг, но истина друг более.

вошел в службу и скоро опять покинул ее, чтобы обратиться к ученым занятиям, к чему, видно, влекло его внутреннее призвание. Он был отправлен правительством за границу для усовершенствования в науках и приготовления к кафедре, на которой, как всем очень памятно, и преподавал в Московском университете до конца жизни всеобщую историю. Г. Григорьев избрал другой путь. Он занимался восточными языками, перевел с персидского одно сочинение, написал исследование о достоверности ханских ерлыков, о куфических монетах, еще несколько других статей, все по азиатской части, напечатанных в «Журнале Министерства Внутренних Дел», произнес краткую речь об отношении Запада к Востоку, и, не ослепленный блеском науки на счет ее практических результатов, покинул восточную премудрость для премудрости административной, посвятив себя более ощутительным интересам гражданской жизни. Он занимает теперь важный пост в Оренбургской губернии и там, в соседстве Киргиз-Кайсацких степей, lieux ou finit l'Europe et commence l'Asie[1], почтил памятью своего бывшего друга, вспомнил, что они были некогда товарищами, ежедневно видались в так называвшемся петербургско-московском кружке, и что у него, г. Григорьева, сохранились драгоценные письма, писанные к нему Грановским из-за границы. Эти письма напечатаны. К ним прибавлены толкования, пояснения, комментарии. Статья разделяется на две части и названа, как означено выше: «Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве».

Из этой статьи, в которой мы думали иметь дело с замечательным, необыкновенным человеком, из этих дружеских воспоминаний о нем узнаем мы, что г. Григорьев «еще осенью 1833 года выпросил у профессора Шармуа персидскую рукопись IX отдела Эссенции истории Хондемира, перевел ее за три года до Вуллерса и сделал это нисколько не хуже, чем его перевод персидского текста Мирхонда, смастерил кое-какие по мере учености своей примечания к тексту и напечатал до выхода из университета»; что «эту книжку считал он ребяческою работой, а потому на подобные труды гг. Вуллерсов не мог не смотреть свысока»; что «до вступления в университет он учился так же

[1] Мест, где кончается Европа и начинается Азия *(фр.)*.

бестолково, как Грановский, но для него университет был не тем, чем для Грановского, и вынес он оттуда более, чем Грановский»; что «преподавание восточных языков в Петербургском университете стояло в то время на такой высоте, которой могли бы позавидовать знаменитейшие университеты Европы»; что «г. Сенковский не имел себе равного ни на Востоке, ни на Западе»; что «г. Григорьев учился с начала, с азбуки, и шаг за шагом проходил весь процесс основательного приобретения сведений»; что, «принявшись за турецкий язык, он уже порядочно понимал по-арабски, довольно легко читал по-персидски, но трудности турецкого языка были для него новы, неодолимы, и каждое приготовление к лекции турецкого языка, в течение первых четырех месяцев, не обходилось ему без слез, без горьких слез»; что «таким образом он учился прилежно, учился толком, учился, не хватая одни вершки»; что, «выучившись своему делу, ознакомившись со своею специальностью, чувствовал себя нисколько не ниже собратий своих, молодых ориенталистов западной Европы»; что «по-арабски знал он на среднюю руку, но в персидском и особенно в турецком видел себя даже сильнее их; что по части сведений г. Григорьева с его товарищами-ориенталистами в литературе, истории и географии мусульманского Востока, некоторым доказательством», что «они и тут были не хуже западной Европы, служит Энциклопедический Лексикон Плюшара»; что, «не уступая молодым ориенталистам западной Европы, не ослеплялся» г. Григорьев и «блеском имен, пользовавшихся в ученом мире заслуженною известностью, он ясно видел перед собою путь, которым должно идти, чтобы достигнуть до высоты этих знаменитостей и не менее ясно сознавал, что от него зависит идти этим путем и при трудолюбии не только сравняться с ними, но и превзойти их»; что «книгу Вуллерса о Сельджукидах Грановский считал серьезным явлением в науке», и «что для Грановского казалось большою честью быть цитировану Крейцером», а ему, г. Григорьеву, «было все это очень смешно»; что «он никоим образом не мог благоговеть перед западною ученостью, перед германскою в особенности, ибо из больших наций западной Европы дело ориентализма было подвигнуто Немцами менее других»; что «в голову ему закрадывалось подозрение», что «если б дивящиеся приготовлены были по

своим частям, так как он по своей, то, отдавая должную справедливость трудам тружеников и идеям мыслителей Германии, все-таки равнодушные и холодные смотрели бы на тех и на других»; что г. Григорьев «был помешан на святости дружественных отношений и никак не понимал, что к этим sacris[1] можно примешивать profana[2] так ради острого словца или подобных тому побуждений»; что «от недуга своего (духовного) он избавился через долгий, весьма долгий период испытания другими, не Грановским указанными средствами, или, вернее сказать, был избавлен помимо собственных своих стараний о том», то есть прямее, сошествием на г. Григорьева небесной благодати.

Прочитав эти выписки, сделанные нами по необходимости слово в слово, читатель, по нашему предположению, должен непременно удостоить воспоминанием покойного писателя трагедий Озерова и вместе с одним из его героев спросить в изумлении:

И как до дня сего
Молчал народный глас о доблестях его?

По какому странному невежеству имя г. Григорьева, известное его петербургским товарищам, не обратило на себя до сих пор ни малейшего внимания ученых Европы? Каким образом эти западники, всходившие на Чимборасо, измерившие высочайшие горы, не имеют никакого понятия о высоте того восточного факультета, в котором обучался г. Григорьев? Почему они позволяют себе продолжать свои неутомимые исследования по части филологии, не принимая в руководство ни его трудов, ни трудов воспетого им факультета? Мы уже не говорим о той запутанности понятий, какая поставит в совершенное замешательство читателя, если он с первого раза не проникнется вышеизложенною нами теорией и станет размышлять о том, что есть общего у азиатского колорита, которым г. Григорьев расписал свою статью, с биографией Грановского. Положим, что Грановский был профессором истории, что истории до всего дело, что мы недавно вели с Турками войну, а с Персиянами оставались в мире, но все-таки не служит достаточным поводом для такого нашествия на нас с ту-

---

[1] святыни.
[2] profan — глупец.

рецким и персидским языками. Не без грусти, не без серьезной грусти останавливались мы долго на тех страницах г. Григорьева, где он славит свою ученость и с таким хладнокровием отзывается об ученых Запада, о Немцах в особенности. Тяжелое чувство сдавило нашу грудь, когда мы подумали, что можем смело, не только по выходе из университета, но даже по окончании гимназического курса, писать о них что угодно, выставлять себя их соперниками, доказать, если есть охота, что Бопп бредит, а Гаммер не знал по-турецки. Никто из европейских ученых не обидится, да никто и не проведает. Нам даже показалось, что при исключительном положении, в каком мы находимся, требуется от нас сколько можно более осторожности, правды, как от человека, который величается перед другим и позорит другого за глаза. Что же пишет г. Григорьев? Что это такое? Стремленье к самобытности? Любовь к отечеству? На какой доске спасения всплыли кверху турецкий и персидский языки?

Оказалось нужным, при обнародовании писем Грановского, доказать, что он дивился немецкой учености по недостаточности сведений, с какими поехал за границу, а что автор комментарий на его письма, подобно английскому лорду, совершенно чужд всякого удивления, оттого что не в пример учёнее Грановского. Входя по этому предмету в подробные рассуждения, г. Григорьев замечает, хотя такого рода замечание сделано уже до него тысячами других глубоких мыслителей, что «соотечественники наши, особенно из так называемого образованного класса, отличаются, как известно, удивительною с психологической точки зрения падкостью к увлечению всем иностранным и еще более удивительною способностью проникаться нерасположением к своему родному». Противоядием от изумления перед немецкою или западною ученостью считает г. Григорьев усиление у нас строгости вступительных университетских экзаменов и правило посылать за границу для приготовления к профессуре не кандидатов, а магистров. Мы вполне сочувствуем строгости и радуемся правилу. Мы не станем спорить, что неуча, который не имеет надлежащего знания языков и элементарных сведений, нечего отправлять в немецкие университеты. Он там ничего не поймет, а если не поймет, то и изумляться не будет, будет только скучать. Но нам кажется, что и сам магистр, отлич-

но приготовленный, превосходно выдержавший свой экзамен, мог разделить с кандидатом Грановским то высокое уважение к немецкой науке, то горячее увлечение, каким он тогда воспламенился при виде ее неисчерпаемых сокровищ. Это зависит не от приготовления, а от внутреннего огня, от искренности и любви к знанию. В то время представителями немецкой учености в Берлине были: Александр Гумбольдт, Риттер, Ранке, Розе, Бёк, Лахман, Беккер, Митчерлих, Эренберг, Неандер, Раумер, Ганс, Савиньи, Бопп. Неужели магистр наших университетов, потому что он магистр, потому что, может быть, приготовился по своей части так же великолепно, как г. Григорьев по своей, имел право «все-таки холоднее и равнодушнее смотреть» на эти европейские знаменитости? Напротив, чем более он знал бы, тем менее должен бы обнаружить равнодушия, тем скорее оценил бы степень чужого знания. Что же после магистра было делать доктору, ординарному профессору? Как следовало поступать ему при появлении в Германию? Смотреть холодно — для него мало, не по чину; это, как мы видим, дело магистра; профессору оставалось толкать Немцев локтем и не извиняться. Ну, а если б не магистр, не профессор, а весь восточный факультет г. Григорьева приехал бы тогда в Берлин — о! Страшно и подумать о том несчастном, унизительном положении, в какое была бы поставлена немецкая ученость.

Вступаясь за нее, мы защищаем не Немцев,— что нам до них? отражая нападения г. Григорьева, мы не думаем оправдывать Грановского,—к чему это? Мы отстаиваем общее просвещение и наше собственное достоинство. Оно состоит не в присвоении себе непризнанных заслуг и несовершенных подвигов. Зачем эти фантастические представления, когда они разлетаются, как дым, и исчезают, как мираж? Провинциальная чопорность и китайское высокомерие противны истинной гордости и истинной силе. Достоинство не в том, чтобы казаться, прикидываться, притаивать, а в полном, откровенном признании себя действительно таким, каков человек есть, без всякого опасения за свой настоящий вид; в глубокой вере, что превосходство других над нами в искусствах, науке, гражданственности не смутит нас робостью, не поразит отчаянием, не остановит наших стремлений к высоким

целям, не потушит огня, который разгорается все ярче и ярче, и не вычеркнет из истории будущих судеб России. Нет одного, есть другое, есть историческая жизненность. Она служит признаком великих свойств и важного назначения. Немцы ученые, не в пример учёнее нас. Что же делать, да и что за беда? Между тем, это очень не нравится г. Григорьеву, и он, конечно, для славы своего отечества, вступает, сопровождаемый целым факультетом, в соперничество с Немцами. Но желание сравниться, превзойти, но идея соперничества, которую он беспрестанно пускает в ход, показывает уже, кроме прочего другого, и ложную точку отправления и ненадежную любовь к науке. Бопп начал заниматься филологией, не обнаруживая нигде намерения вырасти с Сильвестра де-Саси или с Катрмера, и Грот, писавши историю Греции, не метил, как бы ему уходить немецких исследователей греческого мира. У г. Григорьева все ведется речь о том, в каких отношениях его самолюбие находится и может находиться со славными именами Европы. «Он видел ясно путь, по которому должно идти, он сознавал, что, при трудолюбии, от него зависит стать наравне с ними или выше их». Кто не позавидует ясновидению, кто не оценит благородства сознания, но отчего же при этих данных не совершилось торжественное шествие по обозренному пути? Турецкому и персидскому языкам всякий дал бы дорогу. Г. Григорьев учился с азбуки, перевел Хондемира, читал Вассафи, не ослеплялся блеском имен, смотрел на Вуллерса свысока, переделывал и дополнял статьи западных ориенталистов для Энциклопедического Лексикона Плюшара,— какие нужны были еще материалы, чтобы подарить Россию новым Гумбольдтом? А Гумбольдта все нет, как нет. Своими притязаниями ученый-ориенталист сам взводит на себя вину, которую мы, в чувстве справедливости, хотим снять с него. Он не мог ни сравняться с западными знаменитостями, ни превзойти их. Это не зависело от его способностей и от его прилежания. Наука и ученость не вырастают из земли, как грибы, и никакие усилия одного человека не в состоянии создать прошедшего, настоящего, тех преданий, той сферы, которые необходимы для всех отделов человеческого развития. Для науки и учености нужно также хорошую почву, приготовленную веками и удобренную кровавым потом.

Наука и ученость растут, когда на них не смотрят, как на запертой храм, куда не любопытно войти, и где творятся коленопреклонения перед каким-то вымышленным божеством; когда слово ученый не значит — немножко мечтатель, немножко пустомеля и когда во всех явлениях истории вы отыщете вмешательство одного из сокровенных деятелей, невидимые пружины знания. Наука и ученость любят сливаться с жизнью, действовать на нее и нести налагаемое ею иго, они с радостью торопятся исполнять ее требования, только б она требовала, только бы общество тешило их мыслью, что без них нельзя ему существовать, как без чинов, и что без них станет он в тупик, как без гражданской палаты. Много исторических, общественных соков питало людей, оплодотворивших человечество сокровищами разума. Великий ученый не бездомный бобыль, не помнящий родства: у него есть свой гербовник, куда внесено много жертв, положивших голову на плаху в крестовых походах за науку. Оттого-то потомок, гордый числом предков, всегда и везде с аристократическим чувством отзовется о ней. Про свой ученый труд он не скажет: «я смастерил его»; своего ученого труда не назовет «книжонкой, ребяческою работой». Для него это подвиг, лучшая часть души, условие жизни. Если даже из самохвальства, из намерения уколоть Немца, выражения такого рода приходят в голову, то они обнаруживают, что напрасно мы учились по-персидски, по-турецки, по-арабски, напрасно видели путь: все видишь, все знаешь, совсем почти Гумбольдт, а смотришь, из министерства просвещения перейдешь на службу в другое ведомство.

Не позволяя дивиться западной учености и стараясь всю нашу способность к удивлению сосредоточить в фокусе его личности и его восточного факультета, г. Григорьев не позабыл, как водится и как следовало, пристрастия к иностранцам. Эта неисчерпаемая тема едва ли не надоела уже всем без исключения; она разрабатывалась еще в «Модной лавке» Крылова, и на нее пора бы уже взглянуть с другой стороны. Все пристрастие да пристрастие. Но, Боже мой, неужели, когда я не хочу тульского ножичка, я беру английский, то это происходит оттого, что я страстно влюблен в английского фабриканта? Неужели, когда русский крестьянин предпочитает австрийскую косу домо-

рощенной, русская дама лионскую материю московской, а охотник до книг хватается за исторические исследования Тьерри, оставляя в покое произведения г. Григорьева, то в этом нет смысла, правды, и такие действия не согласны с патриотизмом? Не пристрастие важно, важна его основа. Откуда оно и зачем? Китайцы не пристрастны к иностранцам, но зато они Китайцы. Все народы, которым суждено было окаменеть или не заходить далеко, отличались особенным отчуждением от всего иностранного и слепою, неразумною, исключительною привязанностью к своему родному. Все народы во времена дикости и варварства смотрели на чужеземца, как на зверя, хотя он являлся к ним и с словом истины, и с благами жизни. И мы отчасти прошли через эту эпоху, но древнейшие сказания о Славянах хвалят их гостеприимство, радушие к иностранцам. У Славян слово гость, то есть чужой, выражает понятие приязни, у Римлян гость значило враг (hostis). У нас не было кровавого противоборства духу общения, нет восточной замкнутости и этих угловатых, ярких очертаний, истощенных природою на типические физиономии западных Европейцев и на их картинную историю. Все стороны человеческого развития они разобрали между собою, новому деятелю не выпало, кажется, ничего на долю; но зато, несмотря на сближения, созданные наукой, на книгопечатание, железные дороги, телеграфы, вы не видите средства примирить враждебные натуры. Итальянца с Немцем и Англичанина с Французом. В истории, на земле, в образованности, в развитии оказывался пробел, не было народа, который бы служил примером единения, возможности совокуплять в себе противные стихии, разнородные качества и без всякого чувства исторической ненависти, а с естественным благоволением протягивать руку человеку, как бы он ни назывался. И небо одарило нас светлым разумением, даром восприимчивости без задней мысли, без предрассудков и закоснелости. Оттого-то Славяне легко покорялись и легко перерождались. Это не упрек им, а печальное доказательство очевидного свойства, ведущего к высокой цели. Г. Григорьев, упоминая о пристрастии, намекает, конечно, о недостатке самобытности и хочет выказать свое сочувствие к родному, к отечественному, а между тем эта самобытность носится перед его воображением в известных, опошленных формах западных народно-

стей. Он и не думает принять к соображению, что есть в природе большое разнообразие форм, что не все идет по битой колее и что опять, если мы начнем сравнивать себя с другими, то, по их мерке, едва ли выдержим экзамен в оригинальности. Наша самобытность заключается именно в отсутствии той самобытности, которую мы знаем и которая издержана уже и Западом и Востоком. Обыкновенно так делается: проповедуя родное, предъявляют чужие требования, и, выдавая себя за чисто русских, просят чего-то немецкого. Мы выше Китайцев, а у них есть и свой Конфуций, и свой фарфор, и свои шелковые материи, много открытий, сделанных прежде Европейцев, китайское воображение, китайская философия, китайское трудолюбие. Не затем ли не проявился еще между нами дар изобретательности, чтоб мы не погрязли в этих одуряющих особенностях и тем не сузили круга действий, предначертанных для нас? «Падкость к увлечению всем иностранным»! Допустим, что у иных это и так. Что же далее? Не есть ли это, с одной стороны, слабость, необходимо вытекающая из прошедшего, объясняемая между прочим и тем, что последняя речь последнего из иностранных ораторов все-таки лучше речи г. Григорьева об отношениях Запада к Востоку; а с другой — темным, верным сознанием, что ведь многое иностранное было же нам годно кое на что и что по чувству справедливости, едва ли следует бросать в него камень. Возьмем хоть этих невежд гувернеров, на которых наложил руку Фонвизин и которых мы, поделóм, терзали после в нашей литературе; они приносили к нам подчас на место одного невежества другое; но не в лице ли их, не под иностранными ли именами привыкали мы благоговеть перед ученьем, сначала как перед модой, предписываемой Бог ведает на что и Бог ведает кем? Не они ли, налагая на нас всеми непозволенными мерами, и хвастливостью, и чванством, уважение к ним, как к представителям высшей сферы, заставляли нас преклоняться перед идеей образованности? Нам тогда нужны были не познания, а живые люди, невежды, хвастуны, фразеры, но только с другой планеты; люди с такою ограниченностью географических сведений, чтоб они не имели ни малейшего понятия о тех нравах, о той среде, какая изображена нам в «Семейной Хронике» с верностью художника и прямодушием честного писателя, про-

никнутого истинною любовью к родине. Надо было, чтоб явились живые существа, которые посторонними зрителями взглянули бы с высоты своего мнимого величия на эту горькую картину, где дикое властолюбие душило самые добрые наклонности сердца и искажало все земные отношения: мужа к жене, отца к детям, человека к человеку, христианина к христианину. А эти эмигранты? Придет время, когда русский историк помянет их добрым словом. Под условною образованностью, под понятиями, напудренными, как головы, они приносили с собой какое-то обоготворение людей, не имевших другого значения, кроме данного мыслию, пером, словом. Они нянчились со стишком, с сонетом, а между тем стишок и сонет были новою идеей, новою нематериальною властью, от которой волею-неволею приходило тогда в упоение обмороченное общество. Под вероломством их светской учтивости, под этими, по-видимому, бездушными привычками и приемами вкрадывались к нам уважение к чужой личности и мягкость сношений, необходимые для возможности существования. Россия оказала пристрастие к иностранцам, и прекрасно сделала. Они были изгнанники, жертвы своих убеждений, а близкое знакомство с ними расширяло круг наших собственных понятий, вносило в нашу жизнь полезные элементы, создавало иную табель о рангах, открывая Америку философов, литераторов, положим, что чужих, но все-таки плодотворно действовавших на наше развитие тою степенью благоговенья, какое ощутили наши предки к умственным силам человека. Пристрастие к чему бы то ни было есть слабость, доводящая иногда до смешных, иногда до горьких последствий; но всякое естественное влечение к предмету, необходимому для существования частного или исторического, переносится за границу, определяемую разумом. Тут не от чего еще приходить в отчаяние и поднимать вопли негодования. Вмешательство иностранной образованности, примесь чужеземного нужны природе человека; они требовались более или менее историческими народами, всеми без исключения, и требуются в особенности славянскою породой. Без этой примеси, с какою страстною любовью ни погружайся в славянский мир, нет из него исхода на вольный воздух, под ясное небо. У Славян иностранное является не историческою случайностью, не подмогой в исторических затруднениях, не времен-

ным оживлением, а законом, без которого немыслима их история. Зачем мы последние вызваны на сцену, как не за тем, чтобы совместить в себе плоды чужого прошедшего, все образованности? Как мы исполним наше назначение и что из этого выйдет — откроется в будущем; но отыскивать какую-то самобытность, которой не оказывается, и отворачиваться от той, которая налицо, едва ли может привести к воображаемым результатам. Оттого-то пристрастие к иностранному обнаруживается не в одних высших классах,— это взгляд неверный и поверхностный,— а во всех без изъятия, как только свет ученья озаряет в них ум и как только они сталкиваются на практике, в жизни, в домашнем обиходе с плодами иностранной образованности. Г-на Григорьева беспокоит, кажется, что русская дама, танцуя французскую кадриль, считает священною обязанностью говорить по-французски, а какой-нибудь юноша не смеет и не сумеет написать любовной записки на отечественном языке. Да Бог с ними! пусть их пишут и говорят хоть по-турецки, если это им нравится. Ужели надо их признать владыками нашей судьбы? Да и что за привычка все свои беды сваливать на других? История не ряд сплетен. Ее события лежат не в характере одной личности, одной партии, одного класса, а в духе целой массы, из которой образовались или по милости которой сделались возможными известные личности, партии, классы. Не пристрастие к иностранцам наша Ахиллесова пята. Возьмемте русскую литературу. Нельзя отказать ей в благородстве стремлений. В этом отношении не грех поставить ее наряду с другими высшими литературами. Стараясь просветить, наставить, обличить, она беспрестанно и беспощадно указывала на наши раны. Но куда и на что были обращены ее удары? Какие выпуклости и яркие пятна поражали глаз истинного художника? Мудрено отыскать в типических лицах Гоголя что-нибудь иностранное; какую-нибудь чужеземную струю, влившуюся в это грязное болото чувств, мыслей, привычек и обычаев. А «Недоросль» Фонвизина? А «Семейная Хроника»? Где тут пристрастие к иностранцам? Это свое, ни у кого не заимствованное. Тут не говорят по-французски, никому не подражают, а все оригинальны. Это не «падкость к увлечению всем иностранным», но твердые убеждения, желаемая самобытность, преступное отшельничество и, следова-

тельно, пренебрежение к закону, составляющему сущность нашего развития. Вопросы, которые мы стараемся разрешить, недостатки, подлежащие неминуемому исправлению,— откуда их родословная? Где их корень? В так называемой самобытности, а не в подражании. Никто, надеемся, не перетолкует наших слов желанием защищать обезьянство, мы его не считаем даже важным явлением; но, продолжая нашу мысль о той сфере, на которую положена печать отвержения высоконравственными вдохновениями нашей литературы, мы должны прибавить, что ее другие попытки, в другом роде, с другими целями, были совершенно неудачны. Когда, на земле будущего, а не прошедшего, писатель желал во что бы ни стало создать идеал добра, чистоты, правды из стихий, не оскверненных прикосновением чуждых влияний: когда он погружался искренно в эту ложную самобытность, думая найти в ней золотую руду светлых образов; когда до такой степени отталкивал он все иностранное, что даже в жаркий летний день не допускал у своего героя никаких прохладительных питий, кроме разных вкусных квасов, то выходили последствия странные, никем неожиданные. Под пером Гоголя являлись уже не живые люди, а куклы, поставленные на риторические ходули, насыщенные, безобразные, мертвые, как, например, жалкие фигуры Уленьки и Костанжогло.

Да, Грановский во время пребывания в Берлине полюбил, может быть, более чем дома, европейскую науку и удивился ей. Дивятся от недостатка сведений, говорит г. Григорьев; дивятся от другой причины, говорит Карлейль: «способность любить и удивляться, по мнению последнего, признак и мерка высоких душ; направленная неразумно, она ведет к большому злу, но без нее нет ничего хорошего». Западный человек и ориенталист расходятся во взглядах. И не мудрено: биограф Грановского приложил ко всем движениям и помыслам своего бывшего друга теорию своей самобытности. Враждебно настроенный против немецкого, он не руководствуется немецкою логикой, а создает новую, свою, из незаемных силлогизмов, и по ней делает выводы чрезвычайно строгие, но иногда приятные дружескому сердцу. Представляя Грановского в какомто подобострастии перед немецкими авторитетами и вообще в слепом обаянии от Немцев, он сам в одном месте своей статьи изъявляет готовность согласиться,

что лучшие из них — лучшие в человечестве; но между тем, в подкрепление своего приговора о покойном ученом, упрекает его в том, что для него будто бы казалось «великой честью быть цитировану Крейцером и что книгу Вуллерса о Сельджукидах считал он серьезным явлением в науке».

Если б Грановский и отозвался так, слово в слово, как хочется г. Григорьеву, то был бы совершенно прав. Крейцер, первостепенный ученый, писал много по части греческой литературы и древностей, а в то время, венец его ученых трудов — Simbolik und Mithologie den alter Völker[1] была в большой славе. Несмотря на многих противников, он глубоко уважается и теперь. Что же до Вуллерса, этого несчастного Вуллерса, на которого г. Григорьев смотрел свысока, Вуллерс ведь также не школьник, нахватавший вершков. Он и сам учился с азбуки, да только, выучившись, написал на новых филологических началах персидскую грамматику, признанную за образцовую всеми ориенталистами, и составил на тех же началах персидский словарь, то есть сделал гораздо более, чем весь восточный факультет г. Григорьева со включением его самого. Повторяем, что если б упрек был справедлив, то Грановский не оказался бы виновным ни в слепоте, ни в подобострастии; но замечательно то, что он ни единым словом не выражает мыслей, навязанных ему. Вот точная выписка из письма, так странно перетолкованного:

«О работе моей сказать нечего, а совестно ничего не делать, смотря на деятельность Немцев. Что ни день, то новое в науке — не знаешь, за что взяться от избытка богатства. Вышла также для тебя интересная книга: История Сельджукидов в Малой Азии, Вуллерса. Я видел книгу в королевской библиотеке, но не рассмотрел порядком. Два тома, один весь по-арабски, источник какой-то, какой именно, не помню. А я все-таки думаю заняться историей Востока, когда примусь деятельно за работу. Кстати о Востоке, Немцы расхваливают статью Шмита вашего «Ueber das Mahagana und Pradschna-Paramita». Об ней уж говорит Крейцер в новом издании Символики».

Где же тут «большая честь быть цитировану Крейцером», где перевод Вуллерса, представленный как серьезное явление в науке?

Приятель, занимающийся историей, уведомляет

[1] Символика и мифология древних народов.

другого приятеля, занимающегося восточными языками, что по его части вышло новое сочинение и что немецкие Немцы хвалят русского Немца. Где ж преступление? С какою целью отыскивается небывалый смысл и опровергаются непроизнесенные слова? Мы видим только, что мимо внимания Грановского и его любознательности не проходило ничего, что делалось в мире просвещения, даже и по тем отраслям, которые не относились прямо к его предмету. Таков он и был. Не раз придется нам встретиться еще с подобными умозаключениями г. Григорьева. Одною самобытностью и любовью к истине, воля ваша, истолковать их невозможно. Они исчерпываются и объясняются вполне одним средством, известным стихом Жуковского:

О дружба, это ты!

Но не увлекаемся ли мы? Если перейти от рассуждений к голым фактам, то, в самом деле, стоит ли западная наука удивления? — Уж не в самом ли деле западные ориенталисты бледнеют перед г. Григорьевым и его факультетом? Ведь сказал же мне один из наших, впрочем, просвещенных мыслителей: «Да что сделала западная образованность? Ничего». Я не сумел отвечать. Точно в таком же положении находимся мы и теперь. Г. Григорьев, противопоставляя себя западным ученым, приводит нас в смущение. Когда ум теряется в избытке возражений, возражать трудно. Однако ж должно собраться с духом. Нельзя допустить, чтобы одним почерком пера, одним словом можно было перевернуть историю наизнанку, сотворить несуществующее и установлять сравнения между предметами, у которых нет, да никто и не воображал, ни малейшего сходства. Речь идет о восточной мудрости, о персидском, монгольском и еще Бог знает о каком языке. Страна темная, но ни в каком случае не следует рассчитывать на потемки и на слепое легковерие непосвященной массы. Не должно надеяться, что у читателя отнимется память, помутится зрение. Писатель не имеет права представлять его себе в образе Киргиз-Кайсака. Г. Григорьеву нравится фигура уподобления. Посмотрим же, с кем он сравнивает себя, и в беглом, конечно, поверхностном очерке припомним хотя отчасти, что совершил западный ориентализм. Нам кажется это необходимым по двум причинам. Во-первых, на свете не без охотников до сравнений. Заговорите с иным об

успехах механики, он вам скажет, что и у нас она процветает: вот такой-то изобрел машину и сам дошел. Во-вторых, может быть, к крайнему нашему удовольствию, мы в окончательном выводе принуждены будем сознаться, что, заимствуя выражение г. Григорьева, нет ему равного ни на Западе, ни на Востоке. Прежде всего надо заметить, что, кажется, для него занятие восточными языками имеет целью приготовление толмачей. Не поэтому ли он говорит: «У нас книжное изучение соединялось с живым, чего там», то есть на Западе, «большею частию недоставало?» Точно, западные ориенталисты не имели и не имеют возможности практиковаться с петербургскими дворниками и Татарами из петербургских ресторций. От такого недостатка в практике первый синолог Европы, Абель Ремюза, не понял в Париже Китайца, а Китаец не понял его. Между тем это не помешало знаменитому ученому знать китайский язык и китайскую литературу лучше того Китайца и, может быть, не хуже любого мандарина. Знание языка, и знание живое, ведет к полному знакомству с историей народа, помогает углубиться в его характер, дух и понять многое, что без этого пособия не может быть понято подробно, до всех тонкостей. Но при изучении языков есть и другая цель. Она не ограничивается одним народом, а обнимает все человечество. Сравнительный метод стремится к определению общих законов человеческой речи и к разрешению самых любопытных, самых существенных вопросов. Один из наставников г. Григорьева еще в сороковых годах открыто восставал против этого метода, упорно выдавая индоевропеизм за пустую немецкую затею! По одному этому можно было предвидеть, что г. Григорьев, как верный последователь учителя, будет неблагосклонно смотреть на западных филологов и щеголять самобытностью своего развития в ущерб их громкой и всемирной славе. Предположение это оправдывается и теми драгоценными подробностями, которые сообщает он о своих собственных ученых приемах, и особенно его скромным отзывом о недосягаемой высоте того факультета, где, как мы видели, ценою горьких слез купил он свои сведения в оттоманских деепричастиях. В то самое время, когда лились эти слезы, именно в начале тридцатых годов, в западной Европе славно доживали свой век величайшие ориенталисты старшего поколения и блистательно продол-

жали или начинали свое поприще современные светила этой отрасли познаний. Не говорим о всеми признанном главе арабистов, знаменитом Сильвестре-де-Саси: ему и ученому Катрмеру сам г. Григорьев не отказывает в снисхождении. Но ведь они были не одни. Перечень имен французских, немецких и английских ориенталистов, не говоря уже о голландских, хотя и у них есть Гаммакер, шведских, датских и даже португальских, простой перечень занял бы много места в нашей статье и утомил бы терпение самого снисходительного читателя. Если в этом легионе взять самого неизвестного воина из самой задней шеренги, не обращаясь уже к вождям и передовым ратникам несметного войска, то окажется, что и он подвизался за науку во сто раз более г. Григорьева. Наконец, в самой России действовали в одно с ним время такие ориенталисты, перед которыми бледнеют имена не только его, но и его наставников: Френ, Шмидт, Ковалевский, мирза Казем-Бек, А. Ходзько и другие оказали восточной истории и филологии действительные, всеми признанные заслуги. Кто сколько-нибудь знаком с историей литературы, тому очень хорошо известно, что западные Европейцы не дожидались помощи от нашего близкого соседства с Азией, чтобы приняться за изучение языков Востока и приняться так деятельно, так плодотворно, что нам остается только подбирать забытые на жниве колосья. Тут нечего распространяться о самобытности и о своей обширной учености, а скорее надо привести себе на память, с чувством благодарности, чем обязаны мы этим знаменитым труженикам.—Обратимся ли к языкам семитического корня, и видим, что с эпохи возрождения наук итальянские, нидерландские, английские ученые возводят с неимоверными усилиями здание лексикографии и грамматики северной ветви этих языков. Современный нам немецкий эбраист Гезениус, можно сказать, завершает это здание своими глубокими исследованиями по части еврейского. С другой стороны, он вместе с Гаммакером и Беллерманом полагает твердые основы знанию финикийского, так же, как Улеман,— самаританского, Ландау — халдейского, Тихсен и Гейгер — раввинского. То, что в начале семнадцатого века сделал для еврейской и халдейской лексикографии Немец Буксторф, то во второй половине этого столетия сделали для арабской и некоторых других — Нидерландец Голий, Англича-

нин Кастелль и Лотарингец Меньен, или Менинский. Только в 1817 году, и то не в Петербурге, а в Калькутте, появился первообраз и источник арабских словарей, знаменитый труд Фирузабади-Камус. В то самое время, когда мы с г. Григорьевым слезно плакали в Петербургском университете, Немец Фрейтаг, не смущенный даже изданием Камуса, преспокойно, без плача и воздыханий, печатал свой полнейший лексикон (с 1830 по 1838 г.).

Без содействия г. Григорьева усвоены Европой сокровища новоперсидского языка, и познакомилась она с обширным трудом Мирхонда. Краткую выборку из его исторической библиотеки, сделанную сыном его Хондемиром, перевел г. Григорьев и издал в 1834 г. Дело само по себе похвальное, если б оно не затмило в глазах переводчика всех его предшественников, современных и позднейших трудов западного ориентализма. Напрасно трудился потом Катрмер над Рашидеддином, напрасно Вилькен перевел историю султанов династии Бувей, а Вуллерс — историю Сельджукидов, напрасно Дефремери издал историю Харесмских султанов, а Жобер жизнь Чингиза; напрасно явились в тех же тридцатых годах великие плоды новой филологии в исследованиях В. Гумбольдта о языке Кави (1834—9), в сравнительной грамматике Боппа (1833—49), напрасно и изучение любимого г. Григорьевым новоперсидского языка получило себе новое, обильное подспорье в филологическом анализе Зенда, Пазенда, Пегльви и Парси; напрасно презираемый г. Григорьевым Немец Вуллерс, как мы уже сказали, составил на этих новых началах персидскую грамматику; г. Григорьев остановился на переводе Хондемира и далее ничего уже не хотел знать!

Но перейдем к другим отраслям восточного языкознания. Если г. Григорьев плакал именно над турецкими деепричастиями, это, конечно, происходило у него не от неспособности к делу, а скорее от постоянной, раздирающей мысли, что научному исследованию даже и этого варварского языка основание положили не мы, а западные европейцы. Воображению его представлялись и Джамбатиста Подеста, первоначальник этой отрасли знания в сфере австрийской дипломатии[1], и страшная тень Меньена, который вместе с

[1] В последней четверти семнадцатого века он был императорским секретарем для восточной переписки.

арабским и персидским не забыл и турецкого, наконец сам барон Гаммер фон-Пургсталь, недавно умерший, а тогда еще весьма и весьма живой, которому, несмотря на промахи, неизбежные при громадности его книжных предприятий, все турецкие и европейские ученые, за исключением одного из членов петербургского факультета, отдавали пальму первенства, как величайшему знатоку турецкой и персидской литературы. Скорбные мысли могли возникать в уме г. Григорьева. «Вот уже двести лет, как возимся мы с Турками, мог он сказать за тайну самому себе, а нет у нас ни Подесты, ни Менинского, ни Гаммера. Переведу-ко я со временем хоть «ханские ерлыки»; нужды нет, что содержание их давно всем известно».

Утешась на минуту этим проектом, г. Григорьев обращался, может быть, к языкам восточной Азии, надеясь застать европейских ориенталистов врасплох хоть по этой части. Правда, западные миссионеры давно изучали Монголию, Манджурию и Китай, но ведь и наша миссия не со вчерашнего дня в Пекине. По справке оказалось, что китайским языком занялись прежде всех итальянские и французские монахи. По старинному стечению обстоятельств, лучшая и полнейшая до сих пор китайская грамматика иезуита Премара была издана только спустя сто лет по смерти автора, как нарочно, в то время, когда мы с г. Григорьевым вступали в университет. Но западные ориенталисты, не ожидая позднего ее появления, спешили друг перед другом облегчить желающим трудный путь к изучению китайского языка, издано множество китайских грамматик, китайских сочинений, и, конечно, от внимания г. Григорьева не ускользнула страшная заботливость Европы об изучении китайской литературы.

По свойственной им ловкости, западные ученые не оставили в покое даже Японцев. Португалец Родригес еще в 1604 г. написал грамматику этого языка. В наше же время Англичанин Медгорст и Немец Зибольд составили словари этого языка, и разумеется, дело этим не кончится, потому что Япония теперь á l'ordre du jour[1].

Обратимся ли, наконец, к глубокой древности восточного мира и увидим, что знакомство с санскри-

---

[1] на повестке дня, в поле зрения *(фр.)*.

том, послужившее твердым основанием новейшему, блистательному развитию филологии, также распространилось в Европе без содействия того факультета, к которому принадлежал г. Григорьев. Этот древний язык, так богатый по своим формам и по своей литературе, был не только завоеван западными учеными, но стал в их руках могущественным орудием для раскрытия глубоких законов человеческого слова. При свете санскрита сама собою отделилась великая группа индо-европейских племен; возникла идея сравнительного языкознания, родилась новая великая наука, осветившая первобытные, доисторические отношения племен, наука, которая принесла уже такие обильные плоды и принесет еще обильнейшие. Когда Бопп работал над сравнительною грамматикой индо-европейских языков (санскрита, зенда, греческого, латинского, литовского, древнеславянского, готского и немецкого), которая оживила лингвистику и дала ей глубокий, существенный смысл, равняющий эту область ведения с самыми дорогими стяжаниями ума,— целомудренные музы, воспитавшие г. Григорьева, умели только позорить русское слово пошлым и наглым кощунством над наукою. Около того времени, как он совершал свои ученические подвиги, переводил Хондемира и практиковался с петербургскими Татарами, Бюрнуф восстановлял целый забытый язык, язык Зороастра, этот зенд, так близкий к санскриту; Лассен и многие даровитые исследователи разбирали клинообразные персепольские письмена; еще более многочисленная фаланга исследователей, пользуясь открытием Шамполиона, читала египетские иероглифы. Пока г. Григорьев читал в русских актах татарские ерлыки и защищал свое рассуждение о них в Московском университете, где нет восточного факультета, а тогда не было ни одного ориенталиста, целые народы, по милости западных ученых, к которым г. Григорьев сохраняет полнейшее равнодушие, целые народы, казалось, навсегда погибшие для истории, выходили из могил, становились нашими собеседниками, воскресали со всеми тайнами своей жизни и мысли. Сколько плодотворного труда, сколько ума, сколько гения было положено на эти открытия! Какая великая, какая богатая история человеческого знания! Как не изумляться этой силе и настойчивости соображения, открывающего ключ к непонятным письменам

неизвестного языка, творящего из этих мертвых знаков весь организм замолкшего слова и так же свободно читающего их, как г. Григорьев читал ерлыки в русских актах! Надобно иметь крепкое сложение, чтобы проповедовать равнодушие к такой учености.

Нужно ли к этому сравнению западных ориенталистов с г. Григорьевым прибавить, что без них не мог бы он сделать решительно ни одного шага в изучении восточных языков? Кто приготовил для него грамматики, словари и все пособия?

До сих пор мы вынимали из разбираемой нами статьи те части, в которых объясняется на разные манеры, что ее автор гораздо ученее покойного профессора; теперь обратимся к другой, более занимательной стороне сочинения, где доказывается, что г. Григорьев нравственно выше Грановского.

Слово дано человеку, сказал Талейран, затем, чтобы скрывать мысль. Это остроумное изречение получило всесветную известность, а между тем оно ложно. Слово никогда не утаит мысли, а как-нибудь да проговорится. Благородное по своей природе, ниспосланное нам на хорошие дела, оно одарено также предательским характером. Оно, конечно, выдает человека не в подробностях, не по частям, а всего, целиком. Слово поможет припрятать какую-нибудь мелочь, обиходный расчет, цель дня, но общий характер, то, что составляет связь всех наших способностей, внутреннюю основу, строй души, полет ума, все это, независимо от нашей воли, от наших усилий, так и вырежется в слове, как на меди. Вам кто-нибудь станет излагать в математических приемах законы движения планет, или пересчитывать по пальцам часы, дни и ночи, в которые он с упорным самоотвержением умирал над книгой, а вы между тем узнаете сами собою, непостижимым образом, какими глазами ваш рассказчик смотрит с земли на небесную твердь, точно ли он любит науку и точно ли сам уважает себя как ученого. Слово имеет два смысла, один — с каким его скажут, другой — с каким его поймут. Первый найдется в любом словаре, вы господин первого, второй не написан нигде, и над ним вы лишены всякой власти. Ни воображением, ни трудом, ни тщательным наблюдением за собою вы не придадите слову и не отнимете у него второго смысла, который обнажает тайну вашей духовной организации назло самой поч-

тенной скромности. Буквальное определение не исчерпывает всей сущности слова. Кроме букв, в нем есть еще электрическая искра, передаваемая ему душой в ту самую минуту, как оно слетает с человеческого языка. Слово самый вероломный друг. Того и гляди, что изменит, особенно когда пойдет речь о чувствах, о нежности, о милых свойствах женоподобного сердца, украшающих такое ограниченное число избранных. А между тем, кому не сладки эти речи и кто, в настоящем случае, не порадуется за нас, что мы наконец от вавилонского смешения языков переходим на светлую почву чувства, куда обязаны следовать за г. Григорьевым? Он за дружбу, за ее тонкости, за ее щекотливость, за ее святыню; он помешан на святости дружественных отношений, он, как видно из его собственных показаний, педант в дружбе. Еще есть люди, которые хранят чистый огонь Весты! Но зачем распространяться далее? Выпишем лучше подлинные слова г. Григорьева. Они красноречивее нас представят все дело.

«Перед самым отъездом из Петербурга Грановский не исполнил одной, пустейшей просьбы моей к нему, а между тем, прощаясь уже, заверял, что дело сделано. Я узнал о противном тотчас по возвращении с его проводов. Со стороны Грановского и по его понятиям, неправда, которую он дозволил себе, была сущим вздором; меня, по моим понятиям, огорчила она до глубины души, хотя я и не мог не видеть, что огорчаюсь пустяками. Но пустяки эти, по-моему, касались дружбы, а я был помешан на святости дружественных отношений и никак не понимал, чтобы к этим sacris можно было примешивать профана так, ради острого словца, или подобных тому побуждений. Задетый за самую нежную и раздражительную струну сердца, я надулся, нахохлился и решил в гневе своем, несмотря на все примирительные уговоры Неверова, не писать Грановскому, тогда как, по обещанию, мне первому предстояло начать корреспонденцию».

Тут для сердец чувствительных все прекрасно: и огорчение от пустяков, и нежная, раздражительная струна, и негодование против острого словца во имя святых, суровых понятий о дружбе. Истинно все хорошо. Нечего б заметить, если б не могли перенестись в эту идеальную сферу, где стоит только сказать: я помешан на святости дружественных отношений, и все

проникнутся благоговением к такому помешательству. Грановский дозволил себе неправду, то есть солгал, ложью оскорбил святое чувство дружбы. Мы не станем рассуждать о том, был ли он на это способен. Есть обстоятельства, при которых не следует, неприлично выражать даже истину. Есть случаи, где должно отвечать одним молчанием. Мы сказали: не станем потому, что боимся рассуждениями посягнуть на чистоту и неприкосновенность других чувств, не замеченных нами в статье г. Григорьева, боимся оскорбить защитой других друзей Грановского, для которых дружба его была иною святыней, у которых в сердце есть также нежные, раздражительные струны. Мы коснемся только той половины обвинения, которая относится до характера комментарий г. Григорьева, и обнаружим самый факт во всей его наготе. Выписанный нами отрывок похож на математическую формулу, изображаемую, как известно, буквами. Там на место букв вы можете поставить какие угодно числа. Здесь предоставляется воображению читателя, по мере того, каким воображением он одарен, уменьшать или увеличивать ошибку, проступок, вину человека, который уже нем и не в силах вступить ни в какой спор. Это намек на неопределенное, но двусмысленное действие. Намеки не допускаются на живых, что ж сказать о намеке на мертвого? Г. Григорьев, надо отдать ему справедливость, смягчает жестокость обвинения; он говорит, что его понятия о дружбе преувеличены, что просьба его была пустейшая, что, по понятиям Грановского, это был сущий вздор; но злые языки, но люди недоброжелательные могут заметить, что тут для самого неопытного глаза, для простодушнейшего из смертных очевидно желание занять выгодную позицию и перед кем? Перед человеком, который умер. Ведь читатель, ознакомленный с нежностью сердечной струны г. Григорьева, может приписать и прилагательное «пустейший» и существительное «вздор» великодушию, намерению прикрыть искусными выражениями всю тяжесть вины покойника, а между тем тяжесть-то остается со всем своим грузным весом, который от этих фигур умолчания и уступления увеличивается только в своем количестве. Нет, так писать биографии нельзя. Это подражание монгольскому не клеится с европейским языком. Надо было или ничего не говорить, или сказать все. Надо было объ-

яснить прямо, если уже хотелось посвящать публику в семейные сплетни, без утайки и пощады, в чем именно состояла просьба г. Григорьева, чего не исполнил Грановский и при каких обстоятельствах, какими словами сказал, что исполнил. Тогда читатель, буде ему заблагорассудилось бы, оценил бы без посторонних указаний и взыскательность одного и неправду другого. Теперь мы должны вступить в должность биографа и пояснить то, что угодно ему было оставить во мраке неизвестности. Г. Григорьев просил Грановского написать что-то в какой-то альбом. Для представления этого важного события в его настоящем свете и, желая изложить дело со всеми отягчающими и смягчающими обстоятельствами, мы должны упомянуть, что тогда альбомы были в большом употреблении, не находилось ни одного чувствительного существа, которое не завелось бы альбомом, а потому г. Григорьев, и по внушению сердца, и по духу современности, мог связывать с летучими листками много дум и много чувства. В Грановском этого недоставало. Ни в сочинениях, ни в жизни, ни на кафедре не обнаружил он ни малейшего сочувствия к альбомной деятельности, и точно, было трудно, почти невозможно усадить его за такую работу. В ту минуту, как он отправлялся за границу полный надежд, ожиданий, верований, любопытства, любознательности, г. Григорьев, чтобы проводить его, переплыл Неву, часть взморья, но переплыл не без альбома, то есть с мыслью об альбоме, и в Кронштадте, сжимая Грановского в объятиях, как сам говорит, не без слез, не позабыл спросить об альбоме, а Грановский отвечал, что написал — и отвечал неправду. Г. Григорьев, воротившись с проводов, тотчас же узнал страшную истину и в наказание своему другу не писал к нему очень долго, хотя, по условию, должен был начать переписку. Перед нами лежит письмо г. Григорьева к Грановскому за границу. Вот несколько строк из того, которое было написано первое после продолжительного молчания:

«Признаться сказать, милый Тимошенька, очень, очень мне было досадно за твою последнюю штуку с альбомом, так досадно, что у меня в самом деле недоставало духу писать к тебе. Сколько раз принимался я было за перо, но только что вспоминал об этом негодном альбоме, как раз проходила охота писать».

Мы видели, как наш современник, по следам древних богатырей, то один, то подкрепляемый двумя или тремя витязями, вступал в ратоборство с грозною и бесчисленною армией западных ориенталистов, теперь мы видим, какая буря может подняться в чувствительном сердце по поводу альбома. Грановский не понимал ухищрений дружбы, доступных, вероятно, более нежным и утонченным природам. Но что значит обвинительный акт, составленный кем-нибудь в пользу свою против одного лица? Тут нет еще сверхъестественного мужества и недостатка в примерах. Что значит отказать одному человеку в тонкости чувства, ограниченного только сферою дружбы? Приговор становится любопытнее, когда он поражает целые поколения, и поколениям отказывается в таком качестве, которое совмещает в себе все добродетели.

Г. Григорьев, описывая тогдашний приятельский кружок, где часто бывал и Грановский, вот что сообщает между прочим:

«Я упомянул уже, что мы вообще были мало развиты умственно и ни начитанностью, ни особым участием к предметам университетского образования не отличались. К этому надо прибавить, что мы или вовсе не читали газет или заглядывали в них случайно; стало быть, политика никоим образом не могла давать пищи нашим разглагольствованиям. Парижская палата депутатов и ее ораторы как бы вовсе для нас не существовали. Кроме того, большинство из нас не знало по-немецки или, если и искусилось в этом языке, то все-таки с философскою деятельностью Германии нисколько не было знакомо: про Гегеля едва ли и слух до нас доходил, но не многим более знали мы, кажется, Шеллинга, и про весь сонм германских философов, начиная с Канта. Труды протестантских богословов не были известны нам даже по заглавиям. Фр. Шлегель с его историей литературы представлялся для нас апогеем философской глубины и туманности. При этой непривычке к умствованию, к отвлеченностям, к рассматриванью явлений в их идее, даже о том немногом, что занимало нас, толковали мы спроста, судя более по голосу чувства, чем рассудка, почему и восхищались и бранили довольно безотчетно. Но чувство, в особенности чувство нравственное, было у большинства из нас — и кажется, не к худу — гораздо лучше, чем в преемственных нам поколениях. Явления, на которые теперешняя

молодежь смотрит с высоты своей пантеистической разумности, поворачивали в нас всю внутренность. Не умели мы горячиться о гуманности, но зато были гуманны в действительности. Не стремились определить, в чем заключается русская народность, но глубоко сознавали себя детьми русской земли, потому что любовь к отечеству была для нас не фразой, а живым чувством».

Так же говорит и Кассандра:

Лишь незнанье жизнь прямая,
Знанье — смерть прямая нам [1].

Так говорит, то есть немного лучше, Жан-Жак Руссо в своих проклятиях на просвещение. Так говорят и говорили миллионы, несчетные миллионы, переносившие назад или в свою молодость или в эпохи невежества собрание всех добродетелей. У настоящего много головоломных умствований, много знаний, да нет нравственности, нет чувства; прошедшее не знакомо с немецкою философией, не заносилось вверх, жило спроста, зато было невинно, как младенец. Захотите вы отыскать детей Русской земли. Не смотрите возле, детей нет, они далеко, назади; понадобится вам живое чувство любви к отечеству? Обратитесь вспять, попросите у прошедшего: чувства по его части. Все это бито, перебито и не стоит возражения. Под анализом истории не оказалось такого обильного запаса чувств и добродетелей в магазинах прошедшего. Это прошедшее, когда было настоящим, жаловалось точно также на ученые бредни, на холодность, на развращение нравов и помыслов. Какой чувствительный человек не считал в свою очередь обязанностью показываться на арену рыцарем нравственности и, уступая поневоле новым поколениям бесполезные и вредные затеи ума, брать на свою долю скромные, бесхитростные, но существенные свойства сердца? Кто не виноват в нас? Французские энциклопедисты и ораторы, немецкие философы — все это не что иное, как посягательство на нашу голубиную чистоту. Впрочем, вопрос не в том. Вот приятельский кружок. Мы убеждены, что бывшие члены его не разделяют выписанных о нем мыслей и что Грановский не согласился бы ни с одним словом реляции г. Григорьева. Но кружок — частная жизнь,

---

[1] Жуковский из Шиллера.

поколенья — история. Все те, которых мы не имеем чести знать и которые не выходили на публичную деятельность, признаются нами заранее обладателями нравственного чувства. Мы не сомневаемся в свидетельстве г. Григорьева и даже не поверим никому, кто скажет противное. Но когда частного человека сравнивают с поколением и частному человеку отдают пальму первенства, то мы имеем полное право спросить, в чем же, в каких данных, в каких исторических проявлениях обозначилось завидное преимущество? На основании того, что совершалось в четырех стенах, требуется от нас осуждение поколений. Поколения только горячатся о гуманности, а там, где-то, какие-то Божии избранники были действительно гуманны. Раскройте же нам этот оазис, укажите на эти подвиги в пользу человечества, на дела без слов, на толки по голосу чувства, не рассудка, за которыми следовали высокоразумные действия. Мы дадим вам более простору, более средств убедить нас. Расширьте рамку вашего кружка, возьмите всю эпоху и пошлите в битву поколение на поколение. Где ж знамена вашего стана, блестящие на солнце во славу нравственного чувства? По каким признакам отгадать его любимое местопребывание? Мы горим нетерпением встретиться с ним, отдохнуть под его благодетельною сенью и принуждены, не пускаясь вдаль, обратиться поскорее к материалам, которые под рукою. Перед нами лежит статья, причина наших размышлений. Ее автор выдает себя за лучшего представителя того обетованного периода, когда царствовало нравственное чувство, не возмущаемое сумасбродством Гегеля, пантеистическою разумностью, когда будто бы судили и рядили, не принимая во внимание рассудка. И точно, статья носит печать давнего происхождения. В то время, в Петербурге, печаталось много ей подобных, с тем же направлением, в том же духе — статья прошедшего, не настоящего, лучший источник для исследований. Что же? Чем веет от нее? Какие впечатления теснятся в душу при ее чтении? Не найдется ли в ней, к нашей радости, чего-нибудь, чем уколоть глаза новому поколению и из чего составить похвальную оду в честь старого?

Преувеличенье своего достоинства и своих заслуг, разглагольствованье о них без меры и некстати, карикатурные отзывы о своих собственных ученых трудах, пренебрежение к людям, заслужившим всемирную

известность, и которых полезной деятельности обязан гордый автор жалкою частицей знания, выпавшего ему на долю, толкованье слов, характера, значенья своего бывшего, умершего друга, в невыгодную для него и в выгодную для себя сторону, и толкованье превратное; щегольство специальностью, строгостью, пуританизмом и вместе какой-то скептический взгляд, нисколько не разрушительный, оставляющий предмет в совершенной целости, но скользящий по его поверхности, чтоб только где-нибудь запятнать ее,— неужели этот плод прошедшего мы можем выставить напоказ современникам и заставить их краснеть перед сохранившимся обломком нравственного чувства? Оно, конечно, не зависит от философии, можно не иметь о ней ни малейшего понятия и быть нравственным человеком; но давать чувствовать, что знание вредит нравственности — это уже мысль обветшалая, да и ни на что не пригодная. Как ни пугайте, люди не испугаются знания, а всеми способами, возможными и невозможными, будут стремиться к нему, добиваться его и стремиться до тех пор, пока угодно будет Провидению продлить существование нашей планеты. Если кому и удавалось разными красноречивыми средствами уверить иных, что невежество удивительно способствует развитию нравственного чувства, то исторические кары немедленно обрушивались на самих же проповедников лжи. Чувство — прекрасное свойство, и у нас, к несчастью, лежит к нему сердце более, чем к рассудку. Но чувства нельзя высылать на состязание со знанием. Знание опровергается знанием же. Мы одарены рассудком, стало быть, и ему назначена какая-нибудь роль в числе наших способностей. Зачем же так ополчаться на него, как на беззаконного деятеля, и что ни сотворится дурного, все взваливать на этого несчастного? Мы уже не говорим о Гегеле, о Немцах, их дело пропащее, они еще хуже рассудка, все беды от них, хотя нам и приходило подчас в голову, что народы всегда и во всем бывают виноваты сами, что им неприлично

Кивать украдкой на Петра,

что все явления, на которые они ропщут и от которых страдают, лежат в их духовной и физической организации и что пустые сетования отнимают только время у размышления о своей собственной вине и своей собственной силе.

Но вооружаясь за рассудок, претерпевающий напраслину, мы не скроем, и сейчас увидим, что иногда чувство яснее его указывает настоящую дорогу. Грановский, обвиняемый в пристрастии к Немцам, встретил, однако же, в Праге ученых Чехов с большим, искренним сочувствием. Вот как говорит он, между прочим, про Шафарика и Челяковского: у Шафарика «провел я вчера целый вечер. Чудесный человек! Велик и ученостью и характером! Беден до нищеты, стеснен со всех сторон; жена больна почти безнадежно, а он тверд и спокоен... Челяковский также отличный человек, поэт и филолог: замечателен и в том и в другом. Бедность угнетает и его. Эти люди работают не для себя, и только Бог в том мире заплатит им. От этого мира им нечего надеяться. Во многом они, кажется, ошибаются. Но эти заблуждения так святы, так извинительны». Нельзя не заметить мимоходом, что из этих немногих строк слышны уже другие звуки, не гармонирующие с музыкой наших прежних выписок. Тронутый положением Шафарика и сам ограниченный в средствах, Грановский пишет г. Григорьеву: «Насчет Шафарика я выдумал следующее и повергаю оное следующее вашему благоутробию на рассмотрение. Мы составим, разумеется, между своими, подписку, по которой каждый из нас обяжется давать ежегодно по мере сил своих хотя по 25 рублей. Эта сумма составит Шафарику род пенсиона на всю жизнь. Разом мы не можем сделать большого пожертвования, а таким образом будем ему очень полезны... Выдумать бы средство снабжать Чехов русскими книгами, которых они по бедности не могут получать. Об этом также подумай. Когда я возвращусь, то непременно приеду в Питер переговорить с тобою обо всем этом, и будем работать, ты там, а я в Москве».

Напечатав это письмо, г. Григорьев доводит до нашего сведения, что небольшая сумма, собранная им для Шафарика, была выслана в Берлин еще в конце 1837 года, но не была доставлена по назначению за рассуждениями как это сделать поделикатнее, и что таким образом, как он выражается: «Из наших сочувствий ничего не вышло. М. П. Погодин, с своей стороны, не ограничился желаниями и, чем мог, помог Шафарику на деле». Тут мы должны защитить г. Григорьева против него самого. «Из наших» — это несправедливо. Он деньги послал, стало, из его сочувствия

вышло все; остальное зависело от других, и мы не без удовольствия познакомились с его аккуратностью в деле благотворительности.

Прочее для нас не любопытно, и мы нимало не желаем подвергать публичным разысканиям, была ли и кем была оказана помощь знаменитому и почтенному Шафарику. Вопрос не в том. У нас из головы не вышло еще чувство, мы все вертимся около него, а потому нам кажется, что тут нужно бы дать свободу его необузданности. Рассудок, пожалуй, увидит в этом лишь несколько статистических данных о нищете австрийских Славян, о большей степени благосостояния Славян русских и не поймет, что в благотворении есть две стороны: благодетели и их жертвы. Грановский просил составить подписку между своими, вероятно, за тем, чтоб она не дошла до чужих, затруднялся даже от деликатности, как передать собранные деньги. Просьбу покойника можно, разумеется, и не исполнить, но каким же образом г. Григорьев, посещенный, как мы уже знаем, благодатью, забыл святое правило: да не увесть шуйца, что творить десница твоя? Ведь Шафарик, слава Богу, жив еще. А может быть, он прогнал того, кто принес ему деньги в виде подаяния; а может быть, ценою голодной смерти он не примет их на условии, что благотворитель повестит целому миру о своем христианском подвиге.

От чувства мы должны перейти к скуке, не зная, именно в какую область рассудка или сердца поместить ее несносную. Для перехода выпишем одно письмо Грановского, где говорится о ком-то, кого мы решительно не знаем и не старались отгадать.

«И скучает сам и разносит скуку по другим. Бранит всех и все и ни в чем не принимает участия. На днях напугал всех живущих здесь Русских: говорят, П. с ума сошел. Неверов тотчас захлопотал, как бы помочь бедняжке; начал водить его по гостям и проч. Кажется, помог, по крайней мере вот уж с неделю как. И живет смирно и не бьет в стену головою. Слава Богу! Мне, признаюсь, не жаль было П., сам виноват: он человек умный, занимающийся и скучает. Такая скука может происходить от эгоизма, от равнодушия; кто ничего и никого не любит, должен скучать, поделóм вору мука. У меня у самого бывает хандра, но у меня происходит она от причин чисто физических и не составляет моей профессии, как у П. скука. Что вы де-

лаете? Скучно. Не сердись на меня, милый Вася. Я знаю, что ты любишь П., знаю, что он во многих отношениях отличный человек, но досадно смотреть на него и слушать его выходки против всего, что в мире есть хорошего и достойного уважения».

Это письмо, очень простое и ясное, послужило поводом г. Григорьеву для размышления о величии тех натур, которые скучают на земле. Он не позволяет мыслящему человеку не только жалеть о них, но и говорить о них свысока. Мы не привели бы этого места, если б в нем не было перепутано много мыслей, взятых из разных эпох, у разных народов, в разных верованиях, чтобы весь этот нескладный сбор наслать на невинные и меткие слова Грановского. Он, вот видите, по своей артистической природе, имел на жизнь несколько аттическое воззрение: верил в прогресс и легко утешался в существовании темных сторон человечества, а иным нельзя ставить в вину, если они говорят прямо, что им скучно здесь, скучно, скучно, потому что эти души стремятся к чему-то высшему, «не утоляются ни наукой, ни искусством, ни даже проявлениями нравственной красоты. Всего этого им мало; все это не удовлетворяет их тоски по бесконечном, безусловном, к которому тянет их какою-то неодолимою силой». Но скука — либо болезнь, сплин, хандра, либо праздность ума, ничем не занятого, и пустота сердца, которое ни к чему не тянется. Скука совсем не тоска по бесконечном. Напротив, кто тоскует о нем, тот не скучает, а он весь и все минуты его существования наполнены живою мыслию, живым делом, живым вопросом. Эта тоска есть убежище от скуки, и более надежное, чем всякое другое. Г. Григорьев, соединяя странным образом понятия, переносит нас под тень бананов, утверждая, что его «идеальные души начинают еще в здешнем мире терять свою индивидуальность и частию существа своего сливаются с всемирным духом». Как далеко и на какое долгое время отправляется он, чтоб поставить неизвестного нам г. П. в высший разряд земных существ, а Грановскому отвести хотя роскошный, но более низменный участок! Да, ваша правда, «один воплотившийся Бог мог любить человечество в падшем его состоянии, а люди говорят об этой любви, любя лишь себя самих». Все это истина, тысячу раз истина, но в то же время, если кому «скучно, скучно, скучно, если он равнодушен к

себе самому и не может любить довольных благами земными своих братий», то не уверяйте нас, что его «тянет беспрестанно куда-то в высшие сферы». Этот человек, представленный, как вы его представляете,— совсем не с тем направлением, какое вы хотите всеми усилиями диалектики навязать ему. Его никуда не тянет...

Мы дошли наконец до того места, где г. Григорьев снова обозревает путь,— не тот уже, который некогда он видел ясно, мерил смело глазами и который, расстилаясь перед ним, вел далеко, к ученой знаменитости, к европейской славе,— путь, менее длинный и более скромный, пройденный им на нескольких журнальных страницах и замечательный не его, а чужим именем. Жрец истины, совершивший жертвоприношение, провозглашает: «Задача моя выполнена», и делает окончательные выводы из своих комментарий. «О семнадцатилетней профессорской и ученой деятельности покойного в Москве» он предоставляет рассказывать другим, ибо другие были в это время ближе к Грановскому. И точно, из этого периода г. Григорьев остерегся сообщить нам что-нибудь, кроме только того, что «эпикурейские наклонности под конец жизни вполне овладели московским профессором». Этой приятной чертой нельзя было не поделиться с нами. Все остальное не так хорошо известно г. Григорьеву; об остальном, по неведению, он говорить не может, а это уж он разыскал, проведал доподлинно и знает не хуже всякого другого. И тут есть жертвоприношение, да где же алтарь истины? Но мы, однако, нисколько не думаем унижать статью и взводить на нее обвинение, что она представляет Грановского в ложном свете. Он выходит из нее цел и неискажен, таким, каков был. Его письма сохранили невредимыми, хотя в легких очерках, в намеках, хотя при начале поприща, главные черты привлекательной физиономии. Кто прочел эти письма, тот, верно, полюбил их автора, если и не был знаком ни с ним, ни с его ученою деятельностью. Тут узнаете вы того, к кому именно идет латинское выражение: homo sum et nihil humani a me alicnum puto [1]. Полный жизни, пораженный ярким блеском науки, он принимается за работу с жаром и дельно, читает источники, собирает материалы для истории средних веков;

[1] Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо.

но сочувствие просвещенного ума обращено не на одних Немцев, он высоко ставит и ученых Чехов; сбирается учиться по-чешски, по-сербски, по-польски, работой расстраивает здоровье, и как ему ни советуют во время холеры меньше трудиться, он, пишет г. Неверов, «сочинил себе преглупое правило, что не покоряться нужно природе, а идти ей наперекор, и с этим правилом не хочет ни на минуту оставить своего Гегеля и историю». Наконец, очень занемогает и от усиленных занятий и от потрясений, произведенных на него болезнью г. Неверова, который приписывает ему свое выздоровление. При серьезных трудах, при физическом расстройстве сохраняет свою ясность души и свое остроумие. Всегда под перо его ложится меткое слово, живая мысль. Светло и с любовью смотрит он вокруг себя, приготовляясь стать, говоря его выражениями, «в тесные ряды того войска, которому Россия вверила знамя своей образованности». Г. Григорьев избавился когда-то от духовного недуга помимо своих собственных стараний о том, и тут в его статье, по особенному также расположению к нему неба, без особенных тоже усилий с его стороны, представляется нам Грановский в своем настоящем виде.

Другие, с большим правом, в свое время оценят научным образом и сочинения его и его ученую деятельность. Нам остается проследить верность выводов г. Григорьева. Под грозным наитием истины он доводит до самых миниатюрных размеров портрет своего бывшего друга и не позволяет себе ни малейшей слабости. Нет грустного слова о ранней утрате человека, которого он так любил в первой молодости, ни малейшей горечи сожаления, что тот, кто некогда был предметом его обожания, под пером его, под его анализом выходит не что иное, как артист-фокусник, ослепивший глаза мастерскими штуками. Почтенная, брутовская, языческая строгость!

Г. Григорьев в укоризну и в унижение называет Грановского «профессором-артистом: он сочувствовал всему прекрасному в природе и человечестве, он отливал свой предмет в художественные формы, но не был ученым, не заходил ни в какую не разработанную до него область истории, никакого загадочного явления не облил светом своей мысли, не проложил новой тропы, не открыл нового приема». Боже мой, сколько слов и сколько обязанностей! Грановский первый в

России изменил преподавание истории, облил ее светом новых мыслей, оживил современным духом и первый предъявил в обществе ее права на гражданство. Художественная передача предмета есть венец всех усилий и всех трудов. Зачем пишутся рассуждения о ярлыках, монетах, как не затем, чтоб после какой-нибудь счастливец взял оттуда одну строку темного труженика, одно слово для своей художественной картины. Мы не хотим и не считаем нисколько справедливым сравнивать Грановского с великим историком нашего времени, но если так, если Грановский точно был художником, то желательно знать, какое другое свойство найдет г. Григорьев в Англичанине Маколее? Маколей также не проложил новой тропы, не заходил в неразработанную область, он только рассказал историю Англии со времен Иакова II в художественном представлении. Ничего более, ничего менее. Но это достоинство не стоило Грановскому никакого труда: «Все исходившее из его духа не могло исходить иначе, как в прекрасных формах». Не стоило! И это вина, но между тем на качество, добытое без усилия и мучений, многие смотрят несогласно с г. Григорьевым. Он разошелся, как мы видели, насчет удивления с соседом, Англичанином Карлейлем, теперь расходится с антиподом. Вот что говорит Американец Емерсон точь-в-точь по такому же поводу:

«Мне кажется великим тот, кто обитает в высшей сфере мысли, доступной для других только с трудом и усилием: ему стоит лишь открыть глаза, чтобы видеть вещи в их истинном свете, в их общей связи, тогда как другие люди впадают в тяжкие ошибки и должны бдительно беречься многих источников заблуждения. Конечно, и служба его нам также легка ему. Красоте ничего не стоит нарисовать свой образ на нашем зрачке и однако ж — какое великое это благо!»

Но чего же требует г. Григорьев? Чтоб профессор всеобщей истории в Москве, в Петербурге, в Казани или в Харькове прокладывал новую тропу, открывал новую область в пустынях французской или английской истории. Но сбыточное ли это дело? Положим, что у нас в настоящую минуту родился Тьерри с его умом, талантом, трудолюбием, настойчивостью. Что ж, он напишет нам книгу о завоевании Англии Норманами или растолкует на новый лад француз-

ские летописи? Да помилуйте, ведь это мечта, это просто невозможно даже по материальным причинам. Нет под рукою нужных ученых пособий, нет источников, нет вокруг необходимого настроения мыслей, нет необходимых впечатлений, необходимого прошедшего, словом — нет ни материалов, ни живых картин перед глазами, ни той сферы, в которых делаются подобные открытия и пишутся подобные книги. Для чего же накладывать на человека напрасное ярмо, которого он, будучи даже богатырем, поднять не в состоянии от причин, лежащих вне его воли и дарований?

По мнению г. Григорьева, обширная начитанность не дает еще права на титул ученого. Мы рады согласиться с этим положением, все противоречия да противоречия неприятны нам самим, и отрицание тяжелым камнем ложится на грудь. Но нельзя обойти молчанием мнение, которое существует и на основании которого подвергается Грановский суду и осуждению. Вот видите ли, любознательность есть недостаток, читать должно только то, что относится до изучаемого предмета; чтение, заходящее за его пределы, есть пустое развлечение, вредное делу и противное настоящей учености. Грановский был бы прав, если б взял какой-нибудь век, какое-нибудь десятилетие, какой-нибудь год, прокоптел был над ним целую жизнь и не заглянул бы ни в одну газету, ни в одну книгу, где не говорится об этом крошечном участке истории. Надо хранить себя от впечатлений Божьего мира, как хранятся жизненные припасы от прикосновения воздуха, окопаться в неприступной крепости и там замереть на инфузории. Мы слыхали о чудесах, сотворенных этою высокою, но уродливою специальностью, знаем громаду зданий, воздвигнутых Европой на крохоборстве добродетельных мучеников, погибших без славы у подножия науки. Но времена меняются. Теперь уже никак нельзя засесть за татарский язык и махнуть рукой на все остальное. Теперь догадались, что полное изучение предмета требует непременно других, по-видимому, посторонних знаний, и находится в большей или меньшей связи со всем окружающим.

Оттого-то есть другая специальность. Она не уединяется с предметом, а выносит его на простор, не суживает сферы явления, а расширяет ее, видит не линии, отделяющие его от других явлений, а звено галь-

ванической цепи, соединяющей с ними, и в микроскоп любуется не бесконечною малостью размеров, а величием закона, повторенного в них. Эта другая специальность — не мертвой буквы, не татарского ярлыка, а всеобнимающей — идеи находила отношения между несколькими безобразными знаками, уцелевшими на камнях, с давно истлевшими поколениями, и открывала подземный мир, засыпанный бесчисленными веками; ее дух оживлял профессора Грановского; она давала его речи обаятельную прелесть, под ее светлым наитием говорил он: «Вавилон, Троя, Тир, даже первобытный Рим, уже перешли в область вымыслов. Но внутренний смысл и содержание этих явлений живут во мне, и я нахожу в себе самом Палестину, Грецию, Италию, дух всех народов и всех веков... Тот не историк, кто не способен перенести в прошедшее живого чувства любви к ближнему и узнать брата в отделенном от него веками иноплеменнике».

Нам нужны еще неприхотливые произведения ограниченной специальности,— в этом смысле многие работают за нас,— а напротив, деятели, подобные Грановскому, которых влияние на общество поднимает науку, и в общественном мнении ставит самих специалистов на подобающее им почетное место. Притом же специальность, о которой мечтают иные и которую, кажется, во всем ее необъемистом блеске, берет себе в удел г. Григорьев, едва ли может получить у нас необыкновенное развитие. Мы не муравьи, а пчелы. Смотря на современный ход просвещения, невольно спрашиваешь себя, откуда же у нас возьмется эта быстрота открытий, это беспокойство характера, эта мучительная напряженность мысли и это ничем не обузданное творчество воображения? Народы совершенствуются, народы растут, все около них принимает новый, лучший вид, изумительною становится масса познаний, размножаются средства благосостояния, все изменяется, но есть нечто вечное, нечто непреходящее у народа. Он все-таки остается самим собой, похож на себя, и в конце развития мы встречаемся с теми же его свойствами, с какими он был отыскан во мраке времен, на заре своего рождения. Что Юлий Кесарь говорит о Галлах, то можно сейчас во всей силе применить к нынешним Французам. Да, кажется, что мы никогда не будем такими заклятыми специалистами, как западные Европейцы. Горевать, впрочем, нечего.

В нашем назначении есть что-то аристократическое. Черная работа предоставлена другим. Что ж дурного быть белоручкой?

Отняв у Грановского титул ученого, г. Григорьев заходит в неразработанную область, пролагает новую тропу, чтоб объяснить влияние покойного профессора. Грановскому сочувствовали, Грановского любили, о Грановском плакали не потому, что он имел какое-либо положительное значение, был представителем идеи, принес пользу, сделал добро, а оттого, что «его умственное превосходство не давило никого из сочленов партии; что он красивее всех носил одежду ее недостатков, обладая достаточными качествами, чтобы заставить себя извинить эти недостатки; что его нравственное достоинство не кололо никому глаз». Словом, потому, что у него не было «крепких, сильных убеждений», какие замечаются у людей, занимающихся персидским и турецким языками. Мы не знаем, о какой партии ведет речь г. Григорьев. Партия Грановского очень велика. Ее составляли не только те, которые были с ним знакомы, но и те, которым он был известен по слуху, по своей публичной деятельности. Нам приятно в словах г. Григорьева встретиться опять с нравственным чувством, это опять оно, это взгляд из тех же давно прошедших времен, когда люди не горячились о гуманности, а были на деле гуманны. Так «коноводы» партии не отвечают ее существенным потребностям? Так влияние человека на подобных себе должно объяснять его недостатками, а не достоинствами? Так избранные люди становятся во главе общества единственно оттого, что изобилуют достаточным количеством слабостей, служат олицетворенною лестью массе и получают от нее видное место только по той причине и с тою целью, чтобы она полюбовалась своими несовершенствами? Есть многие «с легкою верой» в прогресс, но, видно, есть и другие— с легким неверием. Г. Григорьев идет далее. По его мнению, «пуританизм в убеждениях и стремлениях, требующий от человека полного предания себя делу, с артистическою природою не совместен». А какая природа у знаменитого Гизо, первого историка и оратора новейших времен? в чем откажет ему г. Григорьев, в художественности или пуританизме? Как бы счастлив был Людовик-Филипп и весь Орлеанский дом, если б натура человеческая была устроена по мыслям г. Гри-

горьева и если б в артистической природе историка и оратора не отыскался на беду пуританизм убеждений!

И мы можем повторить за г. Григорьевым: задача наша выполнена. И мы, прежде чем положить перо, позволим себе краткое заключение. Нам случалось порицать некоторые части сочинения, но при разборе это неизбежно. Мы, может быть, пропустили скрытые в них достоинства. И от этого, по человеческому несовершенству, остеречься нельзя. Другие поправят нас. Найдутся многие, которые скажут: статья очень умна. Примитесь доказывать, что статуя художника — не статуя, а полированный камень и в ином сердце отыщется уголок, где ощутится удовольствие, и иной ум будет поражен дельностью замечания. Нам, кажется, не пришлось сказать ничего противного основной мысли г. Григорьева, этой таинственной нити, связывающей невидимо все части его сочинения. Он желал установить различие между собою и Грановским, между своею и его ученостью, между его артистическою настроенностью и своим пуританским направлением. Мы, по мере сил, старались уяснить и перечислить эти различия, на которых он останавливался с такою любовью. Они были нашим первым впечатлением при чтении статьи г.Григорьева; мы находились в большом раздумье, не умея отыскать ничего общего между автором писем и автором толкований на них.

Иногда противоположные свойства сближают людей. Противоположностями они пополняют друг друга. Тут и противоположностей нет, а есть разница. Из писем не следуют комментарии, комментарии не объясняют писем. Это два предмета, механически приложенные один к другому без всякой спайки. Бедный студент на скудные деньги, выработанные литературным трудом, позволяет себе почти единственное эстетическое наслаждение, возможное в окружающей среде, ходит иногда в прекрасный французский театр; с жаждой любознательности, не имея средств узнать, сидя дома в покойных креслах, что делается там, где-то, везде, за пределами его дома, улицы, города, спешит в кондитерскую, бросается на журналы и газеты и при этом случае пирует на жалкие запасы своего кармана, берет сладкий пирожок, спрашивает, может быть, чашку шоколаду. Г. Григорьев видит в этом «зародыш эпикурейских наклонностей». Не такое заклю-

чение вывел бы покойный Грановский из этих событий в жизни бедного студента, заслужившего впоследствии такую жаркую любовь всех поколений студентов. Эта разница в выводах, этот угол зрения разделяет людей более, чем пространство и столетия. Грановский мог сделаться другом и слиться душою с тем, кого вовсе не видывал и кто некогда в древних Афинах рукоплескал Софоклу или Еврипиду; мог мысленно из Москвы, от Харитонья в Огородниках, протянуть руку чрез океан далекому жителю берегов Миссисипи, но между двумя университетскими товарищами, между людьми, стоящими так близко, рядом, вы видите ничем не наполнимую бездну. А потому мы, без всякой пощады к покойнику, должны назвать его дружбу к г. Григорьеву ошибкой и заблуждением. Заблуждение со стороны Грановского, заблуждение, если смеем прибавить, со стороны г. Григорьева. Им не должно б сойтись вместе ни на минуту, как не сходятся ни в одной точке параллельные линии, продолженные в вечность. Не так они смотрят друг на друга и не то видят друг в друге. Г. Григорьеву неизвестно, что покойный профессор остается и останется в воображении студентов каким-то идеальным образом; что имя его будет передаваться ими из поколения в поколение; что в Москве, в Петербурге, по другим краям России вспомнится не раз это благородное имя; что долго, долго не зарастет тропа, ведущая к его могиле, и не завянут цветы, благоухающие над нею. Он писал мало, но много сделал, но во все эпохи короткой жизни, при свете солнца и под мраком нависших туч, сохранял чистоту убеждений и не давал угаснуть святому огню. К нему следует применить слова Вильгельма Гумбольдта:

«Деятельность великих умов не заключается в одних письменных произведениях: есть другая деятельность, более непосредственная и более широкая. Письменные произведения только частью открывают существо человека; в живой личности проявляется оно чисто и полно. Оно делается достоянием современников и передается последующим поколениям такими путями, которых нельзя определить в частностях, которые ускользают от наблюдения и за которыми даже мысль не в состоянии следить. Посредством этого тихого и как бы волшебного действия великих умов, мысль постепенно крепнет и переходит из рода

в род, от народа к народу, разрастаясь все шире и могучее»[1].

Не ханскими ярлыками двигается вперед дело образованности. Мера просвещения определяется отчасти степенью понимания таких личностей, какова была личность Грановского. Конечно, его чувства, мысли, деятельность, влияние, направление, дар любить и внушать любовь, дух, оживлявший некогда этот прах, который лежит теперь в земле на Пятницком кладбище,— это особый мир, он не приходит на ум в беседах с Татарами от Дюссо и не видится глазу из местопребывания Киргиз-Кайсаков. Это для иных то же, что для нас непереведенный ярлык Монгольского хана, это, как говорит Шиллер:

Blumen... und Trüchte,
Gereift auf einer andern Flur,
In einem schönern Sonnenlichte,
In einer glücklichern Natur[2]

---

[1] В. Гумбольдт. (В предисловии к переписке с Шиллером.)

[2] Цветы и плоды, созревшие на иной почве, под лучами солнца, более прекрасного, посреди природы, более счастливой *(нем.)*

СТАТСКИЙ АРМЕЙЦУ

(Статья, читанная 26 апреля 1858 года Н. Ф. Павловым в заседании Общества Любителей Российской Словесности)

С искренним удовольствием прочли мы в одном из нумеров «Русского Инвалида», в фельетонном отделе этой газеты статью «Армеец не армейцу», направленную против «Военного Сборника» и подписанную «генерал-адъютант граф Ржевусский». Нельзя сказать, чтобы изложение ее было мастерское, что в ней видно опытное перо, чтоб она глубоко захватывала вопрос и разрешила удовлетворительно какую-нибудь важную задачу. Ничего этого нет, но мы и не думаем предъявлять нескромных требований. Всякий автор дает то, что желает и что может дать... Было бы несправедливо и в высшей степени негуманно осуждать его волю, переиначивать его цель и спрашивать с него отчета в исполнении обязанностей, которых он не принял на себя по собственному влечению. Статья все-таки прекрасна, статья все-таки произвела на нас самое приятное впечатление. Однако ж, когда мы говорим «прекрасна», то желаем быть поняты без преувеличений и недоразумений. Если сам человек несовершенен, то, разумеется, и плоть от его плоти, кровь от его крови, дух от его духа не могут быть собранием всех добродетелей! Начиная с хвалебного гимна, мы сочли необходимым объясниться, чтоб не стать предметом злобного подозрения и неразборчивых обвинений. Есть на земле люди, которые ни в каком случае не позволяют изъявлять сочувствия иным авторам и признаваться, что всякое стекло может пропустить частицу света. Мы не принадлежим к этой категории. Мы радуемся его лучам, откуда бы они ни упали на нас. Солнце все то же, стоит ли на горизонте или блещет над нашею головой. Поэтому, не робея, с истинно геройским мужеством объявляем, что статья нам нравится, нам по душе, статья хороша, то есть не из рук вон хороша: прочитав ее, можно еще продолжать писать, бывают статьи и лучше, гораздо лучше; но есть у нее сторона, недоступная осуждению, именно та, которая увлекла нас и выдержит всевозможные сравне-

ния. Мы назовем ее музыкальною стороной, так сказать, музыкой статьи. Известно, что музыка выражает одни чувства; нет у нее орудий для других способностей человеческой души. Вот эта-то музыка, эти-то чувства в статье графа Ржевусского заставили и наше сердце забиться немного скорее, немного восторженнее. Как сладко читателю, когда между ним и писателем устанавливается магнитный ток симпатии и когда человек хотя на несколько мгновений живет душа в душу с себе подобным. Это наслаждение испытали мы при чтении статьи, о которой идет речь. Она дышит любовью к русской армии, ополчается за ее честь, за ее славу, и мы, во имя этого высокого побуждения, готовы тоже двинуться на битву и с «Военным Сборником» и с целым миром, хотя, по некоторым сведениям, почерпнутым из истории, знаем, что русская армия умеет сама защитить себя в случае надобности и что до сих пор она очень успешно обходилась без нашего подкрепления. Знаем также, что, по-настоящему, отстаивать ее честь вовсе не нужно. Армию великого государства нельзя обидеть никакими порицаниями. Армии не обижаются, как не обижается народ, море, ураган, Гималайский хребет. Но это все краткие рассуждения; чувство само по себе, взятое отдельно, в чистоте, без анализа, остается бесподобно. Статья возмущается против врагов общественного порядка, и мы кипим против этих злодеев. Не поверите, как они нам надоели! Вот уже несколько тысяч лет сряду, как от них нет житья. Друзья порядка, кажется, и не спят. Между ними отыскиваются беспрестанно благородные сердца, которые не могут проминовать, чтоб не задеть этих врагов, и все нет никакого средства отделаться от них однажды навсегда. Откуда только они берутся? Право, всякий раз, как друг порядка указывает пальцем на врага, нас бросает и в жар, и в холод от негодования. Уж нет ли какой-нибудь вины со стороны друзей? Истинная ли это дружба? Не может быть, чтоб враги общественного порядка были так живучи. Ведь недаром говорил Генрих IV: «спасите меня от друзей, с врагами я и сам справлюсь». Теперь, кажется, стало очевидным, почему упомянутая статья нашла отголосок в нашем сердце. Ее музыка, ее чувства соблазнили и увлекли нас. Справедливость требует даже заметить, что если при внимательном рассмотрении оказываются в ней недостатки, то они

произошли не от чьей-либо вины, а от несовершенств человеческого слова. Да, одна музыка выражает чувство во всей святости, во всей целости; она одна дает нам это чистое золото без малейшей примеси лигатуры. Придет время, когда все догадаются, что надо перестать писать, не высылать на сражение даже статей, одушевленных пламенем патриотизма и имеющих в резерве любовь к общественному порядку, а лучше сделаться всем музыкантами; тогда только установится между людьми полная гармония, род человеческий достигнет желаемого блаженства и начнет жить припеваючи. Слово не имеет преимуществ музыки. Оно не может выразить чувства, не припутав к нему посторонних, более осязательных, а потому более грубых материалов и не перенеся его из небесных сфер в земную юдоль. Слово непременно обезобразит и исказит божественный лик чувства, так что иногда и не узнаешь, точно ли человек любит, точно ли негодует, в самом ли деле дорога ему родина и честь ее доблестных сынов. Мы не с тем обозначаем здесь различие между музыкой и словом, чтоб присвоить себе право рыться в чужой совести и бросать тень на чьи-либо побуждения. Нам противны такие намеки! Мы просто хотим сказать, что чувство не может быть выражено словами без того, чтоб не припутались к нему непрошеные мысли, а мысли затемняют чувство и дают ему новый вид. Не будь в статье слов, будь ноты, мы запели бы с нею в унисон. В чувствах мы совершенно сходимся с ее автором, расходимся только в мыслях. Это, собственно говоря, пустяки. При возвышенных чувствах, что за дело до мыслей! Но мысли имеют то истинно неприятное свойство, что так и подмывают вас опровергнуть их. Притом же в наше время охотники до систем, до теорий подводят всякое ничтожное, частное явление под общие законы и уверяют, что права истины в каком бы то ни было случае должны быть восстановлены. Покоряясь этим различным и неодолимым для нас подстреканиям, мы не в силах не заявить пред читателями причин нашего разногласия с мыслями тысячу раз названной статьи, а потому позволим себе для полного уяснения вопроса представить сначала в кратком извлечении доклад о сущности дела.

Известно, что в Петербурге при главном штабе гвардейского корпуса выходит в свет повременное из-

дание, называемое «Военный Сборник». Он обещал в своем объявлении доставить офицерам всех оружий занимательное и полезное чтение и в то же время каждому наблюдательному и желающему общей пользы офицеру дать средство сообщать своим товарищам по оружию наблюдения свои о всех предметах, касающихся материального и нравственного быта наших войск. Он хотел возбуждать в читателях деятельность мысли. По нашему мнению, свои обещания «Военный Сборник» исполнил блистательно. Много дельного, много полезного сказал он в восьми книгах прошлого года. Во всех его статьях видны серьезные знания, серьезная мысль, серьезные стремления. Предоставляя специалистам оценивать все, что касается до военных действий и военных наук, мы позволим себе заметить, что общее направление «Военного Сборника» заслуживает полного внимания мыслящих людей. Он стал на настоящую точку зрения. Взгляд его имеет научный характер, то есть он старается представить предмет в том виде, в каком предмет существует. В «Военном Сборнике» есть место для величия человека, есть уголок и для его слабостей. Прежде думали, что после слова армия второе слово должно быть непременно «ура!». «Военный Сборник» взглянул на нее с большою теплотой, с большим благоговением к ней и силился представить ее в живом образе, не отделываясь пустыми фразами, которые ни к чему не ведут и которым никто не верит. Только жажда истины служит ручательством, что писатель желает блага, верует в добро и надеется на будущее. Преследуя свою цель, знакомя читателя с великими достоинствами наших славных войск, с материальным и нравственным их бытом, «Военный Сборник» не умолчал, да и не должен был умолчать, что в военном мундире ходят такие же люди, как и в статском, что все это члены одного и того же свойства, только различным образом наряженные, что они вскормлены тем же молоком, дышат тем же воздухом, управляются теми же понятиями, вызревшими на их общей почве,— словом, что в армии встречаются такие же чиновники, как и на гражданском поприще. Какой же малолетний этого не знает? Для кого это тайна? кому

От Перми до Тавриды,
От Финских хладных скал до пламенной Колхиды

неизвестно, что иной ротный командир, иной полко-

вой начальник, иной гарнизонный офицер, препровождающий партию рекрут, иной комиссариатский чиновник смотрят на свои общественные должности, как на средства продовольствовать свои частные карманы?

Это совершается у всех на глазах, совершается очень просто, потому что для операций подобного рода не требуется ни тонкости ума, ни изобретательности воображения. Есть правила, освященные опытом веков, предания, которые поступают в наследство от поколения к поколению, и все идет как по-писаному. Что же нового сказал «Военный Сборник» в этом отношении? Никто, кажется, особенно не волнуется, все спокойны. Да, наконец, для кого он пишет? Для грамотных. А что такое грамотные? Былие долин, горсть морского песку. С ними еще можно сладить, их можно попросить, чтобы никому не говорили. Но ведь дело-то известно и такого сорта людям, которых не успеешь объехать с визитами, которые ничего не читают и читать не умеют; известно не из книг, не из журналов, а из вседневных впечатлений, из ежеминутных столкновений с явлениями жизни. Объяснимся примером. Положим, что какой-нибудь бедный офицер состоит должным человеку безграмотному, не слыхавшему никогда о существовании «Военного Сборника» и, следовательно, обогатившему свой ум сведениями из других источников. Офицер и желал бы заплатить свой долг, да не в силах. Допустим также, что вдруг ему дается в командование полк. Спрашивается: что произойдет в душе кредитора? Не правда ли, что проявится надежда на уплату денег? Так. Но на чем инстинктивно, при первой вести, прежде всяких размышлений, оснует он свою надежду — на жаловании, которое должник его станет получать в большем размере, или на иных, более обильных статьях дохода? Предположение кредитора, может быть, и не оправдается впоследствии, может быть, должник его выйдет из соблазна невинен, как голубица; важно то, что предположение непременно родится. Но к чему вести речь о такой битой материи? Неужели еще называть луну бледною, а лучи солнца палящими? Нам предстояло объяснить в коротких словах направление «Военного Сборника». Оно не понравилось графу Ржевусскому, а его направление, за исключением вышеупомянутых чувств, не понравилось нам. Граф Ржевусский, атакуя «Военный Сборник», высказал свои

собственные воззрения на армию, на литературу, на историю. Эти-то воззрения и составляют цель нашей статьи. Если бы они были не что иное, как его личное мнение, то мы не решились бы вмешиваться в эту бесплодную войну и благоразумно держались бы даже невооруженного нейтралитета. Но в них слышатся нам многие голоса, голоса знакомые; они поют все одну и ту же песнь... Нам мерещатся разные лица! Они с хладнокровием мудрости, не прерывая своих забав, смотрят на безобразные картины жизни, всенародно выставленные напоказ, и пугаются одинокой мысли, бедного слова, которое вырвется со дна души и, хоть на бессильных страницах журнала, засвидетельствует, что уцелело еще поклонение нравственной красоте. Последуем же теперь за мыслями графа Ржевусского и посмотрим, на каком основании соорудил он свои обвинения. По его уверению, армейцы обрадовались, когда узнали, что будет издаваться «Военный Сборник», и возлагали на него разные надежды. Надежд было, конечно, много; назовем самые любопытные. Армейцы ожидали, что «честь, самоотвержение, развитие любви к военному делу и прочие военные доблести будут основанием нового журнала, проникнут все статьи его, тем более, что по военному журналу и свои, и иностранцы будут судить о состоянии русского войска. То есть «Военный Сборник» должен был или рассказывать только великие подвиги русской армии, дивиться ее администрации, хвалить и славословить, писать не чернилами, а розовою краской, или сделаться проповедником и излагать прелесть чести, отраду самоотвержения, упоение доблести. Армейцы графа Ржевусского ошиблись. «Военный Сборник» не оправдал их ожиданий. Их честь, их самоотвержение, их доблесть он предоставил их собственному произволу, другим побудительным причинам, более действительным: тому духовному настроению, которое зависит не от книг, не от журналов, а от всего прошедшего, от всего настоящего, от громадной неуловимой сложности жизни. Хороший журнал распространяет знания, проводит идеи, сообщает живые сведения, представляет предмет или событие в настоящем виде, без прикрас,— вот его назначение, вот чем развивает он любовь к занятию или обязанности, внушает нравственные чувства и облагораживает побуждения человека. Хороший журнал не курит фимиама и не чи-

тает проповедей. Эти требования благосклонного расположения к действительности, какого-то лирического восторга при созерцании ее; эти ожидания, что только и будет речь о добродетелях, что каждая строка станет дышать честью, доблестью, самоотвержением; эта мнимая благонамеренность, полная всегда холода, риторики и не менее того язвительная, в продолжение целой человеческой истории, под разными формами, но с одинаковым духом преследовала неусыпно тех немногих, которые в интересах просвещения, в интересах общественного порядка, с горячею жаждой добра поднимали завесу истины, не заботясь о том, что скажут свои и что подумают иностранцы. Для читателя, мы полагаем, стало ясно, что у «Военного Сборника» есть коренное разномыслие с графом Ржевусским. Оно именно таково. Дело в том, что для них одна и та же армия — два различных учреждения, два понятия, совершенно противоположные друг другу. «Военный Сборник» рассматривает ее в совокупности с народом, с прочими силами государства, как часть целого, органически связанную с ним. Для графа Ржевусского армия что-то отдельное, особенное, живущее собственной жизнью, вне народа, привилегированная каста, с которою должно обходиться не так, как с прочими смертными. Он называет ее «всегдашнею надежною опорой престола и отечества, истинною славой России», для него в армии зло не примешивается к добру, как во всех человеческих делах; это значило бы «клеветать на армию, марать мундир». Последнее выражение указывает уже резко на ту идеальную сферу, в которую граф Ржевусский соблазняет нас перенестись за ним. Марать мундир — как это возможно? Ну, а можно ли марать виц-мундир или фрак? Сказать, что ротным или полковым командирам случается иногда класть в карман казенные или солдатские деньги — это нетерпимо, это немыслимо, это обидно корпусу офицеров; ну а почему же, если разгласишь другой секрет и проговоришься, что исправник или судья берет взятки, это не должно оскорблять корпуса судей и корпуса исправников? Известно между прочим, что армии составляются не все из отборного человечества, а судьи и исправники — цвет общества, его лучшие члены, избранники высшего сословия, того сословия, которое, по красноречивому выражению манифеста, названо умом и душой народа.

Из этого выходит, что марать ничего нельзя и что придется ни о чем не говорить, потому что, говоря, непременно обидишь какой-нибудь корпус. Мы знаем однако ж, что напечатаны записки Иосифа, наполеоновского короля. В них замаран мундир, да и какой еще нарядный: маршала Франции, знаменитого Массены. Оказалось, что он был, несмотря на свою храбрость и славу, тоже на руку не чист, и, не оправдываясь в обвинениях, взведенных на него, исчислял только свои похищения по особой гомеопатической арифметике. «Я велю произвести в Падуе формальное следствие»,— писал Наполеон,— «ибо нельзя потерпеть такого грабительства. Допустить, чтобы солдат умирал с голоду и оставался без жалованья, это слишком нагло... Уже найдены четыре миллиона, пущенные в оборот Массеной; остается отыскать два остальные». Целый мир прочел эти записки, и никому, однако ж, не пришло в голову, что таким обличением запятнан мундир французских маршалов и пройдены без внимания честь, самоотвержение, доблести французской армии.

А англичане, эти-то господа, каких мундиров не марают, и спрашивается: у кого, однако ж, более выражается уважения и любви к своей армии, да на деле, а не в пустых фразах? Не вчера ли, не сейчас ли на столбцах английских журналов всевозможные мундиры были смешаны с грязью из этой любви, из этого уважения к армии? Она гибла с голоду и холоду, в болезнях и страданиях от небрежности, непредусмотрительности и злоупотреблений так называемого начальства, от скверных действий администрации, и Англия подняла вопль, который огласил все углы земного шара. Англия не затруднилась опасениями: что подумают свои, как станут судить иностранцы?

Что будет говорить
Княгиня Марья Алексевна? [1]

а без всяких китайских церемоний употребила всю желчь языка, весь пыл души, чтоб опозорить свою военную администрацию, и эта гордая откровенность, это серьезное участие к сущности дела, а не к его околичностям были признаны миром за новый симптом величия Англии. Последствия этой нескромности из-

[1] Из комедии А. Грибоедова «Горе от ума».

вестны свету. Первая английская армия погибла в Крыму, но зато из вновь прибывших войск не пропал уже ни один человек от дурных дел администрации, и, как говорит «Военный Сборник» в прекрасной статье г. Обручева, «если нельзя сказать, чтоб Англия давала каждому более чем должно, то, по крайней мере, с уверенностью можно засвидетельствовать, что она окружила солдата такими удобствами и попечениями, каких не оказала своим защитникам никакая другая держава». Боже мой, да что же это? Когда же мы-то отделаемся от допотопных понятий и сложим их на веки вечные в архив? Вопрос не о мундире, а о чем-то поважнее всех мундиров,— о России, которую тоже не следует марать. Для ее великой будущности нужны другие материалы мысли. Иногда под словами ускользает от нашего собственного внимания их таинственный смысл. Под честью, доблестью, самоотвержением, под самыми пышными выражениями может укрыться скудное содержание, отжившее учение о восточных кастах. Если все придерживаться азиатской пословицы, что «не должно выносить сору из избы», то не худо подумать, какова будет изба, когда эта драгоценность сбережется в ней вся налицо. Граф Ржевусский в разгаре своей статьи возглашает: «прочь этот насмешливый тон, будем говорить серьезно!» Как это хорошо, что может быть приятнее серьезного разговора! Да к чему поведет он? Точно ли доставит большое удовольствие? Но делать нечего, будемте серьезны. Мы уже сказали, что в разбираемой нами статье армия названа «всегдашнею Надежною опорой престола и отечества, истинною славой России». Если пошло на серьезность, то необходимо признать, что армии имеют двойной характер, охранительный и завоевательный. Под этими только двумя определениями они занимают законное место в истории. Хотя в завоевании есть грубое насилие, но оно совершалось часто во имя высшей образованности, во имя великих идей, оно освежало поколения, расчищало поле для новых деятелей и тем находило себе оправдание перед человеческою совестью. Но всякий раз, как армии подчинялись какому-нибудь третьему направлению, выступали из круга, предназначенного им, то не оставляли по себе ничего, кроме печальных воспоминаний о диких событиях. Завоевательный характер теряется, делается невозможным, но ни ему, ни характеру охрани-

тельному не идут выписанные нами выражения. Это уже новое, третье значение. В охранении и завоевании нет понятия опоры. Она принадлежит особенным эпохам: другому беспорядку вещей, римским легионам во время падения империи, язычникам-преторьянцам. Точно, на них опирался сокрушающийся престол, но они не спасли его. Армии не были никогда и не могут быть надежною опорой престолов. Он опирается на идею, которую видит в нем народ, на инстинктивную веру этого народа, на духовную связь с ним. Нет, граф, армия, которая есть и будет всегдашнею надежною опорой русского престола, сильнее, многочисленнее и непобедимее нашей армии в мундирах. Странно, иногда автор хочет сказать одно и говорит другое! Опора престолов именно тогда и бывала ненадежна, когда она опиралась на армию. Какой армии надо еще лучше, как Наполеона I, и что же сталось с ним, с его гренадерами и со старою гвардией, когда сочувствие народа отложилось от него и ему не было другой опоры, кроме маршалов да солдат? Нехорошее, грустное событие, что он продолжал опираться на них. Это уже употребление чистой материальной силы, без всякой примеси духа.

Если вы встречаете в современной истории явление, показывающее ясно, что престол опирается на армию, то не правда ли, что при различных вопросах о нем, главную роль играет сомнение — долго ли продержится он? Вот как ненадежна опора, доставляемая армией.

Наконец, должно ли говорить все серьезно, должно ли сказать, что и истинная слава зависит не от армии, а от тех идей, которые зарождаются в народе, от того духа, который живет в нем, от учреждений, под сенью которых он благоденствует, от материального, нравственного и умственного капитала, который вносит в развитие человечества.

Армия велика не собственным величием, а величием того, что охраняет и во имя чего идет на смерть. Армия — посланница бесплотных сил народа; от них заимствует она свое значение и могущество. Не победа дает истинную славу, а та идея, для осуществления которой победа совершена. Идея же принадлежит не армии. Если бы было иначе, то история не нашла бы довольно благословений для армий Тамерлана и Атиллы. Ведь они были победоносны и как еще победонос-

ны! В подкрепление выпишем из другой статьи г. Обручева в «Военном Сборнике» следующие замечательные строки: «Не в казармах скрывается сила, — говорит Паксан,— история лучше всего свидетельствует, где искать ее.— В 1792 году, с одной стороны, были французские волонтеры, собравшиеся под знамена прямо со школьных скамей или от сохи, с другой — соединенные армии Европы; но на чьей стороне осталась сила? В 1810 году Испания остается без войск, ее защищают составленные на скорую руку дружины поселян и монахов, с другой стороны, являются армии Наполеона, генералы Наполеона и сам Наполеон, но на чьей стороне остается сила? — Нет, значит, возможности отвергнуть, что главная сила государства лежит в народе: что возможно с народом, того далеко нельзя достигнуть с одним войском, и отныне те правительства будут сильны, которые тесно связаны с народом, умеют развивать внутренние его средства и на них создают величие страны». Вот где надежная опора, вот на что надо опираться. Это говорит француз, а французы тоже преисполнены воинственного духа, горды и тщеславны своею армией. Это убеждение не ничтожного светского человека, который хочет похвастаться своим ремеслом и завидует высшему призванию. Паксан сам военный, да какой еще военный: кто не слыхал о его пушках? Класть в основании журнала «честь, самоотвержение, доблесть!» «Марать мундир», «надежная опора», «истинная слава!» Мы не потому возразили на эти мысли, что они ложны; мало ли ложных мыслей? Да и на что нам требовать от других одних только правильных и истинных рассуждений? Наши опровержения сделаны по той единственной причине, что такого рода мнения имеют иногда влияние на государственную жизнь и мешают развитию нравственных и умственных сил народа.

Что в основу статьи графа Ржевусского положено понятие о касте, может быть, невольно, может быть, бессознательно, это до того справедливо, что ему неприятна всякая мысль, которая переносит армию с отведенной ей планеты, из мира фантазии на нашу многогрешную землю, приводит в общение с народом, ставит в зависимость от него и из этого источника заставляет черпать свое могущество, свое значение и свое право на добрую память истории. Г. Обручев в той же статье «Военного Сборника» говорит между

прочим: «Следовательно, политическое достоинство государства должно быть главным образом основываемо не на армиях и флотах, а на совокупности всех, нравственных и материальных сил государства, источником которых служит народ... Как струя фонтана, по естественному закону равновесия, никогда не бьет выше уровня воды в резервуаре, так и могущество государства не может быть поддерживаемо армией выше уровня, представляемого развитием внутренних сил народа».

Граф Ржевусский иронически выписывает некоторые строки из этого отрывка; «подобного рода мысли», замечает он мимоходом, «не соответствуют назначению военного журнала». Это уже и не доказывается; это ведь так очевидно. Для военного журнала мало, непристойно, если мысль глубока, верна и прямо относится к делу. Нужны мысли какие-то отличные, военные.

Восставая на сравнение армии с фонтаном, сделанное г. Обручевым, граф Ржевусский, однако ж, сам предается наклонности сравнивать. Это самая серьезная часть его статьи. «Сознание святости защищаемого дела руководит им». Он опирается уже не на армию, а на историю, вызывает из могил страшные тени и принуждает их свидетельствовать, что нет ни малейшего сомнения в истине его показаний. Тут-то, согласно преданиям, выводятся на сцену, как неизбежные наперсники в классических трагедиях, враги общественного порядка. Союзники иногда хорошие, опора довольно надежная. «В прошлом столетии», так напечатано в статье графа Ржевусского, «враги общественного порядка во Франции нападали на священников, внушавших повиновение законной власти, и дерзнули писать сначала против духовенства, преследуя его мнимые и действительные недостатки, а потом открыто восстали против церкви и Бога. Пусть поймут этот намек те у нас, которые начинают клеветать на армию» и пр. и пр.

Это называется намеком! Как не понять — поняли. Не слишком ли уж это серьезно? Мы не станем оспаривать сравнения; нам как-то не по душе, неловко и неудобно защищать Сборник в этом отношении. Мы предоставляем суду самих читателей оценить побуждение, цель и меткость этого тонкого, чуть-чуть уловимого глазом намека. Мы намерены побеседовать о нем

настолько, насколько он затронул вообще историю и литературу. Есть люди, которые ничего не читают, а судят и рядят о влиянии литературы по наслуху, по нескольким строкам, по одному слову. Она составляет для них что-то неизвестное и таинственное. Чего иной человек не знает, то он расположен или презирать, или ненавидеть. Таинственность же возбуждает грезы воображения. Эти люди подвержены странным крайностям и непостижимым противоречиям. В жизни, в действии они обращаются со всем, что относится до литературы, запросто, без всяких церемоний. Тут она является какою-то приживалкой, Христа ради, в богатом и знатном доме. В то же время, с одной стороны, приписывается ей такое могущество, что пред ним пушки, штыки, сама армия — прах и паутина, а с другой — что это могущество вечно употреблялось на одно зло. Ведь как вы думаете? Все перевороты на земном шаре произведены единственно литературой. О революции французской говорить нечего: ясно как день, что у нее нет других причин. Это все наделали писатели. Ну да Тарквиний был изгнан из Рима разве за Лукрецию? Помилуйте, против него писали. Его погубила литература, которой только следов не открыли еще ученые. И каково? Несмотря на ее предосудительное поведение, отделаться от нее нет никаких средств. Она совершенно необходима даже тем, которые нападают на нее, и необходима в практическом смысле. Она существенное, неизбежное, ничем неотвратимое выражение духовной природы человека. Ее считают злом; это хуже, чем клеветать на армию, это поносить разум и желать от людей одних животных инстинктов. Она в государственной и общественной жизни,— мы говорим о жизни нормальной,— есть стихия, действующая совокупно с другими. Какого же рода это действие? Литература предъявляет вечные требования духа и временные той среды, где поднимает голос. Временные требования принимают всегда формулу отрицания. Это непреложный закон, прирожденный сущности вещи. Человеку свойственно, как существу нравственному, желание быть завтра лучше, чем он был вчера, и обществу, чтоб оно могло существовать, необходимо то же стремление. Но тут и оканчивается сравнение. Человек может не поправлять вчерашних ошибок, полюбить свои недостатки, пороки и проволочить кое-как свою дрянную жизнь; общество, если у него

есть будущность, если Провидение определило ему какую-нибудь цель, не в силах, хотя бы и желало, обречь себя на такое бедственное существование. Роковая сила влечет народы, предназначенные просвещению, каждый день к большей доле правды, добра и благоденствия. Это делается помимо человеческой воли, творчеством жизни. В осуждение того, что было вчера, есть то, что будет лучше завтра. Потому-то отрицание,— разумеется, исполненное мысли и таланта,— есть не признак вражды и не семя разрушения, а чаяние, предчувствие, совершенно естественное и законное явление, ступень, которую неминуемо надо перейти, чтобы подняться на высоту. История свидетельствует, что не без пользы действовало в ней отрицательное направление и что никакие ужасы не могли уничтожить его в человеческой природе. Желая, чтоб наши слова не были перетолкованы в том смысле, какого не имеют, мы позволим себе заметить, что признаем законность отрицания в приложении к «временным, случайным» явлениям. Теперь, кажется, можно обратиться прямо к вопросу. Из сказанного следует, что нельзя отрицать будущего, оно неизвестно, отрицается вчерашнее или настоящее: нельзя отрицать того, чего нет, отрицается существующее. И опять, если призвать на помощь историю, она оправдает наши слова. Литература в своих временных требованиях и указаниях ничего не выдумала и ничего не создала. Она следовала за явлением, никогда не предшествовала ему. Граф Ржевусский смотрит и на нее как на армию, с какой-то идеальной, лирической точки зрения. Ее дело было самое простое и не такое уж всемогущее. «Враги общественного порядка в прошлом столетии начали сначала писать против духовенства»! Благородное перо г. Громеки заметило уже в «Русском Вестнике», что писание это началось еще в XII веке; но куда уж поднимать на ноги всю историю, тут не до ученых споров; мы хотим только спросить: что ж, писатели прошлого столетия уничтожили благоговение к западному духовенству? Что ж, враги общественного порядка, как Вольтер с братией, поколебали тиару на главе римского первосвященника? А инквизиция, а костры, а продажа индульгенций, а разврат западного духовенства, а кровь народа, которую оно сосало, как вампир, во имя спасения души и правосудного Бога, а Александр Боржио? Эти «дей-

ствительные недостатки», повторяя миротворное выражение графа Ржевусского, куда нам их девать, чтоб утвердить баснословное влияние писателей на безграмотные массы и на дух разрушения, который вторгся, наконец, в этот удивительный общественный порядок? Мы уж не станем напоминать, что реформация в XVI веке нанесла удар католическому духовенству немного почувствительнее, чем писатели прошлого столетия. Литература обнаруживает негодование, ропот, страдания, зло, когда они уже тут, налицо, но не сочиняет и не производит их. Для этого имеется автор другой, более красноречивый, более понятный и чрезвычайно популярный. Это капля воды, падающая в продолжение веков на камень в одну и ту же точку; это будничная жизнь, ее мелкие подробности, которые мешают легким дышать свободно и сердцу спокойно биться; это сила, употребляемая там, где она внушает презрение; это страх всего, чего не должно бояться, и наглая дерзость пред каждою святыней человеческого чувства. «А потом восстали открыто против церкви и Бога». То есть, сперва писали, потом действовали. Мы уже заметили, что многие любят приписывать французскую революцию влиянию литературы. Но ведь это страшное, исключительное и знаменательное событие обсуждено уже великими умами. Причины его раскрыты. Европа и целый мир приведены были в ужас не от того, что несколько неблагонамеренных людей сговорились между собою писать статейки да книжки и перевернуть Францию вверх дном, не от того, что враги общественного порядка, вооруженные перьями и хитростями языка, подожгли ее, прельстили, надоумили. Оказалось, что друзья порядка хлопотали усерднее врагов. Враги в совершенной зависимости от друзей и тогда только делаются сильны, когда друзья потрудятся перепутать все и станут в тупик. Грозная буря принеслась издалека. Она скопилась не в тиши литературных кабинетов и не на чердаках бедных писателей прошлого века. Они, правда, походили на сверкание молнии, по которому можно догадаться, что туча заряжена громами. Люди знающие утверждают, что французскую революцию готовила вся прошлая история Франции, что интересы народа, оскорбленные во всех отношениях, и сатурналии опьянелых властей играли тут первостепенную роль, что наконец семя переворотов, постигших Францию, лежит в самом ха-

рактере французов. Но не сама ли революция это свидетельствует, между прочим, что если литература не мила иным друзьям порядка, то и настоящие враги его не очень жалуют ее. Кто послушался писателей, тронулся их красноречием и увлекся их талантом? Не все ли они сложили головы, потому что не в силах были получить какое-либо влияние? Не оставались ли долее других только те, кого нельзя назвать писателями, эти рабы кровожадной массы, которые не управляли ею, а подчинялись ей и которым диктовала она свои животные инстинкты? Если все беды происходят от врагов общественного порядка, называемых писателями, то кто же в настоящее время виной беспорядков в папских владениях? Неужели тайные агенты? Тайная переписка? Действие такого гомеопатического яда, такой нелепости доказывать нельзя, хотя граф Буоль в недавней депеше и старается выгородить свою Австрию под этим жалким предлогом. Папа окружен одними друзьями порядка, писателей нет, следовательно, ничего не пишут, журналов — одна только официальная газета, да две-три иностранных и то не в полном количестве нумеров, книг, кроме благонамеренных, не увидишь в глаза, следовательно, ничего не читают,— чего бы, кажется, лучше,— царство небесное, а между тем понадобились чужие пушки и приятельские штыки. Если писатели могут быть опасны для общественного порядка, если гласное указание на язвы общества бывает гибельно для него, то каким образом объяснить, не говорим уже благоденствие и могущество, а просто существование Англии? Чего там не пишут и чего не говорят? Ей этого мало. У нее — «милости просим» врагам общественного порядка с целого света, да еще не заставишь ее никаким образом принять на себя труд побеспокоиться сколько-нибудь при посещении этих незнакомых гостей. Во Франции и писали и была революция. В Германии писали гораздо больше, гораздо разрушительнее, гораздо научнее, а революции не было.

Движение 1848 года последовало недавно, и его сравнивать с французскою революцией было бы бессмыслицей. Но мы могли бы продолжить нашу статью в бесконечность, если бы захотели пересчитывать события истории, которых не объяснить влиянием писателей. Друзьям порядка в превратностях исторической жизни встречалась иногда надобность отвести на них

глаза зрителей, чтобы по чувству христианского смирения самим не выставляться на первом плане. Им случалось приписывать хаотическое состояние обстоятельств не своей неспособности, а чужой злонамеренности. Некоторые из них любили поднимать тревогу, нарушать мир и тишину, пугая легковерных людей призраками, чтобы самим явиться потом в образе ангелов-хранителей от этих несчастий ада, рисуемых часто лукавым или слишком трусливым воображением. Пускай другим странам чудятся привидения, пускай другие ступают робко по историческому пути, озираясь на все стороны. В России живет дух порядка несокрушимого. Ей не настоит надобности в излишней заботливости друзей, в их чересчур нежной и обязательной предусмотрительности. Россия не такой больной, чтобы доктор смел побояться назвать ей ее болезни. Опасно не то, что литература произведет дурное действие, а скорее то, что, пожалуй, действия-то не окажется никакого. Откровенный говор литературы, особенно в наше время, более, чем во все прошлые века, и нужен и благодетелен. При уничтожении пространств, при непомерном передвижении масс, при возрастающем общении людей, ну, теперь ли думать о том, что никто не увидит, никто не проведает и что именно «незваные и не знающие дела обличители» дадут честное слово держать себя в пределах скромности и свято хранить секреты? Литература, перенося вопросы в сферу мысли, уничтожает в толках их баснословный характер и кладет печать молчания на уста непризванных и незнающих. Теперь, более чем когда-нибудь, она одна в состоянии умерять преувеличенные слухи, обуздывать бред воображения, выводить напоказ невежество, которое разглагольствует охотно, рассказывая какие-то диковинки и в грязной комнате и в нарядном салоне. Литература отнимает у страсти, которая не может выговориться, ее сосредоточенность и мрачность, а у зла его подспудную, разъедающую силу; она вернее всех справок доищется причин, угадает последствия, укажет на нелепость врагов и на тупоумие друзей.

Справедливость требует заметить, что теория графа Ржевусского, если нашла противников, то не осталась и без последователей. Кто-то П. К. в «Русском же Инвалиде» пришел от нее в неописанный восторг и выразил громогласно от лица старых и молодых

солдат, употребляя, неизвестно по какому праву, выражение: «все мы признательны за голос, поданный в защиту армии».

Эта статья безыменного автора не требует опровержений, ибо с начала до конца проникнута наклонностью к духовному самоубийству. Автор, как нарочно, с каким-то злым умыслом, в видах непостижимой дипломатической тайны, сделал много выписок из «Военного Сборника» и выписал не слабые места, а только те, на которых читатель остановится непременно с напряженным вниманием и непременно скажет себе: «Да, правда, тысячу раз правда».

В заключение мы не можем пропустить без внимания нововведения, сделанного графом Ржевусским. Зачем в его подписи под статьей обозначено его высокое звание? До сих пор знаменитые писатели России — Державин, Дмитриев, граф Уваров, подписывались под своими литературными произведениями просто, не прибавляя: министр юстиции, министр просвещения, действительный тайный советник. Они не прибегали к бесполезной мере. Им было хорошо известно, что у литературы есть своя табель о рангах; что по этой табели голое имя Шекспир значит — фельдмаршал, а что рядовую мысль не произведет в офицерский чин никакая подпись.

ПРИМЕЧАНИЯ

Творческое наследие Н. Ф. Павлова довольно обширно, но до сих пор целиком не собрано и не издано.

При его жизни вышли два сборника прозы: «Три повести», М., 1835 («Именины», «Аукцион», «Ятаган») и «Новые повести», СПБ, 1839 («Маскарад», «Демон», Миллион»).

Из критических работ — опубликованные первоначально в «Московских ведомостях» (№№ 28, 38 и 46 за 1847 г.) письма Павлова к Гоголю были перепечатаны в «Современнике» (1847, т. III, № 5, Смесь, с. 1—16; т. IV, № 8, Смесь, с. 88—93) и записи неоднократно переиздавались в досоветский период.

Опубликованная в «Русском вестнике» (тт. III и IV, 1856) рецензия Павлова на комедию В. Сологуба «Чиновник» вышла отдельным изданием (М., 1857). Остальные прозаические и критические работы Павлова выходили при его жизни в периодических изданиях.

Стихи Павлова также разбросаны в самых различных периодических изданиях и частных альбомах. В дореволюционный период они не были собраны и отдельным изданием не публиковались.

В 1889 г., четверть века спустя после смерти писателя, составитель первого библиографического списка произведений Павлова С. И. Пономарев сетовал на то, что «никто не позаботился издать собрание ... произведений» Павлова, хотя и «заходила ... речь об издании их» [1].

Библиографический список работ Николая Филипповича Павлова, подготовленный Пономаревым, составляет 65 произведений.

Эпистолярное наследие писателя в публикациях также представлено неполно. Это циклы писем, отрывки из них, оказавшиеся в материалах, посвященных другим литераторам; письма и отрывки из писем: П. А. Валуеву, И. Е. Великопольскому, А. В. Веневитинову, М. Н. Каткову, А. А. Краевскому, В. Ф. Одоевскому, М. П. Погодину, С. П. Шевыреву. Мы не указываем письма Павлова Гоголю, которые по своему жанру являются критическими статьями.

В советский период изданы сборники: Павлов Н. Ф. Три повести. Л., 1931. Вступительная статья Н. Степанова; Павлов Н. Ф. Повести и стихи. М., 1957, подготовленный Н. А. Трифоновым и Б. В. Смиренским; Н. Ф. Павлов. Три повести, ГИХЛ, М., 1959, вступительная статья Н. Трифонова; Н. Ф. Павлов. Сочинения. М., 1985, «Советская Россия», послесловие Л. М. Крупчанова.

---

[1] Сб. отд. русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. X, VI, № 3; Материалы для истории русской литературы. Н. Ф. Павлов (1804—1864). С. И. Пономарев. С. 3.

В советском литературоведении наиболее известными исследователями творчества Павлова являются Н. А. Трифонов и В. П. Вильчинский.

К книге В. П. Вильчинского (В. П. Вильчинский, Николай Филиппович Павлов. Л., 1970) приложен значительно дополненный перечень работ и писем Павлова. В нем — 122 оригинальных и переводных произведения (включая этюды, отрывки, наброски) и около 40 писем и прошений. Всего — свыше 160 названий (сюда не вошли 60 писем Павлова Н. М. Сатину, компаньону по покупке имения Н. Огарева — Акшено).

Отрывки из писем и прошений Н. Ф. Павлова цитируются в работах Н. А. Трифонова и В. П. Вильчинского.

Как видно, в отдельных изданиях досоветского и советского периодов увидели свет около сорока произведений Павлова, что составляет приблизительно 1/3 его литературного наследия (к общему объему обнаруженных до настоящего времени его сочинений).

Сборник повестей и стихов 1957 года, изданный Н. А. Трифоновым и Б. В. Смиренским, до сих пор оставался наиболее полным собранием произведений Н. Ф. Павлова. (В сборник сочинений писателя, вышедший в 1985 году, добавлены три письма к Гоголю, несколько стихотворений, но не включены куплеты к водевилям.)

В настоящем издании избранных сочинений Павлова представлено все, что когда-либо издавалось отдельными произведениями. Кроме того, здесь — заново составленный отдел критики, в который включены лучшие рецензии и критические статьи писателя. Таким образом, данный сборник наиболее полно представляет творчество Н. Ф. Павлова.

ПРОЗА

В разделе прозы — шесть повестей, изданных при жизни автора двумя книгами. Это наиболее значительные и завершенные прозаические произведения, объединенные Павловым в циклы. Текст печатается по сборнику: «Н. Ф. Павлов. Сочинения. «Советская Россия», М., 1985. Повести публикуются в том виде, как они были изданы при жизни автора.

«Три повести»

Впервые «Именины», «Аукцион» и «Ятаган» в виде сборника опубликованы в 1835 году. Однако повесть «Аукцион» вышла в свет годом раньше, в № 9 журнала «Телескоп». Повести Николая Филипповича Павлова вызвали живейший отклик у современников. Н. И. Надеждин в журнале «Москва» № 4 за 1835 год пишет: «Они замечательны и по художественной своей отделке, но это не главное их достоинство. Г. Павлов пристально вгляделся в жизнь, которую описывает, провел ее через свое чувство и передал верно и живо».

Высокую оценку дал Пушкин. Он лишь считает не совсем типичным финал повести «Ятаган»: «Развязка несбыточна или по крайней мере есть анахронизм». Не принимает поэт в отличие

от Белинского и детализации обстоятельств в повестях Павлова, считая ее результатом влияния Бальзака, реализм которого не вполне согласовался с пушкинским: «В описаниях близорукая мелочность нынешних французских романистов»,— пишет он.

С. Шевырев отмечал, что у автора «Трех повестей» «особенно заметен дар наблюдения души человеческой» («Московский наблюдатель», 1835, ч. 1).

Высокую оценку дали Гоголь, Белинский, Тютчев, Чаадаев (он назвал повести «событием в современной литературе»).

Отрицательный отзыв О. Сенковского на эти произведения был опубликован в «Библиотеке для чтения». Автор утверждает, что Павлов только «будет писать хорошо», а «в этих повестях нет никакой идеи... Это частные случаи, обстоятельства исключительные, изъятые из общей, повсеместной жизни, которые прилагаются только к тем, кто в них находился».

Критик «Библиотеки для чтения» пытался принизить общественный смысл повестей Николая Филипповича Павлова, тогда как большинство читателей воспринимало их иначе («Библиотека для чтения», Литературная летопись, т. IX. С. 5—8).

Оценивая позднее причины полемики, вызванной «Тремя повестями» Павлова, академик М. Сухомлинов видел их в социальной направленности и правдивости произведений. М. Сухомлинов писал, имея в виду прежде всего повесть «Именины»: «Некоторые из читателей увидели в повестях Павлова затрагивание и притом опасное жгучих вопросов русской общественной жизни. Самый жгучий из них был вопрос о крепостном праве, и его-то коснулся автор в одной из своих повестей». Высоко оценивает академик Сухомлинов и талант писателя: «Современные Павлову ценители и судьи ставили ему в особенную заслугу изящество, светские приемы и благовоспитанность его языка. В отношении же ко внутреннему достоинству его повестей, признавали за автором большую наблюдательность, мастерство в изображении великосветского быта и говорили, что его повести похожи на «быль» («Эпизод из литературы 30-х годов» — Три повести Павлова. Древняя и новая Россия, т. 1, №№ 1—4, 1875. С. 55—65).

Министр народного просвещения С. С. Уваров во всеподданнейшем докладе Николаю I отметил сильное влияние книги Николая Филипповича Павлова на общество и просил удостоить ее прочтения. Прочитав книгу, Николай I был удивлен тем, что цензура пропустила «Ятаган». Немедленно был вызван в Петербург цензор И. М. Снегирев, с которого взяли письменные объяснения на все сомнительные места. Цензору дали строгий выговор с предупреждением о судебной ответственности в случае повторения подобных проступков. Выговор получил и председатель Московского цензурного комитета Д. П. Голохвастов. Николай I заинтересовался Павловым. По приказанию обер-полицмейстера из типографии Степанова (где печаталась книга писателя) была изъята виньетка: чудовище, которое поражает кинжалом невидимая рука, с надписью по латыни — «домашние дела». Затем последовало запрещение переиздавать книги Павлова. Писатель безуспешно пытался переиздать «Три повести» в 1858-м и в 1863-м годах.

Удалось это сделать только после Октябрьской революции.

В настоящем сборнике данные произведения Павлова публикуются в том виде, в котором они издавались самим автором, то

есть двумя циклами по три повести в каждом под соответствующими названиями: «Три повести» и «Новые повести». Обоим циклам предпосланы эпиграфы.

Именины

Впервые опубликовано в Сборнике «Три повести». М., 1835.

С. 18. *Шекспир Уильям (1564—1616)* — английский драматург и поэт эпохи Позднего Возрождения.

С. 23. *«Зачем, зачем вы разорвали // Союз сердец?»* — Первые строки из баллады В. А. Жуковского «Алина и Альсин».

«Погасло дневное светило» — Строка из одноименного стихотворения А. С. Пушкина.

С. 27. *Ватерлоо* — село в Бельгии, южнее Брюсселя, где в период «Ста дней» Наполеона 18 июня 1815 г. англо-голландские войска Веллингтона и прусские войска Блюхера разгромили армию Наполеона.

С. 31. *Чекан* — духовой музыкальный инструмент из дерева наподобие флейты.

С. 33. *Гайдн Франц Йозеф (1732—1809)* — австрийский композитор.

Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791) — австрийский композитор.

С. 39. *Гамлет* — главный герой одноименной трагедии Шекспира.

Каин — в библейской мифологии старший сын Адама и Евы, земледелец, убил из зависти брата Авеля — «пастыря овец», за что был проклят богом и отмечен особым знаком («Каиновой печатью»).

С. 40. *Исправник* — в старой России глава уездной полиции.

Зерцало — эмблема «законности» в царской России в виде треугольной призмы, увенчанной двуглавым орлом. Призма была оклеена Петровскими указами. Зерцала стояли на столах в судах и других государственных учреждениях.

Аукцион

Опубликовано впервые в журнале «Телескоп», 1834, ч. XIX, № 1; затем — в Сб. «Три повести», М., 1835.

С. 44. *Кастиль-Блаз (1784—1857)* — французский писатель и музыковед.

Новерр (1727—1810), Вестрис (1729—1808), Дюпор (1782—1853) — французские балетмейстеры.

Дидло (1767—1837) — известный в свое время балетмейстер Петербургского балета.

Зефир — в греческой мифологии бог теплого западного ветра.

С. 45. *Флора* — в римской мифологии богиня весеннего цветения.

Чайльд-Гарольд — герой поэмы английского поэта Байрона «Паломничество Чайльда Гарольда». Символ разочарованного, индивидуалистически настроенного человека.

С. 46. *Ток* — женский головной убор.

С. 47. *«Церковь богоматери в Париже»* — имеется в виду роман В. Гюго «Собор Парижской богоматери» (1831).

Эстамп — оттиск с гравюры.

Вернет, Верне К. Ж. (1714—1789) — французский художник-маринист.

Ятаган

Написан в 1833 г. Впервые напечатан в книге «Три повести», М., 1835.

С. 53. *Темляк (тюрк.)* — петля из ремня или ленты с кистью на конце, носится на рукоятке шпаги, сабли.

Юнкер — в старой армии унтер-офицер из дворян или курсант военного училища.

Корнет — младший офицерский чин в русской кавалерии.

Андриё — владелец ресторана в Петербурге.

С. 55. *Кинбурнская коса* — узкая песчаная полоса между Днепровско-Бугским заливом и Черным морем, где в 1787 году войсками Суворова был разбит турецкий десант.

Измаил — считавшаяся неприступной турецкая крепость на Килийском рукаве Дуная, взятая штурмом войсками Суворова во время русско-турецкой войны 1787—1791 гг.

Потемкин Григорий Александрович (1739—1791) — государственный и военный деятель времен Екатерины II. С 1784 г.— генерал-фельдмаршал, в русско-турецкую войну 1787—1791 гг.— главнокомандующий русскими войсками.

С. 59. *Иван Купала* — в славянской мифологии народный праздник в ночь на 24 июня в честь Рождества Иоанна Крестителя (Предтечи).

С. 63. *Сераскир-паша* — главнокомандующий турецкой армией.

Трехбунчужный паша — высокопоставленный сановник в Турции, знатность которого определялась числом бунчуков — конских хвостов, укрепленных на древке.

С. 64. *Монмартр* — в те времена пригород Парижа, возвышавшийся над городом как стратегически важная позиция.

Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826) — известный в свое время французский трагический актер. Создатель «Театра Республики» в период Великой Французской революции.

С. 65. *Герольдия* — в старой России орган в составе Сената, ведавший учетом дворян на государственной службе и охранявший их сословные привилегии. Герольдия вела родословные книги, составляла гербы.

С. 67. *Аксельбант* — плетеный шнур (золотой, серебряный или цветной) с металлическими наконечниками. В старой армии — принадлежность формы одежды адъютантов, офицеров генштаба и жандармов.

С. 70. *Камер-юнкер* — младшее придворное звание в Российской империи.

С. 76. *Фурии* — в римской мифологии богини мщения, обитающие в подземном царстве.

С. 82. *Герцогиня Абрантес (1754—1838), Дельфина Ге (1804—1855)* — французские писательницы.

Мисс Тролопп (1791—1855) — английская писательница.

С. 94. *Дирекция* — направление.

«НОВЫЕ ПОВЕСТИ»

Вышедшие в 1839 году «Новые повести», в состав которых входят три произведения Н. Ф. Павлова, написаны и опубликованы в разное время. Повесть «Маскарад» была первоначально напечатана в журнале «Московский наблюдатель», 1835, ч. III. Затем вместе с повестями «Демон» и «Миллион» вошла в сборник «Новые повести», СПБ, 1839. «Демон» и «Миллион» написаны в 1837—1838 годах. «Новые повести» были встречены гораздо сдержаннее. Белинский дал им более спокойную оценку, нежели предыдущим произведениям, а в некоторых других отзывах «Новые повести» получили у него отрицательную оценку. Отрицательно отозвались о «Новых повестях» Булгарин, Сенковский, Греч в «Сыне отечества» и «Библиотеке для чтения». Что касается Белинского, то он, конечно, не мог согласиться с мнением Шевырева, ставившего Павлова выше Гоголя. Реакционная же критика увидела в «Новых повестях» продолжение антикрепостнических тенденций его первых работ, хотя выражены эти тенденции были несколько слабее.

Книга открывалась эпиграфом: «Не испытуй сердца человеческого (из законов Ману [1])».

«Новые повести» впервые переизданы в Сб. «Н. Ф. Павлов. Повести и стихи». ГИХЛ. 1957».

Маскарад

Впервые напечатан в журнале «Московский наблюдатель» в 1835 г., ч. III, затем — в Сб. «Новые повести», СПБ, 1839 г.

С. 109. *Диана* — в римской мифологии богиня Луны.

С. 110. *Рубенс Питер Пауэл (1577—1640)* — фламандский живописец.

Ван-Дейк Антонис (1599—1641) — фламандский живописец, ученик Рубенса.

Тициан (Тициан Вечеллио) (ок. 1476/77 или 1489/90 — 1576) — итальянский живописец, глава итальянской школы Высокого Возрождения.

С. 111. *Пигмалион* — согласно античной мифологии скульптор, влюбившийся в собственную статую; под воздействием любви статуя ожила и превратилась в женщину, ставшую женой скульптора.

С. 112. *Ритурнель* — музыкальное вступление перед началом танца.

Визави (фр. vis-á-vis) — лицом к лицу друг к другу, напротив друг друга.

С. 113. *Фра-Диаволо* — руководитель борьбы против французского владычества в Неаполе в начале XIX века.

С. 114. *Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824)* — английский поэт-романтик.

Наполеон (Наполеон I Бонапарт) (1769—1821) — французский император в 1804—1814 гг. и в марте — июне 1815 г.

---

[1] Законы Ману — Сборник правил поведения индусов в жизни в соответствии с религиозными верованиями. Содержит правила судопроизводства и управления государством. Приписывается мифическому прародителю людей Ману.

С. 123. *«Наполеон зачеркивал Бурьеня», Бурьен (1769—1832)* — секретарь Наполеона, оставивший свои воспоминания о нем.

С. 132. *Балюстрад, балюстрада (фр.* balusfrade) — невысокое ограждение лестниц, террас, балконов.

С. 148. *Пенюар* (пеньюар.— *фр.)* — утренний женский капот из легкой ткани.

Демон

Впервые напечатан в книге «Новые повести», СПБ., 1839.

С. 151. *Подьячий* (подьяческий) — служитель, писец в судах в старой России.

С. 154. *Станислав, Анна* —названия орденов в царской России.

С. 158. *Талейран Ш. М. (1754—1838)* — французский дипломат, мастер тонкой дипломатической интриги, беспринципный политик.

С. 164. *Чухна* — финка.

С. 168. *Вавилонское столпотворение* — библейский миф о попытке построить после всемирного потопа г. Вавилон и башню до небес. Разгневанный этой дерзостью бог «смешал» языки людей, так что они перестали понимать друг друга и рассеялись по всей земле. (*Переносное* — суматоха, беспорядок).

С. 172. *Мальтус Т. Р. (1766—1834)* — английский экономист. Основоположник антинаучной теории, согласно которой безработица при капитализме — результат «абсолютного избытка людей».

С. 180. *«...пиршество Балтазара», Балтазар (Валтасар)* — вавилонский царь, беспечно пировавший во время осады врагами его столицы.

С. 181. *Северная Пальмира* — название Петербурга, по образу древнего Сирийского города, отличавшегося роскошью архитектуры.

Миллион

Впервые напечатан в книге «Новые повести», СПБ., 1839.

С. 183. *Форейтор* — верховой, сидящий на одной из передних лошадей, запряженных цугом.

С 186. *«...блондовый вуаль», блонда* (от *фр.)* — шелковое кружево.

«...бастовая шляпка», баст — лыко из коры южных деревьев, заменитель соломы, иногда сам заменялся стружками, корнями деревьев.

С. 187. *Юлий Цезарь, Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 до н. э.)* — римский диктатор и полководец.

Алебарда (от *фр.)* — длинное копье, поперек которого были прикреплены топорик или секира. Оружие пехоты в XIV—XVI веках.

Буточник, будочник — до 2-й половины XIX века в России низший чин городской полиции, имевший пост в будке с черно-белыми полосами.

Консул — в Древнем Риме высшее должностное лицо, избиравшееся сроком на 1 год.

С. 189. *Дон Карлос (1788—1855)* — претендент на испанский престол (под именем Карла V) после смерти (1833 г.) своего брата, испанского короля Фердинанда VII.

Доктринеры — в период Июльской монархии во Франции и эпоху Реставрации — умеренно-консервативная партия крупной буржуазии, выступавшая за компромисс с дворянством.

С. 192. *«Свысока как Гумбольдт с Чимборазо»* — известный немецкий ученый Александр Гумбольдт (1769—1859) во время своего путешествия по южной и центральной Америке поднимался на высочайшую вершину Анд — Чимборазо.

С. 196. *Откупщик* — человек, получивший от государства на определенных условиях право монопольной торговли на какой-либо товар (например, винные откупа).

С. 205. *Мендельсон-Бартольди Якоб Людвиг Феликс* (1809—*1847)* — немецкий композитор, музыкант и дирижер.

С. 214. *Контрданс* — бальный танец, происходящий от английского народного танца.

С. 222. *Каббалистические знаки* — от др. европейского каббала (предание) — мистическое течение; в данном случае речь идет о таинственных, непонятных письменах.

С. 225. *Брюллов К. П. (1799—1852)* — русский живописец и рисовальщик.

С. 226. *Кипсек (англ.)* — прекрасное издание рисунков, гравюр.

С. 229. *Вальтер Скотт (1771—1832)* — английский писатель, создатель жанра исторического романа.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Раздел стихотворений в основном опирается также на тексты сборника «Н. Ф. Павлов. Сочинения. «Советская Россия», М., 1985 с некоторыми уточнениями их по первоисточникам.

Тексты куплетов даются по изданию: «Н. Ф. Павлов. Повести и стихи. ГИХЛ. 1957».

В раздел вошел единственный известный перевод Павловым Байрона («Оставь меня»), включены два спорных с точки зрения их принадлежности стихотворения («Север» и «На Ф. Ф. Вигеля»). Стихи Павлова полностью не собраны и не изданы. И сам автор не пытался этого сделать. Они разбросаны в самых различных изданиях, оказались в альбомах частных лиц, многие, видимо, затеряны. До настоящего издания стихи Павлова наиболее полно были представлены в указанном выше сборнике 1957 года. Стихотворный раздел настоящего сборника несколько дополнен: кроме названных выше стихотворений — «Оставь меня», «Север» и «На Ф. Ф. Вигеля», в него включены обнаруженные В. Вильчинским баллада «Страшная исповедь» и стихи «Гений, парящий над миром».

С. 240. Блестки. Басня (Из Арно) — первое из известных произведений Павлова. Напечатано в издании «Сочинения в прозе и стихах. Труды Общества любителей российской словесности при императорском Московском университете», 1823, ч. 3. С. 257. Переделка басни Арно «Пятна и блестки». Прочитана в заседании общества 9 декабря 1822 г.

Арно Антуан-Венсан (1766—1834) — французский поэт, драматург, баснописец республиканского направления.

С. 241. К... при посвящении ей перевода трагедии «Мария Стуарт». Впервые опубликовано в альманахе «Мнемозина», 1824, ч. I. С. 171—172.

Это стихотворный перевод с французской переделки (переводчик Ламерсье) трагедии Шиллера (М., 1825). Цензурное разрешение 21.2.1824 г. Премьера состоялась в Малом театре 27 ноября 1825 г.

Парни Эварист (1753—1814) — французский поэт, обновивший в своей лирике принципы классицизма элегичностью, искренностью чувств.

С. 241. Элегия («Как быстрая волна...») — опубликовано в альманахе «Мнемозина», 1824, ч. I. С. 111.

Шиллер Иоганн Фридрих (1758—1805) — немецкий поэт, драматург, теоретик искусства. Наряду с Г. Э. Лессингом и И. В. Гете — основоположник классической литературы в Германии.

С. 242. Элегия. («Мой друг, я истощил...») — опубликована в альманахе «Мнемозина», 1824, ч. II. С. 68—69.

С. 243. Песнь магометанина — опубликована в журнале «Московский телеграф», 1825, ч. IV, № 15. С. 232.

Гурия, гурии — фантастические девы, услаждающие, по Корану, праведников в раю.

С. 243. Элегия («Нет, нет! Я не рожден...») — опубликована в журнале «Московский телеграф», 1826, ч. IX, № 12. С. 153—154.

Феб (греч. блистающий) — второе имя бога Аполлона, сына Зевса, покровителя искусств.

С. 244. А. Ф. Дмитриевой, посылая ей трагедию «Мария Стуарт» — опубликовано в журнале «Московский телеграф», 1828, ч. XXII, № 16. С. 519.

С. 245. Куплеты из комедии-водевиля «Дипломат». Публикация: «Атеней», 1829, апрель, ч. II, № 7. С. 55—58. Перевод с французского комедии Скриба и Делавиня, сделанный Павловым совместно с С. П. Шевыревым. С. Т. Аксаков отмечал в рецензии, что переведенный водевиль целый год ходил по Москве «в многочисленных списках», был осыпан «похвалами за интригу и острые куплеты» («Галатея», 1829, № 26).

Делавинь Жермен (1790—1868) — французский драматург.

Скриб Эжен (1791—1861) — французский драматург.

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — поэт, критик, историк литературы, профессор Московского университета. Был близок к Павлову.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — писатель, мемуарист.

С. 248. На отъезд в Италию княгини З. А. Волконской...— Опубликовано впервые в журнале «Московский телеграф», 1829, ч. XXV. С. 177.

Волконская Зинаида Александровна (1792—1862) — княгиня, русская поэтесса, писательница. Ее салон в Москве посещали известные литераторы, в том числе А. С. Пушкин.

С. 248. Червонец — опубликовано в журнале «Московский телеграф», 1829, ч. XXV. С. 339.

С. 250. *Орест и Пилад* — герои древнегреческой мифологии, их отношения — символ неразлучной дружбы.

С. 250. В альбом к князю А. Н. Волконскому — опубликовано в журнале «Галатея», 1829, ч. 2, № 7. С. 36—37. Адресовано З. А. Волконской и А. Н. Волконскому.

Волконский А. Н.— сын княгини З. Волконской.

С. 251. Из комедии-водевиля «Стар и молод». Напечатан в альманахе «Радуга» за 1830 год. Цензурное разрешение 10.12. 1829 г. Поставлен в Москве под названием «Молод и стар женат и нет» в 1829 году. М. Погодин в письме к Шевыреву сообщал, что водевиль Павлова «имел успех блистательный» («Русский архив», 1882, III. С. 92).

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — историк, журналист, писатель.

С. 253. Куплеты из водевиля «Щедрый». «Московский вестник», 1830, ч. I. С. 131.

С. 254. В. М. Т., при доставлении ей трагедии «Мария Стуарт» — опубликовано в альманахе «Радуга», 1830. С. 309.

С. 254. Романс («Не говори ни да, ни нет...») — опубликовано в альманахе «Радуга», 1830. С. 5—10. Положено на музыку композитором А. Н. Верстовским.

С. 255. Так за насмешку в свой черед... «Радуга», 1830. С. 310. Напечатано в качестве эпиграфа к анонимному очерку «Бал» (из рукописи: Двойной лорнет). В сноске указано: «Эпиграф сей поставлен издателями, получившими сию статью от неизвестного» (там же. С. 310).

С. 255. Генриетте Зонтаг — опубликовано в журнале «Московский вестник», 1830, ч. IV, № 3. С. 94—95.

Зонтаг Генриетта (1806—1854) — известная в свое время немецкая певица, выступавшая в России.

С. 256. М. П. Погодину («О славе говорить не нужно») — опубликовано в сб. «Н. Ф. Павлов. Повести и стихи. Худ. литература, М., 1957. С. 289.

«Вестник» — журнал «Московский вестник», издаваемый М. П. Погодиным.

С. 257. Заключительные куплеты к водевилю А. А. Шаховского «Два учителя». «Молва», 1831, № 8. С. 1—2.

Шаховский Александр Александрович (1777—1846) — писатель, театральный деятель.

С. 258. В альбом ... ой («Когда грядой осенних туч») — опубликовано в журнале «Телескоп», ч. I, № 4. С. 544—545.

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий писатель и мыслитель, основоположник немецкой литературы нового времени.

С. 259. К N. N. («О память! Верная могила») — опубликовано в журнале «Телескоп», 1831, ч. III, № 11. С. 327—329.

С. 260. К N. N. («Нет, ты не поняла поэта...») — опубликовано в журнале «Телескоп», 1831, ч. VI, № 120. М. Лермонтов в послании «Сабуровой» использует в чуть измененном варианте («Нет, вы не поняли поэта...») первую строку этого стихотворения Павлова. Лермонтов в стихотворении «Г-ну Павлову» писал: «Как вас зовут? Ужель поэтом?». В свою очередь, Н. Павлов незадолго до смерти критиковал строку из стихотворения Лермонтова «Воздушный корабль» — Под небом холодным России», утверждая, что правильнее будет «холодной России» (в окончательном варианте современных изданий строка читается «Под снегом холодной России»). Н. А. Трифонов высказал предположение, что данное стихотворение Павлова также адресовано Сабуровой (См. Н. Ф. Павлов. Повести и стихи. ГИХЛ, М., 1957. С. 348).

Не исключено, что в основе взаимной неприязни Лермонтова и Павлова лежало их чувство к Сабуровой.

Бальзак Оноре де (1799—1850) — французский писатель, автор эпопеи «Человеческая комедия», состоящей из 90 романов и рассказов.

С. 261. *Рафаэль Санти (1483—1520)* — итальянский живописец и архитектор, представитель Высокого Возрождения.

С. 261. П. А. Бартеневой («Неправда! Ты не соловей!») — опубликовано в приложении к журналу «Телескоп» — «Молва», 1831, № 46. С. 315—316.

Бартенева П. А. (1811—1872) — талантливая певица-любительница, выступавшая на светских концертах.

С. 262. Отрывки из водевиля «На другой день после преставления света, или Комета в 1832 году». Переведен Павловым с французского и после значительных цензурных сокращений поставлен в Петербурге (9 октября 1832 г.) и в Москве (20 января 1833 г.).

Опубликованы в «Телескопе», 1831, ч. VI, № 24. С. 519—520; «Молва», 1832, № 8. С. 29.

С. 265. К... («Не верь ты верности земной») — опубликовано в приложении к журналу «Телескоп» — «Молва», 1832, № 52. С. 205.

С. 265. К. Б. Чичериной («Без прозы, без стихов болтливых») — опубликовано в приложении к журналу «Телескоп» — «Молва», 1832, № 52.

К. Б. Чичерина — жена друга Павлова Н. В. Чичерина.

С. 265. Ф. Д. Х<вощинско>му — опубликовано впервые с цензурными пропусками в журнале «Телескоп», 1832, ч. XII, № 23, полный текст по Сб. «Н. Ф. Павлов. Повести и стихи». ГИХЛ, М., 1957. Текст в журнале «Телескоп» с двумя примечаниями: 1) (к заглавию) «Ответ на вопрос в стихах о здоровье больного камердинера»; 2) (к слову Мара) «На границе Саратовской и Тамбовской губерний урочище, где находится село, принадлежащее Б» (имеются в виду Боратынские.— *Л. К.*). *Мара* — по-татарски — «овраг».

Хвощинский Ф. Д.— дядя жены Н. В. Чичерина.

Науки сумрачный поклонник — С. А. Боратынский — брат поэта, врач по профессии.

С. 267. Эпиграмма («Не говори, что ты в долгу передо мной»). «Молва», 1832, № 69. С. 273.

С. 268. Романс («Она безгрешных сновидений...») — написан и опубликован с нотами на музыку М. И. Глинки в 1834 году. Перепечатан в альманахе «Утренняя заря» за 1840 год. На слова этого романса написана также музыка А. С. Даргомыжского.

С. 268. «Гений мира, упований...» — опубликовано в журнале «Московский наблюдатель», 1835, март, кн. 2, ч. I.

С. 269. Куплеты, петые княгиней З. А. Волконской в Москве, на вечере у г. Соймонова...—написано в 1836 году, опубликовано в альманахе «Утренняя заря», 1840.

Соймонов А. Н. (1780—1856) — богатый помещик, устраивавший в своем московском доме любительские концерты.

С. 270. *Танкред* — главное действующее лицо в одноименной опере итальянского композитора Д. Россини (1792—1868).

С. 270. На Н. Полевого — опубликовано в журнале «Русская старина», 1904, № 4. Приводится в письме Павлова В. Ф. Одоевскому от 6 апреля 1839 года.

Павлов, используя эпиграмму А. Писарева на Мишурского (См.: Эпиграмма и сатира, т. I. Изд. «Academia», М.-Л., 1931. С. 252), заменил в 1-й строке фамилию Мишурского на Цинского и направил ее против Полевого.

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — писатель, историк, критик, журналист. Издатель журнала прогрессивного направления «Московский телеграф». С середины 30-х гг. перешел на консервативные позиции, работал в журналах Ф. Булгарина.

Цинский (Цынский) Лев Михайлович — обер-полицмейстер Москвы (1834—1845), под надзором которого находился Н. Полевой. Цинский вел «дело» Герцена и Огарева в 1834 г.

С. 270. Страшная исповедь. Баллада. Публикуется по рукописи, хранящейся в ИРЛИ. Написана в 1840 году.

С. 273. Гений, парящий над миром... Публикуется по автографу, хранящемуся в архиве ИРЛИ. Написано в 1840 году.

С. 273. <**На Ф. В. Булгарина**> («**Что ты несешь на мертвых небылицу...**»). Эпиграмма опубликована впервые в журнале «Москвитянин», 1845, ч. II, № 2. С. 87. Неоднократно перепечатывалась.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — журналист и писатель официально-реакционного направления.

С. 274. <**К графу Закревскому**> («Не молод ты, не глуп...») — опубликовано впервые в «Русском архиве», 1884, т. I в разделе «Из забытых стихотворений» без 3-й строфы. Датировано 1849 годом. Затем печатается в «Русской старине», 1891, апрель, без слова «верноподданно». Полностью — в «Воспоминаниях Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов». Слова «Мы люди смирные, не строим баррикад и верноподданно гнием в своем болоте» были широко известны в России 50—60-х годов.

Закревский Арсений Андреевич (1786—1865) — граф, московский военный генерал-губернатор в 1848—1859 гг., отличавшийся жестокостью и деспотизмом.

Беринг А. А. — московский полицмейстер, затем губернатор, бывший некоторое время в немилости у Закревского, но затем прощенный им.

С. 275. **Он вытерпел всю горечь срама...** — опубликовано в «Русском архиве», 1885, т. I. С. 142.

«Заклепы Гама» — Гам — крепость, где в 1840 г. Луи-Наполеон Бонапарт, будущий император Франции Наполеон III, находился под арестом за попытку переворота. Наполеон III бежал из Гама в 1846 году.

«Сел на французский трон» — речь идет о Наполеоне III, севшем на престол Франции в 1852 г.

Барош (1802—1870) — министр Наполеона III.

Герцогиня Теба — Евгения, дочь испанского графа де Монтихо. В 1853 г. вступила в брак с Наполеоном III и стала императрицей Франции.

Ремесленная управа — учреждение в царской России, в ведении которого находилась «Яма» — тюрьма для несостоятельных должников.

«немец» — речь идет о немецком философе-идеалисте Гегеле.

С. 275. **Что домов, что колоколен...** — опубликовано в «Отчете Публичной библиотеки за 1892 г.». Стихи приложены к письму Шевыреву из тюрьмы.

«Сын, далекий от отца» — речь идет о четырнадцатилетнем сыне Павлова Ипполите.

С. 276. **Не говори, что сердцу больно...** — впервые опубликовано в «Русском вестнике», 1856, т. III, стр. 512. Положено на музыку композиторами М. И. Глинкой и Г. И. Кузминским. Написано в 1853 году.

С. 276. **В тебе, столица, скучная...** — впервые опубликовано в «Отчете Публичной библиотеки» за 1892 год. Написано в 1853 году, под арестом.

С. 277. **А. С. Хомякову** («Лучший день весны мгновенной») — опубликовано впервые в «Русском архиве», 1877, кн. I.

С. 264—265. Написано во время ссылки, в Перми, в 1853 г. Напечатано по рукописи, хранящейся в ГБЛ.

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — поэт и виднейший идеолог славянофильства.

С. 278. Север. Стихотворение опубликовано в журнале «Русский вестник», 1856, № 6 (наряду с 6-ю другими стихотворениями: «Канарейка», «Заметка», «Ива», «Ангел», «Возрождение», «Песнь Сафо»), помечено: «1855 село Б» и подписано: «М. Павлов»; в оглавлении — «М. Н. Павлов».

Эти 7 стихов в библиографическом списке С. Й. Пономарева указаны как принадлежащие Н. Ф. Павлову.

В. П. Вильчинский в примечании к библиографии произведений Н. Ф. Павлова (В. П. Вильчинский. Николай Филиппович Павлов, Л., 1970. С. 167) не без оснований отрицает их принадлежность Н. Ф. Павлову. Однако под № 119 (там же. С. 173) одно из отмеченных стихотворений, а именно «Север», указывается Вильчинским как принадлежащее Н. Ф. Павлову. При этом Вильчинский ссылается на хрестоматию Гербеля («Русские поэты в биографиях и образцах», СПБ. 1888), где стихотворение «Север» значится под именем Н. Ф. Павлова. Стихотворение включено в настоящий сборник с учетом спорности авторства Павлова.

С. 279. Ecce Homo! («В увеселениях безвредных...») — впервые опубликовано в «Русском вестнике», 1856, т. III, № 9. С. 142, под названием «Благотворитель». Чернышевский полностью приводит это стихотворение в рецензии на книгу «Понятия Гопкинса о народном хозяйстве» («Современник», 1856, № 7). Название опущено из цензурных соображений: по Евангелию, это слова Понтия Пилата о Христе. Напечатано также в хрестоматии Н. Гербеля «Русские поэты в биографиях и образцах», СПБ, 1888.

Качуча (исп.) — испанский народный танец с кастаньетами под гитару.

С. 280. *Каватина (ит.)* — небольшая сольная вокальная пьеса лирического характера в опере или оратории.

С. 280. Оставь меня. Перевод стихотворения Байрона. Опубликовано в «Молве», 1857, № 13. Включено в сочинения Байрона: М., 1874, т. I. С. 38.

С. 280. К портрету («Иной, всю жизнь отдав заботам...») — впервые опубликовано в журнале «Заноза», 1863, № 21. Написано ранее. Неоднократно перепечатывалось. «Вестник Европы», 1871, № 9, «Русский архив», 1875, кн. II. Адресовано «К юноше, который был известен в Московском обществе чрезмерным изъявлением благоприличия и благочестия, мирившихся с добычею чинов и наград».

По другим предположениям адресат стихотворения — Ф. Ф. Вигель. *Вигель Филипп Филиппович (1786—1856)* — чиновник и писатель реакционного направления.

С. 281. <Н. А. Мельгунову> («Старый друг, верный друг...») — опубликовано в книге Б. Н. Чичерина «Воспоминания.

Москва сороковых годов», 1929. Здесь пародируется песня Земфиры из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» и высмеивается увлечение Мельгунова Фейербахом.

Мельгунов Николай Александрович (1804—1867) — писатель, критик и публицист либерального направления. Друг Павлова.

Фейербах Людвиг (1804—1872) — немецкий философ-материалист и атеист.

С. 281. Кричит в гостиных бальный мир...— опубликовано впервые в кн. «Н. Ф. Павлов. Повести и стихи». М., ГИХЛ, 1957.

С. 281. На Ф. Ф. Вигеля... Можно предположить, что автор этих сатирических стихов С. А. Соболевский (см.: С. А. Соболевский. Эпиграммы и экспромты. М., 1912). Однако Н. Берг пишет в своих записках: «Иные (ошибочно) говорили, что это стихи Соболевского» («Русская старина», 1891, № 2, т. 69. С. 26), и с совершенной определенностью указывает на авторство Павлова. Несмотря на спорность вопроса, стихи включены в настоящий сборник.

СТАТЬИ

Н. Ф. Павлов оставил после себя довольно обширное критическое наследство. И в критике он обнаружил незаурядный талант, отмеченный как его современниками, так и позднейшими литераторами.

В настоящий сборник включены лучшие его критические статьи.

Все они (кроме трех писем к Гоголю и статьи «Статский армейцу») публикуются впервые. Тексты статей взяты по их первым публикациям.

Об опере Верстовского «Аскольдова могила»

Впервые опубликовано в журнале «Московский наблюдатель», 1835, ч. III.

С. 284. *Верстовский А. Н. (1799—1862)* — русский композитор и театральный деятель. Один из основоположников русской оперы-водевиля.

Аскольд (?—882) — древнерусский князь; по преданию, правил вместе с Диром в Киеве. В 866 г. осаждал Царьград. Убит князем Олегом.

Аскольдова могила — часть парка на правом берегу Днепра в Киеве, где, по преданию, похоронен Аскольд.

С. 287. *«Элфы», эльфы* — в древнегерманской мифологии — духи природы, легкие воздушные существа в человеческом облике.

С. 288. *Святослав II Ярославич (1027—1076)* — князь Черниговский (с 1054), великий князь Киевский (с 1073). Вместе с братом Всеволодом оборонял южные границы Руси от кочевников.

Всеслав Горячиславич (?—1101) — князь Полоцкий (с. 1004). В 1066 г. захватил и сжег Новгород. В 1067 г.— в плену в Киеве. Провозглашен Киевским князем во время народного восстания (1068), после подавления которого бежал в Полоцк.

С. 292. *Перун* — бог грозы в индоевропейской и славянорусской мифологии. В IX—X веках на Руси покровитель князя и дружины. Глава языческого пантеона.

О комедии Загоскина «Недовольные»

Впервые опубликовано в журнале «Московский наблюдатель», 1835 г., ч. IV.

С. 296. *Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852)* — русский писатель, драматург. Автор известного исторического романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

С. 312. *Коллежский регистратор* — в России самый младший гражданский чин 14-го класса.

Губернский секретарь — в Российской империи гражданский чин 12-го класса.

С. 313. *Декарт Рене (лат. Картезий) (1596—1650)* — французский философ, математик, физик и физиолог. Заложил основы аналитической геометрии, дал понятие переменной величины и функции. В основе философии — дуализм души и тела.

Лаплас Пьер Симон (1749—1827) — французский астроном, математик, физик. Иностранный почетный член Петербургской АН.

Кювье Жорж (1769—1832) — французский зоолог. Один из реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии, систематики животных. Отрицал изменяемость видов.

Ньютон Исаак (1643—1727) — английский математик, механик, астроном, физик. Основатель классической физики. Открыл закон всемирного тяготения.

ПИСЬМА Н. Ф. ПАВЛОВА К ГОГОЛЮ

по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями»

По некоторым данным, Павловым было написано четыре письма. Однако опубликовано три. Белинский, позднее А. Н. Пыпин полагали, что и написано их было тоже только три. Так, А. Пыпин в книге «Белинский, его жизнь и переписка» (СПБ, 1876, т. 2. С. 282) пишет: «Третьего письма, кажется, так и не было». В. П. Вильчинский полагает, что третье письмо не было опубликовано. Об этом свидетельствует нумерация при первом издании писем в №№ 28, 38 и 46 «Московских ведомостей»: «первое», «второе», «четвертое» письма. К тому же в примечании «Московских ведомостей» было указано: «Помещение третьего письма, по обстоятельствам, отлагается до другого времени». О каких «обстоятельствах» идет речь, установить не удалось.

В том же 1847 году, по настоянию Белинского, письма Павлова были перепечатаны в «Современнике»: первое и второе — в майской книге, последнее — в августовской. В дальнейшем письма Николая Филипповича Павлова переиздавались неоднократно. Нумерация писем не всегда сохранялась: так, подряд печатает первое и второе письмо «Русский архив» (1890, № 2). Для библиотеки Московских высших женских курсов в качестве учебного

пособия было издано перед Октябрьской революцией четвертое письмо, посвященное женскому вопросу. Письма Павлова получили самую высокую оценку революционно-демократической критики — В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского.

Литераторы «аристократического» лагеря, напротив, порицали (П. Плетнев, П. Вяземский, А. Смирнова).

Гоголь сначала относился к письмам Павлова спокойно, но по мере усиления недовольства книгой, письма начинают действовать на него удручающе, и, несомненно, к Павлову относятся его слова из «Авторской исповеди»: «Не могу скрыть, что меня еще более опечалило, когда люди, также умные, и притом нераздраженные, провозгласили печатно, что в моей книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истинно. Это показалось мне жестоко» (Собр. соч. в 6-ти т., т. 6. М., 1978. С. 424). Последние слова Гоголя — цитата из эпиграфа к первому письму Павлова.

С. 314. *Лихтенберг Г. К. (1742—1799)* — немецкий писатель-сатирик и критик. Ученый-физик. Мастер социально-критического, философского и бытового афоризма.

С. 321. *Иосиф* — в библейской мифологии любимый сын Иакова и Рахили; был продан братьями в рабство и после долгих злоключений стал правителем Египта. Когда его братья, гонимые голодом, прибыли в Египет, он поселил их там.

С. 321. *Израиль (Исраэль)* — в библейской мифологии второе имя Иакова, одного из двух сыновей-близнецов Исаака и Ревекки. Откупил у брата Исава за чечевичную похлебку право первородства и затем хитростью получил благословение Исаака как первородный сын.

Моисей — в библейской мифологии предводитель израильских племен, призванный богом Яхве вывести израильтян из фараоновского рабства сквозь расступившиеся воды Черного (Красного) моря; на горе Синае бог дал Моисею скрижали с «10 заповедями». У иудаистов, мусульман и христиан — пророк.

С. 325. *Зенон (ок. 336—264 до н. э.)* — древнегреческий философ, основатель школы стоиков.

Епиктет (Эпиктет) (ок. 59— ок. 140) — римский философ-стоик, раб, позднее вольноотпущенник. Его «Беседы» содержат моральную проповедь о внутренней свободе человека.

Иов (? — 1607) — первый русский патриарх с 1589 г. Сторонник Бориса Годунова. В 1605 г. лишен патриаршества и сослан. Автор сочинений и посланий по истории России конца XVI века.

С. 330. *Мессия (от др. евр.— помазанник)*. В иудаизме и христианстве ниспосланный богом «спаситель», долженствующий навечно установить свое царство.

С. 331. *Блаженный Августин Аврелий (354—430)* — христианский теолог и церковный деятель, родоначальник христианской философии истории. Развил учение о благодати и предопределении. В католической философии его учение господствовало вплоть до XIII века.

Константин (Константин Великий) (ок. 285—337) — римский император с 306 г. Проводил централизацию аппарата, поддерживал христианскую церковь, сохраняя и языческие культы. В 324—330 гг. основал новую столицу Константинополь на месте г. Византии.

Гонорий (384—423) — император западной Римской империи с 395 г. При нем в 410 г. Рим был взят вестготами. А в 407—410 гг. происходили восстания в провинциях.

С. 334. *«...Чудная женщина Франции...»* — по-видимому, речь идет о Жорж Санд (настоящее имя — Аврора Дюпен) (1804—1876) — французской писательнице, выдвигавшей идеи освобождения личности.

С. 335. *Лемонте Пьер-Эдуард (1762—1826)* — французский историк и критик.

Прекрасная Елена — в греческой мифологии дочь Зевса и Леды, жена царя Спарты Менелая. Похищение ее троянским царевичем Парисом послужило поводом к Троянской войне.

С. 340. *Вольтер (Мари-Франсуа Аруэ) (1694—1778)* — французский писатель, философ-просветитель. Выступал против абсолютизма.

Игнатий Лойола (1491 (?) — 1556) — основатель Ордена Иезуитов, учивший, что любые преступления оправданны, если они служат на пользу церкви.

Письма печатаются по тексту сборника «Н. Ф. Павлов. Сочинения». М., «Советская Россия», 1985.

«ЧИНОВНИК»
комедия графа В. А. Соллогуба

Впервые опубликовано в журнале «Русский вестник», 1856, тт. III и IV.

С. 342. *Пифагор Самосский (6 век до н. э.)* — древнегреческий мыслитель, религиозный и политический деятель. Математик.

Катон Старший (234—149 до н. э.). Консул в 195 г. Непримиримый враг Карфагена. Автор трактата «О земледелии».

С. 371. *Капнист Василий Васильевич (1758—1823)* — русский драматург и поэт. Автор сатирической комедии «Ябеда» (1798).

С. 383. *Уложение* — устав, сборник, свод правил, законов, созданный при царе Алексее Михайловиче, в 1649 году.

БИОГРАФ-ОРИЕНТАЛИСТ

Впервые опубликовано в журнале «Русский вестник», 1857, ч. VIII, № 6.

С. 392. *Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855)* — русский историк, общественный деятель, глава московских западников. С 1839 г.— профессор всеобщей истории Московского университета.

С. 394. *Дельфийский храм* — Дельфы — город в юго-западной Фокиде, общегреческий религиозный центр с храмом и оракулом Аполлона.

С. 395. *«Да будет омрачен позором...»* и т. д.— отрывки из стихотворения А. С. Пушкина «Наполеон» (1821).

С. 396. *Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805)* — немецкий поэт, драматург и теоретик искусства Просвещения. Один из основоположников немецкого классического идеализма.

С. 398. *Платон (428 или 427 до н. э.—348 или 347)* — древнегреческий философ-идеалист. Ученик Сократа. Его учение — первая классическая форма объективного идеализма.

С. 399. *Хондемир (1475—1535 или 1536, или 1537)*—иранский историк. Автор трудов по истории Ирана и сопредельных стран.

Мирхонд Мохаммед ибн Хавандшах (1433—1498) — иранский историк. Его 7-томный труд по «всеобщей истории» долго являлся единственным источником для европейских ученых, занимающихся Ираном и Средней Азией.

С. 400. *Плюшар Адольф Александрович (1806—1865)* — русский писатель, типограф. В 1834—1841 годах издавал «Энциклопедический лексикон» (тт. 1—17, не закончен).

Сельджукиды — султаны тюркской династии, правившие в ряде стран Ближнего и Среднего Востока в XI — начале XIV в. (Тогрул-бек, Али-Арслан, Мелик-шах).

С. 402. *Бопп Франц (1791—1867)* — немецкий языковед, один из основоположников сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и сравнительного языкознания. Иностранный член-корреспондент Петербургской АН с 1853 г.

Гаммер-Пургшталь Йозеф фон (1774—1856) — австрийский востоковед и дипломат. В 1799—1807 гг. на австрийской дипломатической службе в Турции. В 1847—1849 гг.— президент Венской академии. Автор трудов по истории Османской империи.

С. 403. *Гумбольдт Александр (1769—1859)* — немецкий географ и путешественник. Иностранный член Петербургской АН.

Риттер Карл (1779—1859) — немецкий географ, автор 19-томного труда «Землеведение», посвященного Азии и Африке.

Ранке Леопольд фон (1795—1886) — немецкий историк Западной Европы.

Розе — братья, немецкие ученые: 1) Генрих (1795—1864) — разработал сероводородный метод качественного анализа и ряд методов весового, открыл ниобий; 2) Густав (1798—1893) — минералог и кристаллограф. Члены Петербургской Академии наук.

Митчерлих (Мичерлих) Эйлхард (1794—1863) — немецкий химик. Открыл явления изоморфизма и диформизма.

Савиньи Фридрих Карл (1779—1861) — немецкий юрист, глава исторической школы права.

С. 410. *«Уленька и Костанжогло»* — персонажи второго тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

С. 414. *Френ Христиан Данилович (1782—1851)* — российский востоковед, академик Петербургской Академии наук (1817). Основатель и первый директор (1818—1842) Азиатского музея Академии наук, основоположник восточной нумизматики в России. Автор трудов об арабских источниках для изучения Древней Руси.

Шмидт Яков (Исаак) Иванович (1779—1847) — русский востоковед. Один из основоположников монголоведения. Академик Петербургской Академии наук.

Ковалевский Осип Михайлович (Юзеф) (1800/01—1878) — польский и русский монголовед и тибетолог. Исследователь истории языков, литературы, этнографии монгольских народов, член Петербургской Академии.

Казем-Бек Мирза Мухаммед Али (Александр Касимович) (1802—1870) — русский востоковед, член-корреспондент Петер-

бургской Академии наук. Автор работ по истории Кавказа, Ирана, Средней Азии и работ по истории ислама.

С. 415. *Гумбольдт Вильгельм (1767—1835)* — немецкий филолог, философ, государственный деятель, дипломат. Друг И. В. Гёте и Ф. Шиллера. Основатель Берлинского университета.

С. 417. *Шамполион (Шампольон) Жан Франсуа (1790—1832)* — французский египтолог, основатель египтологии. Разработал принципы дешифровки древнеегипетских иероглифов.

С. 422. *Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831)* — немецкий философ, создавший на объективно-идеалистической основе систематическую диалектику.

Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854) — немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма. Был близок к иенским романтикам.

Кант Иммануил (1724—1804) — родоначальник немецкой классической философии. Иностранный почетный член Петербургской АН.

Шлегель Фридрих (1772—1829) — немецкий критик, философ, языковед, писатель. Ведущий теоретик йенских романтиков (основоположник учения о романтической иронии). Один из основоположников немецкой индологии.

С. 423. *Кассандра* — в греческой мифологии дочь царя Трои Приама, обладавшая даром пророчества. Парис, похитивший Елену вопреки предостережению Кассандры, тем самым способствовал возникновению Троянской войны.

Руссо Жан-Жак (1712—1778) — французский писатель и философ. Обосновал право народа на свержение абсолютизма. Представитель сентиментализма в художественном творчестве.

С. 426. *Шафарик Павел Йозеф (1795—1861)* — деятель словацкого и чешского национального движения, историк, филолог, поэт.

С. 430. *Неверов Януарий Михайлович (1810—1893)* — русский писатель, педагог.

С. 431. *Маколей Томас Бабингтон (1800—1859)* — английский историк, публицист и политический деятель партии Вигов. В 1839—1841 гг.— военный министр.

Яков II (Иаков) (1633—1701) — английский король (1685—1688) из династии Стюартов. Сын Марии Стюарт.

Карлейль Томас (1795—1881) — английский публицист, историк и философ. Выдвинул теорию «культа героев» как творцов истории.

Емерсон (Эмерсон) Ралф Уолдо (1803—1882) — американский философ и писатель.

Статский армейцу

Напечатана отдельным изданием в Германии (Наубург, 1860 г.). Перепечатана: Русское обозрение, 1898, III.

С. 439. *Генрих IV (1050—1106)* — германский король и император «Священной Римской империи» с 1056 года.

С. 441.— *«От Перми до Тавриды,*
От финских хладных скал до пламенной Колхиды» — строки из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России» (1831).

С. 445. *«Иосиф, наполеоновский король»* — имеется в виду брат Наполеона I Жозеф Бонапарт (1768—1844), поставленный неаполитанским (1806—1808), а затем испанским королем (1808—1813).

Массена Андре (1758—1817) — наполеоновский маршал, командовал войсками в Швейцарии и Португалии.

С. 448. *Обручев Николай Николаевич (1830—1904)* — революционер-шестидесятник. Редактировал «Военный сборник» совместно с Чернышевским.

Паксан — французский генерал. Изобрел пушку-гаубицу.

С. 450. *Тарквиний Гордый* — по римскому преданию, последний царь Древнего Рима (534/533—510/509 гг. до н. э.). Пришел к власти, убив Сервия Туллия. Изгнан римлянами.

С. 451. *Громека Степан Степанович (1823—1877)* — русский публицист. В 50—60-х годах — сотрудник «Отечественных записок». Выступал как против произвола полиции, так и против революционных демократов. С конца 60-х гг. —седлецкий губернатор, подавлявший выступления крестьян.

Тиара — головной убор папы римского.

Александр Боржио (Борджиа) — римский папа Александр VI, выходец из знатного испанского рода, игравшего важную роль в XV—XVI вв. Известен своими вероломными способами борьбы за власть.

С. 453. *«Граф Буоль»* — Буоль Шауэнштейн Карл Фердинанд — австрийский премьер- министр.

Л. КРУПЧАНОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Статьи

Павлов Н. Ф.

П 12 Избранные сочинения / Сост., вступ. ст. и прим. Л. М. Крупчанова.—М.: Правда, 1989.— 480 с.

Николай Филиппович Павлов — русский писатель XIX века, повести которого получили высокую оценку Пушкина, Белинского, Надеждина. Павлов — один из блестящих стилистов своей эпохи, в его произведениях во многом верно изображена российская действительность первой половины XIX века.

В книгу входят повести: «Именины», «Аукцион», «Ятаган», «Маскарад», «Демон», «Миллион», фрагменты, эссе и стихотворения писателя, статьи, письма.

П $\frac{4702010100—1853}{080(02)—89}$ 1853—89 84 Р 1

Литературно-художественное издание

ПАВЛОВ
Николай Филиппович

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Составитель
Леонид Макарович Крупчанов

Редактор
Г. Н. Захарова

Оформление художника
С. Н. Оксмана

Художественный редактор
И. С. Захаров

Технический редактор
Л. Ф. Молотова

ИБ 1853

Сдано в набор 03.11.88. Подписано к печати 07.04.89.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. кр.-отт. 25.62. Уч.-изд. л. 26 35.
Усл. печ. л. 25.20.
Тираж 200 000 экз. Заказ № 0088. Цена 2 р. 10 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП. Москва, А-137,
ул. «Правды, 24.

Отпечатано в типографии издательства Удмуртского обкома КПСС.
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 10-й км.

2 р. 10 к.











